ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения

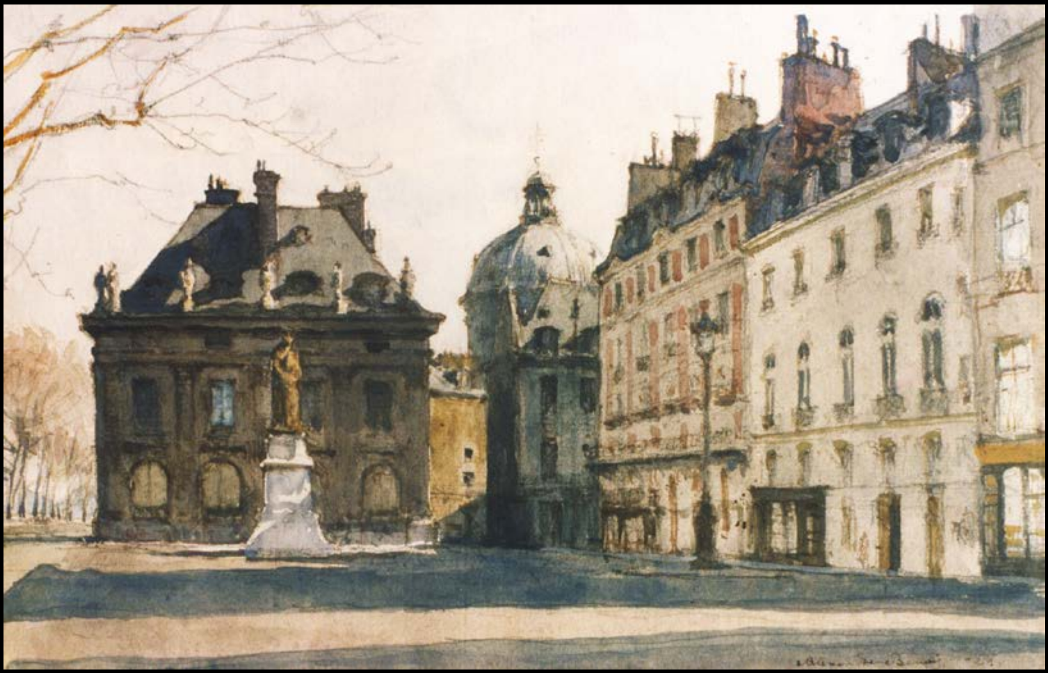
№ 1 | 2014

16+

Сергей Иванов | Портрет Ренэ Герра | 1979

Картины из коллекции французского филолога-слависта и коллекционера *Ренэ Герра*.

Наталия Слюсарева
«Поэма Горы, или Тамбовский волк во Франции»
с. 17



Александр Бенуа | Набережная Малаке | Париж | 1929

ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения № 1 | 2014

В номере

ДиН память

Валерий Черкесов
3 …И награда, и казнь

Виталий Пырх
6 Вспоминая Астафьева

ДиН стихи

Олег Павлов
14 Красная черёмуха

Михаил Свищёв
43 В стеклянной сфере

Александр Дьячков
78 Дворик детства

Валерий Скобло
80 Мимо Атлантидских островов

Сергей Ставер
82 Голубой пароходик

Михаил Красиков
84 Божья вишня

Анатолий Юхименко
85 Троеперстие

Александр Шубин
113 Чернозём

Эдуард Учаров
154 Трёхколёсный бог

Дмитрий Артис
156 Нефритовый стебель

Людмила Гайдукова
158 На поиск позднего наследства…

ДиН респект

Борис Тарасов
15 «Он… выпил Горе от Ума»

ДиН галерея

Наталия Слюсарева
17 Поэма Горы,
или Тамбовский волк во Франции

ДиН диалог

Юрий Беликов, Виталий Богомолов
21 Когда выгорают поля

ДиН юбилей

Елена Крюкова
26 В полёте днём и ночью

Александр Щербаков
27 Зато ходил гусаром

Александр Лейфер
38 «Сколько таких дней…»

ДиН бенефис

Юрий Уваров
44 Разум звука

ДиН публицистика

Марат Валеев
51 Эвенкийские записки

ДиН повесть

Светлана Курчина
65 Не хочу жить шёпотом

Д*и*Н мемуары

Владимир Алейников
87 Присутствие Катаева

Д*и*Н ревю

Тимур Раджабов
83 Можно читать

Евгений Степанов
100 Женщина в соседней комнате

Д*и*Н пьеса

Константин Миллер
101 Крушение империи

Библиотека современного рассказа

Александр Ломтев
108 Переплывая реки

Семён Каминский
114 Судьба барабанщицы

Зинаида Кузнецова
121 Новые рассказы

Рустам Карапетьян
131 Фотограф

Евгений Мартынов
136 Тайна

Александр Шлёнский
138 Собака на бобре

Д*и*Н полемика

Сергей Арутюнов
160 О глумлении

Д*и*Н юмор

Александр Поповский
163 Человеческий фактор

Клуб читателей

Сергей Брель
164 На жнеца и колос зреет

Д*и*Н детям

Олег Корниенко
166 Воздушный почтальон

Д*и*Н сдвигология

Александр Силаев
171 Критика нечистого разума

Д*и*Н пародия

Евгений Минин
5 Если в кране нет воды…
37 Не то, не это…
64 Главное, что музе я угоден!
199 Невыгодное дело

194 Д*и*Н авторы

Д*и*Н юбилей

Сотый номер!

Уважаемые читатели и писатели!

Перед вами — особый номер журнала «День и ночь». Сотый по счёту, если считать от самого первого, подписанного в печать в конце 1993 года. Сто уникальных «тетрадок» — очень разных, тоненьких, толстых и очень толстых, в обложках скромных, двуцветных, и броских, украшенных репродукциями с картин замечательных графиков и живописцев; сотни имён — знаменитых и заслуживающих быть знаменитыми, сотни произведений разных жанров, десятки открытий… Всё это, как ни удивителен сам по себе сей факт, — уже в прошлом. Когда основатели «ДиН» работали над первым выпуском нового журнала, они, должно быть, и не задумывались о том, что спустя годы благосклонный читатель раскроет свежий, ещё пахнущий типографской краской *сотый номер*. Двадцать лет — вместе с вами, друзья! От первого до сотого. Зримый итог. Рубеж. И всё же…

Пусть временем предъявлены счета
Старателям… но, друже, нам с тобою
Не видится смекальная черта
Под нашей совокупною судьбою.
И ты, читатель, всякое знавал,
Тебе ль не знать: от ста считают двести!
Хотя всё неприступней перевал,
Который мы одолеваем вместе.

Мы рады каждой встрече!

Ваш «ДиН»

Валерий Черкесов

…И награда, и казнь

Книга «Нет мне ответа…» (Иркутск, из-во Сапронова, 2009 г.), в которой собраны письма Виктора Астафьева с 1952 по 2001 год, отправленные им не только литераторам, но и самым разным людям,—своеобразный эпистолярный дневник писателя—попала ко мне, в общем-то, случайно. А может быть, нет? Может быть, по какому-то знаку свыше была дарована мне возможность ещё раз встретиться со словом Астафьева?..

В издательской аннотации к книге, в частности, говорится, что в письмах «с предельной искренностью и откровенной прямотой отразилась жизнь выдающегося мастера слова на протяжении пятидесяти лет: его радости и огорчения, победы и утраты, глубина духовного мира и секреты творческой лаборатории прозаика. В них страдающая мысль и горестные раздумья сына своего Отечества о судьбе его многострадальной Родины и её народа, великой частицей которого он был».

Листая книгу, я наткнулся на письмо Астафьева, датированное 28 мая 1974 года, в котором есть такие строки: «…Дал я согласие вести семинар на Иркутском совещании молодых писателей. Байкал охота посмотреть, и дело всё свелось к тому, что читал рукописи, правда, в большинстве своём любопытные и даже симпатичные…»

И вспомнилось…

Июнь 1974 года. Иркутск. Совещание-семинар молодых писателей Сибири и Дальнего Востока. После пленарного заседания—перерыв на обед.

Столик, за которым расположилась наша малочисленная делегация Амурской области,—напротив одного из столиков с руководителями семинара. Я знаю только одного—пышноволосого улыбающегося Евгения Носова из Курска: Он руководитель семинара, в котором обсуждается и амурский прозаик Борис Машук, и накануне вечером мэтр заходил в наш гостиничный номер. Рядом с ним сидит невзрачный мужчина, по внешнему виду прямо-таки простой мужик, ну ни в коем разе не писатель. Когда он поворачивается в профиль, то заметно: один глаз то ли поранен, то ли вообще не видит. Одет мужчина тоже не ахти как: мятые штаны, клетчатая рубашонка. А, к примеру, руководитель нашего семинара поэт-фронтовик Марк Соболь—в расписной рубахе-распашонке навыпуск, сразу видно—современный классик.

И всё-таки этот «не писатель» чем-то привлекает к себе: то ли растрёпанной шевелюрой, то ли резкими жестами, когда говорит. Слов его не слышно, но видно, что собеседники ему внимают, а Евгений Носов время от времени улыбается, то открыто, то несколько скептически, видимо, принимая и одобряя услышанное или же наоборот.

Я спрашиваю у Бориса Машука: «Кто это рядом с Носовым?» Тот отвечает: «Виктор Астафьев»,—и я тут же вспоминаю, что несколько лет назад прочитал повесть этого автора «Звездопад», которая увлекла, поразила, запомнилась. Произведение, если можно так сказать, о молодости и любви, которые пришлись на войну, но удивительно светлое и печальное, как раз созвучное моему тогдашнему душевному состоянию. Я даже запомнил из него такие слова, что счастье не бывает горьким, горьким может быть только несчастье.

После обеда Машук и я подошли к Носову и Астафьеву. Евгений Иванович представил Виктору Петровичу Бориса как одного из своих талантливых семинаристов, и Астафьев крепко пожал нам руки. Был какой-то разговор, который не отложился в моей памяти. Запомнилось только то, что Астафьев, общаясь, говорил краткими фразами, как бы выстреливал слова, образным и ярким языком, причём было понятно, что это его естественная речь, а не отрепетированная.

Это была моя единственная встреча с Виктором Петровичем Астафьевым. Потом я читал всё, что выходило из-под его пера и что печаталось в журналах и книгах, восхищался «Царь-рыбой», задумывался над «Зрячим посохом» и «Затесями», проживал судьбы персонажей «Печального детектива», скорбел и негодовал над «Проклятыми и убитыми». Я далеко не всегда разделял его взгляды и позиции, особенно в публицистике, не принимал его увлечение ругательным языком, в то же время понимая: он—человек, прошедший простым солдатом Великую Отечественную войну и выживший в этом аду,—имеет полное право говорить так, как считает нужным; главное, чтобы это было правдиво и честно.

Кстати, на том Иркутском совещании Виктор Петрович поддержал молодого хабаровского

прозаика Вячеслава Сукачёва, которого по его рекомендации приняли в Союз писателей СССР. Со Славой мы знакомы ещё с 1972 года и до сих пор порой пересекаемся, время от времени переписываемся. После смерти Астафьева он опубликовал в «Литературной России» статью—воспоминания о писателе, теперь классике отечественной литературы, и, читая её, я ещё раз вспоминал пусть и, наверное, незаслуженное мной, но крепкое рукопожатие Виктора Петровича.

В книге «Нет мне ответа…» я не нашёл одного письма Астафьева. Его благодарно хранит вдова заслуженного художника России Станислава Косенкова, жительница Белгорода, куда я переехал в 1982 году. Вот текст письма:

«12 декабря 1993 г. Красноярск.

Уважаемая Анна Константиновна!

Поэт Минаков прислал мне свои книги и тяжёлое сообщение о том, что не стало Вашего замечательного мужа. И что это Господь забирает с русской земли самых талантливых, добрых и честных? Видно, ему самому нужны хорошие люди.

Я совсем недавно смотрел в журнале «Слово» иллюстрации Станислава и всем говорил, их показывая: «Вот в Белгороде какой замечательный, истинно русский художник живёт!» И думал, что если судьба ещё раз закинет меня в Курск к другу нежному, Жене Носову, мы обязательно съездим в Белгород к дивному Косенкову-художнику… И вот… Остаётся только пожелать, чтобы земля была пухом Вашему мужу. Чтобы Господь, призвавший его на небеса, уготовил ему место в раю, а Вам утешения и светлой памяти.

Ваш Виктор Петрович (В. Астафьев)».

Это далеко не единственная «ниточка», которая связывала известного писателя-фронтовика с Белгородчиной. Так, в письме, датированном 29 марта 1965 года, адресованном писателю А. Борщаговскому, читаем: «Я в конце сентября буду в Москве, а затем поеду в Белгород на семинар…» В другом, уже другому адресату: «…Дал согласие быть на семинаре в Белгороде в середине октября, и мне подвалили произведений…»

Итак, осенью 1965 года Виктор Петрович был одним из руководителей областного семинара-совещания белгородских литераторов. Его участник Борис Осыков, тогда молодой журналист и начинающий писатель, вспоминает, что Астафьева в то время ещё мало кто знал. Он приехал в Белгород с небольшой книгой прозы «Конь с розовой гривой», с которой, собственно, и началась его известность как прозаика. О произведениях молодых отзывался довольно резко и в то же время доброжелательно.

А вот что рассказала Мария Ильинична Баскова—вдова прозаика-фронтовика Леонида Малкина: «Витя Астафьев и Женя Носов были у нас в гостях. Из белгородцев, помню, в застолье участвовали Владимир Жуковский, Николай Грибанов, Игорь Чернухин. Витя рассказывал, что начал воевать где-то неподалёку от Белгорода. Он и Женя Носов вспоминали войну, много шутили, пикируясь друг с другом».

Подтверждение тому, что Астафьев воевал вблизи наших мест, есть и в книге, в письме Е. Носову, датированном 20 апреля 1995 года: «Впервые я попал на фронт в Тульскую область на границе с Орловской. Наступление наше началось почти серединой лета во фланге Курско-Белгородского выступа. Немец отвёл оставшиеся силы, оставив Курск и Белгород».

Оказавшись на Белгородчине, Астафьев, естественно, не мог не побывать в Прохоровке. Тем более что в 1965 году впервые в стране широко праздновался День Победы, и на месте великого и страшного сражения был установлен первый памятник—легендарный танк Т-34. В Белгородском государственном литературном музее хранится историческая фотография: Виктор Астафьев и Евгений Носов около этого памятника.

Да, к сожалению, тема «Виктор Астафьев и Белгородчина» никем не исследовалась, а ведь литературным краеведам и литературоведам могло открыться много интересного. В той же книге «Нет мне ответа…», в письме от 2 ноября 1988 года, читаем: «Есть такой поэт на Белгородчине Володя Михалёв. Пастухом работает, кучу детей вырастил…» Далее идут самые добрые слова о нашем земляке и его творчестве. Стихотворение Владимира Михалёва «Жаворонок» Виктор Астафьев включил в антологию одного стихотворения «Час России» (Москва, 1988 г., книгу он составил вместе с красноярским поэтом Романом Солнцевым), и оно стало известно всей стране.

Гнездо вверх дном,
Птенцы запаханы!..
Вспорхнул и канул в небосвод.
Надрывно охает и ахает,
А люди думают—
Поёт!..

В этой книге опубликованы и стихотворения ещё нескольких белгородских авторов.

А вот строки из письма, датированного 1984 годом: «Я вспоминаю Костю Мамонтова, он жил в Перми, работал машинистом электровоза. В прошлом фронтовик-пехотинец, вдоволь нанюхавшийся пороху, испивший боли и крови, очень, очень аккуратным почерком, чисто писал стихи в блокнотики, однажды показал их в Пермском Союзе писателей. Стихи были одномерные, но тема войны, как стрела огненная, пронзила их…

И когда зашла речь о приёме его в Союз писателей, мы и не колебались, единодушно Костю приняли в члены Союза такого, какой он есть. Вскоре он уехал из Перми в Белгород. Присылал мне оттудова изредка письма, новые стихи и даже книжки».

Речь идёт о Константине Яковлевиче Мамонтове. Человек поистине героической военной судьбы, весь израненный, награждённый многими орденами и медалями, он в 1943 году освобождал Белгород, а когда ушёл на пенсию, по рекомендации врачей переехал сюда жить из Перми. В Воронеже, в Центрально-Чёрнозёмном книжном издательстве, было издано несколько сборников его стихотворений, он часто встречался с белгородскими любителями поэзии, а в конце жизни уехал в родной город Кунгур на Урале, где умер в мае 2000 года.

Я уверен: если внимательно прочитать военные произведения Виктора Астафьева, то наверняка и в них можно отыскать строки, навеянные Белгородчиной.

Значимость того, что сказал тот или иной писатель проверяется временем. Прошло уже немало лет, как Виктор Петрович покинул мир земной, а его произведения продолжают выходить, несмотря на то что рынок диктует издательствам условия, при которых появление умных книг не поощряется. Но читателя не обманешь, спрос на книги Астафьева остаётся по-прежнему высоким, об этом я могу судить хотя бы по белгородским библиотекам: экземпляры его книг востребованы, читаны-зачитаны. Почему? Да потому, что он честно выполнял сформулированный им же писательский завет, который я вычитал в его письмах: «Дар Божий—это и награда, и казнь. Пушкин это понимал и умом, и сердцем, и не от пули, так от гнёта жизни всё равно погиб бы»; «Наказание талантом—это прежде всего взятие всякой боли на себя, десятикратное, а может, и миллионократное (кто сочтёт, взвесит?) страдание за всех и вся. Талант возвышает, страдание очищает, но мир не терпит «выскочек», люди стягивают витию с небес за крылья и норовят натянуть на пророка такую же, как у них, телогрейку в рабочем мазуте…»

И строки из прощального письма Виктора Петровича: «Прощайте, люди! Умолкаю, слившийся с природой. Я слышу новое зачатье жизни; дыханье жаркое, шёпот влюблённых… И не хочу печалить их собою, дарю им яркий листик древа моего. И мысль последнюю, и вздох, и тайную надежду, что зачатая ими жизнь найдёт мир краше, современней. И вспомнит, может быть, да и помянет добрым словом, как Кобзаря, лежащего на берегу Днепра, меня над озарённым Енисеем, и в зеркале его мой лик струёю светлой отразится. И песнь, мной не допетая, там зазвучит…»

Звучит ваша песнь, Виктор Петрович! Звучит…

ДиН пародия

Евгений Минин

Если в кране нет воды…

Оправдательное

Тут перед нами проходили греки
и выпили всю воду из реки.
А может, скифы… Или крымчаки.
Майя Никулина

Я объясню вам истину одну:
идя по речки высохшему дну,
воспринимаешь истину такую,
которую я тотчас же втолкую,
в неё идею новую вдохну.
И чтоб в дальнейшем не было беды,
запомните, родные человеки,
и знайте: если в кране нет воды,
то виноваты скифы… Или греки.

Заусенцевое

Не целуй же мои заусенцы,
Одуванчиком не называй.
Калерия Соколова

Ты, мой друг, не пылай страстью дикой—
Не отвечу тебе невзначай!
Не зови васильком и гвоздикой,
На ромашке в тоске не гадай!
Пристают всякий раз извращенцы,
Проявляя невиданный пыл.
Тянет их целовать заусенцы,
Хоть бы кто-то напильник купил.

Виталий Пырх

Вспоминая Астафьева

Много воды уже утекло в Енисее за то время, когда я в последний раз общался с Астафьевым в Овсянке, да и старинное сибирское село изменилось неузнаваемо. Что там село! Сам погост разрастается в последние годы как на дрожжах.

В последний раз, помнится, я с удивлением крутил головой, констатируя тот факт, что население сельского кладбища растёт гораздо быстрее, чем население самой Овсянки. Глядишь, скоро филиалом Бадалыка станет…

— А что в этом удивительного?—пояснила мне сопровождающая нас работница сельской библиотеки.—Кладбище престижное, хоронят на нём умерших не только из Овсянки, но и из Дивногорска. А случается, везут даже покойников из краевого центра.

Вот какова она, эта тяга русского человека к великому имени и к соседству, подумал я и, грешным делом, лишний раз пожурил себя за абсолютное безразличие к потустороннему миру. Какая, простите, разница, где лежать? И чем этот сельский погост хуже того же Новодевичьего кладбища в Москве?

Как это прекрасно понимал сам Астафьев!

За многие годы своей работы в газетах я побывал в разных домах—и в богатых, и в не очень, но такого скромного уклада жизни, который вёл Виктор Петрович, нигде больше не встречал. Стандартная квартира в Академгородке, забитая, пожалуй, только книгами, да ветхая избушка в Овсянке—плюнь, и развалится. Вот и всё его «недвижимое имущество». Ни машин, ни особняков…

Да так ли должен был жить великий русский писатель, лауреат всяческих литературных премий и Герой Соцтруда, вопрошал я себя? Книги которого переводились и переводятся на десятки языков и издаются на всех континентах? Когда любой мало-мальски удачливый писака тут же спешит обзавестись престижными столичными квартирами, «кадиллаками», виллами?

Помню, вышел я как-то в начале девяностых годов прошлого века после какого-то помпезного мероприятия в БКЗ и увидел на краю просторной площади одиноко стоящую пожилую пару—чету Астафьевых. Зябко ёжась от налетавшего ночного ветра, они с надеждой вглядывались в лица проходящих, стараясь отыскать знакомых. Но люди спешили каждый по своим делам, было уже поздно.

— Что, не на чем уехать домой?—с ходу поинтересовался я.

— Да вот, ждём с Марьей, может, кто и подберёт,—отшутился писатель.

— Тогда так: ждите меня здесь, я мигом…

Сотовой связи тогда ещё не было, по телефону в такое время можно было позвонить только из самого здания, и я тут же вызвал как бы для себя свою служебную машину—сам-то я ходил по городу пешком. И вскоре астафьевская чета укатила в свой Академгородок. А у меня и сейчас, когда я пишу эти строки, лёгкая горечь во рту: что-то действительно, видимо, не так в нашем российском королевстве…

Взять хотя бы тот же овсянкинский домик великого писателя. Когда я впервые увидел в нём на полу домотканые, ручной работы, тряпичные половики, лежавшие когда-то и у моей бабушки, то невольно не удержался от сравнения: так ведь так ещё моя безграмотная бабушка жила!

— Да что там половики,—прошептал мне на ухо сопровождавший меня Александр Николаевич Кузнецов, бывший в то время ещё руководителем Красноярского металлургического завода.—Приехали мы как-то в гости к Астафьевым, а идёт дождь. И видим, что крыша в доме настолько прохудилась, что хоть вёдра подставляй. Посмотрел я, посмотрел, а потом, на другой день, прислал сюда рабочих…

Теперь крыша в доме нормальная, строили при советской власти хорошо… Но разве этого не понимали в краевом центре, куда нет-нет да и зазывали писателя посидеть в президиуме, «украсить» своей персоной какое-то собрание? Что это, как не элементарное пренебрежение, а то ещё хуже—зависть?

Теперь все, конечно, его друзья, поклонники, почитатели таланта, но я никогда не забуду, как в конце восьмидесятых годов всё того же минувшего века, когда из красноярских магазинов исчезло буквально всё—от колбасы до маргарина, против меня был применён настоящий прессинг за то, что я вступился печатно за великого писателя. Тогда в ряде красноярских газет началась его настоящая травля: писателя упрекали за то, что он пользуется услугами крайкомовского магазина (стыдно сказать, но это были ежемесячно два килограмма

варёной колбасы и 300 грамм сыра), что раз уж ты пишешь про советскую власть такие книги, то и живи полуголодный, как бомж.

А то вдруг наше Законодательное собрание наотмашь «зарубило» копеечную персональную прибавку к его пенсии: как, мол, можно?—а я возьми и заступись за него. Ну не стыдно, мол, дорогие друзья? Где же ваша совесть? Ведь он не только писатель, но ещё и фронтовик! Как и его, кстати, жена…

Да и не просил он у вас ничего—это была инициатива совсем других людей.

И потом, разве вы не помните из отечественной истории, что даже в голодные двадцатые годы прошлого века в нашей стране такие писатели, как он, получали от государства продовольственный паёк? И получали его—бесплатно. А как же иначе? Мы что, уже совсем оскотинились? Одичали?

Нет, я не думаю, чтобы всё это прибавляло Виктору Петровичу и сил, и здоровья, но когда мне приходилось изредка сталкиваться с ним, то я не чувствовал, чтобы он на кого-то обижался. Прощал, наверное, своих обидчиков…

Но вернусь я опять на овсянкинский погост, с которого и начал своё повествование. Когда-то здесь из ближайшей астафьевской родни была одна только дочь Ирина, потом перебрался он сам, а затем уже и Марья Семёновна, верный его оруженосец и управделами, заняла своё скромное и не очень-то заметное местечко. И я подумал: раз они и мёртвые так притягивают к себе сибиряков, что те готовы загодя выкупать себе место на «астафьевском» погосте, то что тогда говорить о людях, близко его знавших?

И хоть я к таковым себя не отношу—слишком редко мы с ним общались, но до сих пор храню в своей памяти эту астафьевскую особенность—умение слушать. Подобный дар, на мой взгляд, сродни писательскому таланту.

Напросишься к нему «в гости», откроешь блокнот, а потом вдруг поймаешь себя на том, что говоришь ты, а не он. А он в это время улыбается и смотрит на тебя изучающе. Словно не ты у него в гостях, а он у тебя берёт интервью.

А потом так же незаметно уводит разговор в нужное для него русло, и выговориться с ним до конца было практически невозможно.

Он то и дело вставлял в разговор свои «зацепки», подталкивал говорящего, подшучивал над ним, подзуживал, и, казалось бы, уже затухающий спор разгорался вдруг с новой силой. Попробуй остановиться!

Вот почему я больше всего сейчас жалею только об одном—о несостоявшейся поездке «на пару с Астафьевым» в санаторий «Красноярское Загорье». Могло это событие произойти за год-полтора до его ухода из жизни, когда Виктор Петрович вдруг неожиданно сам позвонил мне по телефону и предложил:

—Чем ты там занимаешься? Небось, трибунишь в своей «Трибуне»? А давай собирайся, и поехали с нами. Мы тут с Марьей на пару недель в «Загорье» собрались, подлечиться нужно. Марья будет процедуры принимать, а мы с тобою поговорим. До чего-нибудь да договоримся…

Эх, если бы у меня были «развязаны» руки! Помимо работы—дом на руках, дочка, собака… В общем, сорвалась тогда поездка.

Виктор Петрович меня понял и особо не настаивал. Но пообещал, что вернётся—найдёт время, и мы с ним обязательно встретимся. Не так, как встречались раньше, под водочку да селёдочку, а крепко встретимся, основательно.

Но время шло, он то болел, то уезжал, пока, наконец, в марте 2001 года, незадолго до его трагической болезни, в моей квартире раздался звонок, и, подняв телефонную трубку, я услышал знакомый астафьевский голос:

—Есть время? Приезжай!

И я поехал…

Вспомнился мне по дороге чуть ли не пятнадцатилетней давности эпизод, когда я, только что перебравшись из Воркуты в Красноярск, вернулся домой с первомайской демонстрации. И застал у себя на квартире гостей, которые сидели с моими домашними за праздничным столом. Выпили, закусили. А потом я вдруг неожиданно для всех предложил: а не поехать ли нам к Астафьеву в Академгородок (адрес у меня был) и поздравить его с днём рождения? Вот и познакомимся заодно с великим писателем…

Надо было видеть то неподдельное изумление на лице его верной спутницы Марии Семёновны, когда, открыв дверь, она увидела перед собой на лестничной площадке слегка подвыпившую компанию—с шампанским в руках, с каким-то подарком…

Ей-богу, спустила бы нас с лестницы, не выгляни в это время из-за дверного косяка Виктор Петрович.

Увидев нас, заулыбался, заговорил… Он всё понял. И тут же потащил всех за стол, из-за которого они только что встали.

Как мастерски он всех угощал—и свежей ухой, только что сваренной из недавно выловленной стерлядки, и холодной водочкой, собственноручно настоянной на лимонных корках, и добрым словом, сразу же снявшим со всех нас неловкость…

Хозяин он был хлебосольный…

Да и потом, несколько лет спустя, когда мы както заглянули на его «огонёк» теперь уже в Овсянке, а он целый день провёл за письменным столом, и ему требовалась разрядка,—я снова подивился этой астафьевской способности моментально устанавливать с любой компанией контакт. Оставаясь при этом—«на своих позициях».

Помнится, я тогда сильно налегал на «особый путь» в истории русского народа, пришибленного реформами, а Виктор Петрович только похмыкивал в ответ. Наконец не выдержал, вышел в соседнюю комнату и через минуту вернулся оттуда, держа в руках несколько машинописных страничек.

— Вот тут я сегодня решил переписать заново свою «Оду русскому огороду». Послушайте…

И он начал читать, слегка нараспев, сперва тихо, потом громче и громче… А мы его слушали, раскрыв рты. И я почувствовал, что у меня по спине от его слов даже мурашки пробежали!

Ну как тут поспоришь — с таким Мастером?

— Господи! — выдохнул я, когда он закончил. — И откуда у вас слова берутся такие, Виктор Петрович? Вроде бы и я говорю по-русски, пишу давно, а слушаю вас, как иностранец…

Астафьев усмехнулся в ответ и, ничего не говоря, ткнул пальцем в потолок. Его, мол, это заслуга, не моя…

Таким же радушным хозяином предстал он передо мной и на этот раз, в последнюю нашу встречу. Помог раздеться, усадил за стол. И несказанно оживился, увидев, что я вместе с записной книжкой достаю ещё и диктофон.

Попросил его посмотреть, покрутил, повертел. А потом вернул обратно.

— Сам-то я ручкой пишу, ты это знаешь, — заметил он. — Но технику эту уважаю, имел дело. Сейчас расскажу.

И я включил диктофон…

— Работал я тогда, в первые послевоенные годы, в «Чусовском рабочем», на Урале, а поскольку попал туда с улицы, то местом своим я, конечно, дорожил. Потому и выполнял всё, что требовалось. В первый же день в редакции мне дали во-от такую кучу брошюр, в которых было всё: и как нужно писать фельетон, и как обрабатывать письма трудящихся, и как сочинять передовую… Я две книжечки прочитал, запутался вконец, но всё-таки пытался выполнять всё, что мне велели. Но однажды произошёл казус: меня направили на учительскую конференцию, а там, в клубе железнодорожников, был небольшой балкончик, куда я, конечно, и забрался. И… уронил вниз свой карандаш! Наклонился и уронил, прямо лысому дядечке на голову. А больше у меня ничего из пишущего не было, да и вообще ручек автоматических тогда ещё не было. Только один карандаш в кармане, и всё. Ну не побежишь же за ним вниз — искать, тем более что и конференция уже началась! Господи помилуй… Ну, пришёл я домой, по памяти всё написал, не заглядывая в выданные мне редакцией брошюры — память у меня ещё хорошая была. Написал по памяти отчёт: кто выступал на конференции, я-то, в основном, помнил — город у нас небольшой был. Ну а на следующий день, как водится, планёрка; наш редактор и говорит: «Вот, наконец, и с учительской конференции появился в газете путный отчёт. Можешь ведь написать, когда захочешь, Виктор!»

— Так, может быть, надо было после такого случая всё время ронять карандаши?

— Вот-вот… Но потом я какое-то время поработал ещё на радио — чудовищная была работа. Если уж в газетке мы врали, то как врало наше радио — это ни с чем не сравнится. Всё-таки в газете немножко стыдишься, придерживаешься, город-то маленький, всего шестьдесят тысяч человек, тебе ж с этими людьми потом встречаться придётся. Да и путняя газета была, пятиразовая. А вот когда на радио перешёл — вот уж где трепология была… Меня прямо-таки потрясла эта трепология: чем больше болтаешь и брешешь, тем больше тебе за всё это платят…

— Да ну? Это же как?

— А так. В газете у меня был оклад шестьсот рублей, а перешёл на радио — стал получать восемьсот пятьдесят. Да плюс ещё, как мне тогда казалось, чудовищный гонорар. Тем более что я был собкором, в моём распоряжении были и Кизеловский угольный бассейн, и Березники со своей химией, с лесом и с лагерями бесконечными.

Мотаться по всему этому приходилось даже ночью. А техника была…

Я не про машины сейчас, не про транспорт, а про все эти радийные штучки. Я и сейчас ничего включить не умею, а тогда?

Из Перми мне на запись присылали специального техника, так он прибывал на задание с ящиком из-под аккордеона, а у меня был ящик из-под патефона. Где и размещалось записывающее устройство.

Так и возили по области свою эту «технику». Да ещё батареи к ней — их вообще лучше всего было на груди держать, чтобы не замёрзли. Замёрзнут — ничего там не двигается, беда! Комедия, да и только.

Я через полтора года такой работы пришёл к Гуревичу Моисею Григорьевичу, это наш председатель радиокомитета был, хороший, в общем-то, был мужик, хоть и на планёрках орал.

А я уже было попробовал после газеты пожить на заработки литературные, но ничего у меня не получалось, запас надо иметь. Что я тогда с двумя-тремя тоненькими книжками мог?

А на радио я зарабатывал здорово, до двух — двух с половиной тысяч рублей в месяц…

Но всё-таки пришёл к нему расчёт просить. А он хоть и еврей был, но матерщинник страшный. «Ни одного писателя больше не возьму на работу, — кричит. — Только научишь маленько работать, и он тут же рвёт». А я его спрашиваю: «А кто у тебя писатель-то?» Он мне в ответ: «Ты. И последний.

Больше я писателей на работу не приму…» Тут и я полез на рожон. «Ну и не бери,—отвечаю,—не порти людей». Правда, он вскоре после этого умер…
— Тогда у меня к вам, Виктор Петрович, главный вопрос как к писателю земли русской: как же всё-таки получилось, что такая огромная страна, только, казалось бы, вставшая в начале двадцатого века на столбовой путь своего развития—одна из самых крепких в мире валют, высокие ежегодные темпы прироста промышленности, которым завидовали самые развитые государства, прекрасная к тому же культура, литература,—и вдруг свалилась в настоящую пропасть? Почему нам не жилось?
— Есть на этот счёт у Михаила Ромма один документальный фильм, последний его фильм: «И всётаки верю». Три часа он идёт, огромный всё-таки мастер был. Там он многое объясняет, и повторяться не хотелось бы. Переворот—он и есть переворот. Он там показывает все наши достижения начала минувшего века—и паровые машины, и многое другое, всё это есть, всё это было…

Но и пулемёт показывает тоже, он тоже примерно в те же времена был изобретён, причём изобретатель долго не мог его продать. Пока, правда, французы его не купили… И так—до четырнадцатого года. Пока немцы не встали поперёк общеевропейского развития.

И пошло-поехало—империалистическая война, революция, гражданская бойня…

А кому воевать-то охота?! Да мы бы и в Великую Отечественную войну, если бы разные там бабицкие шлялись по нашим окопам, если бы солдатские матери ходили, покойников бы переворачивали, тоже б много не навоевали. Да и воевали бы лет десять. И извоевался бы весь наш народ окончательно, он и так уже весь извоёванный до невозможности…

А слово «переворот» многое что объясняет, не случайно оно есть во всех языках. Это и переворот в жизни, и переворот в сознании людей.

Не хочется повторяться, но если бы после столыпинских реформ нас бы не трогали, то Россия к двадцать четвёртому году была бы грамотной страной, и у нас было бы замечательное крестьянство, а не разорённое совсем, и мы бы сейчас не плакали, что у нас народ убывает. Его б, может быть, было бы даже больше, чем в Китае,—вон сколько тогда наши бабы рожали! Но переворот есть переворот,—и он откинул нас лет на двести назад.
— Да, но ведь, согласитесь, были революции и в других странах, в той же Франции и в Германии, но они почему-то быстро от всего избавлялись. А мы до сих пор делим друг друга на «белых» и «красных»…
— Быстрее других «очухалась» Франция, заразившая Европу этой чумой: там в революции больше не играют. Отмечают, почитают все свои бастилии, играют «Марсельезу», но кровью больше не балуются. На мой взгляд, это самый благополучный в Европе народ: скупые и уравновешенные буржуа.

Есть там и совершенно сытые государства, такие как Голландия, например. Но Франция бойчее, живее, что ли… Она настолько приспособилась к образу жизни своему, что просто поражаешься. По территории ведь это наша Украина, да и по населению—тоже, но Украине дали самостоятельность, а она всё никак не может с нею справиться. А Франция выпуталась, и сейчас французы, на мой взгляд, живут даже организованнее немцев. И поспокойнее, и побогаче.

Всё ж таки немцев тоже война сильно перевернула, это надо признать… А с чего всё начинается? С уважения к истории.

Меня, например, что больше всего поразило во Франции? То, что в Париже, кроме гробницы, Наполеону нет ничего. Культ Наполеона есть, а вот ни улиц, ни площадей, названных его именем, нет. Почему? Это говорит о высоком развитии народа, о его культуре и духовности. Да и чему тут удивляться: я помню, как в Восточной Германии впервые издали мою книжку «Пастух и пастушка», и, как мне тогда казалось, очень замечательно издали. И бумага отличная, и печать что надо, немцы это умеют. А мы в своей стране плохо в то время книжки издавали.

И вот когда я приехал к издателю, попал к нему в кабинет и осмотрел набитые книгами шкафы, то мне многое стало понятно. «А я-то думал, что моя книжка самая лучшая, самая красивая, а тут такие фолианты стоят…» А он мне в ответ: «Да, Виктор Петрович, здесь действительно есть очень приличные издания, можно сказать, раритеты. Но ведь не мы в этом виноваты: когда у вас в России ещё пороли женщин на площадях, у нас уже вся Германия была поголовно грамотной. Вот ты, например, писатель, а ответь мне, пожалуйста, на вопрос: что самое главное в смысле печати в книге?»—«Ну, шрифты, наверное, бумага…»—«А вот и нет, хотя и шрифты, и бумага, конечно же, важны. Но главное—это линейка. Всё должно быть в книге ровно, без разрывов, без перекосов. Это и есть линейка… А всё остальное—само собой, приложение к ней».—«Да, но всё это, однако,—попытался я всё же уязвить своего немецкого собеседника,—не помешало вам одичать за двенадцать лет гитлеровского правления. Ни культура, ни грамотность не помогли».—«Не помешало,—согласился он со мной.—Но мы, слава Богу, очухиваемся потихоньку».

Они—очухиваются. А мы?

А мы, к сожалению, и сейчас народ в своей массе отсталый, забитый, так ничему и не научившийся. Смотришь—идут в колоннах опять под знамёнами, обильно омытыми нашей кровью, с портретами вождей, уничтоживших нацию. И что? Самое

страшное в России—это то, что наш народ так ничему и не учится… Вот так его замотала вся наша брехня.
— И в то же время вы же не будете отрицать, что одновременно он способен ещё и на великие подвиги, на великие свершения…
— А чего со страху порой не сделаешь? Самое страшное в минувшем веке, что произошло в России, это, конечно же, война. Революция нас начала только подкашивать, а вот война окончательно подкосила. Что бы сейчас мне ни толковали, что бы ни говорили, какие бы причины упадка нашего—и нравственного, и духовного, и материального—ни находили, я буду стоять на своём: всё-таки всему первопричина—это война. Нас на ней выбили просто. Ведь ещё граф Шуленбург, немецкий посол в Москве, говорил Гитлеру на заседании немецкого Генштаба, когда они утверждали свою «Барбароссу»: будущую войну Германия непременно проиграет, так как её просто завалят мясом. Их, мол, там живёт сто восемьдесят миллионов, а нас, немцев, только восемьдесят. Такое вот соотношение населения тогда было. И что ему отвечали в ответ? Да, но у нас техника, машины, авиация. У нас Крупп, мастерство и выучка генералов, огромный опыт и всё такое… Но тот так и стоял на своём: нет, войну мы проиграем, потому что нас забросают трупами.

И так считал не только он один, воспитанный на традициях Бисмарка, искренне считавшего, что воевать с Россией немецкому народу ни в коем случае не нужно.

Он потом, в сорок четвёртом году, участвовал и в заговоре против Гитлера, но было уже поздно, и в ноябре тысяча девятьсот сорок четвёртого года Фридрих-Вернер фон дер Шуленбург был, по приказу Гитлера, повешен. Но что это изменило?

Да и не один он предупреждал Гитлера о том, что войну немцы проиграют. И хотя Гитлер был намного лояльнее Сталина в отношении к своему народу, да и грамотнее его, и вообще—личность, он всё-таки не почувствовал трагичности и опасности той ситуации, куда влезал. Образ Наполеона светил ему только в героическом ореоле, а надо было присмотреться к тому, чем тот кончил.

Но мы действительно их мясом завалили, кровью залили… А потом, что немцы не успели, сами же и завершили.
— Что вы имеете в виду? Репрессии послевоенного времени?
— И их тоже, но не только. Недавно я прочитал одну книгу о маршале Новикове, его дочь написала,—ну это же просто кошмар! Оказывается, что почти всех маршалов-фронтовиков Сталин после войны пересадил в тюрьму. Сорок генералов посадил и тысячи, сотни тысяч рядовых. С кем же он воевал? С бандитами, с уголовниками? Или со сплошь и рядом врагами народа?

Я, конечно, не думаю, что он сам до всего этого допёр—он всё-таки, на мой взгляд, человек ограниченный, и я не хочу ничего о нём ничего говорить, ни хорошего, ни плохого, я всегда так к нему относился. Но сам бы он до этого не додумался, это ему окружение подсказало…

Почему? Да потому что прекрасно понимало и знало из истории: после каждой большой войны во всех странах-победительницах начинались брожения. Начиная с римских войн, с войн греческих… Обязательно! И не остывшее ещё возбуждение, и вскипевшая кровь, и привычка повоевать—всё это потом сказывалось!

А тут люди попали на фронт, перешагнули с боями государственную границу, посмотрели и… ужаснулись. Нам всё это время внушали, все эти годы построения социализма в отдельно взятой стране,—и в газетах, и по радио—что мы живём пусть и трудно, но счастливее всех на земле. Что только у нас достаток, что только у нас нет голода и холода. А тут вдруг съездили «туда» и посмотрели: да нет, оказывается, не счастливее и не сытнее мы живём остальных. Хотя и живём в Стране Советов, в самом свободном в мире государстве…

Меня, например, больше всего потрясла такая деталь, когда я на Западной Украине побывал. Перед этим в Игарке я читал о том, как наши войска незадолго до начала великой войны освободили Западную Украину—наши власти тогда широко об этом писали. Так вот, когда мы освободили Западную Украину, то там нищета была такая, что в домах, чтобы разжечь в печке огонь и приготовить еду, кололи спичку на четыре части. Спички тогда в Игарке можно было достать даже иностранные, наши-то, кировского производства, ломались сразу. Вот мы и попробовали, прочитав такое: на две части спичка раскалывается, а вот на четыре части мы её никак расколоть не могли. Вот, думаем, блин, до чего людей довели! На четыре части с голодухи спичку раскалывают—и у них получается!
— И что вы увидели на самом деле?
— А зашли в первый же попавшийся двор в Тернопольской области и обалдели: во дворе не колодец, как у нас, а водопроводная колонка, асфальтированные дорожки вокруг, и все постройки дворовые—под добротной крышей. А сам дом стоит «пїд бляхой», как говорят хохлы, то есть крытый железом. Ну а в доме—на стенах картины, обои превосходные, чистота, порядок, в горнице голландка кафелем выложена. Ну где нам с ними тягаться? Со своими спичками-то?

А что советская власть? Ступил я на Украину в Сумской области—и такого горя, такой нищеты даже в Игарке у себя не видел! Заходишь в хату, к опрятной хозяйке, не опустившейся, а многие украинцы уже к тому времени опустились, устали от нищеты, от голода, их надломило, они и сейчас

от этого ещё не могут очухаться… и что мы видим? Мазаный пол, «долівка», иконка с рушничком, а из всей мебели стоит только скрыня, и на ней — кварта. Которая, как правило, сделана из старой медной гильзы. Вот тебе и всё убранство, вот и всё, что нажил человек за свою жизнь, вся его посуда и имущество. И еда точно такая же…

Потом мы, правда, в Полтавскую область перешли, та всё-таки побогаче маленько, чем Сумская, но и ей до Западной Украины было далеко.

Зачем же на нас было нападать? — спрашивал я немцев. Только ради жизненного пространства…

— Но сколько ради этого крови, в том числе и немецкой, пролито было…

— Конечно, личность Гитлера ещё ждёт своего осмысления и анализа, хотя бы по его отношению к своему народу. За всю войну, например, только на три процента в Германии сократился приём домашних работников, а к так называемой тотальной мобилизации немцы приступили лишь за полгода до её окончания. У нас же она началась сразу, с сорок первого года… Да и как было иначе? Мы же три с лишним миллиона людей сдали немцам в первые же недели войны. За несколько дней столько провоевали.

Я недавно встретил женщину, она была в семье тринадцатым ребёнком, так у неё отца с войны обратно домой вернули. Это был первый такой случай, который я услышал за свои семьдесят шесть лет, — чтобы кого-то у нас возвращали с фронта обратно домой, к своей многодетной семье. Чаще было наоборот, по-другому… Мало того, что главу семьи на фронт заберут, так ещё и старших девчат погонят на завод к станку. Вот и загубили народ…

— Виктор Петрович, слушаю вас, а сам всё время думаю вот о чём: а не боитесь ли вы, что вас опять начнут обвинять — и в очернительстве истории, и в нелюбви к своему Отечеству, народу? Вот вы уже и Гитлера выделяете, заведомо зная к нему отношение миллионов и миллионов…

— А чего мне бояться? Стар я для того, чтобы бояться…Спрашиваю тут недавно одного мужика, который семнадцать лет гору Шмидтиху в Норильске ворошил, там вся эта гора стоит на костях: «Ты почему ж это за коммунистов голосовал? Понравилось?» — «А чёрт его знает, — отвечает, — боязно, наверное…»

Да об этом уже давно сказано в нашей литературе, и сказано прекрасно:

Люди холопского звания
Сущие псы иногда:
Чем тяжелей наказания,
Тем им милей господа…

Никто столько не написал, как сказали бы сейчас, «клеветы на русский народ», как гениальный русский поэт Николай Некрасов. Ну ладно там дворянчики всякие, тот же Лермонтов молодой или Пушкин — избалованный барчук. Но Некрасов… И с ружьишком ходил, и народ знал… Я вот его «Кому на Руси жить хорошо» недавно перечитал — потрясающая книга. Особенно глава «Про холопа примерного — Якова верного». Ну чем не ответ на ваш вопрос?

Я думаю, что всё это происходит от незрелости нашего народа, от отсутствия культуры, от его безнравственности. Ведь нравственность какая была в русском государстве? Государство крестьянское, а крестьянский двор — это государство в государстве. Почитали отца своего, а дальше — Боженька. Бабушка как даст по уху, что и с копыт долой. Вера-то на страхе держалась. Вот всего и боялись: что накажет Господь, урожая не даст, что сено замочит, что девку обрюхатят.

А тут и революция, она отбросила нас… Сужу об этом хотя бы по тому же искусству, с которым был вынужден пообщаться через журнал «Наши достижения». Это ужасно. Не поверишь, что у этого народа только что была великая литература, и более того — что она не кончилась, что она продолжается, что где-то во Франции и Шмелёвы всякие живут, и Бунины… И вдруг на этом фоне — такое революционное горлопанство.

— Но ведь были же и достижения, Виктор Петрович! В той же промышленности, наконец, взять хотя бы космос…

— А какой ценой? Я десять лет прожил в Вологодской области, и вот этот северо-запад страны — это наиболее несчастные области в России. Вологодчина, Архангельская и Костромская области, особенно Пошехонье — да там всё заросло, какой космос…

Такое впечатление, что главная наша миссия в двадцатом веке — это создание военной промышленности, что ещё больше озлобило и сделало агрессивным народ.

Сами-то комиссары в бой не ходили, но им это понравилось, и восемьдесят пять — девяносто процентов труда трудящихся аккуратно присваивалось государством. Куда всё это девалось? Пусть даже мы и помогали Кубе с Афганистаном и прочим там Йеменам. На это шла какая-то часть, а остальное?

Причём и строили-то у нас кое-как — люди на износ, особенно в медеплавильных, прокатных производствах. Города на износ, человек на износ.

Продолжительность жизни очень короткая, пусть не врут, что это сейчас только люди мрут. Здоровье нации давно надорвано, и в основном — промышленностью. Которую, как специально, засовывают прямо в город. Если, скажем, в Испании никто не имеет права строить завод или фабрику ближе чем за семь километров от дороги, при мне там митинги шли, чтобы выгнать за городскую черту фармацевтическую фабрику, то мы уже

давно перестали дышать нормальным воздухом и пить нормальную воду.

Вот я видел в Кёльне, например, в Германии: на окраине города стоит и работает нефтеперерабатывающий завод, так там даже дым не идёт из трубы, и трубы стоят покрашенные. И всего восемьдесят пять человек на смену выходит. Потому как современная техника.

А у нас металлургическая промышленность в стране была модернизирована в последний раз ещё тридцать-сорок лет назад, да и то, в основном, это Карагандинский да Кузнецкий металлургические комбинаты. А остальные—работают, считай что, на паре, на ещё дореволюционных технологиях. Чинят их, латают, гибнут люди. Вот я, например, в доменном цехе не раз бывал, жена-то у меня-то из металлургического городка,—там такие везде сквозняки в цехах! А не будет сквозняка—вообще задохнёшься. Откуда же будет у людей здоровье?

— И при этом ещё цепляются за своё рабочее место…

— А как же! Попробовали было как-то у нас убрать баб из вредного производства—им же рожать надо!—так они такой вой подняли, что только держись: а чем же тогда семьи кормить будем? У них ведь и зарплата повыше, и пенсия хорошая была… Что ж это—не стоит здоровья?

— Но ведь может быть ещё хуже!

— Наверняка будет. Я вот прочитал недавно, что делается сейчас на Украине—и как они управляются с последствиями чернобыльской аварии, и как закапывают отходы со своих атомных электростанций (чтобы не возить в Красноярск и не платить за переработку!). А четыре атомных подлодки, затонувших в Крыму! Да вся Украина давно уже поражена химией, и хватит одной только Украины, чтобы весь остальной мир паршой болел.

Та же картина и в России, если не хуже… Я был у Сагдеева, это было в восемьдесят седьмом году, потом он, академик Сагдеев, уехал в Америку, он занимался у нас этим вопросом и занимается. (Известный советский учёный-физик Роальд Зиннурович Сагдеев—из той плеяды советских учёных, чьё имя неразрывно связано с успехами отечественной космонавтики. Под его руководством были реализованы уникальные исследовательские программы на космических аппаратах серий «Космос», «Прогноз», «Интеркосмос», «Метеор», «Астрон», «Марс», «Венера», орбитальных комплексах «Союз», «Салют», а также ряд важнейших прикладных работ. С 1989 года он работает профессором Мэрилендского университета вблизи Вашингтона, возглавляет Центр научных исследований «Восток—Запад». Женат на внучке президента Дуайта Эйзенхауэра.—*В. П.*) Посидели, выпили немножко, ну, я и расхрабрился. Говорю ему: «Вот ты мне скажи, сколько нам жить осталось? Ты же всё знаешь, зараза…» Отвечает: «Вот если мы сейчас же все сразу поумнеем, да так, что всем миром начнём лечить и небо, и землю, и воду, то ничего, тогда ещё долго протянем. А вот если нет… Ну, тогда можем и четыре года прожить, и сорок лет, а может, и все четыреста. Всё, как говорится, в руках Божьих…» И мы что, поумнели?

— Может, кто-то и поумнел, только не у нас, в России…

— Вот-вот… Смотрите, как мы постепенно выкапываем свои ресурсы, как уничтожаем леса—стравливаем их шелкопрядам, разным там вредителям, и народ наш ведёт себя совершенно беспощадно и к фауне, и к флоре.

Приведу только один пример: когда-то у нас напротив Овсянки было прекрасное нерестилище налима, всегда можно было разжиться свежей рыбкой на уху. А закончилось тем, что приехал какой-то дурак с удочкой, и так ему понравилось дёргать из воды рыбу, что набил полную лодку налимом. «Что ты делаешь, бандит?—спрашиваем мы его.—Разве так можно? Сколько ж тебе рыбы нужно на уху? Неужели всё это сваришь?»—«Да нет,—отвечает,—на уху мне и нескольких рыбёшек хватит. Остальное—скормлю поросятам…» И всё: нет больше рыбы в налимовой яме, выловили всю. Все живут в России сейчас одним днём, от президента до вахтёра. Один тащит домой налимов, другой—ворует нефть, третий везёт из страны лес, золото, драгоценные камни…

А сколько было пропито и разворовано во времена Брежнева! Говорят, что одной только тюменской нефти было пропито на семьсот сорок миллионов долларов! Мне один немецкий миллионер тогда так и сказал: да за такие деньги, Виктор Петрович, я бы вам построил дороги по всей России! Да ещё б и золотые каёмки на них сделал.

Воруют в стране безбожно. Вот сейчас, пока мы с тобой беседуем, знаешь, сколько украли?

— Почему ж тогда у нас такая ненависть к богатым, если все воруют?

— А она не только у нас—так во всём мире. Просто таких богатых, как у нас, нет больше нигде. Вот я побывал недавно в Америке, так там средний класс живёт почти той же жизнью, что и богачи: лежат на одной лужайке, пьют из одной бутылки. А кто из них богаче другого—кого это интересует?

А у нас? Богатые только появились, а уже как они начали из себя изображать, Господи помилуй… Как они отделились от всех, от того же среднего класса, от народа. И хотят, чтобы их любили…

А их, богатых-то, нигде не любят. Я как-то в Финляндии купил одну газету и только развернул, чтобы посмотреть, как тут же подбежал ко мне финн и вырвал её из рук, истоптал всю. Я говорю ему: ты что, одурел, что ли? А переводчик сбоку: не обижайся на него, у нас восемь семей в Финляндии богатых, так вот одна из них и издаёт эту газету. Такая вот получается любовь…

— Так чем же всё-таки сердце успокоится, Виктор Петрович? Неужто всё у нас так безысходно? Неужто ничего светлого впереди нет?
— Почему нет? Верить надо… Я тоже бываю в полной прострации, когда подумаю: а что там у нас впереди? Мне, помнится, белорусский писатель Василь Быков, он сейчас живёт в Германии, как-то сказал, мы с ним тогда были в Испании: «Знаешь, Виктор, а я уже радуюсь иногда тому, что скоро умру…»
— Ну это уж совсем…
— Да ты погоди… Раз так человек считает, мнение его надо уважать. А я тебе ещё процитирую и знаменитую фразу из очень весёлого и замечательного фильма «Остров сокровищ», где Абдулов играет прекрасно Джона Сильвера: «Когда я возьму эту крепость, то тогда живые будут завидовать мёртвым». Ну, слова насчёт крепости мы опустим, а вот то, что живые будут завидовать мёртвым, оставим…

Какие амбиции, какой самообман в стране! Я думаю, что половина депутатов в Государственной думе—это нормальные и порядочные люди, но я никому из них не верю. Я, видимо, дожил уже до такого состояния, что никому больше не верю. Как говорил герой одного из моих рассказов: «Сам в себе начинаешь сумлеваться…» Вот я и «сумлеваюсь»…

Четыре поколения людей мы потеряли при советской власти, ещё два-три потеряем сейчас. А что дальше? Начнём сейчас детишек воспитывать трудом—может быть, и выживем. А не начнём?

Посмотри, какие сейчас лоботрясы живут на иждивении своих бабушек и дедушек или родителей—это тебе ни о чём не говорит? Или сколько бомжей шляется по городу, по тому же Красноярску?.. Ужас! Хотя добрая половина из них—это совершенно трудоспособный люд. Так почему же они не работают, а уходят на улицу, в эту грязь и в помои? Да потому, что семья требует ответственности: её нужно кормить, о ней нужно заботиться. А вышел на улицу—и сам себе господин. Он будет теперь опускаться, как попало существовать, лишь бы не работать…

Вот это всё и обнажила наша перестройка—всё, что раньше было прикрыто красными флагами, было прикрыто демагогией… Демагогия ведь была у нас страшная! Коммунисты злятся на эту власть, а народ злится на богатых.

Конечно, большинство из них ворьё, тут не поспоришь, но так было всегда, не мы тут первые, и, видимо, России нужно пройти через весь этот хаос. А ещё—очиститься от той скверны, которая к нам прилипла на протяжении всего двадцатого века.

Во многих странах Европы Бог и сейчас всё-таки присутствует, он и не уходил никуда, люди его боятся. А наши люди уже не боятся ничего—до такого состояния их довели Советы: ни тюрьмы, ни сумы, ни за жизнь свою не боятся. Если погибает одновременно сорок семь миллионов людей, чего уж тогда бояться? Видели всё…

Я на эту тему написал недавно «Затесь»: приехало к нам в Россию швейцарское ток-шоу, с разными там своими страшилками. Посетили провинцию: думают, народ повалит валом на всяких там ужастиков—людоедов, пиратов разных, из ноздрей которых дым идёт. Приехали и смотрят: а зал-то полупустой! И в зале—никакой реакции. А потом встаёт один мужичок и пропитым сиплым голосом говорит: «Халтура всё это». Почему? Да потому, что вся наша жизнь пострашнее всех этих шоу, вместе взятых, будет… Стоит только послушать или почитать.

Я вот только что закончил главу про Георгия Степановича Жжёнова, он тут у меня на днях в гостях побывал: с восемнадцати лет человека начали сажать. Ну чем не «шоу»?

Или вчера написал предисловие к книжке одного сараевского поэта: он что-то там написал против Тито в своё время, и тот его посадил. Так он там, в тюремной камере, за годы заключения не только выучил русский язык, но и перевёл всего Маяковского. А сейчас говорит: спасибо маршалу Тито, он меня культурным человеком сделал. А у нас не что писать—у нас дышать не давали! И самое страшное, что и на Лубянке, и на пересылке, и в лагерях—везде были свои русские люди. Из Тамбова, из Вологды, из Самары…

А возьмите наши дни: сейчас во многих регионах России отключают за неуплату электричество, люди замерзают в квартирах, болеют. А чем в это время занимается Государственная дума? Обсуждает, каким должен быть гимн у страны, какой—государственная символика… Ну, мы без этого просто жить не можем—без гимна и символики! Потому что все настолько «хомо совьетикус»—и «внизу», и «наверху»—что нам перво-наперво гимн подавай. А вот что мы завтра жрать будем—это никого не интересует.

Больше того: как только появится в России более-менее приличный руководитель, тот же царь, например, такой, как Александр Второй, так сразу же по всей стране митинги, восстания. И против отмены крепостного права восставали: как же это без барина, куда? И вот эта национальная дурь—до сих пор.

Сейчас вот только что по телевизору одну бабу показывали: я бы его убила, кричит… Да не должна женщина произносить такие слова! Она не для этого рождена на свет Божий, чтобы кого-то убивать. Если женщина произносит такие слова: «Я бы его убила!»—значит, её нужно вязать и везти в определённое место. А она сидит у себя на кухне и разоряется: я б его убила! Кого б ты убила? Ты, миленькая, рожать должна, а не убивать… А возьми ребятишек, которые до сих пор играют

у нас «в войну»! Уже и «живым» огнём стреляют: я тебя убил, ты меня убил… Не навоевались, что ли, за сто лет? Страшно слушать. Кому это нужно? Кого мы готовим?

Я вот тоже, видишь, наколку на руке сделал, когда служить во флоте собирался. Да не попал. А так—сгинул бы где-нибудь в районе Баренцева моря, как ребята с «Курска»…

Не загляни к нам Мария Семёновна и не напомни о том, что Виктору Петровичу давно уже пора принимать лекарства, мы бы говорили ещё и ещё. Чувствовалось, что Виктору Петровичу в эту нашу последнюю встречу с ним очень уж захотелось выговориться. Но надо было и честь знать.

На прощание я всё же не удержался и попросил Астафьева написать что-нибудь «для конторы», для читателей газеты «Трибуна», собственным корреспондентом которой по Красноярскому краю, республикам Тува и Хакасия я тогда работал. Всё ж таки читателям федеральной газеты, на мой взгляд, было бы небезынтересно его напутствие.

Виктор Петрович охотно согласился и через минуту вышел из кабинета (сидели мы с ним в гостиной), протянув мне листок с уже знакомым почерком наискосок: «„Трибуне“ меньше трибунить, а больше делом заниматься и не забывать о нас, живущих за горою».

Я было хотел переспросить его, как понимать это его «за горою», но не стал. По-видимому, он прав: народ у нас всегда, и в переносном смысле, живёт за горою…

А вот он, пожимая мне руку на прощание, от вопроса не удержался:

—Ты там смотри не наври особенно, когда будешь писать… Обещаешь?

—А то,—не задумываясь ответил я.—С чего это я должен врать? Я же на пермском радио не работал!

Астафьев даже крякнул в ответ от удовольствия…

Олег Павлов

Красная черёмуха

Красная черёмуха

С каждым днём всё красней черёмуха…
Вот ещё чуть-чуть—и пожар!
Всё скорее летит без промаха
В лузу запада солнца шар.

Осень в небе дырявит проруби…
Непонятной тоски крыло
Вырастает об эту пору—и
Подымает как помело.

Ни стряхнуть его, ни повыщипать—
А оно, вослед сквозняку,
Так и тянет по звёздам высчитать:
Сколько там ещё на веку?

И черёмуха, вызрев загодя,
Тянет гроздь до дрожи окон,
Предлагая задобрить ягодой
Деревенский злой самогон.

Тьма грозит коварной расправою,
Первой стражей острится лес,
И, закатываясь, кровавое
Божье око глядит с небес.

Про войну

По Вселенной тянется война:
Скрутится в какой-нибудь системе,
Смотрит—всё нормально, эти в теме—
И сыта отчалит, и пьяна.

Но одна система не даётся—
Там планетка крохотная бьётся,
Как сердечко, полное крови́,
Красненькая, хочет по любви.

На бедняжку
　　　　с бездной высоты
Коршуном
　　　　упала эта нелюдь—
На господ вооружила челядь,
Луны натравила на кресты.

И восстали пламенные массы,
И багровым пеплом полегли…

Та планетка называлась Марсом
И жила так близко от Земли.

Борис Тарасов

«Он… выпил Горе от Ума»

Из книги «Чаадаев» (М.: «Молодая гвардия», 1990. ЖЗЛ; вып. 670)

Поздравляем ректора Государственного литературного института им. А. М. Горького, философа и писателя Бориса Николаевича Тарасова с присуждением ему премии Правительства РФ в области культуры за 2013 год. Высокой награды удостоились книги писателя о Петре Чаадаеве и Фёдоре Тютчеве.

Редакция «ДиН»

В последние 10–15 лет жизни продолжало изменяться и мирочувствие Чаадаева, его взгляды, чему в немалой степени способствовало вращение во всех умственных кружках древней столицы, знакомство с новыми общественно-литературными тенденциями. Он — свой человек в маленьком доме на Садовой, по соседству с Сухаревой башней, окна которого в летнее время совсем закрыты от взглядов прохожих кустами и деревьями. В гостиной дома с изящной мебелью и цветами можно было увидеть чёрные фраки, белые галстуки, военные мундиры, открытые платья. Около дивана, где сидела хозяйка, кто-нибудь читал нашумевшую газетную статью или стихи. Кто-то листал разложенные на красивом инкрустированном столике журналы, альманахи и брошюры. Когда гостиная всё более наполнялась гостями, хозяин, Фёдор Николаевич Глинка, предлагал мужчинам пройти в кабинет, где начинались долгие разговоры и разгорались жаркие споры, но где не было, как в иных салонах, ни сигар, ни трубок.

Поэт Фёдор Глинка, герой битвы при Аустерлице, Бородинского сражения и заграничных походов 1813–1814 годов, один из первых учредителей декабристских обществ, вернувшись в 1835 году из ссылки в Олонецкую губернию после восстания на Сенатской площади, жил в Москве. Он был уже автором популярных песен «Вот мчится тройка удалая» и «Не слышно шуму городского», написал «Письма русского офицера», а в 1839 году издал «Очерки Бородинского сражения», вызвавшие известную статью Белинского, где выразилось так называемое примирение критика с действительностью, утверждался монархический принцип как стихия русской народности. Поэт разделял славянофильские воззрения, теснее сближался с профессорами Московского университета Погодиным и Шевырёвым, издававшими с 1841 года журнал «Москвитянин».

Среди новых друзей Глинки оказался и Чаадаев, о котором через несколько лет после его смерти Фёдор Николаевич писал М. И. Жихареву, благодаря за присланную фотографию кабинета «незабвенного и часто поминаемого Петра Яковлевича»: «У меня портрет Петра Яковлевича, им же подаренный, стоит в красном углу, а под портретом (для не знавших его) вместе с его аутографом помещены стишки, с которых копию Вам посылаю». Речь идёт об уже цитированном стихотворении «Одетый праздником, с осанкой важной, смелой…», где есть и такие строки:

> Но пил и он из чаши жизни муку
> И выпил Горе от Ума!..

Размышляя о накоплении неразрешимых противоречий в «чаше бытия», которые всё труднее выразить в слове и донести до сознания окружающих, Чаадаев и Глинка не могли не сравнивать теперешнее время пустосложных забот и устремлений с военными годами простых тревог и открытых чувств.

Конечно же, Пётр Яковлевич и Фёдор Николаевич в беседах не раз вспомнили и годы либеральной молодости, и ссыльных друзей-декабристов, связующая нить с которыми почти оборвалась.

Несомненно, что большая часть времени при встречах философа и поэта посвящалась текущим проблемам и интересам, о чём свидетельствует их неопубликованная переписка. Чаадаев с испытующим вниманием относится к стихотворениям Глинки, где используются библейские образы и сюжеты, и, не довольствуясь их слушанием на литературных вечерах, просит взять для прочтения.

Среди текущих интересов и проблем, занимавших и мыслителя, и писателя, немалое место уделялось вопросам, связанным с выходом нового журнала «Москвитянин». Идейным противником нового издания стали петербургские «Отечественные записки», где главной фигурой выступил

переехавший в 1839 году в Северную столицу Белинский, который не без влияния Герцена переиначил своё понимание гегелевской философии, осудил примирение с «гнусной действительностью» и перешёл к пониманию диалектики как «алгебры революции». Материалистические и атеистические воззрения темпераментного критика во многом обусловливали его упование на настоящие и будущие плоды западного просвещения в России в деле совершенствования как отдельной личности, так и всего человечества. Подобные воззрения и упования во многом предопределили либерально-прогрессистское направление «Отечественных записок», которому издатели «Москвитянина» пытались противопоставить христианскую философию, углублённое изучение национального прошлого и на этой основе отстаивать возможность самобытного развития русского будущего.

1 января 1841 года вышла первая книжка нового журнала, открывавшаяся исследованном Погодина «Пётр Великий», известным стихотворением Фёдора Глинки «Москва» и программной статьёй Шевырёва «Взгляд русского на образование Европы».

Возможно, в доме Глинки, как, впрочем, и в других домах, где бывали издатели «Москвитянина», Чаадаев обсуждал с ними исторические и литературные вопросы, и их отношения становились постепенно более тесными. «Они люди добрые и честные,—пишет Пётр Яковлевич А. И. Тургеневу, пожелавшему сотрудничать в новом журнале.—Шевырёв особенно совершенно благородный человек. То же можно сказать о Погодине».

Чаадаев благодарит последнего за подаренный билет на «Москвитянина», обещает ему попросить у Вельтмана черновые бумаги Ломоносова. Шевырёв добивается у Петра Яковлевича разрешения опубликовать какие-то документы, на что получает благоприятный ответ. «Наконец П. Я. Чаадаев разрешил печатание очень любезною запиской»,—получает Погодин сообщение своего соратника.

Внешнее участие Чаадаева в составлении журнала дополняется, если можно так выразиться, его косвенным присутствием в самих материалах. Так, не без ориентации на структуру размышлений в первом философическом письме упомянутая программная статья Шевырёва начиналась следующими словами: «Запад и Россия, Россия и Запад—вот результат, вытекающий из всего предыдущего, вот последнее слово истории, вот два данных для будущего». Внутренне полемизируя с автором «телескопской» публикации, Шевырёв указывает на симптомы разложения в западных странах: падение христианской веры в народе, отрыв философии от религии, анархия в обществе, издержки личной свободы, эгоизм, политиканство и т. д. и т. п. Россия же сохранила национальные начала, не создающие почвы для разрушительных принципов. «Тремя коренными чувствами крепка наша Русь и верно её будущее... древнее чувство религиозное, чувство её государственного единства и сознание своей народности».

Познакомившись с логикой рассуждений Шевырёва, Белинский писал в седьмом номере «Отечественных записок» за 1841 год: «Как можно писать и печатать подобные вещи в 1841 году от Р. Х.?.. Да ведь это хула на науку, на искусство, на всё живое, человеческое, на самый прогресс человечества!!!» Чаадаев, как известно, крайне отрицательно воспринимал идею самопроизвольного и самодостаточного прогресса, не выдерживающую, с его точки зрения, разумной критики. Ему ближе было религиозное направление «Москвитянина», воздействовавшее на изменение его сознания, но одновременно и не укладывавшееся в логику «одной мысли», «высшего синтеза». Эта двойственность и окончательная непрояснённость взглядов Чаадаева в отношении к славянофильству и западничеству, равно как и к выразителям иных тенденций в общественных устремлениях, будет существенно влиять на драматическое напряжение его последующей жизни, нередко разрешающееся едкой иронией. И чем сильнее становилась насмешка над слабостями тех или иных лиц и явлений, тем менее отчётливо формулировалась собственная положительная позиция.

Наталия Слюсарева

Поэма Горы,
или Тамбовский волк во Франции

Этой осенью в небесной канцелярии мне выписали пропуск в Париж на семь дней, почти «по делу срочно»: покопаться в архиве С. П. Дягилева в музыкальной библиотеке «Гранд-опера». Семь — магическое число: семь небес, семь братьев и самый экономный тур сроком на семь дней из предложенных местным агентством путешествий Кука. Ещё в Москве, размышляя о поездке, я представляла, что в Париже будет идти косой дождь, непременно с чего-то косой, ржавые, бургундского оттенка, листья с платанов закружатся в вальсе Равеля, а на повороте на одной из «рю» гордо выставится навстречу сквозняку жаровня на высокой треноге с семейкой круглолобых каштанов.

Всё так примерно и случилось. Многое восхитило в Париже, или Лютеции — первоначальное название города. И я бы поставила на первое место белоснежную сахарную Венеру Милосскую из Лувра, пропетую Праксителем или иным мастером, перед которой в очередь снялись трое удовольствовавшихся этим фактом японцев, ей по колено; роскошное фойе «Опера Гарнье», длинношеих гаргулий с Нотр-Дам и многое другое, если бы все архитектурные и скульптурные чудеса не перечеркнула встреча, случайная, с одним человеком.

Самых русских, то есть самых страстных, самых чувствующих, встретила в Париже в доме, за столом, на котором благородные твёрдые французские сыры. Среди гостей — французский славист, хранитель всего наследия русского зарубежья, профессор Ренэ Герра.

Через день приглашена Герра в гости в его дом на юго-западе Парижа.

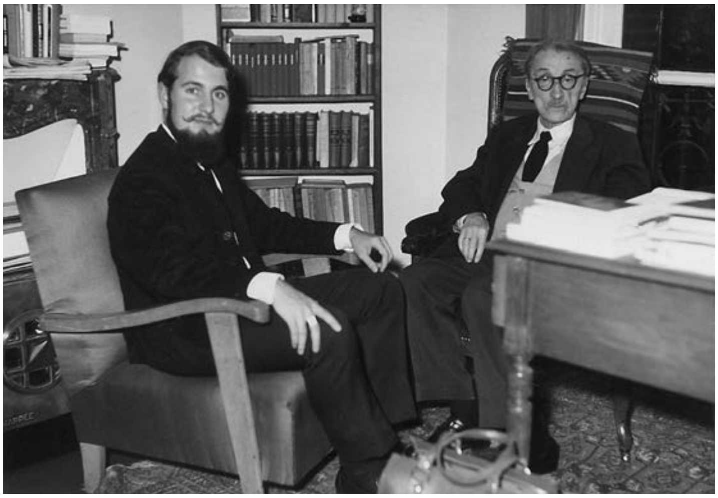
В первый свободный день шляюсь по Парижу куда ступит нога. Нога, не иначе как по детской любви, решила ступить на площадь Вогезов, прямо в мощёный двор короля Людовика XIII, на котором Арамис когда-то крепко придерживал каблуком своего сапога белоснежный, с вензелем, платок герцогини де Шеврез. С южной стороны — павильон королевы, напротив — павильон короля, сбоку, чтобы удобнее следить за тем и за той, — павильон маршала Ришельё. Ришельё — на конце «е» с двумя точками, чтобы не путать с вышивкой. Присаживаясь на скамейку, незаметно делаю лёгкий реверанс перед зелёным Людовиком на коне. Зелёный — оттого что бронза, на коне — оттого что воин и охотник. И сегодня на площади Вогезов весёлый сад под солнцем, но ничего от шляп и перьев, ничего от Ришельё. Рослая, спортивного вида, в джинсах и майке, мадам Бонасье гоняла по газонам ловко увёртывающегося от неё щуплого д'Артаньяна.

И всё же какой воздух! Совершенно чудесный. Конечно, не такой, как в Джанкое, но очевидно с привкусом моря, оное здесь и недалече, за сотню километров. Воздух делает антраша с реки на крыши и обратно.

Крыши Парижа — отдельная сюита: приподнятые высоким седлом, завёрнутые широким манжетом. С одного конца легко взлетает на крышу Фанфан подразнить шпагой капрала, с другого после рокового свидания с девушкой качнётся в сторону парижских крыш юноша от Кокто. Однако под скатной кровлей всё в теснинку. Теснит ли комфорт парижан память о Бастилии? Кстати, по отголоскам, в королевской тюрьме всё было достаточно просторно, а вот в Консьержери, где содержали Марию-Антуанетту, действительно тесно. Вдобавок по указанию Робеспьера специально был занижен потолок, чтобы последней королеве кланяться и наклоняться; правда, через определённое время он сам под этот притолок голову нагибал. Нет, всё-таки выбраться на крышу… Людовик XVI любил гулять по кровлям Версальского дворца, приставал к рабочим, просил дать ему починить какой-нибудь замок. Обожал замки.

С площади Вогезов сворачиваю в музей Клуни порадоваться на эмали и гобелены. Перед музеем — вензельный узор пейзажа из послушного низко стриженного самшита, что знаком по акварелям Александра Бенуа — моим первым окнам в Париж. Но я никак не ожидала, что в доме у парижанина Герра встречусь как раз с петербургским сиреневым ностальгирующим Бенуа, а не с жёлтым проказливым Лотреком. Густой синий лиможский и карминный гобеленовый бургундский щедро использовал Бакст, создавая эскизы костюмов к дягилевским балетам. На французском гобелене XIV века — обязательный сад с круглыми яблоками по веткам, в траве ушастыми

мячиками — пушистые кролики. В середине лужайки, шестом — белый единорог, символ верности и чистоты. Перед шатром — дамы; их сеньоры, мессиры, их короли Марки на охотах. С цветочного ковра лёгким вздохом, яблочком-туманом оседает на кроликов тоска Изольды по отсутствующему Тристану; рядом с вышитым подолом платья — верная собачка Пти-Крю. Эта лёгкая неудовлетворённость гобеленовой ниткой прошивает Париж во все века. Она — и в крое платьев Belle Epoque, и в портретах актрис «Комеди Франсез», и в вышивке жемчугом по китайскому мотиву Haute Couture.


Ренэ Герра, Борис Зайцев. Париж, 1967

Сегодня этот недоумённый, с привкусом обиды, флёр туманит лица парижан перед теми арапчатами, что призваны поддерживать светильники вдоль парадной лестницы «Гранд-опера», трудиться опахалом над царицей Савской. Арапско-арабский караван-сарай теснит гобеленовых дам к бургундскому шатру, прижимает уши кроликам. Но парижских кроликов так просто не засунешь в шляпу, они навострились пастись на аэродромных просторах; любезные кролики подрывают взлётную полосу аэропорта Орли, и шасси «боингов» очень просто проваливаются в яму.

Следующий день — солнце и ветер. Мсье Герра будет ждать меня у выхода из метро Mairie d'Issy. Он уже давно живёт по концам стрелок компаса: Ницца, Париж, Санкт-Петербург, Москва. Мне повезло, что в эти дни Ренэ — в Париже. «Бонжур» и «добрый день» — и я уже устремилась за ним, как кленовый лист, попавший в водоворот Сены, неумолимо, пропав в складках его плаща, за его дудочкой, уводящей за собой каждого, едва услышавшего первый звук. Ренэ стремителен и порывист, как парижский ветер. Он увлекает меня почти влёт на вершину холма, туда, где его дом. На первом же перекрёстке он вращает меня веретеном по часовой стрелке, быстро отмечая всё то парижское, что есть вокруг, что, в свою очередь, тут же вылетает у меня из головы. По правую руку он указывает на берёзовую аллею, берёзки на которой были высажены здесь очень давно, и тут же, не давая возможности на них полюбоваться, на бегу отмахивает рукой налево в сторону горбящейся вверх улицы, где жила Марина Цветаева. У Герра хранится письмо Цветаевой, в котором она подробно объясняет Владимиру Вейдле, как найти её адрес: «вот так, пройти мимо берёзовой аллеи и свернуть налево на rue Jean-Baptiste Potin». Я тотчас променяла бы всю берёзовую бересту на возможность взглянуть на дом Цветаевой, на котором, стараниями опять же Ренэ, была установлена памятная доска, но у нас нет времени. То есть у меня его сколько угодно — шесть дней, но не у Ренэ Герра…

Имя Ренэ достаточно редкое, я вот лично могла вспомнить только одного — последнего короля трубадуров, короля Ренэ из Прованса. В славянской традиции можно обращаться к профессору: Ренэ Юлианович, — возможно это будет ему любо. Как у нас в городе Петра когда-то обращались к зодчему Бартоломео Растрелли: «Варфоломей Варфоломеевич, вы не так изволили апсиду выложить…» Но мой собеседник совсем не подходит под исполнение арии короля Ренэ, внешне и по строю мышления он удивительным образом похож на русского барина расцвета усадеб, точнее — на Левина из романа Льва Толстого «Анна Каренина», да и по характеру — взрывчатая смесь противоречивых качеств чисто русского свойства: проницательный ироничный ум на страстность, распахнутость натуры, и — никаких компромиссов.

Но мы всё ещё карабкаемся на парижский холм, который достаточно крут. Ренэ летит, как стрела, пущенная лупоглазым Иваном-царевичем; пара минут — и мы останавливаемся перед нужной калиткой. Дом за оградой невелик, но живописен: сплошь увитый плющом замок с гобелена. Разумеется, это не «шатле» — замок и не средиземноморская вилла; скорее, павильон, то есть особняк. Одно окно выходит в сад — густой и частый, маленькая «оранжери» с черешневым деревцем, которое непременно даст урожай, отзвук вишнёвого сада. С утра хозяин работал в саду.

Его увлечение собирательством началось достаточно рано с открыток. Вот и на днях он выудил в очередном антикварном салоне «Vieux Papiers» — «Старые бумаги и книги» — несколько открыток с видами русских провинциальных

городов: Саратов, например, конец XIX века. Его русский — с детства. Первая учительница, Екатерина Леонидовна Таубер, поэтесса и педагог, осевшая в эмиграции на Лазурном побережье, взялась обучать двенадцатилетнего любознательного подростка русскому языку по-соседски. Русским он владеет столь совершенно, что порой закрадывается сомнение: говорит ли он по-французски?

Так вот, представьте, что в этом павильоне не Ришельё, а Герра, под парижской крышей «шапо» колпачком, собраны коллекции, которые встретишь и не во всяком столичном музее. Первое ошеломляющее впечатление — библиотека. В тёмных шкафах за стёклами — прижизненные издания Александра Пушкина, Г. Р. Державина с автографом, с автографами же собрания сочинений А. П. Чехова, Ивана Бунина, Ивана Шмелёва, Александра Блока, двести книг с дарственными надписями Бориса Зайцева и пятьсот — с инскриптами и рисунками Алексея Ремизова. Герра стал первым французским исследователем творчества Б. Зайцева; с 1967-го по 1972-й — год смерти писателя — его литературным секретарём и, конечно, другом. Через Зайцева он знакомится с самыми значительными писателями, поэтами и художниками первой эмиграции, такими как И. Одоевцева, Г. Адамович, В. Вейдле, Ю. Терапиано, Ю. Анненков, П. Мансуров, С. Шаршун, Л. Зак, М. Андреенко, С. Иванов, Д. Бушен, С. Эрнст, К. Беклемишева, Г. Кузнецова, Л. Зуров, В. Варшавский и др. Как упомянуто в вышедшей в Санкт-Петербурге в 2012 году книге «Серебряный век Ренэ Герра», его собрание (на сегодня самое большое в мире), посвящённое культуре русского зарубежья, насчитывает пять тысяч картин, сорок тысяч книг, из которых более десяти тысяч — с автографами.

Но вернёмся под крышу парижского особняка, в котором по стенам ковровой развеской — работы именитых художников, практически все — музейного уровня. Ещё не доверяя глазам, я перевожу взгляд с Константина Коровина на Валентина Серова, с Михаила Ларионова на Наталью Гончарову, с Юрия Анненкова на Сергея Судейкина и Сержа Полякова, с Михаила Добужинского на Сергея Шаршуна, с цвета-цветка Сергея Чехонина на коллаж Алексея Ремизова; а вот и Александр Бенуа. Под звон колоколов воочию поднимается из неведомых глубин заколдованный град Китеж, отсверкивая по куполам золотистыми искорками.

А дальше — совершенно неожиданное: на высоких полках — зелёные, цвета коры платана, узорчатые, с шутливыми, поучающими надписями штофы эпохи Александра III, белого стекла штоф «Александр Пушкин», выпущенный к столетию со дня рождения поэта; за штофами в ряд — поддужные колокольцы с валдайских троек, что своим чистым и сильным, на сотни вёрст, звоном пронзят любую метель, не дадут пропасть. Певкая,

Юрий Анненков. Портрет Ренэ Герра. 1970

с десятками оттенков, от серебряного до малинового, валдайская медь была знаменита на Руси с XVII века. По исследованиям биографов, тот же Александр Сергеевич Пушкин наездил под такими колокольчиками тридцать четыре тысячи вёрст.

Современный апокриф на тему метели: уже в наши времена где-то в глубинке, в пургу, под тучами на мутном небе, стал погибать один мужичок; и, памятуя, может, слыша от кого о святом Николае Угоднике, покровителе путешествующих, грохнулся он на колени посередь той степи и завопил: «Дядька, выручай!» Ну натурально в ту же секунду явился мужичок и вывел его из метели. А будь у бедолаги валдайский колокольчик под дугой — и незачем было бы угодника Божьего лишний раз беспокоить. На дуге той имеется ещё штучка невеликая, колечко, называется оно «зга»; в темноту колечка не видать, откуда и выражение: «ни зги не видно». И обо всём этом рассказывает мне в Париже профессор славистики шевалье Ренэ Герра, а я, представьте, ни зги не знаю. А что мы вообще знаем, допустим, об эпохе Александра III, кроме массивной статуи работы Паоло Трубецкого и выезда на Соборную площадь в образе императора в лубочном фильме нашего знаменитого кинорежиссёра, — о царе-миротворце, за время правления которого не погиб ни один русский солдат?

Кабинет хозяина, вытянутым пространством, в котором Ренэ работает за столом в торце, — не что иное как вагон поезда. Эти вагоны особенные — для главнокомандующих, в два направления. Для

полковника Романова: туда—в Могилёв, в Ставку, обратно—в Екатеринбург; для адмирала Колчака: туда—на Петроград, обратно—до станции Свято-Иннокентьевская под Иркутском, всё «по краю да над пропастью»…

Ренэ Герра—сам из стана белых. Это очевидно. Господи, да он просто провалился по колено в топь и отстреливается под музыку на Чонгарской гати. Плюётся свинцовыми пулями: «Сволочи, суки!..»—в сторону комиссаров. Он мстит за погубленные судьбы русских, за их опозоренные жизни. Тамбовский волк. Он перегрызёт горло каждому, кто посягнёт на русскую эмиграцию хоть словом, хоть делом не только в России, но и во Франции. Мне всегда казалось, что ненависть старомодна. Но в ауре Герра она убедительна. Он не прощает нищету Алексея Ремизова, болезнь Дмитрия Мережковского, тоску Ирины Одоевцевой. Белый единорог у своего походного шатра.

Сегодня в своем кабинете-вагоне Ренэ курсирует туда—в Россию, обратно—во Францию.

—Часто ли вы наезжаете в Россию, бываете в Москве, Петербурге?

—Нет, я не люблю столичных городов. Кострома, Ярославль, Углич, Саратов, Вологда—другое дело, настоящие города.

Ему не в столицу, а туда, за Урал, к Ермаку.

Ложатся в строку реплики генерала Чарноты: «—…Куда податься? В Мадрид, может быть? Испанский город… Не бывал. Но могу пари держать, что дыра. <…> …Каких я только городов не перевидал… Да, видал многие города, очаровательные города, мировые!

—Какие же вы города видали, Григорий Лукьянович?

—Господи! А Харьков! А Ростов! А Киев! Эх, Киев-город, красота, Марья Константиновна! Вот так Лавра пылает на горах, а Днепро, Днепро! Неописуемый воздух, неописуемый свет! Травы, сеном пахнет… И помню, какой славный бой был под Киевом, прелестный бой! Тепло было, солнышко, тепло, но не жарко…» (М. Булгаков, «Бег»)

Ренэ Юлианович работает за столом, пылает на закате. Вот сейчас ему принесут чай в массивном серебряном подстаканнике, о котором он тут же забудет.

—Когда я чем-то сильно увлечён, я могу не есть двое суток.

Он удивительно щедр на людей и, кажется, совсем не раздражается на то, что я похищаю у него самое дорогое для всех увлечённых—время.

—Кто же из наших соотечественников, с кем вы дружили, произвёл на вас самое сильное впечатление?

—Каждый по-своему, но самое сильное впечатление как личности оставили, пожалуй, Борис Зайцев, Юрий Анненков, Сергей Шаршун. Шаршун вообще был философом, мистиком, с очень тонкой духовной организацией. С ними со всеми было так интересно разговаривать.

С текстов рукописей, посвящений, фотографий продолжают с Ренэ Герра диалог те, кто отошёл от берегов Крыма на «Витязе», «Святителе», некоторые—посвящёнными ему стихами:

Что-то вроде России,
Что-то вроде печали…
(Мы о большем просили,
А потом перестали.)
Игорь Чиннов

Последним от пристани отходил пароход «Саратов»…

Сегодня дарственно и благодарно, в словах и красках, в своей новой, теперь уже вечной жизни они хранятся на его полках и абсолютно уверены в единении и сохранности собрания. Герра никогда не расстанется ни с кем из них—всё оттого, что он не коллекционер, а собиратель. Его путь и кредо—собирать. Собирать братию вокруг монастыря, собирать земли вокруг Москвы, собирать; как когда-то он собирал русских у себя на квартире в Медоне—«медонские вечера», устраивал ужины, воочию отогревая их старость, кого-то провожал и до погоста. День Герра бурлив, как местами течение реки: разобрать архив, выступить с лекцией, подготовить выставку, написать рецензию. Его работоспособность поразительна. Основные книги: «Они унесли с собой Россию…», «Когда мы в Россию вернёмся…», «Семь дней в марте»; о нём и его коллекции—книга Л. Звонарёвой «Серебряный век Ренэ Герра». На сегодняшний день им опубликовано более пятисот статей, посвящённых русской эмиграции, людям, которым Франция в начале XX века позволила—пусть даже как мачеха—где-то в тесной каморке, мансардном углу, но заниматься творчеством, продлить жизнь Духа.

Эта отдача была бы невозможна, если бы он не радовался каждому дню, не отдавался ему с такой полнотой. Повторим, он не коллекционер. Он—собиратель. Это другой статус. Благодаря его энергии и энтузиазму осуществляется великое вложение во всемирную копилку Русского наследия.

Уводящий веером рисунок брусчатки, течение Сены, меняющееся поминутно выражение лица Ренэ, когда глаза выстреливают фонтанчиками света—оттого, что слишком умный,—узор одного порядка. Очень французского. Всё—в берегах, и всё—в движении. Нет, это не слезливый холм под осенние листья Ива Монтана, а Гора, продуваемая ветром, сквозным, в сторону Франции и России, так нужным всё ещё—и верится, всем—ветром!

Юрий Беликов, Виталий Богомолов

Когда выгорают поля

Его «вхождение в литературу» началось со сказок Пушкина. Не потому ли он вёл меня по Перми в этот скверик на Сибирской, где замер бронзовый поэт в окружении своих сказочных персонажей? Правда, материализованные в бронзе сказки заметно мутировали под напором времени. Где меч у витязя «Руслана и Людмилы»? Где посох у царя, голова и шея лебедя в «Сказке о царе Салтане»? Где бесёнок из сказки «О попе и о работнике его Балде»? Спилены!

И всё-таки это был своего рода тест: у какой из сказок остановится писатель Виталий Богомолов, бывший маленький мальчик, запоем читавший сказки Пушкина?

Я не подталкивал его, чтобы сфотографировать у «выигрышного» сюжета. Богомолов «выбрал» сказку «О попе и о работнике его Балде». И хоть не было теперь между попом и работником олицетворения нечистой силы, с которой надо бы спросить со всей народной строгостью, русский писатель «принял» сторону работника, отвешивающего заслуженные щелбаны. Стопроцентное попадание в собственную творческую позицию!

— Виталий, каждый зрелый художник слова пытается найти определение, а может, оправдание смыслу собственного труда. Василий Шукшин (а ты — лауреат литературной премии его имени), помнится, определил свою линию так: «Нравственность есть правда». Шукшин умер в тысяча девятьсот семьдесят четвёртом, и если бы мог предугадать, какой правды мы потом нахлебались, возможно, поменял бы своё видение. А Богомолов не то чтобы опровергает Шукшина, но, как в шахматах, сообщает его формуле рокировку. «Правда есть нравственность» — так бы я очертил главную материю, которую вспахивает богомоловский плуг. Взять любую твою книгу — и «Глухариное утро», и «Дороже сказочных земель», и «Гонки на приз Содома и Гоморры», и «Тесными вратами», и «Старые русские», и «Молитва из маминого клубочка», и «Как тебя зовут?» — везде найдём прямую или опосредованную опору на посох нравственности. «Я тогда ещё не пила», — вздыхает героиня рассказа «Откровения Екатерины Михайловны Пирожковой». «И было это сказано каким-то особым тоном...» — замечает автор. Иногда даже кажется, что ты намеренно отбрасываешь в сторону художественность ради нравственной проповеди. Богомолова словно ведёт звучание его фамилии. Впечатление, что в какие-то моменты художник становится в тебе священником. Но не тем хитроватым попом из сказки Пушкина, а близким к русскому старчеству. И, по-моему, Богомолов этого не боится. Вообще, надо ли художнику опасаться превращения в проповедника? И чем продиктовано это превращение?

— Если человек не устремлён к духовному совершенству, если не движется он этим путём восхождения, то и жизнь-то его может не состояться. То есть по внешним параметрам — квартира, дача, автомобиль, банковский счёт — она, наверное, имеет признаки «состоятельности». А — по внутренним? Самое главное качество в человеке — это благородство. А благородство как раз и складывается из нравственных поступков. И ядро жизни — в нравственности и духовной чистоте.

Что касается фамилии, то — да: на уровне подсознания она всё равно в человеке работает. И, мне кажется, не надо бояться проповедничества. Вон Лев Николаевич Толстой — не нам чета, но он открыто проповедовал свои нравственно-философские идеи. А Достоевский? Я считаю, что писательское чутьё, подстёгивающее личность, диктует и форму высказывания. Когда мы в университете проходили «Войну и мир», мне запомнилось: «Хочешь узнать истину — сопрягай факты». Вот то главное, чему нас учила профессор Римма Васильевна Комина. И если ты чувствуешь, что к правде, которую ты хочешь высказать, ведёт единственная дорога и она «сопряжена» с тем, что надо поступиться художественностью, поступись ею.

— Я заметил, что герои многих твоих рассказов и повестей — люди пожилые. Если точнее — старики и старухи. В рассказе «Возле базара»: «...там живёт одна добрая старуха, выносит хлеб птицам...» Или — старушка в рассказе «Пауки», которая лелеет появившуюся у неё дома пару паучка с паучихой и переживает, что их выжег газом страдающий похмельем слесарь. Обычно своих героев ты называешь по имени-отчеству. Ту же Пирожкову Екатерину Михайловну, или если раскроем рассказ «Иван да Ольга», то там действуют

восьмидесятипятилетний Ивана Павлович и его супруга Ольга Фёдоровна. Почему писателя Виталия Богомолова привлекают старики и старухи? Может быть, потому, что, как в том же рассказе «Иван да Ольга», их часы показывают «неправильное», а то и вовсе «остановившееся» время — не то, которое течёт за окнами?

— В рассказе эти часы становятся своего рода метафорой жизни старшего поколения. А причина пристального внимания к нему, в некотором смысле, кроется в моей биографии. Когда в тысяча девятьсот восемьдесят втором году я оставил Пермское книжное издательство, потому что стоял перед выбором: или работать в издательстве дальше и зачеркнуть себя как писателя, или довольствоваться хлебом с водой, но отдаться творчеству, — я пошёл во вневедомственную охрану. Там зарплата — девяносто рублей. И работали, в основном, в этой «вохре» пенсионеры с маленькими пенсиями. В течение пяти лет слушая их исповеди, я ощущал, что за каждым из них — живая история нашей страны. И войну прошли, и голод, и репрессии. А поскольку слушателем я был отзывчивым, этих исповедей набралось на целую книжку «Старые русские». Есть же живые дети, которые даже не помнят отца с матерью и долг по отношению к ним! Нарушили они эту преемственность — вот и стала старушка находить утешение в общении с паучками. Это трагедия — остаться в таком возрасте одному, когда телефон будет молчать сутками, неделями, месяцами. Вот тогда и возникает чувство неутолённого одиночества. Поэтому мне всегда хочется вызвать сочувствие, чтобы окружающие, а особенно — более молодые родственники, задумались, что на старости лет человек особенно нуждается в моральной поддержке.

— Однажды, где-то в середине девяностых годов, общаясь с потомком славного рода Тарковских — прозаиком Михаилом Тарковским, давно перебравшимся в глухой сибирский посёлок Бахта Красноярского края, я показал ему твою прозу. И, прочитав твой рассказ «Ржавый крючок», который позднее был опубликован в «Литературной газете», он был несказанно удивлён. И я с Тарковским не могу не согласиться: «Ржавым крючком» ты зацепил душу не только деревенского, но и вообще — русского человека. Поэтому я хотел бы поговорить об этом рассказе поподробнее. Он по-бунински сжат, и там работает каждая деталь — вплоть до «самоковного гвоздя с широкой красно-бархатистой от ржавчины шляпкой». Пожалуй, только этот гвоздь, которым прибит ржавый дверной крючок от родного полуразрушенного дома, — вот и всё, что «сохранилось от прежней жизни». «Не оказалось даже пола в сенях» — не на чем было «утвердиться» человеку, приехавшему после долгой разлуки в деревню на похороны матери. И вот он ощущает «тишину, страшную до святости». И, будучи «мужиком крепкой воли», плачет. «Это были первые в его жизни слёзы после детства». Так заканчивается рассказ. А начинается он с того, что герой «прочувствовал на себе отношение к деревенскому человеку. Обидное отношение». Почему «обидное»? И насколько сохранился сегодня деревенский человек как собственно человек деревенский?

— Я уже со школьных лет помню, какое было брезгливое, пренебрежительное отношение со стороны государства к нам, деревенским. Дух этого презрения сквозил даже в истории, которую нам в школе преподавали. И мы себя чувствовали ущербными в сравнении с городскими жителями. Про обделённость я уж не говорю. Мы действительно были обделены в смысле культуры, внимания, дорог, транспорта и вообще социально-экономического положения. Понятно, что в деревне Большой театр не построишь. Хотя всё относительно, перетекаемо. В те глухие пятидесятые годы прошлого века в деревне Межовка Ординского района Пермской области, куда мы перебрались с мамой к бабушке (я — после детдома, а мама — после лагерей), отсутствовали электричество и радио, но в ней было три библиотеки!

— И ты пишешь в своей «Автобиографии», что «даже трактористы зимней порой приходили и брали там книги для чтения». Вот это «даже трактористы», если глянуть в кривое зеркало настоящего, несмотря на «брезгливое отношение» государства к тогдашнему деревенскому человеку, свидетельствует о том, что в этом человеке всё равно шла какая-то духовная работа, раз люди читали? Читает ли сегодняшняя деревня?

— В деревнях библиотек как таковых вообще не осталось. Разве что в поселениях. Где административный центр объединяет куст сёл и деревень, там ещё есть библиотека. Что касается вопроса о сохранении человека деревенского, то, по большому счёту, от этого человека остались маленькие осколки. Встречаются отдельные люди, которые тащат на себе крестьянский воз. Нынче вообще к деревне отношение плёвое. Может быть, ты читал в моём очерке «Поездка на исчезнувшую родину», что два-три века назад человек, обживаясь, буквально прорубался — просеку расширял, пни для будущих полей выкорчёвывал, землю обрабатывал, жилище строил, мосты возводил? Словом, расширял жизненное пространство.

— То есть занимался своего рода самосохранением?..

— Конечно! Сегодня — всё на парадоксе: дороги проложены, регулярное автобусное сообщение

существует, большой мир посредством телевизора вошёл в каждую избу, достал мобильник из кармана — и звони куда хочешь. Но пространство-то, обжитое вековыми усилиями, скукоживается! Поля заросли…

Вот сейчас, что ни год, от Владивостока до Уральского хребта полыхает вся Сибирь. Это же полыхают не только леса, а заброшенные, с травой выше человеческого роста, поля! Ведь не первый год горим! Но механизм-то простой: за два месяца до наступления весенне-летней поры (рекламу всё равно крутят на телевидении и радио) сделайте вы вставку, что грядёт такой-то сезон и будьте осторожны в лесу с огнём, берегите природу. Пропаганда нужна, промывка мозгов. Чтоб люди думали не о топ-моделях и прокладках, а о сохранении природных богатств. В «ненавистные» советские времена идеология всё-таки заботилась о человеке и работала на его созидание, чтобы духовно-нравственный минимум в нём присутствовал. Государство рассыплется без этого необходимого минимума!

Вот сейчас я, переваливший свой шестидесятипятилетний рубеж, могу сказать: для моего государства я всегда был неодушевлённым предметом. Захотят — сюда поставят, захотят — переместят. На заводе ли я работал, служил ли в армии, я не мог принадлежать сам себе. Государство распоряжалось мной, как вещью. А сейчас оно не то чтобы мной не распоряжается — я государству сейчас просто не нужен! Ни я, ни земля. И что чувствует в этой ситуации крестьянин, когда земля, получается, не нужна? Какая у него душа? Да она выгорела вместе с этими полями! Выжжена пожаром и техническим спиртом, который до определённого времени тёк в деревню рекой. Причём люди-то с него не пьянели, а дурели. Сколько в связи с этим погорело, потопилось и порезало друг дружку! Как в стихах убиенного пермскими отморозками Коли Бурашникова, который одним из первых почувствовал мучительную деградацию сельского человека:

> У нас в посёлке жили весело:
> два — застрелилось. Семь — повесилось.

И теперь (о чём ты верно говоришь) подлинного крестьянина почти не осталось…

— В своём очерке ты даёшь такое определение нынешнему состоянию сельской жизни: «…никто не хочет понимать, что крестьянство — это ноги государства, на которых оно стоит. Проблема земли, производства продовольствия — это проблема государственной безопасности». Не кажется ли тебе, что, в свете сказанного, нынешние управленцы, некогда вышедшие из сферы государственной безопасности, от этой самой «государственной безопасности» безмерно далеки?

— В том-то и дело. Но тут есть одна особенность. В тысяча девятьсот восемьдесят седьмом году тяжело заболела моя мама. Я рассчитался с работы, приехал в деревню, чтобы за ней ухаживать. А у мамы — хозяйство: корова, куры, телёнок. На огороде нужно картошку сажать. Печь топить каждый день. И всё — на меня. Помню, первый раз корову подоил — на другой день пальцы не разгибались. Я потом прикинул: тыщу, наверное, движений надо было сделать. Но после наловчился — и три месяца доил корову.

Вот тогда-то на собственной шкуре я впервые почувствовал, что, вышедший из деревни, я деревни-то и не знаю. К чему я это всё говорю? Они там, за пределы Садового кольца, бывает, не выезжающие, откуда могут знать деревню изнутри? Поэтому все решения, которые в Москве с кондачка по поводу села принимаются, настолько далеки от реального расклада деревенской жизни, что никакой надежды на её возрождение нет. Надо собирать информацию снизу, чтобы в этом было задействовано наше земство, о чём ещё давным-давно твердил Александр Исаевич Солженицын. Но ни заветов Солженицына, ни Земские собрания сегодня никто не слушает. Решили в Кремле — и баста. У крестьянина ещё и поэтому возникает чувство ущербности, что с ним элементарно не считаются.

И не только — с крестьянином. Вот сейчас бросили миллиарды рублей на проведение Олимпиады в Сочи. Факелоносцем стал едва ли не каждый второй житель РФ. Спорт затмил всё. Хлеба и зрелищ! Бьюсь об заклад: этот наш период, только в ещё более уродливой форме, напоминает эпоху падения Римской империи, когда, кроме жратвы и наслаждений, людям, казалось, ничего и не требуется.

— Я сейчас вспомнил эпизод примерно тридцатилетней давности, когда один довольно известный ныне человек, впоследствии пребывавший в ранге федерального министра, едва ли не слёзно просил меня, как журналиста, возвысить голос в поддержку закрываемых школ карате. Слава Богу, я его не возвысил! Потому что сегодня вижу: всё заполнено, включая помещения и мозги, боевыми искусствами. Но, хоть и в их названии заключено слово «искусство», к духовной составляющей они вряд ли имеют какое-то отношение. Как вариант самозащиты в мире озлобленных людей? Возможно. Но — в противовес огромному количеству центров боевых искусств — в каждом крупном городе налицо сворачивание центров культуры: музыкальных школ, кружков художественной самодеятельности, библиотек. И это — опасный симптом…

— Очень опасный! Хорошо, что не заступился в своё время за карате и, стало быть, не несёшь сегодня морального груза за его геометрическую

прогрессию. Мы не можем изменить мир, но можем не принять участия в его игрищах. Да, с одной стороны, в этих кружках боевых искусств вроде бы происходит какая-то самореализация молодых людей, снятие социального напряжения, а с другой, они превращаются в школы по взращиванию агрессии. Конечно, если ты вышел на ринг и если у тебя нет агрессии, то нечего и браться. Ты, я знаю, любишь бокс и великолепно разбираешься в нём, и у тебя есть прекрасные стихи на эту тему. И нашему нелюбимому с тобой Рикки Хаттону, побультерьерски «изжевавшему» Костю Цзю, в итоге поделом вложил Флойд Мейвезер-младший. Но ты абсолютно прав: на фоне роста боевых кружков и бойцовских клубов сворачивается гуманитарное направление. И беда в том, что если всех юношей и девушек будут пропускать через кружки карате, мы можем потихоньку превратиться в монстров.

— В одном из своих стихотворений ты пишешь: «На мне особая печать». И добавляешь: «Но что же мне о том кричать?» А в рассказе «Мария, я с тобой еду!» богомоловский герой Пётр Андреич, глядя на «яркую горбушку ущербного месяца», приходит в восторг, потому что «в связи с окончанием века подобные картинки невольно воспринимались мистически». Как проявляется это мистическое начало, эта «особая печать» в жизни писателя Богомолова?

— Там ведь, в приведённых тобой строках из стихотворения, есть продолжение: «Рожденьем я обязан зоне». Однажды я задумался на сей счёт: не оттого ли во мне чувство ущербности? Это тяжкий груз сознания и подсознания — нести через всю жизнь память об «особенности» своего рождения. И хорошо, что мама моя не дожила до реабилитации — умерла она в тысяча девятьсот восемьдесят седьмом, а реабилитировали её в девяносто втором. Если бы её при жизни реабилитировали и она бы снова окунулась в то, что пережила за эти десять лет унижений в лагерях, это была бы жуткая трагедия. И этот подсознательный груз, с которым я живу, всё равно надо мной довлеет — в творчестве в том числе. Чувство гнёта какого-то. Мать, кстати, я никогда об этом не расспрашивал. На уровне интуиции понимал, что нельзя ковыряться в душе. Лёнька Юзефович мне как-то говорит: «Слушай! Материал-то какой! Надо, наоборот, как можно больше узнавать и расспрашивать». А я — никак. Но сейчас думаю, что я был прав. Унесла мама с собой эту тайну и подробности, на которых, наверное, можно было «творчески» спекулировать.

А мистическое начало?.. Помню деревенскую избу, где не было не только электричества и радио — даже часов. Старшая сестра моя, когда начала работать, первое, что сделала, это купила часы-ходики с изображением медведицы и трёх медвежат с картины Шишкина. Но в красном углу была божница, где стояли старые, почерневшие иконы с ликами Иисуса Христа и Богородицы, которыми, я думаю, бабушку благословили, когда она замуж выходила. И не было ни одного вечера или утра, в которые бабушка, ложась спать или, напротив, проснувшись, не помолилась бы. Видимо, это действовало на меня на уровне подсознания.

Лежа на полатях, я любил глядеть на иконы, наводившие на меня оторопь. Но, что интересно, особое впечатление производила иконка величиной с эту мою книжонку: здесь стоит Симеон праведный, верхотурский святой, ведёрко у ног его, речка, а за речкой — храмик. И вот этот беленький, стоящий в отдалении храмик рождал во мне какое-то необыкновенное, таинственное чувство. Потом-то я это всё сложил: Верхотурье — место, где находился мой детский дом. Святое место же! Ныне очень почитаемое — туда паломники чередой ездят.

— «Он почувствовал, что душа его вбирает теперь в себя минуту, которая умудряет разум на все остающиеся годы жизни». Это откровение, к которому приходит в рассказе «Ржавый крючок» Виталий Богомолов. И оно говорит о том, что у него — далеко не календарное отношение к Времени?

— Это так. Иногда минута вмещает больше, чем год. И здесь, в этом рассказе, именно такой момент мой герой и переживает, когда весь накопленный в нём опыт подобен калейдоскопу: чуть поверни — и рисунок полностью меняется. Через этот ржавый крючок (почему он и вынесен в заглавие) за одну минуту сместился весь калейдоскоп жизни. По сути, она оказалась равновеликой всей жизни моего героя. Весь накопленный на уровне подсознания опыт общения с предками и другими окружающими его людьми, все жизненные наблюдения, которые когда-то ему были даны, в одночасье перевернулись, выстроились и сработали! Личность сформировалась, можно сказать, в эту минуту. Особая личность — с другим отношением к жизни. Потому что мать похоронил…

По себе могу сказать: пока мать жива, мы, дети, чувствуем её защиту. Над нами — колпак Вселенной, где есть только один выход в открытый космос, и мать его заслоняет. Как матери не стало, ты понимаешь степень своей утраты и осознаёшь, что на её место уже становишься ты сам. И ты уже защищаешь собой образовавшийся разрыв в этом колпаке. Ты теперь загораживаешь собственных детей от всех невзгод Вселенной.

— Ты слышишь голоса ушедших — матери, которая, как ты сам пишешь, была арестована «за язык», что на языке тогдашнего УК означало «пропаганду или агитацию к свержению, подрыву и ослаблению советской власти»; ты слышишь голос Михаила

Окунцева, который не дал тебе в детстве утонуть в реке, а сам впоследствии сгорел от водки и «ждёт спасительных словес».

— Я чувствую, что они нуждаются в моей молитве, потому что ушедшие на тот свет за себя уже не могут никак постоять, и мы здесь остаёмся ответственными не только за тех, кто вокруг нас, но и за тех, кого с нами нет. Мы в этом смысле многое можем сделать для них. Я в том нисколько не сомневаюсь.

— С одной стороны, он, если смотреть по-земному, был грешником. А с другой — ты обязан ему своей жизнью…

— Конечно! Я должен молиться. И даже знак в этом вижу, что сейчас я должен помочь ему через свою молитву. Я Михаила поминаю как благодетеля очень часто. Потому и написал:

Быть может, в том и промысл Божий:
Не дал мне Мишка утонуть,
Чтоб я в своих молитвах тоже
Ему мог руку протянуть.

И за маму молюсь. У меня есть рассказ «Молитва из маминого клубочка». Так же называется и книжка. Ещё в тысяча девятьсот шестьдесят девятом году, в самую атеистическую пору, провожая меня в армию, «мама навила этот клубочек на бумажку, где её рукой была написана молитва, в эту бумажку был завёрнут крохотный алюминиевый образок — простенький медальон с изображением Богородицы на одной стороне и Николая Чудотворца на другой». И клубочек этот с маминой молитвой Животворящему Кресту я берегу до сей поры, потому что он спасал меня не раз от реальной смерти.

— Ты — человек, «от природы ранимый», о чём ты сам пишешь в своей «Автобиографии». Я, кстати, не считаю это недостатком, потому что нынче во всех сферах бытия — засилье толстокожих. Но меня удивляет другое: как, при ранимости (а писатель, на мой взгляд, только таким и может быть), ты не ожесточился, сохранив иногда даже ошарашивающую окружающих юношескую восторженность перед кажущимися мелочами жизни, состоящими из человеческих поступков, слов, пейзажей? Откуда это?

— Чувство прекрасного — вне нас, оно существует объективно. Я часто об этом размышляю. Когда выезжаю на дачу, а она у меня — на слиянии Камы и Чусовой, то выхожу обычно рано — часов в пять утра. Первые птичьи голоса слышны уже через полчаса. Идёшь с электрички до дачи два километра и думаешь: «Какая красота в Божьем мире! Какая благодать!» И самое гнусное существо в этом мире — человек, высшее, казалось бы, творение. Но представим всю эту необъятную Вселенную без человека. Да она будет пустой! Вот почему душа человека дороже всех сокровищ мира. Я дерзну даже сказать, что без человеческой души теряет смысл Божье могущество. Тогда Бог будет не нужен. Без человека Бог — сам для себя. А через человека Бог обретает свой высший смысл, своё беспредельное могущество. С другой стороны, без Бога человек — бессмысленная космическая пыль.

— Я однажды пришёл к формуле, что человек привнесён в земную природу — его природа другая. Он сюда внедрён и потому отличается от всего этого прекрасного мира, рая земного. Не случайно у поэта Игоря Шкляревского когда-то родились на сей счёт строки: «Люблю озёра без людей!»

— Глубокая мысль. Да, с одной стороны, человек — высшее творенье Божье. А с другой — такое дьявольское в себе несёт начало, что только диву даёшься! Много уж в нём разрушительного. А восторженность моя — от этой красоты. Это ж тоже своего рода молитва. Восхищение — хвала Богу. И если не будет человека, осознать-то эту красоту будет некому!

— Виктор Петрович Астафьев мне как-то говорил, что у писателя всегда должна быть под подушкой заветная рукопись. Есть ли у тебя такое произведение?

— «Душа плачет». Есть у меня повесть с таким названием. Как-то мы сидели-общались с Толей Гребневым, замечательным русским поэтом, остро ощущающим слом русского бытия и написавшим: «На берегу пустом, / Лица не открывая, / Сижу и плачу я / На берегу пустом», — и он рассказал мне один случай. У них в вятских краях был мужик, который во время войны дезертировал и прятался. И жена его в половодье ходила кормила, промокла вся и продрогла — и заболела. И он из леса вернулся в дом, чтобы ухаживать за ней. И она умерла. А он в подполье сидит, а наверху жену его любимую бабы поминают — пьют над ним брагу. И я представил весь ужас этого человека. И это меня так потрясло, что я написал повесть. Гребневу потом дал прочесть. Он говорит: «Я не думал, что из такого пустяка может такая повесть родиться!» Я долго мучался — не знал, как её закончить. В доме престарелых умирает восьмидесятитрёхлетний старик, к которому за десять лет не пришло ни одного письма, и просит пригласить на исповедь священника. Директор дома едет в ближний монастырь, привозит священника и наказывает дежурной, что, пока батюшка не выйдет, туда не суйся. Проходит час, другой. Священник всё не выходит. Наконец является и говорит: «Преставился раб Божий Пётр…» Директор недоумевает: «Какой Пётр?» Все знали, что старика зовут Роман Аркадьевич

Петухов. Потому и «Душа плачет». Это не только слёзы горечи, покаяния, но и искупления.

— Если на шестидесятипятилетнем рубеже попытаться взглядом окинуть собственное творчество, как бы ты определил: что тебе удалось сделать за это время?

— Я думаю, на фоне той великой Джомолунгмы русской литературы, на вершине которой сияют такие незабвенные имена, как Гоголь, Чехов, Достоевский, Булгаков, Шукшин и Астафьев, что там удалось Богомолову?.. У Тютчева есть замечательные слова, родившиеся тремя годами раньше общеизвестного: «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся…» Это четверостишье почему-то никогда не приводят:

Когда сочувственно на наше слово
Одна душа отозвалась,
Не нужно нам возмездия иного,
Довольно с нас!

То есть проблема — собственной предназначенности и оправдания сделанного — Тютчева мучила постоянно. Тютчева! Но если хотя бы «одна душа отозвалась», то и этого «довольно». Когда мы речь заводим о великих святых, то ведь у каждого из них — один-два ученика, не больше. И если, дай Бог, один-два настоящих читателя со-чувствием (через дефис напишем это слово!) откликнутся на наше творчество, если они со-растворятся душами с твоею, этого действительно уже «довольно».

Д*и*Н юбилей

20 лет журналу

Елена Крюкова

В полёте днём и ночью

Журнал — как большая мощная сибирская река. Как Енисей; и Красноярск гордится им, как Енисеем, благо он на виду у всей России.

«День и ночь». Вечный дуал: белое и чёрное, мороз и огонь, жизнь и смерть, война и любовь.

Для меня Красноярск — заповедный, заколдованный, волшебный город.

Отсюда родом мой муж, прекрасный художник Владимир Фуфачёв. Его старинный казачий род, его сила художника, его колоссальное жизнелюбие, его полотна — то, что мне Бог отпустил, — заслуженно или нет? — но я приняла этот дар и лелею его.

Здесь, в Красноярске, живут наши с Володей друзья.

И здесь — журнал, знаковый для меня, любимый, который вывел меня в свет — заново, за руку, привел в литературу после большой паузы (никто из нас не застрахован ни от молчанья, ни от осмысления прожитой жизни…) — и представил публике, читающей современную русскую прозу.

Журнал — всероссийский. Журнал — безумно интересный. Журнал — соцветие имён, сразу же привлекающих к себе внимание читателей, критиков, литераторов.

Журнал, прежде всего требующий от своих авторов и своих произведений — при всём их стилевом, духовном, жанровом, композиционном разнообразии — лишь одного, главного: чтобы они были *живые*.

Павел Чичиков искал мёртвые души, а «День и ночь» ищет души живые.

Поэтому каждый номер — сундук с драгоценностями; открывай и любуйся, выбирай любую по душе, по сердцу.

Музыка должна идти от сердца к сердцу — так сказал когда-то Людвиг ван Бетховен.

Литература — по возможности — тоже. Искусство — это чувство, как ни пытаются его у искусства отнять. Умозрительные вещи живут однодневно. К вечному люди припадают, охваченные жаждой человеческого и человечности, в любые времена.

«День и ночь» — это нынче и всегда. Это время и вечность.

Низкий поклон главному редактору, Марине Саввиных, за её тяжёлый и радостный труд создания *такого* журнала.

И ещё мой авторский земной поклон — за мои «Смерть Джа-ламы», «Коммуналку», «Меч Гэсэра», «Русский Париж», что впервые увидели свет в «Дне и ночи».

Живи, журнал России! Пусть под твои широко раскинутые крылья слетаются новые птицы. День — для полёта, ночь — для раздумий.

И мы все будем, закинув головы, следить, как высоко наши птицы летят.

Над Красноярском. Над сильным ледяным Енисеем. Над Сибирью. Над всей Россией.

К 75-летию автора

Александр Щербаков

Зато ходил гусаром

Из рассказов-воспоминаний

Довольно, Ванюша, гулял ты немало,
Пора за работу, родной…

Н. Некрасов

Как ни тяжелы, ни мрачны были годы, на которые выпало наше детство и отрочество, всё же мне из прошлого больше вспоминается светлых картин, событий и людей. Именно о них прежде всего написал я свои книжки, прозаические и поэтические. Но сколько ещё подобных воспоминаний хранится в моей памяти, согревает душу и порою просится на бумагу!

И пёс рядом нёс

Взять хотя бы то же приобщение к крестьянскому труду, постепенное, естественное, совершаемое исподволь. Этого ведь не заменишь никакими нарочитыми беседами, уроками труда и кружками «умелые руки». Без всяких теорий воспитания трудолюбия родители наши понимали, например, что у ребёнка, кроме обычной, возрастной «службы» на посылках и побегушках, должно быть своё посильное дело, своё «постоянное поручение».

Вот, положим, я, крестьянский отрок, зимою отвечал за уборку коровьих и овечьих стаек, за смену соломенных подстилок для животных в хлеву и пригонах. А летом обязан был каждый день «накачать» из колодца воды для полива две-три кадки, стоявших в огороде, помимо того, что и наполнение домашней кадки-водянки всегда было за мной. А поливать и полоть грядки, делянки и парники нам уже поручалось вместе с сестрой Валей, и здесь хозяйничала она, а я был лишь подручным. Родители с пашни возвращались поздно, однако проверить нашу работу не забывали. И попробуй не выполни урочное задание… Впрочем, мы выполняли их, как говорится, не за страх, а за совесть.

Ну и, разумеется, полностью на мне лежали хлопоты по уходу за собаками и собачатами. И когда я в сумерках прибегал с улицы, вдоволь наигравшись с друзьями-сверстниками, то отец непременно спрашивал меня не только о том, ладно ли я запер на ночь ворота, но и накормил ли Борзю, Шарика, Соболя — моих подопечных «братьев меньших», живших в разные годы.

Собаки были настоящими друзьями моего детства. Они с готовностью приходили на помощь в разных делах, отрабатывая кусок хлеба, получаемый из моих рук. Особенно усердно служил Соболь, сильный и умный кобель. Он при надобности не чурался даже и упряжки. В отличие от пушкинского «дворового мальчика», который играл на снегу, «в салазки Жучку посадив, себя в коня преобразив», мы своих Жучек и Шариков пробовали самих запрягать, «преображая» в лошадей. Но, признаться, не всегда и не со всеми это получалось. Многие собаки упорно сопротивлялись такому ущемлению свободы либо оказывались слишком малосильными, чтобы тянуть салазки, особенно если на них пытался присесть юный хозяин.

Мой же Соболь, для которого я смастерил специальную упряжь — мягкий тряпичный хомут с постромками, свободно возил меня по двору и по улице, на зависть моим приятелям. Но, правда, делал это лишь под настроение. А ежели бывал не в духе, то быстро «выпрягался» — упрямо садился перед санками и, постукивая хвостом, объявлял сидячую забастовку.

Точно так поступал он и при выполнении других работ, предлагаемых мною. Помню, например, как я пытался сделать из него вьючное животное. Однажды в сентябре, когда мы с матерью и сестрой Валей заканчивали копать картошку в огороде, я, не слишком-то любивший эту нудную и в буквальном смысле «пыльную» работёнку, вызвался таскать подсохшие клубни из бурта в домашнее подполье. Мать восприняла такую инициативу без особого восторга, видимо, не очень веря в мои отроческие силёнки, но, подумав, разрешила перейти в грузчики. Тем более что отец, по горло занятый бригадирскими хлопотами, обещал подъехать только к вечеру, чтобы помочь с перетаскиванием картошки, а уже теперь, чуть за полдень, погода начала портиться, по небу заходили тучи, грозя пролиться дождём и намочить собранный урожай.

И вот я с радостью взялся за настоящую мужскую работу, хотя она оказалась не из лёгких.

Я набирал в мешок пару вёдер картошки, взваливал на плечо и трусил к дому, чтобы там, в углу за порогом, высыпать её через специальный люк—в подполье. Соболь сопровождал меня в этих рейсах, семеня сбоку. И вскоре мне пришла в голову мысль приобщить его к новому делу. Я захватил второй мешок. В свой, как обычно, набрал два ведра картошки, а в другой—наполовину меньше, завязал горловину его, раскатал клубни по концам и возложил груз в виде этаких перемётных сум на спину Соболю. Он покосился на увесистую ношу, однако без особых возражений понёс её, по-прежнему топоча рядом со мной. Естественно—под одобрительные возгласы сестры и матери.

Общая производительность нашего труда заметно возросла. Соболь перетаскал таким манером не менее десятка вёдер. Однако потом без всяких объяснений уклонился от сотрудничества. И когда я, опростав очередной его мешок, вернулся из избы на крылечко, возле которого Соболь прежде поджидал меня, то четвероногого друга на месте не нашёл. Слинял-таки помощничек мой. Пришлось мне одному довершать отгрузку урожая «второго хлеба» в семейные закрома.

Но это, конечно, всё же дела на уровне забав и полуигр. Из тех, о которых, если продолжить строки, взятые эпиграфом к нашему разговору, поэт заметил, что «труд обернётся сначала к Ванюше нарядной своей стороной». Но далее за ними следовали уже занятия более практичные, серьёзные, как домашние, так и общественные, колхозные, к которым нас, крестьянских детей, терпеливо и методично приобщали взрослые. Сначала, разумеется, на подсобных ролях, «на подхвате», но постепенно, давая возможность проявить себя, доверяли и самостоятельные дела под свою ответственность.

Всех забот, хлопот и страд в сельском хозяйстве перечислить невозможно. Крестьянин, как известно, работы не ищет, она его окружает всегда и всюду, и зачастую ему без помощников обойтись трудно. Потому-то с самого, что называется, нежного возраста мне, подобно всем крестьянским детям, пришлось участвовать в этих бесконечных заботах-работах—от какой-нибудь заурядной пилки-колки дров и укладывания их в поленницы до «рубки» сиплоголосых осенних петушков или… стрижки домашних овец. Да, мне находилось дело даже и здесь. Во время этих стрижек, которые проводились обычно в бригадном дворе, я помогал отцу вылавливать в общем стаде наших старых овечек и молодых, подросших за лето барашков и ярочек. Мы определяли их по «фирменным» меткам на ушах (помню поныне: иверень плюс две зарубки) и затем волокли на длинный дощатый стол-верстак, за которым ловко орудовали овечьими ножницами стригали, большей частью женщины, в том числе моя мать и старшая сестра Марфуша.

Экзамен на «пастыря доброго»

О каждом виде работ и ремёсел, о приобщениях к ним вполне можно бы написать отдельный рассказ или очерк, ибо приобщения эти, как и всякие новые познания и открытия в юные годы жизни, особенно памятны нам. Выпуклыми и подробными картинами они встают перед глазами, свежо и остро отзываются в сердце воскрешёнными чувствами и переживаниями.

К примеру, с теми же овцами у меня связаны воспоминания не только о пёстрой, шумной и даже весёлой кампании—стрижке их, похожей на сельский праздник, но и о печальной (хотя и, увы, необходимой) процедуре заклания обречённых «голов» после осеннего разбора общего стада по крестьянским дворам. Проще сказать, о закалывании, забое валушков и отбракованных овечек «на мясо» и ради получения овчин, в процессе чего мне также приходилось бывать помощником. И это тоже, наверное, могло бы стать предметом описания со своими деталями, красками и переживаниями. Но мне доселе с особенной живостью вспоминается иное, а именно то, как я впервые пас деревенское овечье стадо…

Весною, по первой траве, до найма постоянного пастуха на очередной летний сезон, как правило, человека опытного в этом деле, у нас домашних овец пасли сами селяне. По очереди. Сегодня—хозяева одного подворья, где водились овцы, завтра—другого, послезавтра—третьего… В нашей семье роль пастуха обычно доставалась отцу, а меня иногда определяли к нему в подпаски. Но однажды, когда в «наш день» отец оказался занятым каким-то неотложным делом в своей бригаде, пасти «обчую» отару поручили мне одному. Не без некоторого страха и волнения, но я всё-таки довольно охотно согласился на самостоятельное пастушество. Ещё бы! Мне доверяли вполне взрослое дело. Это льстило моему самолюбию, возвышало меня не только в собственных глазах, но и в глазах моих сверстников и сверстниц.

Ранним утром я, вооружившись для солидности батожком и прихватив с собой верного пса Соболя в качестве подпаска, прошёл вдоль нашего околотка и собрал разношёрстное стадо. Хозяева привычно выпускали овец из дворов, не особенно удивляясь такому «несолидному» пастуху. Овцы тоже, кажется, не имели ничего против очередного пастыря, покрикивавшего на них ломким отроческим голосом: они цепочками выбегали в открываемые калитки и привычно вливались во всё возраставшую пёструю отару. Вот, наконец, захлопнулась последняя калитка на краю околотка, и последнее «малое стадо» слилось с большим гуртом, которое без всякого моего напоминания уже заворачивало в Демидов переулок, чтобы неспешно плыть далее—в сторону поскотины.

И за нею дорогу на постоянные пастбища — по закраине Бызовой пашни, через вершину Гурина лога — к Поляковскому логу овцы знали хорошо, и мне оставалось следовать за ними в заданном темпе, лишь иногда подгоняя отдельных особей, норовивших до срока нырнуть в сторону в поисках травки. Поторапливать этих «отстающих» проныр помогал Соболь — то сердитым рычанием, то требовательным тявканьем.

А за околичными воротами, где начиналась щетинистая полоса овсянища, оставленного с осени под весновспашку, овцы вольготно разбрелись по жнивью, пощипывая жухлую подсаду, роясь в кучках мякины, соломы и прочих пожнивных остатков. Я тоже получил возможность расслабиться и передохнуть. Даже присел на толстый пенёк у ближайшего перелеска и решил позвать где-то приотставшего Соболя, чтобы разделил со мною досуг. Однако, оглянувшись вокруг, не обнаружил его. Видно, сбежал потихоньку восвояси мой четвероногий подпасок, разочаровавшись в столь скучном и однообразном деле, как пастушество. Пришлось мне в одиночку продолжить освоение этого древнейшего ремесла…

День занимался типично майский, с переменчивой погодой, при которой «то солнышко проглянет, то снова дождь пойдёт». Правда, дождя пока не было, но по небу низко плыли рыхлые облака, набрякшие влагой, и набегал порывами прохладный ветер, особенно резкий в те моменты, когда солнышко, едва успев «проглянуть», осветить окрестности и дохнуть желанным теплом, снова погружалось в серую зябкую пелену.

До Поляковского лога, где овцам предстояло пастись основную часть дня, они добрались почти без моих пастырских подсказок и понуканий. Однако далее двинулись не в самоё лощину, куда я пытался направить их, полагая, что там, в прошлогодней траве вокруг черёмуховых колков и в частых остожьях — сенных остатках от свезённых зимою стогов, они найдут больше корма, а дружно повалили на откос голого косогора. Сначала я даже не понял логики столь неожиданного манёвра, но вскоре догадался, что пасомых животин привлекла яркая зелень, выступившая на солнцепёчном склоне. Казалось бы, только радоваться очередному проявлению их мудрости и находчивости. В самом деле, зачем было овцам спускаться в лог за какими-то копёнными одёнками да жухлыми вихрами старой, побуревшей травы, жёсткой, как бумага, если на взгорке под весенним солнышком уже зазеленела новая, мягкая, сочная, полная питательных веществ, витаминов и всяческих живительных соков?

Однако беда была в том, что эта свежая мурава лишь издали смотрелась сплошным изумрудным ковром, а при ближайшем рассмотрении оказывалась пока довольно низенькой и редкой травкой, проступавшей между старой отдельными остренькими шильцами.

И вот овцы, увлекаемые этим обманчиво ярким покровом, этим оазисом, зеленевшим впереди, словно мираж в пустыне, понеслись наперегонки вдоль склона, так что я едва поспевал за ними. Лишь в конце длиннющего косогора, где начинался густой лес, мне довелось обогнать направляющих активистов и с трудом развернуть стадо вспять. Но это не спасло положения. Овечий марафон вдоль косогора не замедлил повториться, только уже курсом в обратную сторону, до его противоположного конца. И не успел я, поспешая за овцами, достичь черты, где зеленеющий гребень холма упирался в чёрную, чернее классной доски, пашню, как они сами совершили поворот на сто восемьдесят градусов и снова пустились в погоню за иллюзорной свежей травкой на солнечных полянах прогонистого косогора.

Замечу, что однажды мне всё-таки удалось согнать овец в лог, и они действительно попаслись там, пощипали сухую траву возле колков, порылись в остожьях. Однако вскоре, несмотря на все мои отчаянные противодействия, вернулись на склон, чтобы продолжить, бегая туда и обратно, поиски корма более свеженького и вкусненького.

Сегодня мне уже, конечно, не припомнить в точности, сколько раз подобным образом измеряли протяжённость косогора и как долго испытывали моё терпение своим челночным методом пастьбы эти ходячие «шубы да кафтаны», которым народная молва, почему-то отказывая в избытке ума, явно опрометчиво приписывает дар смирения и покорности. Помню только, что к исходу дня, когда у меня был уже язык на плече, вдруг очередная туча, накрывшая небо, разразилась сливным дождём с градом, и овцы, окаченные этим холодным душем, безо всяких моих указаний спешно собрались в кучу. Какое-то время они постояли в тесном кругу, а потом, когда ливень разом поредел и стих, мирно улеглись одна возле другой. Бок о бок, словно караси на сковородке.

Сперва мне даже понравилось это их решение — передохнуть, ибо я тоже, как сказано выше, умаялся предостаточно, мечась весь день из конца в конец косогора за бегучим стадом. Я подстелил дождевичок на мокрую траву, присел на него, вынул от нечего делать остатки обеда из полевой сумки, пожевал корку хлеба, допил молоко из бутылки и стал терпеливо ждать, когда поднимутся мои подопечные после заслуженного отдыха. Однако время шло, ветер свежел, усиливался, и под его порывами уже подсохла трава, но овцы не торопились объявлять подъём. Я поневоле забеспокоился, тем более что навстречу тусклому, словно ватному, солнцу, всё далее уходившему к горизонту, выворачивалась новая сине-чёрная

туча. Явно следовало подумать о возвращении стада к поскотине, ближе к селу.

Я было попытался поднять дремавших овец сердитыми окриками, свистом и взмахами рук, но они почти не отреагировали на мои старания. Тогда я пустил в ход свой пастуший посох, стал шпынять им и заодно попинывать сапогом крайних особей, но и это на них не действовало. В лучшем случае они отвечали обиженным блеянием или неохотным движением вытягивали шеи, вроде бы собираясь подняться, но стоило мне отойти на шаг, принимали прежнее положение и ещё теснее прислонялись к соседним товаркам. В состоянии, близком к отчаянию, я дважды или трижды обежал вокруг овечьего лежбища, крича, топая ногами, грозя батогом и уже чуть не плача, но ни одна из овец так и не поднялась на ноги.

Наконец мне пришла в голову мысль, которая в результате оказалась спасительной. Ещё днём я заметил, что впереди стада неизменно поспешала одна и та же чёрная овца, довольно старая, со впалыми боками и обвислыми клочьями на брюхе, но необыкновенно проворная и деятельная. Именно она задавала всем направление и скорость движения в погоне за обманчивой зеленью, и я в уме прозвал её Провокаторшей. Эта активистка хорошо запомнилась мне и своим нравом, и внешностью, и я даже примерно догадывался, кому она могла принадлежать. А именно — бабке Макарьихе, худощавой высокой старухе, не ходившей, а трусившей, почти бегавшей с батожком по селу, несмотря на свой почтенный возраст. По моим детским наблюдениям, домашние животные зачастую вообще чем-то походили на своих хозяев, не характером, так «обличьем». А Провокаторшей овцу-активистку я прозвал потому, что она своим поведением и норовом напоминала мне тех баранов-провокаторов, которых, как я слышал, специально держали на мясокомбинатах, чтобы они, внедряясь в новоприбывшее стадо обречённых «соплеменников», скованных страхом и растерянностью, ободряли их и вели за собою тёмным коридором прямёхонько в убойный цех. Но при этом сами, предательски нырнув у финиша в потайную боковую дверь, оставались целыми и невредимыми.

Правда, моя активистка вела овечек и валухов не на убой, но тоже провоцировала их на сущую беду — бесконечную и утомительную погоню за мнимой новой травой, изумрудом и малахитом отливавшей в отдалении. И вот теперь эта Провокаторша могла выручить меня, попавшего в нелепую историю. Я быстро вскочил и решил ещё раз обойти лежавшее вповалку стадо. Слава Богу, мою возможную спасительницу долго искать не пришлось. Не успел я сделать и десятка шагов, уже не крича и не махая батогом, а просто внимательно вглядываясь в каждое животное, как обнаружил её, возлежавшую в первом ряду с краю, знакомой мордой вперёд. Притом именно с того краю, которым стадо было обращено в сторону села. Я попытался поднять старую овцу теми же средствами воздействия — сначала просьбами, переходящими в приказы, а потом и откровенными тычками батогом в её лохматые бока, но хитромудрая бяша не тронулась с места. И даже, как мне показалось, вообще не обратила внимания на все мои потуги. Откинув культю хвоста, она продолжала лежать с полузакрытыми глазами и тупым философским спокойствием, погружённая в бесконечное жевание жвачки.

И тогда я догадался сменить тактику. Перейти, так сказать, от кнута к прянику и от таски к ласке. Мне вдруг вспомнилось, что в моей походной сумке остались ещё небольшой кусок хлеба и щепоть соли в спичечном коробке. Я тотчас вынул их, посыпал сверху ломоть сольцой, как делала, встречая у калитки овец, вернувшихся с пастбища, моя мать, и, приговаривая в подражание ей же самым ласковым, дружелюбным голосом «баря-баря-баря», протянул Провокаторше. Наконец она проявила признаки внимания. Сперва прислушалась к новым интонациям (доброе слово и овце приятно!), взглянула с явным интересом на хлеб и подалась к нему длинной костистой мордой, а затем, когда я поднёс ломоть поближе, перестала молоть свою жвачку, проворно вскочила на ноги и требовательно ткнулась холодным носом в мою руку. Однако я успел отдёрнуть её и, держа на отлёте хлебный кусок, стал отступать то задом, то боком в сторону дороги, ведущей к селу. Овца было остановилась в некотором разочаровании, но потом обернулась к соплеменникам, проблеяла что-то на своём овечьем языке и решительно пошагала за мной.

Стадо, словно по команде (а может, и впрямь по команде, прозвучавшей из уст активистки), поднялось, забякало, зашевелилось и нехотя, но покорно последовало за своей неугомонной водительницей.

Отщипывая от ломтя небольшие кусочки хлеба, я постепенно, по мере нашего продвижения в направлении села, скармливал их своей помощнице. Остальным овцам, тянувшимся за нею, к сожалению, из-за скудости моих хлебных запасов приходилось лишь глотать слюнки…

Так мы вместе с моей спасительницей, ведя за собою блеющее стадо, благополучно миновали ворота поскотины, которые ещё были постоянно открытыми за отсутствием опасности каких-либо потрав.

А на Малаховой горе, перед Демидовым проулком, нас встретила целая делегация селян, среди которых была и моя мать. Впереди бежали ребятишки с радостными воплями, и ещё издали я по голосам узнал своих приятелей — и Ванчу

Настасьина, и Федьку Савватеева, и Миньку Закутилина. Оказывается, все они, взрослые и дети, обеспокоенные затянувшимся ожиданием пастуха со стадом, решили пойти на поиски. И то сказать, мы впрямь излишне задержались на Поляковском косогоре, да и путь от него домой получился нескорым, в результате к селу подходили уже в сумерках, густоту которых усугубляли новые тучи, наползавшие с запада.

— Что припозднился-то? — спросила меня мать со смешанным чувством тревоги и радости.

— Да убегались овцы за день по косогору, а к вечеру ещё дождь пришлось переждать, — ответил я кратко, чтоб не вдаваться в неприятные подробности.

Никто из вышедших за село встречать стадо, включая шумную ребятню, не забыл прихватить с собою ломоть хлеба или картофельный драник, и теперь они «досрочно», уже по дороге к дому, стали отыскивать и потчевать своих заблудших было, но, слава Богу, счастливо возвратившихся овец, которые невольно угодили в руки незадачливого юного животновода.

Впрочем, на радостях отходчивые земляки всё же зачли мне экзамен на «пастыря доброго». Это их доверие я потом стремился оправдывать как мог. И не только в роли овечьего пастуха.

Путём зерна. Даже макового

О многих работах, домашних и артельных, мне довелось рассказать в своих писаниях, однако далеко не обо всех. Да и обо всех, что существуют в сельском житье-бытье, в крестьянском обиходе, как уже замечено выше, поведать просто невозможно. Однако некоторые, особенно из числа общественных, пожалуй, стоит помянуть на этих страницах, хотя бы в силу их необычности, даже экзотичности, на теперешний взгляд.

Положим, были времена, когда весною, перед началом посевной страды, бригадиры полеводческих бригад или колхозный агротехник привозили к нам в школу семена пшеницы. Несколько мешков. Пшеницу раздавали по классам. И вот мы, вместо какого-нибудь не особо важного урока, например классного часа, физкультуры или пения, получив свою порцию зерна, должны были отобрать лучшие, самые крупные и цельные, не побитые пшеничинки, отделить от мелких, щуплых и травмированных. Вручную! Сидя за партами и орудуя обычно тыльным концом ручки либо карандаша.

Такие отборные зёрна потом высевали как свою колхозную «элиту» на семенных участках — для будущего размножения и сортообновления. Но не менее важные всходы они давали и в наших ребячьих душах, приобщая нас к общему труду, к главному крестьянскому продукту — хлебу, без нарочитых «внушений» воспитывая сыновние чувства к отчей земле, к малой родине.

Работа, задаваемая нам, была весьма кропотливой, монотонной, хотя, в общем-то, необременительной и даже приятной, ибо на таких уроках разрешалось вести себя свободно, разговаривать с соседями, «делиться опытом», помогая друг другу. По итогам этой работы нас неплохо поощряли, морально — похвалой бригадиров, агротехника или самого председателя колхоза, которые, обходя классы, благодарили нас за «весомый вклад» в общую борьбу за стопудовый урожай, а иногда и материально — угощали самодельными пряниками, испечёнными сельскими пекарями по поручению артельного головы.

А на иных работах таким поощрением нередко выступал и свободный доступ к «конечному продукту». Так было, к примеру, на «выпускании мака». Да-да, речь именно о том самом маке, который ныне стал гонимой, отверженной и почти криминальной культурой. Даже любителя-садовода, вырастившего «для красоты» десяток маковых цветков под окнами дачного домика, преследуют как преступника, разводящего «наркоманию». В наши же времена мак отнюдь не был таким изгоем. И его выращивали не только в палисадниках и огородах, но и на окрестных колхозных пашнях. Почти в каждой полеводческой бригаде было своё маковое поле. И мы, сельские мальчишки, бродя летней порой по лесам, логам и косогорам в поисках съедобных трав и лакомых ягод, не забывали «по пути» завернуть к этим полям. Чтобы полюбоваться ими во время цветения либо поживиться маковкой-другой, когда они поспевали и в сухих коробочках, если их потрясти, начинали призывно шуршать и побрякивать семена, точно в детских побрякушках.

Правда, в пору их зрелости за маковыми полями устанавливался пристальный надзор. Частенько наезжал верхом строгий объездчик или появлялся сам бригадир на гремучих дрожках, один звук которых отпугивал нашего брата. Да и просто взрослые «сознательные» селяне, проходившие мимо, при случае могли надавать подзатыльников и надрать уши за сорванные «обчественные» маковки. Так что нам в основном приходилось довольствоваться созерцанием картины цветущего мака. Благо — это никому не возбранялось, никем не преследовалось. И я до сей поры помню, как мы, выходя ребячьей ватагой из берёзовой рощи возле Гурина лога, невольно останавливались и замирали перед розово-красным морем цветов, которое вдруг открывалось взору, простёртое вдаль к самому горизонту. При набегавшем ветерке крупные яркие цветы на длинных ножках начинали колыхаться, покачивать головками, точно приветствуя нас. Этому ощущению живого, одушевлённого поля способствовал и таинственный шум над ним, создаваемый не то разлатыми лепестками маковых цветков, не то бесчисленными

пчёлами, осами и шмелями, усердно работавшими внутри вогнутых розеток.

Цветков этих, при всей их красоте и притягательности, никто из нас не срывал. Это считалось предосудительным, да и просто пустым, неразумным действием, с точки зрения крестьянского здравомыслия, которое уже присутствовало в каждом из нас, несмотря на ребяческий возраст. Другое дело—воровато подкрасться стайкой «смельчаков» к созревшему урожаю, рискуя схлопотать затрещину от объездчика или иного бдительного свидетеля, спешно сорвать по дюжине бурых маковок, сунуть их за пазуху и невидимками скрыться в лесу. А уж там, в тишине и безопасности, хвастая друг перед другом величиною и красотою доставшихся шаровидных коробочек, наполненных сухими семенами, вытряхнуть в ладошку эти чёрно-сизые крупинки, отправить разом в рот и долго разжёвывать, размалывать их острыми молодыми зубами, пока не превратятся в жидкую кашицу, слаще и запашистей которой не бывает на свете…

Впрочем, и в подобном хищении маковок с общинного поля не было особого резона, помимо баловства и ребяческой тяги к приключениям на свою голову. Как уже замечено, почти у всех из нас в собственных огородах и палисадниках вызревали такие же маковки. Да и каждый знал, что в первые же дни начала учёбы обязательно появится в школе нарочный из колхозного правления и будет звать ребятишек, чтобы после уроков помогли лущить созревший мак. Хотя, по совести сказать, нас и звать не нужно было. На такое «вкусное» дело мы сами шли с охотой и готовностью.

Снопы сжатого мака обычно свозили с полей на конторский двор, то есть в ограду правления колхоза. Там, кроме конюшен для выездных жеребцов, был ещё артельный каменный подвал со льдом, где хранились мясо (свежая «убоина»), растительное масло собственного производства, мёд, яблоки из общественного сада и прочие продукты, отпускаемые колхозникам на трудодни или «под запись». А напротив подвала стоял длинный бревенчатый склад в несколько отсеков-сусеков для хранения редких и ценных видов зерна и семени—рыжикового, конопляного, льняного, подсолнечного, макового… Вот сюда-то и доставляли с полей сжатый мак, вместе с коленчатой соломкой, похожей на тоненький бамбук, и золотистыми куполообразными коробочками. Здесь, под тесовым навесом, мы и лущили, шелушили мак, «выпускали», как у нас говорилось. Прихватывали из дому вёдра и ножницы, большие, портновские либо «овечьи», предназначенные для стрижки овец, присаживались к «урочному» маковому снопу и, выдёргивая маковки, отстригали им верхушку с рубчатой розеткою и высыпали, «выпускали» семя всяк в свою посуду.

Естественно, не забывали при этом особо приглянувшиеся коробочки опрокинуть и себе в рот, предварительно пощёлкав пальцами по крутым бокам, чтоб не застряло между внутренних рёбрышек ни единой «маковой росинки», и со смаком жевали дивное сыпучее лакомство. Это тоже не возбранялось. И никакой мерой не ограничивалось. Тут действовал, можно сказать, коммунистический принцип: каждому—по потребности.

Мы, конечно, старались не злоупотреблять доверием, но всё ж к концу «молотьбы» маковых снопов у иных из нас, прежде всего—у тех, кто чаще других путал ведро со ртом, замедлялись движения и начинали советь глаза. Усердных работничков явно потягивало ко сну, что, впрочем, также не осуждалось, а лишь вызывало добродушные насмешки окружающих. Всем было известно снотворное действие мака. Сельские знахарки им пользовали от бессонницы и «уросливости» даже детей. Однако никто из нас в ту пору и слыхом не слыхивал, что этот вкуснейший на свете продукт, незаменимый у хозяек в праздничной стряпне, является каким-то «наркотиком», может одурманивать, одурять людей, слабых волей и духом, попадающих в зависимость к нему, и даже сводить их до времени в могилу.

Никаких наркоманов в нашем селе отродясь не водилось. И с маком, после его уборки и молотьбы на конторском дворе, мы встречались только по большим праздникам, когда на столе появлялась разная сдоба—калачики, крендельки, шанежки с вкраплениями чёрненьких маковинок или обсыпанные ими сверху, точно порохом; треугольные пирожки с толчёным маковым семенем, неповторимо ароматные, вкусные, буквально таявшие во рту… Мы поедали эти своеобразные тартинки с особым удовольствием ещё и потому, что горделиво сознавали некоторую причастность к отменному «объедению», которым они были начинены.

Хотя, конечно, едва ли догадывались, что было во всём этом ещё и подспудное воспитание нашего будущего трудолюбия, органичное, постепенное привитие его «путём зерна». Даже—макового.

Зато ходил гусаром

Но всё же наиболее яркие воспоминания о приобщении к артельным работам у меня связаны, пожалуй, с лошадьми.

Моё поколение уже не застало собственных, частных лошадей. О таковых мы только слышали от родителей или старших братьев и сестёр, успевших пожить при единоличном хозяйстве, когда почти в каждом подворье водился конь-работяга, а то и два-три, как у моего отца, бывшего «справного» крестьянина-середняка. Во времена же нашего детства и юности, военные и послевоенные, на селе существовали лошади только

общественные, которые содержались в колхозных конюшнях, в бригадных дворах.

Кстати, двор пятой бригады таскинского колхоза соседствовал с нашим огородом, прямо примыкал к нему. И я с самого раннего детства, выходя на крылечко, каждый раз видел за огородом, поверх забора, целый табун разномастных лошадей, бродивших по пригону между огромными деревянными колодами, наполненными кормом или водой. А частенько и взбирался на тот бревенчатый забор, чтобы вблизи понаблюдать за ними. Многих знал «по обличию» и по кличкам. Некоторых помню и по нынешние дни. К примеру, беспокойную серую кобылицу Маточку, которая всё время задирала своих соседей, то лягая, то покусывая и отталкивая их от колоды. Или старую седлистую кобылу Пегуху, всю в красно-белых пежинах, на которой, казалось, вечно возила бочки с керосином тоже далеко не молодая Настасья-горючевозка. Или ещё—несчастного Каталыгу, гнедого мерина, хромого, с вывернутой бабкой передней ноги, что, однако, не освобождало бедолагу от хомута и ежедневной тягловой повинности…

Многие, наверное, слышали про казачий обычай дончаков и кубанцев—торжественно усаживать в седло пятилетних мальчишек, совершая, так сказать, обряд посвящения в казаки. Нас, сибирскую деревенскую ребятню, тоже садили на лошадей примерно в таком возрасте, но только без всяких там торжеств и посвящений, просто—по хозяйственной надобности в помощниках, особенно во время летней и осенней страды, исподволь приобщая к вечным крестьянским трудам и заботам.

Обычно освоение «гужевой тяги» мы начинали копновозами, или «волокушниками». Напомню, что волокуши—это некое подобие летних саней, временных, смастерённых на скорую руку, на которых в пору сеномётки подвозят копны к стогам. Делают их просто. Срубают две стройные берёзки, толщиною в оглоблю (они и служат потом оглоблями), очищают от сучьев, оставляя их лишь на вершинках, скрепляют поперечной жёрдочкой, к ней, между макушками, привязывают ещё хворостину—и волокуша готова. А управляет запряжённой в неё лошадью всадник с поводьями в руках. И, понятно, чем он меньше весом, тем лучше. Потому в копновозы охотно брали ребятишек-младшеклассников и даже дошколят из тех, кто вышел ростом и разумением.

Помнится, мне впервые довелось возить копны в то сенокосное лето, на исходе которого я пошёл в первый класс. Можно сказать, пересел с лошади на школьную скамью, чем немало гордился. Трудового человека тогда почитали. Это было в 1946 году. Отец уже вернулся с фронта и работал бригадиром в полеводческой бригаде. Так что, возможно, мне, семилетнему, доверили столь серьёзное дело не без некоторого «блата».

О «секретах» копновозного ремесла я уже писал не однажды, потому не буду повторяться. Добавлю только, что волокушник, помимо того, что он подвозил, сидя верхом, копны сена для мётчиков, сооружавших очередной стог, обязан был ухаживать за своей лошадью. Подкармливать её, пуская в траву во всякую свободную от работы минуту, водить на водопой во время обеденного перерыва к ближайшему озеру, ручью или ключу и вообще неустанно следить за нею и упряжью. Как правило, за каждым копновозом на весь сенокосный сезон закрепляли постоянную лошадь. Он привыкал к ней, знал все её особенности и повадки. И лошадь, конечно, привыкала к своему «хозяину», слушалась его, даром что хозяин с трудом дотягивался до холки. Такое взаимопонимание дорогого стоило, ибо воспитывало в подростке не только любовь и привычку к труду, но милосердие и уважение к рабочей животине.

Следующей ступенью приобщения нашего брата к «сотрудничеству» с лошадьми была работа на конных граблях. Она считалась более взрослой, более сложной и важной, нежели волокущество, и потому все ребятишки стремились пораньше пробиться в конные гребельщики. Ну ещё бы! Ведь здесь под твоё управление попадала уже почти настоящая техника: два железных колеса в рост человека, высокая беседка, похожая на царский трон, под ногою—педаль, с помощью которой ты разом поднимал всю трёхметровую гребёлку из дугообразных зубьев, высвобождая сенной вал для идущих за тобою копнильщиков. И в ведомости учётчика ты значился как «машинист конных граблей», что звучало воистину гордо.

Однако… далеко не каждому из вихрастых претендентов улыбалась подобная перспектива. Во-первых, потому, что граблей имелось, да и требовалось куда меньше, чем волокуш: однидвое на всё сеноуборочное звено. А во-вторых, они хоть и считались техникой, но всё-таки были, по сути, прицепным инвентарём, в котором механическому подъёмнику гребёлки подчас приходилось помогать вручную—и вслед за нажатием на педаль тянуть рукою железный рычаг, торчавший сбоку от беседки. А при обильном сене для этого требовалась немалая сила. Так что большинство ребятишек засиживалось в копновозах до предельного возраста (точнее—веса) и уходило, минуя «стадию» конного гребельщика, на другие работы, зачастую уже не связанные с лошадьми.

Мне, к примеру, тоже досталось лишь немного, где-то недельки две, поработать на конных граблях, а потом оставить их навсегда. И не потому, что у меня не хватало силёнки помогать ручным рычагом мудрому механизму самосброса сена. Я, скорее, пострадал от «кадровой политики», проводимой отцом-бригадиром. Прямо сказать,

пал жертвой его излишней добропорядочности, щепетильности при назначениях на рабочие места. Он посчитал неудобным отдавать столь «престижный» пост, да притом единственный в нашем звене, своему сыну и доверил его другим претендентам из числа «взматеревших» волокушников, ради поощрения их.

О чём, правда, я не особо пожалел, потому что вскоре, с началом уборки подоспевшей озимой ржи, был приглашён работать на жнейку. На настоящую конную жнейку, и не кем-нибудь, а гу́сем (именно так, с ударением на первом слоге, произносили у нас это слово в значении особого вида работы), и к тому же—вместе с любимым конём Рыжкой, прозванным пацанами-завистниками Дылдой за его длинные ноги и размашистую рысь. Более того, может, я и угодил-то в гуси во многом благодаря отменным достоинствам моего Рыжки—силе, широкому шагу, покладистому нраву. И попал я в жнецы не по «блату», не по чьей-либо просьбе-протекции, а был приглашён самим машинистом жатки Лукой Петровичем Грудцыным. И отец отпустил меня с Богом.

Да, была когда-то такая работа на жатве—«ходить гу́сем» Довольно редкая и весьма почётная среди сельских ребятишек. О ней, пожалуй, стоит рассказать подробнее.

Многие люди старшего возраста и сегодня наверняка помнят слова из когда-то популярной песни, восславлявшей крестьянский труд: «Вслед за жнейкою вязала снопы девка молода…» Так вот в песне той, скорее всего, имелась в виду именно конная жнейка. Такие жнейки, или жатки, как называли их чаще в наших местах, были распространёнными в тридцатые-сороковые годы прошлого столетия. Мне помнится, к примеру, что у моей матери-портнихи в платяном шкафу хранилась старая выкройка из бумажного плаката, на котором как раз была изображена во всей красе жнейка с деревянными граблями-крыльями, влекомая парой лошадей через море золотых колосьев. Эти конные жнейки-жатки сохранялись ещё и в пятидесятые годы, более памятные мне, хотя к этому времени на поля пришли уже не только прицепные, но и самоходные комбайны. А конные жатки использовались лишь как дополнительная техника, прежде всего на уборке несподручных для комбайна культур, вроде конопли или ржи с её высоченным стеблестоем, а также хлебов, посеянных на разных неудобицах—крутоватых косогорах, малых полосках-пятачках, где на «степном корабле» особо не развернёшься.

При всей внешней простоте, жнейка была довольно сложным агрегатом. Она не только срезала стебли с колосьями и метёлками, которые ложились под пилой на округлую платформу, но и при помощи граблей-мотовил сама сметала их на стерню ровными порциями—одну за другой. А затем они под руками расторопных женщин превращались в снопы, предназначенные к молотьбе. Этих работниц называли сноповязальщицами. Значит, была сноповязальщицей и та, из советской песни, «девка молода», которая «вслед за жнейкою вязала» снопы один к одному. Их ставили в суслоны для подсушки на солнышке, на ветерке, а потом свозили в скирды и молотили на специальной молотилке с ремённым приводом от трактора или на «стационарном» комбайне, временно поставленном на прикол взамен первой.

К слову сказать, были и на молотьбе конные работы, вполне посильные подросткам. Мне, положим, доводилось подвозить в рыдване с высоченной грядкой снопы к молотилке, а ещё оттаскивать, отволакивать с помощью поперечного бастрика на постромках солому из-под хвостовика шумно работавшей молотилки либо стационарного комбайна, заменявшего её. И это тоже были изрядные и почётные для нас, ребятишек, работы, хотя и не столь редкие и экзотичные, как хождение гусем.

Так вот, зачем вообще нужен был этот самый гусь? Как уже сказано мною, на старой маминой выкройке в жнейку были впряжены две лошади, притом—не в оглобли, а в дышло. Точно с такой же «тягой» работали в большинстве случаев и наши жнейки. Однако в особых условиях уборки—скажем, при жатве полосы, расположенной на крутом склоне или отличной сверхмощным стеблестоем (ведь рожь бывает и в рост человека),—тяжёлая жнейка становится непосильной для пары лошадей, и тогда к ним подпрягают на постромках третью, ставят впереди всего агрегата этаким гусем-вожаком. Отсюда и название как лошади, так и всадника, правящего ею,—гусь. По той же логике, что и волокушника, гуся-наездника старались выбрать полегче весом, чтобы не перегружать коня, идущего гусем. Ну а этому условию, понятное дело, лучше всего отвечали подростки, Они-то чаще других и попадали в гуси.

Как уже говорилось выше, ходил некогда гусем и ваш покорный слуга. При кажущейся незатейливости—сиди себе верхом да погоняй своего Рыжку,—работа эта была не из лёгких. Она отличалась особой ответственностью, постоянно требовала напряжённого внимания. Ведь ты шёл направляющим «гусем», задавал темп движения всему агрегату, к тому же неусыпно следил за расстоянием между ним и стеною колосьев, которое должно было быть таким, чтобы жнейка косила с полным захватом пилы, но при этом не оставляла ни бород, ни гривок. Здесь нужны были ювелирно точный глазомер и умение править лошадью твёрдой рукой. За малейшим огрехом следовало неотвратимое наказание. Машинист при твоей ошибке, конечно, «внушал» не кнутом, да и не смог бы даже при желании достать им тебя, едущего впереди на

отлёте, но он свободно доставал хлёстким словом, за которым, как говорится, в карман не лез.

Кроме того, работа эта была угнетающе монотонной и однообразной, а от пронзительного «пулемётного» треска жнейки постоянно закладывало уши и наливало голову, словно свинцом, тяжёлым гулом. Но само хождение гусем ещё не исчерпывало всех твоих обязанностей. Как и волокушник, и гребельщик, ты должен был в свободный от жатвы час следить за своей лошадью, кормить её, поить, чистить, не обходя вниманием также и пару коренных, опекаемых твоим шефом-машинистом. А ещё — помогать ему в ремонте и профилактике жнейки, шприцевании всех её колёс и шестерён, подтягивании гаек и прочих креплений. А в случае серьёзной поломки (особенно часто, помнится, выходили из строя дергачи и рвались пилы) — отвозить детали в механические мастерские или в кузницу... Словом, ты числился помощником, подручным, а круг обязанностей их всегда безграничен.

Но! Все эти трудности и неудобства твоего положения с лихвой покрывались главным достоинством — важностью дела, доверенного тебе. Ты был жнецом, работником, прямо причастным к уборке хлебного урожая, венчающей череду колхозных страд. Да и трудодни здесь были повыше средних, под стать механизаторским. Короче говоря, ходить гусем было почётно, «престижно», выгодно, и многие твои товарищи мечтали оказаться на твоём месте. А девчонки смотрели на тебя если не с обожанием, то с явным уважением, как на самостоятельного и почти взрослого человека, способного на серьёзную мужскую работу. И ты мог проходить перед ними пусть не гоголем, но этаким важным гусем, чувствуя за спиною их восхищённые взгляды. А сельские остряки из числа грамотеев, удачно скаламбурив, прозвали мальчишек, ходивших гусем-всадником при жатках, гусарами. И это прозвание, в котором за добродушной иронией чувствовалось невольное почтение к ним, прижилось. Охотно щеголяли и сами ребятишки красивым словом, означавшим красивого «царского» воина-кавалериста в «венгерке». Хорошо ходить гусем, но куда лучше — гусаром. Знать, не напрасно ещё Козьма Прутков когда-то обронил афоризм: «Хочешь быть красивым — поступай в гусары». По крайней мере, мы старались следовать ему, ещё не зная о его существовании.

Но всё же самым-самым уважаемым и доблестным делом, связанным с лошадьми, овладение которым уже служило полным признанием твоего умения обращаться с ними, было участие в объездке молодых жеребчиков и кобылиц, укрощении их, приучении ходить в упряжке или нести седока на спине. Не скажу, чтобы я «ходил гусаром» и среди мастаков объезжать коней, но всё же мне доводилось выступать в этой непростой роли. Притом замечу, что к упряжке молодняк приучать бывало даже легче, нежели к седлу и наезднику.

Объезжали лошадей и в предвесенние дни Масленицы, которые на Руси с языческих времён сопровождаются всеобщим катанием, но чаще всё же — поздней осенью либо ранней зимой, по «белотропу», по первому устойчивому снегу, где-то между красными октябрьскими праздниками и православным Николой Зимним. Надо сказать, это время на селе вообще если не праздничное, то относительно праздное. Закончилась уборка хлебов и всяческой огородины, засыпаны семена и поднята зябь под будущий урожай. Опустели поля, затихла техника, собранная на машинный двор за селом. Разве что изредка протарахтит за огородами трактор, волоча на огромных санях пахучее сено, золотистую солому по первопутку — кормовой запас для живности на долгую зиму, либо на прицепной серьге — длинные хлысты берёз на дрова. Пустынны и улицы, если не считать стаек детворы с салазками, спешащих обновлять снежные горки-катушки.

Над трубами по целым дням стоят дымки, источая смешанный запах поджаристой хлебной корки и паленины — в домах пекут булки и пышки из нового зерна свежего помола, в сараях палят горящей соломой свиней, «прибранных» к зиме, а в баньках, чего греха таить, «заодно» с копчением сала да мяса потихонечку «курят» крутую самогонку к праздничному застолью. Сей криминал улавливают опытными носами и местные власти, но снисходительно помалкивают: на отжинки да «отпашки» — в редкие крестьянские каникулы — это можно, это простительно...

Вот в такие дни праздного предзимья обычно и объезжают лошадей, ибо в самом этом занятии, при всей его сложности и даже опасности, немал элемент народной потехи. На обучение коньков ретивых, как на концерт, собирается в своей бригаде молодёжь и, конечно же, крутится под ногами вездесущая, любопытная ребятня. Первыми берутся за дело парни из тех, кто посмелей да попроворней. Ловят в табуне, гуляющем в просторном пригоне, намеченного «ученика», зануздывают, «хомутают», общими усилиями надевая на него хомут, седёлко, шлею, и запрягают в розвальни или кошеву. Полудикая, вольная лошадь, понятно, сопротивляется, бьётся, дрожит, косит испуганными глазами, даже порой пускает в ход зубы или копыта, но всё-таки, под азартные окрики и уговоры, поглаживания и шлепки, в конце концов оказывается в оглоблях.

И вот самый храбрый кучер хватает вожжи, падает в сани, за ним следом валятся ещё двое-трое смельчаков, и взвинченная лошадь, покрутившись на месте, опрометью бросается в заранее распахнутые ворота и мчится, летит вдоль сельской улицы куда глаза глядят...

Приходилось и мне в юношестве выступать в роли того самого кучера-«испытателя» и укрощать молодых коней разных нравов. Случалось, попадали такие строптивцы, что и головки кошевы выбивали копытами, и оглобли ломали, и сани опрокидывали, не мирясь с хомутом на шее даже после нескольких запряганий. Однако всё же большинство через пару-другую часов упрямого неистовства, где-нибудь далеко за селом, в снежном поле, устало переходили с галопа на рысь, а потом, с клочьями пены на боках, тяжело дыша и раздувая ноздри, возвращались на конный двор уже смиренным шагом, навеки простившись со свободой.

Но, пожалуй, труднее, чем в упряжи, удавалась объездка подросших лошадей верхом, особенно — жеребчиков. Здесь, правду сказать, мой опыт был невелик, да и особых талантов кавалериста за мною не числилось. Нет, я, конечно, как и почти все крестьянские ребятишки, вполне владел верховой ездой — и шагом, и иноходью, и рысцой, и рысью, и махом, и галопом, и аллюром, притом — без всякого седла хоть на гладком битюге, хоть на хребтастой кляче, но каким-то верховым асом отнюдь не слыл. Не умел, к примеру, ездить «бочком», то есть свесив ноги на одну сторону, особенно — рысью, а тем более — вскачь. Между тем даже некоторые боевые девчонки из моих сверстниц запросто гарцевали этим «бочком» на горячей лошади, дивя и восхищая деревенский люд.

Но всё же и мне доводилось объезжать верхом лошадиный молодняк, приучать ходить под седоком. Запомнились, скажем, низкорослые тувинки — лошадки, пригнанные к нам целым табуном из соседней Тувы. Не помню уж точно, какими путями они попали в наш колхоз. Может быть, в результате обмена на что-либо, допустим, на семена зерновых культур, картофеля или на какую-нибудь технику. Степная Тува, страна животноводческая, вошла в состав Союза ССР в 1944 году, и от взрослых односельчан я слышал, что наши южные соседи-тувинцы успели поучаствовать в войне с фашистами, помочь нам в достижении общей Победы. В том числе — поставками для фронта мясных продуктов, овечьих шкур на солдатские полушубки, кож на сапоги и (живьём) особых тувинских густогривых лошадок, небольшеньких, приземистых, но отменно сильных, выносливых и неприхотливых. Они отлично помогали нашим воинам-артиллеристам таскать по бездорожью разнокалиберные пушки и гаубицы.

Ну а после войны, видимо, пришли на подмогу ослабленному коневодству в хозяйствах южных районов края. Тем более что Тува стала его частью — автономной областью, и все соседи по Енисею, а теперь и братья по Союзу, как могли помогали ей в развитии промышленности и полеводства, в распашке просторов, прежде почти не знавших плуга, в том самом подъёме целинных и залежных земель, который к началу пятидесятых годов стал настоящим бумом. И вот одним из результатов взаимопомощи и взаимообмена стали эти самые лошади-тувинки, которых нам в отрочестве выпало объезжать.

Но всё-таки с наибольшей отчётливостью запомнились мне не они, все почти одинаковые по мирному норову, как и по малому росту, и по бурой масти, а один наш молодой конёк, серый в яблоках. Бригадирский. Назову его Вьюнок. Настоящую кличку воспроизвести не рискну, потому что она непечатна. Вьюнок был мерин, но необыкновенно живой, горячий и своенравный, сохранявший стать и повадки невыхолощенного жеребчика. К оглоблям его кое-как приучили, и он, не без финтов и фокусов, но всё же довольно исправно возил бригадира, то есть моего отца, в лёгких дрожках на железном ходу. Притом возил преимущественно рысью либо рысцой, мерного шага не признавал. Кстати, я доселе, вспоминая отца, неизменно «слышу» погромыхивание его дрожек, подкатывающих к нашим воротам, и стук оглобли в дощатую створу, служившие нам сигналом, что он подъехал на боевом Вьюнке к завтраку или к обеду…

Однако, смирившись с упряжкой, Вьюнок ещё долго не подпускал к себе наездников и многих из тех, кто пытался оседлать его, просто сбрасывал, стряхивал с себя, как надоедливого слепня. Пока однажды не случилось форменное чудо, притом не без участия автора этих строк.

Как-то летом, в конце рабочего дня, собрались мужики в бригадном дворе, кружком обступив подъехавшего бригадира. Отец только что распряг своего Вьюнка и подал мне поводья, чтобы я отвёл его в общий пригон и, сняв узду, отпустил в табун. Я принял повод и невольно залюбовался, как закружил, заходил в моих руках, нетерпеливо пританцовывая, молодой изящный жеребчик.

— Да ты садись на него, видишь — приглашает на танец, — пошутил седой конюх Иван Зайцев.

— А и правда, пора уж его верхом объездить, — поддержали его совет другие мужики.

Тогда Иван, недолго думая, шагнул ко мне, подхватил меня за одну ногу, чтобы подмогнуть, — и я, переметнув привычно другую, в мгновение ока взлетел на гладкую спину Вьюнка. Озадаченный конь не успел опомниться, как мой помощник ловко перекинул поводья через его голову и сунул мне в руки. Я непроизвольно натянул их. Занузданный Вьюнок сердито покосился на меня, сверкнув фиолетовым глазом, и пошёл кругами, заплясал, замотал головой, даже попытался раз или два встать на дыбы, чтобы сбросить меня, как мешавшее инородное тело. Но я подвинулся ближе к холке, сжал ногами бока и усидел. Тогда

Вьюнок сделал ещё пару затейливых виражей вокруг примолкших в ожидании развязки мужиков и вдруг, взявши с ходу в карьер, пустился к раскрытым воротам.

Вылетев на улицу верховым на шалом скакуне, я постарался направить его в ближайший безлюдный переулок, чтобы ненароком не сбить кого-нибудь из встречных-поперечных. И это мне удалось. Вьюнок отбросил все причуды джигитовки, пошёл ровным намётом, и когда пролетел в этом аллюре один переулок, я тотчас устремил его в другой, который вёл за село, к поскотине. А там, за околичными воротами, уже вёрст на семь пролегала прямая и ровная дорога среди хлебов—вплоть до самого спуска на озеро Кругленькое.

Впрочем, до озера мне скакать не пришлось. Взмокший Вьюнок вскоре задышал тяжелее, сам сбавил темп и пошёл умеренным махом…

Ну а ещё через какой-нибудь час уже привычной рысью, с характерным округлым выкидыванием передних копыт, заметно присмиревший жеребчик снова пересёк бригадные ворота и, поднеся меня к бригадиру с конюхом и несколькими другими мужиками, не без тревоги ожидавшими нашего возвращения, остановился как вкопанный.

— Ну, кажись, сдался мой Вьюнок на милость победителя,—сказал отец с явным удовлетворением.
— Молоток, парень, подрастёшь—кувалдой будешь! Как это он вдруг тебя признал? Не иначе—слово знаешь!—заговорили вразнобой мужики, за шутками скрывая искреннее удивление столь «очевидному невероятному».
— Привяжи пока к коновязи, пусть охолонёт немного, а потом Иван отпустит его в табун,—уже буднично и деловито добавил отец.

Мужики стали расходиться по домам, продолжая обсуждать невиданное дело—смирение строптивого жеребчика с непечатной кличкой перед этим жидковатым на вид, долговязым бригадирским отпрыском. Я не стал им объяснять возможную причину неожиданной покладистости Вьюнка, о которой догадывался, но в которой не был до конца уверен. По-моему, вся разгадка его поведения состояла в том, что я любил и холил как мог бойкого отцовского жеребчика. Не однажды поил из домашнего колодца, кормил «отборным зерном» из собственной шапки, потчевал ломтями хлеба, посыпанными солью, и даже «самовольно» чистил скребком, когда отец, отлучаясь на время, оставлял его распряжённым в нашем дворе.

А на добро и лошади отвечают добром…

*Ди*Н ПАРОДИЯ

Евгений Минин

Не то, не это…

Коромысленное

От горьких дум и слов, лишённых смысла,
Спасут меня на белом берегу
Бранящаяся баба с коромыслом…
Алексей Дьячков

Бредёшь с работы в настроенье кислом,
А на губах—бессмысленность стиха.
Бранящаяся баба с коромыслом
Меня спасает часто от греха.
Огреет так, что в голове ни строчки,
Придёшь домой и падаешь в кровать,
Читаешь Блока, на спине—примочки,
Воистину не жизнь, а благодать!

Господнее

Спасибо, Господи, за то,
спасибо, Господи, за это.
Изяслав Котляров

Избавил, Господи, от смут,
А то была бы песня спета.
Когда чего-то было тут,
Я в это время ездил где-то.
Теперь страдаю ни за что,
Жду, Господи, теперь совета—
Поскольку пишется не то,
А если пишется—не это…

К 70-летию автора

Александр Лейфер

«Сколько таких дней…»

Китаянка Любочка

Из Москвы приезжал на Новый год в гости старый друг. Родился, детство и юность провёл он в столице, а потом лет на пятнадцать судьба забрасывала его к нам в Омск, тогда мы и подружились. Он давно уже вернулся на свою «малую родину», если позволено так называть нашу непомерно разросшуюся и всё продолжающую расстраиваться вширь, вглубь и вверх Белокаменную. И вот приехал в гости — на Омск и на всех нас посмотреть.

В один из уже посленовогодних дней заметил я, что товарищ мой, примостившись поближе к окну, внимательно рассматривает какую-то небольшую вещицу — крутит, вертит её в руках, что-то на ней вычитывает, хмыкает, даже всхохотнул разок.

— Что это у тебя? — спрашиваю.

— Да вот сувенир ваш омский на память подарили, возьми-ка сам рассмотри, только очки надень — самое интересное на нём шибко мелко написано.

И вот я вслед за товарищем кручу в руках небольшую прозрачную упаковку. Это магнитик: в обрамлении двуглавого, несколько аляповатого штампованного орла — цветная фотка всеобщей нашей любимицы — сидящей на скамейке губернаторской супружницы Любочки, гостьи из девятнадцатого века — скульптуры с улицы Ленина. Прямо по полю фотки идёт надпись: «Омск. 1716». А выше орла — крупная надпись, как бы заголовок всему: «Великая Россия». Надпись дана в обрамлении орнамента, включающего в себя символы державности — скипетр, булаву, императорскую корону. Ниже всего этого даётся как бы подзаголовок: «Любимый город».

Переворачиваю упаковку.

— Вот-вот, — говорит товарищ, — здесь внимательней читай, здесь как раз самое интересное.

Начинаю читать. Под тем же заголовком «Великая Россия» с булавой и короной написано на двух языках — нашем и английском: «Россия — самая большая в мире страна, с потрясающей историей, наполненной великими событиями, повлиявшими на весь мир. Настоящим сокровищем России являются её города с богатой культурой и историческим наследием».

Смущённый глобальностью так кратко и так несгибаемо изложенных истин, продолжаю изучение «оборота» упаковки.

«Магнит „Омск“ в рамке в форме Герба РФ» — сказано ниже. «Разработано и изготовлено по заказу ООО „Сима-ленд“. Россия, Екатеринбург, ул. Черняховского». И номер дома указан, и мобильный телефон, и электронный адрес.

Но самая знаменательная надпись набрана таким мелким шрифтом, что иной близорукий человек и не разберёт: «Не подлежит обязательной сертификации. Сделано в Китае по заказу». В Китае!

Теперь я понял, почему товарищ мой, читая всё это, коротко и нервно всхохотнул — наверняка именно на этом месте.

— Ну, усёк? — спрашивает он меня. — И тут они нас достали! Вернее — вас. Вы что же — сами таких пустяковых сувениров наделать не можете?! Ведь трёхсотлетие-то Омска уже не за горами, в шестнадцатом году!..

А я, пробормотав в ответ что-то маловразумительное, тут же почему-то вспомнил историю, которую рассказали мне десятка полтора лет назад на севере нашей области и которая тогда поразила меня. Когда там во времена всеобщей «прихватизации» распродавали всё и вся, то рельсы с леспромхозовских внутрихозяйственных таёжных узкоколеек были проданы не куда-нибудь, а всё туда же — в Поднебесную. Непостижимым каким-то образом разнюхали желтолицые наши братья про эти рельсы, добрались до Тары, Усть-Ишима и Малой Бичи, скупили и вывезли их за многие тысячи километров…

Но если вернуться к случаю с губернаторшей Любочкой, то тут ещё есть над чем призадуматься. Мне вот сильно хотелось бы познакомиться с парнями из екатеринбургского ООО «Сима-ленд». Это что же за такое Мировое Правительство сидит там на улице Черняховского? Которое крутит как хочет половиной земного шара — Россией со всеми её «любимыми городами», «богатой культурой и историческим наследием», алчным и предприимчивым Китаем, английским языком, обязательным (и, как выясняется, в каких-то случаях вовсе не обязательным) загадочным сертифицированием и, в конечном счёте, — всеми нами?

Да, господа-товарищи, жизнь у нас с вами протекает — никак не соскучишься... Ну никак! — к такому мы с моим московским гостем в результате всей этой истории пришли незамысловатому выводу.

Владимир Зазубрин крупным планом

Наконец-то вышла книга, продолжившая полноценное осмысливание творчества и личности одного из крупнейших и талантливейших сибирских прозаиков — Владимира Зазубрина (1895–1937), начатое ещё в начале семидесятых годов известным критиком Николаем Яновским: в 2012 году в Новосибирске вышло многостраничное исследование Владимира Яранцева «Зазубрин. Человек, который написал „Щепку". Повесть-повествование из времён, не столь отдалённых».

Владимир Зазубрин — автор произведения, которое было признано первым советским романом, — «Два мира». Повествующее о Гражданской войне, появившееся что называется, по горячим её следам — в 1921 году, оно пользовалось немалым успехом, выдержало ряд изданий (к одному из них написал предисловие М. Горький). Зазубрин стал одним из организаторов литературных сил Сибири — создал и возглавил Сибирский союз писателей, был одним из руководителей журнала «Сибирские огни». Однако такие его произведения, как «Бледная правда», «Общежитие», в которых была показана «изнанка» советской власти, вызвали резкое неприятие со стороны партийных властей и обслуживающей их литературной критики. В конце двадцатых годов обстановка вокруг писателя настолько обострилась, что он вынужден был уехать из Новосибирска в Москву, к ценящему его талант А. М. Горькому. Работал в Гослитиздате, в журнале «Колхозник», опубликовал в «Новом мире» роман «Горы». В 1936-м А. М. Горького не стало. А в 1937 году В. Зазубрин был арестован и расстрелян. Реабилитирован в 1956 году.

Критик Владимир Яранцев, подробно рассматривающий в своей многоплановой книге жизнь и творчество Зазубрина, не стремился написать традиционное биографическое сочинение. Литературный портрет автора «Щепки» дан на широком документальном фоне, показывающем сложнейшую обстановку двадцатых и первой половины тридцатых годов, доминантой которой была всё обостряющаяся борьба партийной верхушки за власть, закончившаяся, в конце концов, становлением того, что позже будет названо культом личности. Всё в стране, в том числе и литература, было подчинено этой напряжённой и беспощадной борьбе. «Зазубрин, — говорит В. Яранцев в коротком вступлении к книге, — и плод своего времени, и его жертва... Задачей этой книги было не рассудить всё окончательно, расставив по полочкам (здесь — «плод», тут — «жертва»), а показать человека, решившего заняться литературой в роковые годы России...» Автор книги поднял огромный документальный материал, многие страницы которого публикуются впервые. В результате показана не только судьба одного человека, читатель ощущает дыхание эпохи, видит, в каких уникальных по своей сложности условиях рождалась и крепла в двадцатые и первой половине тридцатых годов отечественная литература, давшая в те годы столько блестящих образцов и в прозе, и в поэзии.

Не случайно среди помещённых в книге портретов есть и портрет новосибирского критика Н. Н. Яновского (1914–1990). В 1972 году он выпустил том основанного им «Литературного наследства Сибири», целиком посвящённый В. Зазубрину. Выпуск этого тома, попытки опубликовать «Щепку» дорого стоили Н. Яновскому: он был подвергнут резкой партийной критике, снят с поста заместителя редактора журнала «Сибирские огни». Написанная в 1923 году «Щепка», в которой ярко показана трагическая картина времён «красного террора» — чекистский расстрел, впервые была опубликована лишь в 1989 году, когда находящейся на излёте своего существования КПСС было уже не до надзора над литературой. Вскоре «Щепку» экранизировал ученик С. Герасимова — режиссёр Александр Рогожкин («Караул», «Третья планета», «Жизнь с идиотом», «Особенности национальной охоты», «Блокпост», «Улицы разбитых фонарей», «Кукушка», «Перегон»); киноверсия вышла в 1992 году под названием «Чекист» (совместное производство России и Франции).

Трудно определить жанр, в котором написана книга В. Яранцева. Это мастерски, изобретательно скомпонованный сплав биографии, документа, художественного текста, собственных, порой весьма личностных, рассуждений, включающих элементы полемики и публицистики. И труд, проделанный новосибирским исследователем, вызывает уважение не только огромным объёмом привлечённого материала, но и вот этой самой личностной неравнодушной составляющей.

...Последняя часть книги В. Яранцева называется длинно: «Канск. Дом на Краснопартизанской. Уроки Зазубрина». Она родилась в результате поездки в Канск — городок, в котором когда-то Зазубрин обосновался сразу после Гражданской войны и где написал почти все узловые свои произведения. И где ветшает сегодня в ожидании давно обещанной властями реставрации его дом. «Мудрое лицо Зазубрина, — читаем в книге, — высокий лоб, прищуренные глаза, «философская» борода — глядит на нас укоризненно-понимающе: измельчали и одичали, упростили свои культурные запросы до нуля. И пустой дом Зазубрина, по сути, руины — и есть «лицо» нашего отношения не только к Зазубрину, но и к литературе вообще».

Горькие, недвусмысленные слова. Но, читая их, надеешься: само то, что они произнесены, что о Владимире Зазубрине наконец сказано без купюр и умолчаний, что заставляющая о многом задуматься незаурядная книга В. Яранцева лежит теперь перед нами,—всё это позволяет надеяться на лучшее.

«В этом доме жила…»

В одном из районов Омска—Юнгородке, на одном из жилых домов по улице Бульварной 23 августа 2012 года была открыта неброская мемориальная доска: «В этом доме с 1964 по 1994 г. жила журналист, поэт, театральный критик, заслуженный работник культуры РФ Елена Николаевна Злотина-Миронова (1936–1994 гг.)».

Доска была установлена по инициативе Омского отделения Союза российских писателей и при участии Омской организации Союза журналистов России и Омского отделения Союза театральных деятелей РФ.

…Ироничный герой одной из пьес Леонида Жуховицкого говорит: «Практиканты—надежда человечества». В иной хорошей шутке содержится лишь доля шутки, остальное—правда. В 1959 году в редакцию «Омской правды» прибыла на преддипломную практику студентка факультета журналистики Ленинградского университета Лена Миронова—худенькая, близорукая, стеснительная девушка. Но писала она так, что работавший рядом опытный корреспондент промышленного отдела Эрнест Чернышёв в конце практики стал уговаривать питерскую студентку проситься на работу не куда-нибудь, а именно в «Омскую правду». Наверняка Эрнест Геннадьевич сходил с этой идеей и в редакторский кабинет, а у тогдашнего редактора главной омской газеты Ивана Дмитриевича Фадеева тоже был нюх на хорошие кадры. В результате через год вчерашняя дипломница вошла в штат редакции. И вся остальная её жизнь оказалась связанной с нашим городом.

Елена Николаевна Миронова (Злотина) родилась 28 апреля 1936 года в посёлке Фабричный Новгородской области. Среднюю школу оканчивала в Пскове. В 1956 году поступила на отделение журналистики Ленинградского университета. Она проработала в «Омской правде» восемнадцать лет—до 1978 года. Заведовала отделом культуры газеты, а в тех условиях должность эта была в каком-то смысле гораздо более значительной, чем её формальная номенклатурная сущность. В шестидесятых и семидесятых годах в Омске не существовало ни своего издательства, ни литературного журнала или альманаха. И «Литературные страницы» газеты «Омская правда» во многом являлись средоточием тогдашней литературной жизни. Напечатать здесь подборку стихотворений или рассказ, увидеть на литстранице рецензию на свою книгу—всё это было для большинства омских литераторов немалым событием. Таким образом, Е. Злотина была своего рода организатором литературных сил Омска.

В 1978 году было принято решение открыть в Омске вечернюю газету, и опытный журналист Е. Злотина стала правой рукой её первого редактора—М. А. Вастьянова. Первый номер «Вечернего Омска» вышел 1 января 1979 года. И здесь вокруг страниц «Вечёрки», подготавливаемых Е. Злотиной и названных «Литература и искусство», образовался значительный авторский актив, который вскоре во многом определил высокий культурный уровень нового ежедневного издания.

Сама Елена Николаевна проявила себя как пишущий человек главным образом в двух ипостасях—как поэт и как театральный критик. Проникновенные, тонкие, очень «ленинградские» стихи Елены Мироновой часто печатались в омской периодике, звучали по омскому радио, в спектаклях омских театров.

> Прошу, не изменись, моё перо!..
> Не позабудь слова любви и боли,
> не выпускай из сладостной неволи—
> из муки биться над слияньем строк…

Она—автор трёх поэтических сборников: «Слушайте музыку стоя» (Новосибирск, 1966), «Просторы тишины» (Омск, 1990) и «Творите праздники души» (Омск, 1994). Особое место в её поэтическом наследии занимает «театральный» стихотворный цикл—своеобразный лирический гимн Сцене и актёрской профессии.

> Зачем мне знать о прозе Ваших дней?
> Беру себе высокий праздник сцены,
> и берегу, и понимаю цену
> подарка, предназначенного мне:
> смотреть на Вас. Смотреть издалека.
> Смотреть, не устыдясь и не унизясь…
> Прекрасная несбыточная близость
> прекрасно и несбыточно близка…

Наиболее полное представление о ней как о поэте даёт посмертная стихотворная книга «А может быть, счастье…», изданная в Омске в 1999 году её друзьями из Омского отделения Союза российских писателей на грант мэрии города Омска. Её стихи до сих пор включаются в различные коллективные литературные сборники и антологии.

Немалый авторитет имела Е. Злотина и как театральный критик. Её рецензии на спектакли омских и гастролирующих у нас театров, творческие портреты ведущих актёров и режиссёров, её работа в Омском отделении Союза театральных деятелей, где она в течение ряда лет была членом правления и возглавляла секцию критики, во многом способствовали тому, что наш город является одним из общепризнанных российских театральных центров.

Многогранная деятельность Елены Злотиной оставила глубокий след в развитии культуры Омска. Её творческое наследие, хранящееся в городском Музее театрального искусства и в Омском литературном музее имени Ф. М. Достоевского, ещё ждёт своих исследователей и публикаторов.

В 2011 году, в самом конце апреля, в Литературном музее состоялся вечер, посвящённый 75-летию Елены Николаевны. Это на нём было высказано пожелание — установить ей мемориальную доску.

Открытие мемориальной доски на доме, где Елена Злотина прожила тридцать лет, где принимала в своей скромной малометражной квартире многочисленных друзей — омских и приезжих актёров и литераторов, стало вполне закономерным культурным актом. Оно с удовлетворением встречено журналистской, театральной и литературной общественностью, так как увековечит имя человека, немало сделавшего для ставшего его второй родиной Омска.

«Сколько таких дней…»

Кто знает, может быть, зря взялся я за это дело — за рассказ о небольшой, с ладонь величиной, чёрной потрёпанной записной книжке. Может быть, рассказ этот не нужен, ибо мало что прибавит к нашему представлению о годах, которые обозначены под многими находящимися в ней записями. Но годы эти уже давно и сильно волнуют меня, и то неумолимое обстоятельство, что они неизменно удаляются от нашей жизни в небытие, позволяет надеяться: нижеследующее взволнует и читателя.

Речь идёт о 1921-м и 1922-м. Страшное, безжалостное время для нашей страны, нашего народа. Время, помеченное печатью невиданного голода в Поволжье, разрухой, вполне естественно последовавшей за семью беспрерывными военными годами.

Да, я мало знаю о том, что представляла из себя хозяйка этой записной книжки, попавшей ко мне чисто случайно, будучи найденной в разном бумажном хламе; не знаю, как сложилась её дальнейшая судьба.

Да, записи эти отрывочны, случайны, порой странны, порой носят скучный, исключительно служебный характер. Но велика сила документа (а перед нами именно документ — документ человеческий, чаще всего волнующий нас гораздо более документа официального — ведь за ним острее, трепетнее сохраняются живые приметы самого времени).

Буду листать эту книжку не по порядку, так как, судя по всему, именно не по порядку, без соблюдения какой-либо хронологии, делались в ней и сами записи.

Вот одна из узловых. Это, видимо, черновик, набросок заявления — набросок, написанный в состоянии крайнего отчаяния:

«После внезапной и трагической смерти моего мужа я осталась врасплох совершенно без всяких средств к существованию. Я бывшая учительница, имею стаж педагогический, поэтому прошу отдел народного образования разрешить мне подготовительную учёбу трудящихся младшего возраста у меня на квартире».

Черновик не датирован, не подписан. Вряд ли когда-нибудь мы узнаем, какая трагедия разыгралась в семье этой учительницы, при каких обстоятельствах ушёл из жизни её муж. Голодная смерть? Нож уголовника? Военная рана? Тиф или какая-либо другая болезнь? Остаётся лишь гадать.

Во всяком случае, два документа, вложенных в записную книжку, говорят о том, что желание просительницы было удовлетворено.

Вот они, эти документы.

Первый — также недатированный — черновик-заявление в отдел народного образования от Таисии Ивановны Г.:

«Прошу отдел назначить меня воспитательницей на имеющуюся вакансию в один из вверенных Вам детских домов».

Трудно сказать, был ли следующий документ ответом на два предыдущих или, наоборот, предварял их, но интересно, что наконец-то мы оказываемся привязанными к конкретной дате — 29 июля 1922 года. Штамп отдела народного образования, синий ундервудовский шрифт:

«Школьный подотдел предлагает Вам, с получением сего, явиться в отдел в часы занятий».

Тут будет уместным напомнить некую печальную особенность 1922 года, характерную именно для Омска и других сибирских городов, городков и посёлков, расположенных вдоль великой Транссибирской железнодорожной магистрали. Сюда хлынула тогда масса жителей Поволжья, стремящихся спастись от голодной смерти. И когда силы оставляли этих несчастных людей, они делали последнее: заталкивали в вагоны, теплушки, просто на товарные платформы своих детей, лишь бы «железка» везла их на восток, к хлебу. И дети приезжали сюда, к нам, полумёртвые, полуобезумевшие. И наши земляки (тоже не очень-то сытно жившие) специально искали их в прибывающих с запада составах, на руках несли в специально организованные местными властями детприёмники, пищевые и лечебные пункты. Там их отмывали от многонедельной грязи, избавляли от вшей, кормили, лечили, а потом принимались переделывать этих опустившихся, но ни в чём не виноватых, как и всякие дети, существ в нормальных, полезных членов общества.

Их отучали от сквернословия и махорки, учили читать и писать, учили помнить и любить своих матерей и отцов, погибших в пожаре великих народных бедствий, внушали, что страна

непременно даст им, вчерашним беспризорникам и потенциальным преступникам, всё необходимое нормальному человеку.

Вспомнилось, что когда-то я читал обо всём этом в небольшой брошюрке под названием «8-е марта (Материалы к проведению Международного дня работниц в деревне)», изданной в Омске несколько позже—в 1925 году. Есть там несколько строк об этом:

«Работницы-делегатки дежурят у эшелонов, подбирая голодных и отставших ребятишек, участвуют в организации столовых, питательных пунктов, сборе вещей, устройстве всяких лотерей, субботников, вечеров, средства от которых идут в пользу голодающих».

Именно по этим причинам люди, подобные Таисии Ивановне Г., были очень нужны тогда. Без них невозможно было бы справиться с огромной работой, о которой я пытался в двух словах рассказать выше.

И, судя по записям в блокноте, эта женщина с головой ушла в дело.

Не всё в записях одинаково интересно. Списки учащихся (это и в самом деле ребята младшего возраста), многочисленные адреса различных людей, расписания занятий и тому подобное.

Но вот опять строки, как бы освежающие для нас те два года—1921-й и 1922-й.

«15-го, 10–11 часов в Союз, 46-я комн., о получении тезисов о Дне ребёнка». Далее, видимо, сами тезисы (написано весьма неразборчиво).

«Детская смертность, ранняя [забота.—*А. Л.*] о добывании куска хлеба, сохранение материнства. Забота о детях с момента рождения. Заботы о беспризорных детях. Борьба с детской преступностью. Заботы о физической культуре… Всем учреждениям вследствие тяжёлого положения страны оказать материальную помощь. Органы власти направляют все силы, чтобы дать помощь детям и детским учреждениям».

Расписание занятий, зафиксированное на странице блокнота:

«*Понедельник.* Закон Божий.
Грамматика.
Рисование.
Немецкий язык.

Вторник. Арифметика.
Объяснительное чтение.
Диктант.
Лепка».

Рядом же на страницы записной книжки врываются записи совсем иного, личного характера…

Стихи весьма эпигонского толка, переписанные, видимо, из какого-либо «старорежимного» и не самого лучшего журнала:

«Жизнь.

В пёстром наряде из радужных слов жизнь увлекала, манила вперёд—так опьяняло дыханье цветов, так чаровал голубой небосвод…»

Переписано именно так—без абзацев. Середину стиха пропускаю. А конец такой:

«Сброшена маска жестокой судьбой, грёзы увяли, разбиты мечты… Жизнь мне открылась, пугая собой, жалким скелетом своей наготы».

Что ж, не каждый обязан иметь безукоризненный литературный вкус.

И опять—адреса, адреса… И волнуют они меня почему-то. Уж больно знакомые всё улицы: возле одной (Барнаульской) прошло моё детство, на других я бывал и буду, должно быть, ещё много раз. А третьи просто напоминают прошлое моего родного, моего единственного на земле города—Омска: Сиротская, Слободская, Базарная, Фабричная, Кокуйская, Бригадная, Тарская, Банная, Пролетарская, Сергиевская, Надеждинская, Тобольская, 4-я Северная, Тарасовская… Многое переименовано. И многое—зря. Зачем? Ведь только об одних названиях этих можно написать целую книгу…

Прекрасно сознаю, что отступаю, отвлекаюсь. Вроде не надо бы, зря. Просто приходят иной раз в голову вещи странные. Например: а вдруг мать моя покойная знала эту женщину, работала с ней? А вдруг дед мой, с которым я так и не успел познакомиться, так как он утонул через два месяца после моего рождения,—вдруг он знал эту Таисию Ивановну? Ведь город Омск был маленьким, почти все друг друга знали. Вдруг, наконец, знала её моя полуграмотная бабушка, вятская переселенка? У кого ж спросишь?..

Но вернёмся к блокноту.

Опять идут записи, от которых веет неповторимым ароматом эпохи. Впрочем, оставлю поэтические экзерсисы для стихотворцев средней руки. Не ароматом веет, а холодом и голодом—то бишь инфляцией.

В записной книжке несколько расписок.

Первая (почерк полуграмотный, подпись неразборчива): «Двести тысяч получил за вывозку дров для школы».

Другой почерк: «Гончарук из своих денег одолжила 50 000 на вечер».

Расписка непонятно от кого (от какой-то благотворительной организации) на один миллион рублей, которые пошли «на ремонт здания». Здания школы, надо полагать…

Дензнаки стоили тогда едва ли больше той бумаги, на которой были напечатаны.

И опять личное. Записано неторопливым, почти хладнокровным почерком:

«15.III.22. Сколько таких дней, сколько мучительных часов мне пришлось пережить. Боже, будь милостив и помоги мне всё это вынести. Да, есть за что, за то, что так сильно и крепко я

люблю в первый раз в жизни. А что я делала с теми, которые, возможно, покрепче любили меня? Я их оставила, разбив их чувства в дребезги».

Последняя фраза мелодраматична? Что ж, может быть… Но, тем не менее, вряд ли такие слова пишутся неискренне. Вряд ли…

Выходит, у Таисии Ивановны в её совместной жизни с мужем не было любви, раз в 1922 году это чувство посетило её впервые. Сколько же лет ей было тогда? Думаю, что где-то между двадцатью пятью и тридцатью. Не больше.

Нашла ли она своё счастье?.. Что с ней сталось потом?

Нет и не будет ответов на эти вопросы…

Как там у неё? «Разбив их чувства в дребезги».

Трогательно читать это… «в дребезги», написанное по ещё привычной тогда старой орфографии — раздельно.

Странно и сладко думать о том, что жизнь незнакомой женщины, давно уже не существующей на этом жутком и прекрасном свете, так тронула меня.

ДиН стихи

Михаил Свищёв

В стеклянной сфере

* * *

то плавно двигаясь, то вовсе
неуловимо,

на полотне работы Босха
Иеронима
мазками спутаны густыми,
как на иконе,

у спящих заводей гусыни,
быки и кони,
документальным фотоснимком
на рыбе-звере

плывут влюблённые в обнимку
в стеклянной сфере,
как в пузырьке одеколона
минувшим летом,

струёй разбавлено холодной
немного света,
а золотой повенчан с бурым,
и часословом,

как будто шишкинское утро
в бору сосновом,
как будто русские — от шавки
и до миледи,

как будто даже есть душа в них,
но нет медведей.

RDX

Odor rosarum manet.

Возьмёшь две «Столичных»
к столу и поедешь к Нечаевым,
в маршрутке прочтёшь,
что куриная кровь онкогенна.
А я, не поверишь,
в тот вечер впервые отчаялся
отмыть тебя с рук,
как шахидка — следы гексогена.

Прочтёшь, что твоих
не сумею ни взгляда, ни голоса
себе запретить,
как евреев на улицах Вильно.
На верхнее «до»
и такое же «до» ниже пояса
меня пополам
разорвёт зазвеневший мобильник.

Предпраздничный воздух
наполнен дурными приметами,
но в «Яндекс» зайдёшь —
и расставится всё по ранжиру.
Боюсь прикоснуться
к тебе как к чему-то предметному,
забытому в спешке
беспечным другим пассажиром.

Юрий Уваров

Разум звука

Сети, сплетённые кириллицей

— Ничего, что я буду читать длинные стихи?

Мы согласно кивнули: негоже на правах гостей предлагать хлебосольному хозяину читать что-нибудь покороче. Во-вторых, мы уже пригубили тёмного абхазского вина (я потом найду в его стихах этот нечастый эпитет по отношению к вину), размякли и, кажется, потягивая сей божественный напиток, слушали бы хоть «Илиаду» Гомера. Но я всё-таки чуточку усомнился: выдержат ли мои спутники?

Уваров начал читать. Меня словно било током. С первой до последней фразы. Не доводилось вам совать руку в поле электрической удочки? Рыба ходит в этом поле по кругу. Так и я (думаю, и мои спутники) не мог выйти из поля уваровских стихов. Терпкий, креозотовый запах шпал: «Шевелись! Безбилетная сволочь, неудачник, бездомный поэт…» Ежели электричка, то — «на квадратных колёсах летит». Вечные вихри встречных поездов: «Между встречно летящих составов… разрываясь на части, стою». Кто герои его? «Кострожоги в прожжённых фуфайках». Дальнобойщики. Плечевые девки. Спящий на газетах Влодов, поднявший «слабое слово до юродивой правды». Откинувшийся слепой зэк, чья «чуткая тень» между тем «смотрит в лес, где ночная фиалка цветёт». «Мир обескровленных россов». Потому что «полдержавы — полынная пустошь. Горько… Пусто… И не с кем молчать».

Уварову «не с кем молчать». Впрочем, уже нет на свете многих его собеседников: Виктора Астафьева, Арсения Тарковского, Анатолия Кобенкова… Странно: Уварову, наверное, есть с кем говорить, но вот молчать…

А молчит он уже с 1991 года. Тогда в первый и последний раз ещё не сдавший твардовские позиции «Новый мир» напечатал подборку его стихов. С тех пор — ни звука. Нигде. А ведь Уваров как никто другой ведает, что «разум звука есть власть». «Разум звука»… Так хотел бы он назвать свою итоговую книгу, которую, насколько я помню, мечтал выпустить то к своему шестидесятилетию, теперь уж — к семидесятилетию. О чём молчит Уваров? О том же, о чём и народ. Одно из уваровских определений Родины — это «странноприимное место, где на старославянском кириллицей сети плетут». Сдаётся, что возросший на волжских откосах мой тёзка и сам плетёт на старославянском кириллицей сети. Они всегда богаты уловом. Даже если там — древесный листок или пёрышко, коему «позволено над глубиной кружиться». Уваров продолжает пресёкшуюся в нашей поэзии линию — Бориса Корнилова и Павла Васильева. В этом смысле совсем не случайна его обмолвка, что «к новому списку народных врагов / надзирающей дланью заносится: Ю. В. Уваров».

Когда-то один из его друзей, ныне покойный, тоже по-настоящему не узнанный поэт Борис Викторов, напечатал, кажется, в том же «Новом мире»: «Уваров покинул леса…» Если это не только заволжские леса, но и леса русской поэзии, то, конечно, им недостаёт Уварова.

Юрий Беликов

● ● ●

За тебя!
За осень.
За молчанье…
Посидим вдвоём последний раз.
До поры,
как сок в бродильном чане,
Чутко дремлет Северный Кавказ.
Дозревают тыквы на плетне,
Пожелтели, задубели плети…
Точно память о прошедшем лете —
Георгин в распахнутом окне.
Больше ничего…
лишь тишина.
Может быть, и ничего не надо.
Выпьем за тебя, моя отрада,
Тёмного прощального вина.
Тихо поднимает над землёю
Сумерки колодезный журавль.
Успокойся,
Я тебя не стою.
Не жалей того, чего не жаль.
Даже этой осени печальной
С красным георгином возле глаз…
За тебя!
За осень.
За молчанье…
За любовь, ушедшую от нас.

Зеркало

Если мир твой — вагон да вокзал,
то пора автостопом —
Из Москвы к Петербургу,
к чухонско-карельским Европам.
Где, как штык винтаря,
гранный шпиль Петропавловский стынет.
По болотным краям — к соловецким камням и святыням.
Где расстрельную справу так часто вершили в овраги,
Что полями к полям прирастали в границах ГУЛАГИ.
Насыпные поля от Москвы и до самых окраин,
С южных гор и до северных зыбей,
а пелось — морей,
Чтобы знал гражданин, кто страны этой ровной хозяин…
Насыпные поля, полигоны, полынь да пырей.
Родина зарастает.
И уже на просторах чудесной
Скоро некому будет ни в битвах, ни в мирном труде
Закаляться и петь под ударно-дебильные песни,
Но в объятьях у власти или на короткой узде.
Из Москвы к Петербургу…
За МКАДом темно и тревожно…
Тормози наудачу КАМАЗ — цеппелин бездорожья,
И как в омут — в безвременье,
в мир обескровленных россов,
Под ревущую прыть табуна на метровых колёсах.
Эй! Провинция!
Фря плечевая,
сестрёнка,
путана!
Дальнобойные фуры, как пули в стволах автобана,
Мнут пространства, просторы,
под сердце навылет бодают,
Светом фар на подъёмах
рвут подбрюшья беременным тучам…
Наливай стременную ещё одному раздолбаю,
Запевай про дороги, да пыль, да туман…
ну и ворон — до кучи.
Про страну,
где клубится чужая земля и дымится…
На панелях планеты
давно государственный — русский.
Эй! Провинция-Дуся!
Не вижу причин не напиться
Так, чтоб грудь обрывала все пуговки с маминой блузки.
Сердобольный водила,
Харон, перевозчик в иное,
Не спеши, красноглазый, вострить волосатое ухо.
Две бессмертных души вывози из беды и запоя
Ради Сына, Отца, и Святаго, прости меня, Духа.
Вывози!
Эй, залётныя! Жги, погоняй лошадиные силы.
Видишь — Чичиков «Майбах» выводит из тёплого стойла.
Где ты, птица?! Эх, тройка!
С кем мчишься, кто правит — Россия,
Диким взглядом кося,
цепенея от имени — Воля?

Стаи лагерных псов,
одичавши, умчались в конвойную Лету.
Брёвна лагерных вышек
давно растащили народы на бани.
По деревням вдоль трассы
столько саун дымится, что где-то
Думу о профсоюзе всерьёз оседлали бухие славяне.
Дочки парят.
Родитель с плакатом у съезжей стоит,
На известных языках прельщая услугой клиента.
— Сколько стоит плезир?
— Сколько сердцу не жалко.
А сердце болит.
Автобан — на венке у отечества скорбная лента.
Никнет с севера к югу.
И как ты её ни читай,
По валдайским ли весям,
посёлкам или городищам,
Так же чудище обло,
озорно, огромно, стозевно
и так же лаяй.
За века — суть по-прежнему всё, мой печальный Радищев.
Никаких перемен.
Будь то из Петербурга в Москву.
Иль, как я, из Москвы
к потерявшему власть Петербургу.
Прикажи — пусть отмерят овса и сенца твоему скакуну.
Подожду — пусть по горло заправят все баки железному другу.
Посидим, помолчим.
Ты давно уже всё описал.
Я ещё, может быть, напишу.
Да что толку стучаться
В стену мира глухого
и тщетно срывать голоса.
— Не бывает чудес, —
утверждали Фома и Горацио.
Сколько войн пережили.
Немерено — смутных времён.
Но сегодня заехали в мутное время, похоже.
Смена власти,
тасовка законов,
тусовка знамён…
Вроде ветер свободы,
но запах у ветра острожный
Веет, воет, гудит и хрипит в столбовых проводах.
Верстовые столбы ослепляя
то пылью,
то грязью,
то снегом.
Зги не видно.
Но дней часовых, мутных дней череда
Всё ещё называется жизнью и времени бегом.
В насекомом ночлеге рождённый,
неправедный век
Только встал с четверенек,
но взгляд уже целит и рыщет.

И нетрудно пропасть—
от рождения слаб человек.
Слаб и страшен,
к несчастью,
мой грустный сиделец Радищев.
Колеёй параллельного мира
ехай, милай,
следи
Шубной моли вертлявые лёты,
покусывай кончик косицы.
Петербург обогнули в тумане.
Соловки всё ещё впереди.
Ничего не меняется,
как ни меняйте столицы.
Только дизеля рёв.
Только крупная дрожь рычагов.
Сон блудницы заплечной.
Запах топлива и перегара.
Дым от саун…
И к новому списку народных врагов
Надзирающей дланью заносится: Ю. В. Уваров.

• • •

Я от левой груди
Запустил своё сердце на север.
Оглянулся и вскрикнул,
Навек оборвав тетиву.
Скифский лук, или лира,
Или месяц над полем осенним…
Только в сторону родины ветер сгибает траву.
Шевелись, шевелись,
Выгибайся, беги за составом,
Как с квадрата холста,
Эту тень вырывай из окна.
Чтоб, скатившись по насыпи,
Даже следа не оставив,
В полосе отчужденья
Навеки пропала она.
Что мне в этих краях,
Если сердце давно над Россией?
И вот-вот упадёт, может, в милые руки, как знать.
Сколько болей людских
Над землёю сердца возносили.
Сколько пролито слёз не сумевшими их удержать.
Видишь, тёмные тени бредут, наклоняясь над полем
Куликовым иль Курским…
Да сколько их, Боже!
Постой,
Тёмный ветер, не трогай
Свечи восковой меж ладоней,
Не касайся дыханьем последней свечи золотой.

● ● ●

Белый хруст раскалённого мха.
На осинке вертлявая птица.
Только тронь—золотая труха
Сквозь кору из пенька заструится.
Потекут, заспешат мураши,
Запушат иван-чая метёлки,
Как под ветром с забытых вершин
Над посёлком…
Не стало посёлка.
Только чёрный от зноя барак—
Как хребет, перешиблена крыша.
Точно в детство, войду в полумрак,
Вспомню чайную, шишкинских мишек,
Самовара латунный закат,
Скользкий жёлоб дороги-ледянки,
Заграничной тушёнки квадрат
С открывалкой, припаянной к банке.
Говорили, конина—не ел…
Пар над крупами тяжеловозов.
Штабелями—товарная ель.
И развал нетоварной берёзы.
Миллионы клеймёных торцов…
Не такие труды выносили
Задубевшие спины отцов
Ради послевоенной России.
Ради пахнувших хлебом дымов,
Ради…
Что говорить, чего ради?
Вспомню первые наши тетради
Из таких же, наверно, лесов.
Леспромхозовский вспомню народ,
Кострожогов в прожжённых фуфайках…
В государственных денежных знаках
Что-то было от этих работ.
Как тавро—гербовая печать,
Тёртый звук позвоночного хруста.
Полдержавы—полынная пустошь.
Горько…
Пусто…
И не с кем молчать.

● ● ●

Пусть в небе лист, а на воде перо,
Как будто только-только грянул выстрел.
И что смогло, оставило крыло,
И что смогли, оставили нам листья.
Два знака из породы ветровой,
Два символа почти вселенской грусти.
Теперь, хоть навсегда глаза закрой,
Виденья эти память не отпустят.
И как бы кто местами ни менял
Одно с другим,
Всё выпадет на осень.
Подбрось перо—и лист на воду пал,
Подбрось листок—перо волнами сносит.
Но ты меж ними, как дрожащий звук,
Из ничего возникнув, будешь длиться
И первый снегопад кормить из рук,
Как белую или седую птицу.
И, сострадая,
Будто в первый раз,
Встречать и провожать в страну иную
Всех оттепелей траурную грязь
И среднерусских вьюг тоску цепную.
Луна ль взойдёт,
Погаснет ли окно,
Иль волчья тень перемахнёт дорогу,
Или мороз над прорубью сомкнёт
Ладони льда,—
Мы живы, слава Богу.
Всё к лучшему,
Всё в будущем ещё…
Свет от жнивья над стынущей равниной…
Земную жизнь пройдя до половины,
Не смахивай слезы с запавших щёк,
Страдай, страдай!
Душа должна болеть.
Всё к сердцу принимай, пока грустится,
Пока листку позволено лететь
И пёрышку над глубиной кружиться.

• • •

Не жена, не сестра, не подруга.
Кто ты мне?
Только встречный свистит.
Электричка сквозь ночь на Калугу
На квадратных колёсах летит.
Низким рыском каким-то,
Прыжками,
По дуге огибая луну.
И тоска, точно зверь за флажками,
Тянет волчьего воя струну.
Мимо стылых полей Подмосковья,
Оловянных речушек, низин,
Где, как грешные души на кольях,
Содрогаются кроны осин.
И твоё ретивое—когда-то—
Содрогнётся,
И лоб о стекло
Ты остудишь, но чувство утраты
Так же будет ломиться в окно
Полнолуньем, безлюдьем перронов,
Памятью, перешедшею в боль…
По ночным одиночкам вагонов
Бродит совесть, как пьяный контроль.
— Шевелись! Безбилетная сволочь,
Неудачник, бездомный поэт.
За судьбу, за подкладку, за полночь
Завалился счастливый билет.
Где с синюшным подглазьем удача
С вечно пьяным успехом в углу
Обнявшись, то ли спят, то ли плачут,
Завернувшись в дырявую мглу.
И ни шкура стальная состава,
Ни ребристый лежак МПС
Их уже не спасут, не исправят
Жизнь, летящую наперерез,
Под уклон, на шлагбаум закрытый,
К переезду растерянных душ.
Только ритм, на три части разбитый:
Не любовник,
Не брат
И не муж.
Кто тебе я?
Но кем бы я ни был,
Понимать наступила пора
Ложь и горечь сладчайшего хлеба
На застольях чужих и пирах,
Холод гостеприимных парадных
Лестниц, с их крутизной не к добру.
Всё в твоём королевстве неладно,
Что имел—сквозняки оберут.
Пуст вагон.
Никого не осталось.
И никто не войдёт до конца.
Лишь к стеклу ненадолго прижалось
Отраженье родного лица.
Да и то отшатнулось в испуге,
Заглянув на мгновенье в глаза.
— Никого у тебя нет в Калуге,
Разве что полутёмный вокзал…
Никого!
Все подряд рви стоп-краны!
Челюсти раздирай у дверей!
Вон!
На волю,
Где дикие травы
Мнут и топчут лишь лапы зверей.
Ни деревни, ни дома, ни тропки.
Только ветхий безлиственный лес
Да фонарь, освещающий робко
Две упавшие лестницы рельс.
И обходчику трудно представить:
— Что нездешнему в этом краю…
Между встречно летящих составов,
Полустёртый,
Оглохший,
Усталый,
Разрываясь на части, стою.

* * *

Сосны слезятся, сугробы синеют в тени.
Белка-летяга скользит, как флажок, по лучу.
Звуки оттаяли в дудочках серой стерни.
Тихая музыка перья шевелит грачу.
Родина, милая, может, славянская речь
Так же возникла, однажды протаяв на свет.
Тихая музыка, как мне тебя уберечь?..
Даже в снегу до весны сохраняется след.
Кто здесь ходил и подолгу стоял у берёз,
Думал о чём иль в ночи говорил со звездой?
Может, как я, не сумел удержаться от слёз…
Грач дирижёрскую палочку в клюве пронёс.
Тихая музыка.
Родина.
Птица.
Гнездо.

Попытка примирения

Непогодит.
Всерьёз и надолго.
Завернуло ненастье и к нам.
Одинокую чайку над Волгой
Не лови в перекрестье окна.
Без того…
        Там лишь старая верба
Да в угрюмых повторах река.
Без того
        неуютное небо
Вровень с крышей несёт облака.
Без того, горизонт обирая,
Треплет ветер сиротства крыло…
Вот опять,
        высоту вырывая,
Поломал маховое перо.
Неужели и нам отлеталось?
Вновь наклонных дождей череда,
Как крылом перебитым цепляясь,
По земле волочит холода.
В этом мире,
        неверном и мглистом,
Как прожить у обид взаперти,
Если стёрты до синего свиста
Человечьи и птичьи пути?
Так стремительно даль ускользает!..
Так теряет упругость полёт!..
Только север волну подрезает,
Только ставень расхлябанный бьёт.
И на срезе опасного крена,
Принимая паденье на грудь,
Я кричу:
        — Ты родилась из пены,
Не молчи.
Говори что-нибудь.

Слепой

Шли составы на север.
Ещё до войны.
Или после…
Не знаю…
Не помню…
Забыл.
Зубы выбили вместе с признаньем вины:
Да, был связан…
Способствовал…
И—загубил…
Там, на севере, где на вершине сосна,
Где три пальмы иль фикуса в чайной стоят,
Налила мне страна голубого вина
Под весёлым названием—денатурат.
Что амнистия?—слово.
Свобода!—полёт!
По синюшным наколкам блатной алфавит
Мне впечатала зона в обугленный рот
Так, что каждое слово, как фикса, горит.
И пошёл я вдоль звёздного шляха домой—
До станицы,
До хаты,
До юности,
До…
Позади—тридцать лет с топором и пилой,
Впереди—тот же лес,
Тот же запах грибной.
Распахни мне, грибница, подвалы свои.
Затекает живицей по срезу сосна.
Отгремели в сиренях мои соловьи.
И сирени твои облетели, весна.
Отпылали Стожары,
И звёзды в реке,
Как цветы остролиста, ушли в глубину.
Только запах, и звук, и тепло на щеке
Задирают, как волку, башку на луну.
Гонит солнечный ветер цветочную пыль.
Снова лето баюкают перепела.
Возле облака медленный ястреб проплыл,
Через поле стремительно тень проплыла.
Пронеслась и пропала.
Как эхо в бору.
—Отомкнись и раскройся, древесная крепь…—
Так и жил,
Собирая грибы и траву,
Тем и жив был, пока насовсем не ослеп.
Он стоит на крыльце, лунным светом облит.
По лицу проползают туманы с болот.
Сбоку чуткая тень, как собака, лежит.
Смотрит в лес,
Где ночная фиалка цветёт.

Марат Валеев

Эвенкийские записки

Здравствуй, Эвенкия

В 1989 году я, тогда собкор павлодарской областной газеты «Звезда Прииртышья» в Экибастузе, получил приглашение на работу в Туру, «столицу» Эвенкийского автономного округа (это где упал знаменитый Тунгусский метеорит и течёт описанная Вячеславом Шишковым Нижняя Тунгуска, выведенная им как Угрюм-река в одноимённом романе). Наверное, я бы слукавил, если бы не пояснил, за каким чёртом меня понесло в эту таёжную глушь. А всё было элементарно просто. Меня угораздило влюбиться, я развёлся, Светлана ушла от своего мужа, и вот нас всяческими путями пытались растащить и вернуть в прежние семьи. Поэтому мы и решили уехать из Экибастуза куда подальше, где бы нас уже никто из ревнителей нравственности не достал.

И вот мы в Красноярске. В тот же день (было это 18 июня 1989 года) вылетаем из Черемшанки в Туру. Летим в маленьком Як-40 час, второй, и всё это время «под крылом самолёта о чём-то поёт зелёное море тайги». Садимся, выходим на бетонку аэродрома. Холодно, моросит мелкий дождь, а мы одеты очень легко. Кручу головой по сторонам: должен же подъехать за нами автобус. А его всё нет и нет. И народ тоже не расходится, все стоят неподалёку от приземлившегося самолёта, чего-то ждут. Вдруг раздаётся рокот, над нашими головами зависает и сваливается на бетонку чумазый вертолёт. Все спешат к нему. Светланка с Владиком (её девятилетний сын) с немым изумлением смотрят на меня, я — на них. Потом хватаем чемоданы и втискиваемся в эту винтокрылую машину, которую так близко мы все трое видим впервые. Вертолёт задрожал и со свистом оторвался от земли. Летим стоя, салон набит битком — людьми, почтой, багажом. Пассажиры чинно беседуют, силясь перекричать грохот двигателя. Несколько минут полёта — и вертолёт высаживает нас в Туре уже по-настоящему, в местном порту. А перед этим, оказывается, был междугородный аэропорт Горный.

Снова изумляемся, впервые увидев деревянное, по-лубочному раскрашенное четырёхэтажное здание странной конфигурации (оказалось, это административное здание Туринского авиапредприятия). Идём к выходу в посёлок, увязая в грязи. Нас никто не встречает, хотя телеграмму в редакцию я отбил. Добираемся пешком. По дороге продолжаем устало удивляться. Бесстыже развалившимся там и тут коробам теплотрасс, бесцеремонности часто встречающихся мокрых грязных собак — они неспешно трусят по тротуару навстречу или валяются на нём и напрочь отказываются уступать дорогу, обшарпанным домам, безлюдности улиц. Нутром чую: вот она, начинается наша северная жизнь. Глазами со Светланкой стараюсь не встречаться. Завёз, что называется…

Первые испытания

Редакция газеты размещается в потемневшем от времени деревянном (да в Туре практически всё жильё и объекты соцкультбыта деревянные) здании, сумрачном и прохладном, как погреб в летнюю жару. Нас встречают доброжелательно и в то же время со сдержанным достоинством, за которым можно прочесть: «Мы-то здесь давно. Посмотрим, насколько вас хватит». Редактор Эдуард Иванов, лысоватый, с простоватым лицом мужчина моих лет, создаёт впечатление своего парня. Так оно и есть, с ним легко и просто.

Нам нужен угол — как-никак целая семья прибыла. Иванов тащит нас к себе — его жена с детьми в отпуске, и он холостякует. Живём несколько дней у него. В первую же ночь выхожу на улицу по потребности. Время около двух, а на улице светло, как днём. Сосед Иванова, насвистывая, красит лодку, по деревянному тротуару осторожно пробирается кошка с ошарашенными глазами. Кошкам здесь очень несладко. Во-первых, эти истинные ночные хищники никак не возьмут в толк, почему здесь, когда их начинают выпускать на улицу, круглые сутки день; во-вторых, на улице им вовсе не до охоты — в Туре полно бродячих собак, для которых кошка сама становится объектом охоты — тот же соболь с виду.

Иванов договаривается с гостиницей, даёт нам на время крохотный и в то же время очень тяжёлый (железный, что ли?) редакционный телевизор «Романтик». Переезжаем в двухэтажку у здания аэропорта, занимаем одну из комнат на втором этаже. Жизнь здесь развесёлая. Постоянно пьяные вопли, всё время кто-то путает двери,

не успеваешь выталкивать непрошеных гостей; толпами, не обращая на тебя внимания, бродят тараканы, и понимаешь, что истинные хозяева в этом клоповнике—они. Светланка на грани срыва, но держится пока молодцом. Правда, иногда глубоко уходит в себя, в такие минуты её лучше не трогать. С ней происходит то, что происходит с тепличным цветком, пересаженным из комфортной оранжереи в открытый грунт. Наш союз проходит настоящее испытание на прочность вот этим вот первобытным бытом.

В зарплате мы потеряли оба: у меня, как у собкора областной газеты, вместе с гонорарами в иные месяцы выходило до четырёхсот, Светлана в отраслевой многотиражке стабильно получала свои триста. Здесь нас проводят корреспондентами, с районным коэффициентом (северных пока ноль) «зашибаем» на двоих в пределах пятисот—вот он, длинный северный рубль. Впрочем, на жизнь нам хватает, да и не за барышами мы сюда, по большому счёту, ехали. Мы начинаем осваиваться. Иванов читает первые подготовленные нами материалы и веселеет. Скоро освобождается место заведующего отделом экономики, им становлюсь я. Первая командировка: с фотокором В. Грошевым нас включают в специальную комиссию в составе представителей окружкома партии, окрсельхозуправления, райисполкома, кого-то там ещё. Летим на восток, в сёла Кислокан, Юкту Илимпийского района, с целью проверить подготовленность хозяйств к зиме. Везде проводим собрания (господи, и тут собрания—как же мы любим сотрясать воздух!), сопровождающие нас начальники записывают и делают вид, что запоминают высказываемые обиды, предложения, критику.

По многолетнему опыту знаю, что почти всё останется как было, без движения. Разве что газета потом лишний раз напомнит, что не мешало бы сделать то-то и то-то. В Юкте совхозная картошка может остаться под снегом. Завсельхозотделом окружкома Царьков, председатель райисполкома Сидоров матерятся и принимают дельное решение: помочь выкопать картошку. Правильно, пусть одним собранием будет меньше. Нас в группе человек восемь—чуть ли не половина рабочей силы Юкты. Выкапываем, собираем картоху, а руки уже мёрзнут, хотя на дворе только-только начался сентябрь. Впереди—наша первая северная зима.

Иванов нашёл для нас полуторку (однокомнатная квартира с большой кладовой, которая вполне сходит за вторую комнату) в длинном, сползающем уступами вниз по улице Увачана двухэтажном доме. Его здесь называют кто Корабликом, кто—Китайской стеной. Хозяйка квартиры на какое-то время уезжает в Ванавару и временно согласилась пустить нас (не бесплатно, конечно). Квартира тёплая, и мы зимуем без проблем, хотя морозы просто потрясают воображение: сорок пять—сорок восемь весь декабрь (тридцать-сорок за мороз здесь не считается). Пятьдесят три—пятьдесят пять пару недель в январе, и опять сорок пять—до марта. Впрочем, переносятся они даже легче, чем североказахстанские тридцать с ветром, главное—беречь нос и щёки да быть тепло обутым.

В такие морозы в Туре тишина—мёртвая, лишь стоит густой туман, да иногда гулко каркнет со столба огромный, величиной с гуся, аспидно-чёрный ворон. Из птиц только они в такие дни оживляют промёрзший насквозь пейзаж. Жалко бездомных собак. Они прячутся где-то в теплотрассах, но голод не тётка, и каждое свежевываленное в деревянный мусорный короб (непременный атрибут любого туринского двора) ведро с дымящимися объедками, нечистотами тут же привлекает к себе три-четыре крупно дрожащих псины. Вытягивая от усилия шеи и царапая стенки мусорок когтями, они вскарабкиваются внутрь обледенелых ящиков и жадно пожирают всё, что хотя бы отдалённо похоже на съестное. Вспыхивают короткие ожесточённые схватки, свирепое рычание перемежается почти женским рыданием побеждённой более слабой шавки. Она кубарем катится вниз и с поджатым хвостом исчезает в морозной мгле… Вот такая она, северная жизнь…

Продовольственный вопрос

А помойки в Туре в начале девяностых годов всё беднее и беднее. Страна голодает, и дефицит еды проникает и на Север. Хотя с продуктами здесь было всегда получше, чем на материке. Я помню, как то ли в 1963, то ли в 1964 году—в целинном Казахстане!—люди давились в очередях за хлебом, в нашем сельском магазинчике в сутки его отпускали на человека всего по триста граммов. Когда уже работал в газете, в Железинке, являвшейся центром крупного животноводческого района, имевшей собственный маслозавод, огромные стада овец, крупного рогатого скота, свиней, с продуктами всегда было туго. Скот откармливали и вывозили на мясокомбинаты. Сливочное масло практически всё уходило в областной центр, а что оставалось—расходилось по так называемым закрытым учреждениям (больницам, детским садам—ну да это святое дело) да с заднего хода отпускалось блатным.

Особая примета тех лет—высокие глухие заборы вокруг усадеб главных районных, совхозных начальников, с задними калитками и воротами, откуда втихаря завозилась или заносилась—в зависимости от чина и объёмов—дефицитная жратва.

Мяса в свободной продаже, так же как и масла, практически никогда не было. Куда всё девалось—оставалось вечной загадкой. Ну не съедали же всё, что складывали в закрома родины неутомимые труженики села, советско-партийно-хозяйственные

кадры? Даже если жрали в три горла, их, по сравнению с нынешней неимоверно расплодившейся чиновничьей братией, было всё же куда меньше.

Так или иначе, рядовой люд питался неизменным минтаем и хеком, субпродуктами, бычьими хвостами и говяжьими головами. В ходу был такой анекдот: «А почему ни у одной головы нет языка?» — «Да чтобы не проболталась, куда девалась туша!» Как-то железинцев порадовали: привезли несколько машин с маленькими, меньше бараньих, тушами сайгаков. Разобрали всё мгновенно. Но даже жареной сайгачатина оказалась малосъедобной, пресной и безвкусной. Похоже, бедных животных сюда всё же не везли, а гнали пешком — тысячи километров, от самой балхашской полупустыни…

В Экибастузе жизнь до середины восьмидесятых годов была сытной. Это был город шахтёров, энергетиков, со статусом всесоюзной ударной комсомольской стройки, и снабжался он отменно. Колбасы — какие хочешь, во всяком случае, три-четыре сорта всегда присутствовали; мяса — навалом, кофе растворимый, сгущёнка, тушёнка… Коммунизм, да и только. В то же время область голодала, в соседних российских регионах народ варил супы из рыбных консервов. И потому в Экибастузе всегда было полно машин из других казахстанских областей, с российскими номерами: люди приезжали сюда за едой, чтобы затариться впрок. И тогда ещё не делили на своих и чужих, отпускали всё и всем подряд. А уже ближе к перестройке и в первые годы правления Горбачёва даже в Экибастузе стали вводиться ограничения, дефицитом людей отоваривали (слово-то какое появилось тогда! На сленге оно ранее означало «дать в морду») уже преимущественно через предприятия, учреждения.

В Туре мы обрадовались, когда увидели в гастрономе ряды банок с тушёнкой и сгущёнкой. Думали, хоть здесь сохранилось изобилие. Фигушки! Оказалось, отоваривают только по спискам. А свободно можно было купить вечно кровавую чёрную оленину. Это как же надо было не любить потребителя, чтобы выставлять на продажу продукт вот в таком виде!

Мы чуть не погибли…

Жизнь на Крайнем Севере — это каждодневное испытание, это борьба за выживаемость, это никогда не прекращающаяся «экстремалка». И это не громкие слова, а простая констатация действительности. В Туре, как практически во всех любых других населённых пунктах округа, каждую зиму кто-нибудь замерзает насмерть. Обязательно перемораживается пара-тройка домов, учреждений. С небольшими промежутками бушуют пожары, в огне гибнет ветхое жильё, конторы, какие-то производственные объекты, люди. Холодно в домах, стыло в учреждениях, вот народ и согревается кто как может. После того как вернулась хозяйка занимаемой нами квартиры на Увачана, нам дали однокомнатную квартирёшку по улице Школьная (она редакционная и наконец освободилась). Единственное достоинство этого жилья — работа в сотне метров. Квартира на первом этаже, для Туры нет ничего хуже, и в этом я убеждаюсь с первыми крепкими морозами. Батареи едва дышат, хотя до котельной — только через теплотрассу перебраться. Когда на улице за сорок, вода в ведре на полу замерзает. Да что там в ведре — она и в подвесном умывальнике покрывается коркой льда. Жители регулярно навещают центральную котельную — проверить, не пьют ли кочегары. То же самое делают рейдовые бригады, милицейские наряды. Кочегары, конечно, пьют. Потерявших сознание увозят, на их место привозят трезвых. Но уголь дрянной, в нём больше породы, и нужную температуру через прогнившие тепловые коммуникации нагнать почти невозможно. И потому все, кто может, ходят с вёдрами к угольным кучам у котельных. Хожу и я туда каждый вечер, как шахтёр к себе в забой на смену. Как ни придёшь, тебя обязательно встречают несколько стоящих в согбенной позе жителей окрестных домов, с матерками набивающих вёдра, мешки углём, который надо тут же, по ходу, отсортировывать от кусков породы. Кочегары, время от времени выкатывающие из котельной тачки с дымящейся золой, косятся на нас: после каждого такого набега куча уменьшается, становится менее качественной, — но молчат. Да и что тут скажешь?

Прежде чем улечься спать, я вытапливаю в печке до шести вёдер угля (они превращаются в четыре ведра золы — вот такое качество привозного угля. Абсурдно, но на территории Эвенкии при этом находится крупнейший в стране и совершенно ещё не тронутый угольный бассейн — Тунгусбасс). В метре и выше от пола почти жарко, а ногам по-прежнему холодно, халабуда, в которой мы живём, тепла совершенно не держит. Я прикрываю печную вьюшку, чтобы тепло не так быстро покинуло наше жилище. Утром встаём в уже напрочь выстывшей квартире. Но топить некогда, теперь уже до вечера.

Однажды утром с неимоверным трудом просыпаюсь от жалобного стона Светланки. Голова раскалывается, перед глазами всё плывёт. Жена, не открывая глаз, всё время повторяет одно и то же: «Марат, дай лекарство, у меня голова сильно болит!»

На ватных ногах, пересиливая приступ тошноты, добираюсь до окна и выбиваю стекло в законопаченной двойной форточке. Оживаю с каждым глотком морозного воздуха, бегу к соседям вызвать по телефону скорую помощь: мы явно угорели. Светланка лежит с лицом, белым как полотно, её рвёт. Приехавшая фельдшерица

выслушивает мой сбивчивый рассказ и делает Светланке какой-то укол. Медичка внешне спокойна, но глаза испуганные. Она, как и я, понимает, что мы чудом избежали гибели. Скорая уезжает, я ставлю на стул у постели жены чашку горячего чая с лимоном, но она заснула. Я ухожу на кухню, закуриваю и кашляю, кашляю, сдерживая сухие рыдания. Господи, я ведь чуть не убил нас обоих (Владика после первой же зимы от греха подальше отвезли к его бабушке в Кзыл-Орду)! Лишь потом выяснилось, что я после того, как протопил на ночь печь, сделал всё правильно. Это Светка посчитала, что я неглубоко толкнул печную задвижку, ей было жаль уходящего тепла, и она подтолкнула задвижку ещё немного. Спать-то было тепло, но мы ведь могли и не проснуться…

…И о тех, кто погиб

Я продолжаю учёбу в университете, пишу вечерами контрольные, курсовые, зубрю марксистско-ленинскую философию (будь она неладна—совершенно не поддаётся осмыслению и заучиванию). И каждый год в марте улетаю на сорок дней в Алма-Ату на экзаменационную сессию. У нас ещё тридцатиградусные морозы, а в Алма-Ате всё зелено, зацветают яблони и вишни, теплынь. Учёба мне даётся, в принципе, легко, дни летят за днями. С сокурсниками начинал казахстанцем, продолжаю россиянином, жителем Крайнего Севера. Всем крайне интересно, что такое Эвенкия, где она, что за люди там живут. Признаться, рассказчик я неважный. А тут слушают, с любопытством шуршат страницами привезённых мной экземпляров настоящей северной газеты, где чуть ли не в каждом номере запросто пишется об охоте на соболя, об оленеводах и геологах, на снимках—сцены из таёжной жизни с чумами, оленями. Этот колорит, романтика всех завораживают, и я предпочитаю не распространяться, что на самом деле за ними стоит.

Но вот все зачёты, экзамены сданы, в зачётной книжке—заветная запись о переводе на следующий курс. В Алма-Ате совсем жарко, когда я занимаю место в отлетающем на Красноярск Ту-154 студентом уже четвёртого курса Казгу. В красноярском местном аэропорту Черемшанка, как всегда, полно народа, билетов на Туру нет. Не помню ни одного случая, чтобы вернулся домой с сессии, вообще откуда-либо через эту чёртову Черемшанку без того, чтобы не провести здесь несколько дней: или погоды нет, или билетов. А в самолёте затем обязательно обнаруживаются несколько пустых мест. Это челноки скупают места для своего товара. И никому дела нет, что ты всей душой рвёшься домой—истомился за полтора месяца. С тех пор я не люблю Черемшанку. Впрочем, в Емельяново не лучше—и этот теперь уже международный авиапорт также нередко мордует звереющих от долгого ожидания вылета домой северян.

Но вот я, счастливый, спешу по грязным раскисшим улицам Туры—уже май, и здесь тоже весна,—домой. По дороге встречаю нашего корректора Елену Лелис. На минутку останавливаюсь, чтобы поздороваться, узнать последние новости. И—как обухом по голове: нашего редактора Эдуарда Иванова уже нет в живых. Светланка при последнем телефонном разговоре со мной утаила горькую весть—побоялась, что это помешает мне сдать последний экзамен. Спрашиваю, что да как. Повесился у себя дома в ночь на первое мая 1991 года, на детской скакалке. Ну не было у него видимых причин для самоубийства, нельзя же домашние ссоры, неурядицы отнести к таковым. А вот пожалуйста—в сорок лет поставил точку в своей жизни. На могиле ему поставили стилизованный памятник—симбиоз пера и гитары. Они в его жизни были неразделимы, журналист, редактор Эдуард Иванов любил петь под гитару. Он вообще много чего любил, и особенно рыбалку на хариуса в верховьях Тембенчи. Так любить жизнь и добровольно уйти из неё—не понимаю. Но и не осуждаю—это уже не в нашей компетенции.

Увы, но это не последняя наша потеря. Через полгода, не дожив даже до северной пенсии, неожиданно умирает Ю. А. Шебалин. Его нашли ничком лежащим в теплице—прихватило сердце. Оно у него и так было не железным. А тут грянул августовский путч. Шебалин, обладая в это время правом подписи газеты, открыто высказался в поддержку гэкачепистов в редакционном, то есть неподписанном, материале, таким образом вольно или невольно выдав своё собственное мнение за позицию всей редакции. Разразился скандал, и. о. редактора Свиридову, вернувшуюся к тому времени то ли из отпуска, то ли из командировки, потащили на расправу в администрацию округа, в крайуприздат. Дело завершается тем, что Шебалина понижают в должности до заведующего отделом. Сказать, что Юрий Александрович переживал,—значит, ничего не сказать…

Хороним Юрия Александровича недалеко от Иванова, обязательно навещаем их как в родительский день, так и в годовщину смерти, они ещё долго как бы остаются членами редакционного коллектива и будут оставаться, пока мы их помним. А теперь надо ещё навещать и Володю Полунина, директора типографии, добродушного, никогда не унывающего толстяка. Неподалёку от Ванавары, на берег таёжной речки Чамбы, падает пассажирский Як-40. Гибнут все пассажиры и члены экипажа—всего около тридцати человек. И среди них—жена Полунина. После похорон Любаши (так ласково он называл свою жену) Полунин какое-то время ещё крепился. А потом сорвался… Нашли его дома в петле, стоящим на

коленках. Хоронили на новом кладбище: Тура за семьдесят с небольшим лет своего существования, с максимальным количеством населения в семь тысяч человек, заполнила уже два погоста в поселковой черте, интенсивно «обживает» третье, в тайге. Средний возраст лежащих там мужчин—сорок—сорок пять лет…

Выборная эпопея

Наш огромный по площади округ (765 тыс. кв. км—спокойно можно разместить целый ряд европейских государств, хотя вряд ли они согласятся) настолько мал по численности населения как субъект Федерации—нет даже двадцати тысяч человек,—что здесь, кажется, все знают друг друга. С Александром Боковиковым я познакомился, когда его после директорства в совхозе «Кислоканский» назначили начальником управления сельского хозяйства. Несколько раз брал у него интервью. Круглолицый, улыбчивый, дружелюбный, весь такой свойский из себя. Он вырос здесь, в Эвенкии, завзятый охотник и рыбак, имеет даже свой промысловый участок в тайге (впрочем, это обычное явление—тайги здесь море, почти по сорок квадратных километров на брата). Сноровистый, с деловой хваткой, при этом—человек широкой души, очень демократичный. Охотно идёт на контакт с журналистами, никогда не откажется от предоставления нужной для местных газеты и телевидения информации. Когда страна азартно кинулась осваивать рынок, образовал одно из первых в округе коммерческих предприятий «Контакт» по закупке у промысловиков пушнины, взамен поставляя снаряжение, продукты, товары, открыл сеть магазинов. Дела его пошли в гору, рос и авторитет среди местного населения—удачливым ведь не только завидуют, их ещё и любят.

Главой администрации округа тогда был Анатолий Михайлович Якимов, бывший начальник Эвенкийской геофизической экспедиции. Полная противоположность Боковикову: худой, немногословный, интеллигентный, без коммерческой жилки, он также был уважаем эвенкийцами—как, видимо, последний из представителей такого разряда руководителей, ещё советской, в лучшем смысле этого слова, подготовки.

Когда округ стал самостоятельным, а дела в стране шли всё хуже и хуже, на Эвенкию, почти полностью дотируемую из федерального бюджета, беды посыпались одна за другой. Объёмы финансирования всё сокращались, задержки выплаты зарплаты бюджетникам становились всё длительней, с огромным трудом налаженное за десятилетия сельское хозяйство рушилось на глазах, одна за другой сворачивались геологические экспедиции, росла безработица. Эвенкия начала бедствовать, и это при том, что в её подземных кладовых было столько сокровищ—нефти, газа, угля, редких металлов, золота, алмазов, что куда там Али-Бабе с его несчастной пещерой! Но где было взять такого Сим-Сима, чтобы достать с его помощью эти неисчислимые запасы полезных ископаемых? Месторождения ещё не до конца разведаны и расположены в таких неудобных и отдалённых местах, что освоение их выливалось в астрономические суммы. Никто не решался влезть в это дорогостоящее предприятие—ни родное государство, ни крупные забугорные компании, представители которых время от времени наезжали в Эвенкию, приценивались, восхищённо мотали головами, но тут же сокрушённо выставляли перед собой холёные ладони: дорого!

В Москву «выбивать» деньги, или трансферты, представители администрации Эвенкии ездили целыми бригадами, потерянно бродили по многочисленным правительственным и министерским коридорам, трясли пачками отчётов, расчётов, проектов, доказывая необходимость увеличения финансирования северной территории. Но дать больше нам—попросту означало недодать какой-то другой территории. Денег же в стране становилось всё меньше…

А тут ещё в Туре в самом начале лета сгорела центральная дизельная электростанция, и столица Эвенкии на несколько месяцев осталась без света. Чёрт знает где закупили какие-то дорогущие военные мобильные электростанции, караваном (так здесь называют навигацию) привезли в Туру. А они по каким-то параметрам не подошли, и посёлок продолжал сидеть без света. Народ обозлился на власть, и в первую очередь, конечно, на главу администрации Якимова. С огромным трудом к осени энергетический кризис был преодолен, но доверие к Якимову было уже подорвано.

Вот с таким багажом он пошёл на выборы главы Эвенкии в 1996 году (впервые после назначения в 1992 году). Основным его соперником стал Александр Александрович (попросту—Сан Саныч) Боковиков, к тому времени уже умудрившийся сначала пройти в депутаты окружного Законодательного собрания (Суглана), а затем и возглавить его. Реальным соперником, поскольку, во-первых, авторитет его к тому времени среди населения был ничуть не ниже, чем у Якимова, а во-вторых, он сплотил под своими «знамёнами» многих недовольных работой администрации Якимова влиятельных людей. Нашлись у него и деньги на выборную кампанию, и когда агитация была официально разрешена, он завалил округ литературой, плакатами, эвенкийские фактории—гуманитарной помощью «имени Сан Саныча».

В общем, впервые за свою историю округ раскололся надвое—якимовцев и боковиковцев. Люди спорили между собой до хрипоты, чей кандидат лучше; доходило до драк. Один из замов начальника УВД Эвенкии во время какой-то пирушки

в кафе вытащил пистолет и выстрелил в потолок (или в пол—не суть важно), крича, что вот так он всех перестреляет, кто не проголосует за Боковикова. Мы тут же использовали и этот факт против своего оппонента. К выборам обстановка в округе накалилась до предела. Проводимые опросы показывали, что силы кандидатов примерно равны. Но выборы с небольшим перевесом выиграл… Боковиков.

Светопреставление

Наступил 1999 год. У Александра Александровича Боковикова, к тому времени ставшего в законодательном порядке уже губернатором Эвенкии (для повышения статуса и значимости должности главы субъекта Федерации), начались серьёзные проблемы. У администрации не было денег на решение взятых на себя обязательств. Собственных доходов—кот наплакал (да и откуда им было взяться?), а Москва сама бедствовала, соответственно, и давала трансферты дотационным территориям «по бедности». Округу на жизнь в год надо было в пределах двух с половиной миллиардов рублей, получали же что-то в пределах миллиарда. Но и эти деньги давали обычно с большим опозданием, и их ни на что не хватало. Для нормальной жизнедеятельности округа главным было—закупить в необходимом количестве уголь, солярку и масло, бензин, сырую нефть для дизельных электростанций и завезти всё это добро по воде в весенне-летнюю навигацию, для того чтобы перезимовать в тепле и со светом.

У Боковикова, как он ни изворачивался, денег не хватило ни на закупку горючего и топлива в нужных объёмах, ни на своевременную их доставку в округ. Вернее будет сказать—в Туру, наиболее зависимую, по сравнению с Ванаварой и Байкитом, от водной навигации. Того, что было припасено на зиму, катастрофически не хватало до прихода очередного каравана. И буквально в ночь с 31 декабря 1999 года на 1 января 2000 года Тура погрузилась во тьму: в целях экономии солярки было решено до весны прекратить подачу света в жилые массивы столицы Эвенкии, резко ограничить—для учреждений и организаций. В том числе и для администрации округа. Я, к тому времени ставший редактором окружной газеты, брал интервью у губернатора самостоятельного субъекта Российской Федерации, члена Совета Федерации Боковикова в его кабинете при свете… керосиновой лампы; при зыбком свете этой же коптилки по сумрачным утрам у него проводились и планёрки.

Котельные также работали в режиме экономии, из-за чего температура в коммуникациях была ниже требуемой, и в ту зиму в Туре были разморожены несколько зданий, в том числе и жильё. Некоторые туринцы перешли жить в собственные бани, в свои рабочие кабинеты, в котельные. У нас в редакции поселилась семья бывшего директора типографии Феликса Буйновского (их двухэтажный многоквартирный дом сгорел—пожары в ту зиму были частыми из-за неосторожного обращения людей с огнём), они же были и сторожами. Я написал фельетон на эту тему «На работе как дома», хотя газета с ним вышла, по-моему, лишь через пару недель, когда удалось выловить запившего в очередной раз печатника и поставить его к машине.

Обедали мы на работе: супы забирали с собой утром из дома, разогревали в кабинете на плитке. Как никогда поднялся спрос на дрова, цена на них тут же резко подскочила, но, несмотря на это, кучи дров выросли во всех дворах. Их разворовывали все кому не лень. Купили полмашины дров и мы со Светкой. Я их колол, жена носила в дом и складывала в поленницу… в прихожей (благо она у нас огромная). Пример подала соседка, Аня Саливончик. Ей надоело наблюдать, как её поленница день ото дня «худеет», и она перенесла все поленья до одного в дом.

В красноярских газетах, программах краевого телевидения одна за другой стали появляться злорадные и во многом путаные, лживые публикации (делались туманные намёки на криминальную подоплёку всей этой истории: «А куда девались деньги на северный завоз?»). Боковиков судорожно метался в поисках выхода из этой чудовищной ситуации. Здорово помогли якуты—Сан Саныч договорился с Вячеславом Штыровым, хозяином всесильной алмазной компании «Алроса», на товарный кредит, и солярку в Туру стали возить авиацией из Мирного, что довело многие российские и краевые газеты до истерики. А губернатор Красноярского края Лебедь молчал—он уже тогда задумал вернуть Эвенкию обратно в лоно края и ждал, когда Боковиков сам к нему обратится за помощью, чтобы потом сказать: «Вот видите, они без нас ничего не могут». Боковиков к нему и не шёл. Потом к спасению Эвенкии подключился и Шойгу (почему-то все СМИ края и страны трубили о том, что вымерзает и голодает именно весь округ, хотя острый дефицит топлива был только в Туре).

Как-то ближе к весне у нас в квартире неожиданно загорелся свет. Господи, неужели конец нашим мукам? Хотя я и знал, что этого не должно быть до прихода первых судов с горючим, но затеплилась надежда: может быть, произошло какое-то чудо, и солярки навозили по зимникам и авиацией столько, что теперь её хватает? Или энергетики по каким-то стратегическим соображениям решили давать свет в наш микрорайон? На всякий случай позвонил на центральную ДЭС и поинтересовался: «Мужики, у меня дома свет загорелся. Это как, насовсем или временно?»—«По какому адресу?»—насторожились на том конце провода. Я добросовестно ответил. «Ошибочка

произошла. Сейчас исправим»,—сказали мне. И через несколько минут свет в нашем доме погас. До июня. «Зачем ты им позвонил?—заплакала измученная этой беспросветной жизнью Светланка.—Пусть бы горел, я бы хоть нормально постиралась!»

Бедному Боковикову в эти дни должно было икаться со страшной силой. Ладно, что его ругали газеты,—он, да и мы все в округе к этому уже привыкли. К тому времени в Красноярске образовалась мощная оппозиционная группа во главе с заместителем губернатора Красноярского края Евгением Васильевым, поставившая перед собой цель «сковырнуть» Боковикова. Для Сан Саныча куда страшнее было, что в нём разочаровались его земляки. И как ни пыталась пресс-служба разъяснить населению, что энергетический кризис возник по объективным причинам, недовольство людей росло.

Да это и понятно: ты шёл во власть, чтобы обеспечить людям нормальную жизнь, а коль её нет, то виноват во всём только ты, поскольку ты—власть. И хотя Боковиков и его семья первое время также сидели без света (это уже к концу зимы 1999–2000 года к его дому открыто протянули «аварийку»—отдельный электрокабель, а до него тайно пробросили к себе эти «аварийки» многие ушлые туринцы), на заборах в Туре стали появляться оскорбительные для Боковикова надписи. Его отлавливали на улицах, в магазинах, в порту и высказывали в лицо всё, что о нём думали: кто—интеллигентно, а кто и по-свойски. Дошло до оскорбления его дочерей в школе, а дом его однажды «атаковали»: во двор к Боковиковым, пробив забор, въехал тяжёлый грузовик. Правда, дело это замяли, квалифицировав как обычное дорожное происшествие: мол, пьяный водитель просто не справился с управлением.

Скажи мне, кто твой враг

Но всему приходит конец. Кончилась и эта чудовищная зима. В начале июня победно затрубили подошедшие к причалам окружного центра первые танкеры с соляркой, и в квартирах туринцев наконец загорелся свет, заурчали холодильники, забормотали телевизоры. Жизнь как будто пошла своим чередом. На самом деле это означало, что ситуация в округе оставалась прежней: денег ни на что не хватало. А впереди была следующая зима, и опять надо было закупать и завозить уголь, солярку, бензин, масла. Трансферты по-прежнему приходили с большим опозданием. И совсем не в том объёме, какие нужны были для обеспечения нормальной жизни. Оставались проблемы с выплатой зарплаты, опять округ не мог вовремя рассчитаться за покупку и вывоз нефтепродуктов. Красноярское речное пароходство приступило к навигации в Эвенкии, ещё не до конца получив заработанные средства за прошлый завоз. Когда суда уже были на подходе к Нижней Тунгуске, начальник пароходства Иван Булава останавливал флот и периодически угрожал Боковикову, что повернёт нефтеналивы обратно, если округ не расплатится.

В Эвенкию зачастили «сборные» комиссии, в которые входили чиновники министерства финансов, института полномочного представителя Президента в Красноярском крае, Эвенкии и Таймыре, чины из МЧС, пароходства, администрации Красноярского края. И возглавлял их одетый во всё эмчеэсовское, «спасающий» Эвенкию, нарочито небритый Евгений Васильев. Обычно комиссии эти сопровождали целые бригады наших коллег из московских, краевых газет, телевидения, после отъезда которых на свет появлялись репортажи, комментарии явно заказного характера—Боковикова продолжали «топить». И было это несложно.

В округ снова было завезено недостаточно топлива, и ближе к весне 2001 года в Туре снова пошли веерные отключения. Туринцы, наученные горьким опытом прошлой зимы, к этой подошли во всеоружии: все с дровами, лампами, какими-то керогазами, газовыми печками. Я купил аккумуляторы к маленькому кухонному телевизору, раздобыл самодельное зарядное устройство, и когда гас свет (обычно через каждые несколько часов—на пару часов), их энергии хватало, чтобы посмотреть выпуски новостей и даже часть какого-нибудь фильма.

А сосед снизу, Олег Кадкин, где-то раздобыл громоздкую полевую дизельную электростанцию (в Туре же кое у кого появились даже миниатюрные импортные—японские, американские бензиновые движки) и запихал её в контейнер, стоящий буквально под окнами дома. И как только гас свет, Олег выходил на улицу, с грохотом открывал контейнер и, светя себе фонариком, с полчаса возился в нём, гремя ключами и шипя паяльной лампой. Наконец движок благодарно чихал и начинал громко тарахтеть и вонять на всю округу отработанной соляркой. Зато семья Олега час-полтора сидела со своим светом, пока в дом не возвращалась большая электроэнергия.

«Эвенкийская жизнь» в те дни, когда регулярно ломавшуюся офсетную печатную машину отечественного производства удавалось вновь запустить, из номера в номер рассказывала, сколько подвезли нефти и солярки из Байкита и Ванавары, Усть-Кута по автозимникам (всё это буквально с колёс сжигалось на дизельных электростанциях, в топках котельных), какой запас ГСМ ещё есть на нефтебазе и хватит ли его до весеннего каравана, ругалась по поводу того, что энергетики никак не борются с ловкачами, крадущими электроэнергию путём несанкционированного подключения так называемых «авариек» к магистральным сетям

(ещё бы они боролись: многие энергетики сами воровали ток таким образом, существовала даже негласная такса на проброску кабелей от линий электропередач к отдельным квартирам или частным домам).

И тут пришёл «ЮКОС»

Сан Санычу, как и его предшественнику, весьма озабоченному поисками инвесторов, удалось заинтересовать богатейшей и перспективнейшей группой нефтяных месторождений, известной под названием Юрубчено-Тохомская зона (ЮТЗ), НК «ЮКОС», находившуюся в то время в расцвете своих сил и возможностей. Основные работы «ЮКОС» вёл в Западной Сибири, но, как утверждали аналитики в области нефтяной промышленности, за десятилетия эксплуатации тамошние запасы нефти сильно истощились. А поскольку ресурсы эти не возобновляемые, то компании, естественно, надо было приращивать запасы углеводородов. И владелец «ЮКОСа» Михаил Ходорковский обратил свой молодой и цепкий взор на Эвенкию. Я бы на его месте сделал то же самое. Эвенкия была самостоятельным субъектом Федерации, населения в ней—кот наплакал, меньше двадцати тысяч, полезных ископаемых в недрах—каких хочешь: нефть, уголь, газ, рассолы тяжёлых металлов, предполагаемые алмазные кимберлитовые трубки, редкоземельные металлы. И всё это—в таёжной глуши, при полном отсутствии инфраструктуры, куда обнищавшее государство не сунется ещё не один десяток лет. Чем не стратегический резерв, причём измеряемый астрономическими цифрами: если речь о газе—то миллиарды кубических метров, если о нефти—то миллионы тонн? И «ЮКОС» решил «посадить» сюда своего губернатора.

На эту ответственную роль выдвинули одного из ведущих топ-менеджеров компании, харизматичного Бориса Золотарёва. Умный, фотогеничный, спортивного телосложения, с красивой сединой, он сразу «глянулся» многим эвенкийцам, особенно, конечно, женщинам. В округ Золотарёв приехал за несколько месяцев до начала выборной кампании, ещё в начале зимы, сколотил свой штаб, обосновавшийся в двухэтажном здании напротив редакции. Боковиков, имевший неплохие шансы вновь стать губернатором (несмотря на всё вышесказанное) по той простой причине, что многие эвенкийцы не хотели пускать к себе «варягов», а Сан Саныч был свой и ему многое прощалось, вдруг открыто заявил, что сходит с выборной дистанции и просит свой электорат голосовать за Бориса Золотарёва.

Своё решение он объяснял тем, что государство не в состоянии содержать свои северные окраины, в том числе, если не в первую очередь, Эвенкию, не имеющую собственной доходной базы. И ситуация, сходная с зимой 1999–2000 года, может повториться ещё не раз. А «ЮКОС» заинтересован в Эвенкии и намерен всерьёз обосноваться здесь, и потому будет оказывать всяческое содействие своему ставленнику, то бишь Золотарёву. Боковиков вызывал к себе руководителей предприятий и организаций по одному и просил понять и поддержать его решение. Разговаривал он на эту тему и со мной.

Мы все понимали, что иного выхода у нас действительно нет: у округа просто нет будущего без развития экономической базы, а «ЮКОС» сможет это сделать. Конечно же, все мы понимали и то, что Сан Саныч уступает своё место Золотарёву не бесплатно, наверняка «ЮКОС» дал ему хорошего отступного. Но, положа руку на сердце, кто бы в этой ситуации поступил иначе? Васильев же многим не нравился—не потому, что он Васильев, а потому, что, став губернатором, тут же развернул бы кипучую деятельность по переподчинению округа краю.

А нам уже пришлось по душе быть хоть и бедными, но самостоятельными—со своим парламентом, своими законами, своими гербом и гимном, далеко простирающимися амбициями. Ладно бы край жил богато. Но он сам из донорского региона превратился в дотационный. С нами граничил Туруханский район, так вот он жил в десять раз хуже нашего, хотя, казалось бы, куда ещё хуже. А «ЮКОС» был самым настоящим государством в государстве, у него была своя столица, он строил города, на него работали сотни тысяч людей, обеспечивая компании многомиллиардные доходы. Так, может, он и нас «поднимет»?

В округ приехал сам Ходорковский. Молодой, симпатичный, очень демократично ведущий себя, он на встречах с жителями округа буквально очаровывал их, рисуя в своих выступлениях точными мазками недалёкое будущее Эвенкии: в 2008 году будет добыто столько-то нефти, в окружной бюджет попадёт столько-то сотен тысяч долларов, в 2014-м—нефти будет уже столько, а счёт доходам пойдёт на миллионы долларов. Разумеется, и «ЮКОСу» от этого будет хорошо, а иначе какой смысл браться за доразведку и эксплуатацию наших труднодоступных месторождений?

Михаил Борисович, стоя на сцене окружного Дома культуры в потёртых джинсах и изредка поматывая головой в такт своим словам (есть у него такая особенность), водил лазерной указкой по экрану, проецирующему все эти цифры, диаграммы, а у слушателей перед глазами вставали новые дома, дворцы спорта, заасфальтированные улицы Туры… Каждый уже считал себя акционером «ЮКОСа». Мы поверили, что компании, имеющей козырный интерес в округе, ничего не стоит осчастливить несчастные два десятка тысяч человек.

Ближе к весне мы получили и установили ризограф в бывшем линотипном цехе, и когда офсетная машина в очередной раз выходила из строя или «ломался» сам печатник, стали выпускать газету форматом А4 на восьми полосах. И не могли нарадоваться. Рядом, в соседнем помещении, молча стояла холодная капризная махина весом в несколько тонн, скреплённая многими сотнями болтов, гаек, валов и валиков, в которую было вбухано несметное количество денег, но которая так и не оправдала наших надежд и проела мне всю плешь,—и вот эта покрытая пластиком малютка весом всего в центнер, управляемая тремя-четырьмя кнопками, но безотказная, печатающая с прекрасным качеством, на любой задаваемой скорости,—они как бы олицетворяли собой уходящую и наступающую эпохи.

Ризографу можно было дать задание—скажем, напечатать тысячу двести тридцать восемь экземпляров, и можно было смело идти заниматься каким-то другим делом, машина дальше трудилась сама. Мы купили этот множительный аппарат без всяких «наворотов», а если бы ещё обзавелись и различными приставками, то шла бы ещё и автоматическая фальцовка, брошюровка. Можно было прикупить дополнительные барабаны и печатать газету в два, в три цвета. Но мы поскромничали, когда просили денег на эту умную машину. Впрочем, в наших условиях больше ничего и не надо было. На печатание газеты—тираж её к тому времени был установлен в пределах двух тысяч экземпляров—уходило не более часа. Всё остальное время можно было выполнять иные заказы: с ресурсом ризографа в восемь миллионов экземпляров округ можно было завалить печатной продукцией вдоль и поперёк. И заказы пошли—на самые разные бланки. Правда, тиражи были совсем маленькие—пятьдесят, сто, пятьсот экземпляров, редко когда одна-две тысячи. Но доходы они, тем не менее, приносили. На них мы купили факс, ксерокс, радиотелефон с несколькими трубками, позже—цифровые диктофон и фотоаппарат, в кассе у нас теперь всегда водилась наличность, и не надо было писать заявки в управление финансов, чтобы покупать ручки, блокноты, скрепки, клей, конверты, прочую канцелярскую мелочь. Ах, если бы этот ризограф был рассчитан на формат А2, который затем фальцевался (перегибался пополам после печати) на формат нашей газеты, то есть А3, ему бы вовсе цены не было. А так именно это обстоятельство скоро положило конец нашей эйфории. И не только это.

Такого мы ещё не видали…

Борис Золотарёв эти выборы выиграл. Состоялась пышная инаугурация, после неё—фуршет, на который были приглашены те, кто помогал (или, во всяком, случае, не мешал) Золотарёву стать губернатором. В большом зале для совещаний на втором этаже администрации округа в два длинных ряда были накрыты столы, ломящиеся от различных яств и бутылок со спиртным на любой выбор. За ними стояли десятки людей и так, стоя, выпивали и закусывали—дело совсем новое для Эвенкии, мы-то привыкли пьянствовать сидя. Деликатесы подносили и меняли пустые тарелки молоденькие длинноногие официантки—за столами почтительным шёпотом говорили, что их, как и невиданные закуски, специально привезли из Москвы («Что вы хотите—это же «ЮКОС»!).

Ещё один ряд столов был накрыт на возвышении для президиума, где толклась группа высоких гостей и уже приближенных к новому губернатору местных чиновников. Были там представители аппарата полномочного представителя Президента, администрации и Законодательного собрания Красноярского края, ведущих ресурсодобывающих компаний. После официальных тостов Золотарёв с Ходорковским с бокалами в руках и в окружении небольшой свиты стали обходить столы в общем зале, что-то говорили «фуршетящимся», те им что-то отвечали, потом звучало «Ура!», и они двигались дальше. Играла живая музыка—фуршет обслуживал привезённый откуда-то камерный оркестр. В общем, настоящий светский раут. Когда мне захотелось плакать от счастья, Светланка меня тут же увезла домой. А фуршет, говорят, закончился далеко за полночь.

Начались будни. После того как в офсетной машине в очередной раз полетело что-то из электроники, мы окончательно отказались ремонтировать её и стали печатать газету только на ризографе. И хоть газета была маленькая, но за счёт уменьшения шрифта вмещала в себя практически тот же объём материалов, что и при формате А3. Своим небольшим творческим коллективом—я, ответственный секретарь Светлана Романовская (Валеева), выпускающая эвенкийской страницы Диана Щапова, работавшая у нас по договору, заведующая отделом социальных проблем Валентина Львова, фотокор Владимир Грошев, собкоры в Тунгусско-Чунском районе—Нина Крюкова, Байкитском—Татьяна Панова,—мы заполняли газету материалами так и такими, как и какими сами считали нужным. Мы привыкли к тому, что при любом руководителе учредительной организации, содержащей газету (сама газета выжить в здешних условиях никогда не могла бы и не сможет: подписной тираж её даже при пике населённости округа в двадцать пять тысяч человек не превышал трёх тысяч экземпляров, доход от которых составлял считанные проценты в доле расходов редакции),—будь это секретарь окружкома партии Владимир Увачан, а затем главы администрации Анатолий Якимов, Александр Боковиков,—нам

позволяли работать на основе профессиональной самостоятельности.

Газета, конечно, была сугубо провинциальной, поднимала и обсуждала темы, которые для журналистов крупных газет могли показаться никчёмными, смешными, но она такой и была нужна здесь — «в доску своя». При случае мы могли и «лягнуть» власть предержащих, но только за дело и только при соблюдении определённого такта. В «Советской Эвенкии», а затем и в «Эвенкийской жизни» были свои традиции, преемственность, сложившиеся за десятилетия, её всегда делали крепкие журналисты, приезжающие сюда работать по договорам со всех уголков страны; у газеты был, есть и, надеюсь, останется хороший литературный язык.

Точно так же мы продолжили работу и при первых днях властвования Бориса Золотарёва. И нам было о чём писать, появилось много новых тем. Свои выборные обязательства новоиспечённый губернатор тут же начал выполнять, что было и немудрено: у него под рукой была бездонная касса «ЮКОСа», из которой он в любое время брал любую нужную ему сумму. И впервые за последние годы чётко, без сучка и задоринки, был проведён северный завоз, и в зиму 2001–2002 года округ вошёл с избыточным запасом топлива, продовольствия. Вскоре Золотарёв выкинул такой финт, что все СМИ края и страны просто захлебнулись от восторга: он две зимы подряд закупал на Ямале и перебрасывал по воздуху в Эвенкию сотни оленей для реанимации оленеводства (когда-то здешние стада насчитывали до шестидесяти тысяч голов домашних оленей, к началу девяностых их было уже не более тридцати тысяч, а к приходу Золотарёва — в пределах двух-трёх тысяч). Он просто подсчитал, что если гнать оленей своим ходом сотни и сотни километров, их за время пути погибнет и отобьётся столько, что сумма ущерба, вместе с командировочными расходами пастухов, будет примерно одинаковой с затратами на воздушные перевозки. То есть — деньги те же, но в первом случае потрачены совершенно напрасно, а во втором — достигшие своей цели. Золотарёв этим своим неординарным ходом «пропиарил» себя как прагматичный хозяйственник и как озабоченный возрождением традиционной северной отрасли руководитель автономного округа.

В Эвенкию также буквально посыпались компьютеры, и по обеспеченности ими на душу населения округ вышел на первое место в стране. Начало разворачиваться строительство. Первым значимым объектом стал ввод к новому, 2002 году «Гостиного дома» — современной гостиницы, построенной… турецкими рабочими. Золотарёв просто не доверял нашим строителям и открыто говорил, что они ни на что не способны. Впрочем, такую нелестную характеристику в округе от губернатора получали многие. Борис Золотарёв к месту и не к месту любил повторять, что мы, эвенкийцы, привыкли здесь бездельничать, «захребетничать», то есть жить за счёт государства, что среди нас мало профессионалов.

Конечно, где-то он был и прав. Наши строители и в самом деле строили сикось-накось; оленеводы, вместо чтобы разводить оленей, взяли да и съели их; коммунальщики производили самые дорогие в стране электроэнергию и тепло; столица округа была вся в помойках и следах былых пожарищ. Когда Золотарёва «заносило» по этой теме на каких-то совещаниях, сессиях Суглана в присутствии Боковикова, тот обижался и начинал возражать Золотарёву… И его можно было понять: ведь беды эти во многом происходили по объективным причинам. Округ находился в таком неудобном и отдалённом месте, с таким суровым климатом, что затраты на обеспечение жизнедеятельности его населённых пунктов составляли просто фантастические суммы, и потому бюджетообеспеченность одного эвенкийца в десятки раз превышала затраты на содержание одного жителя средней полосы России.

В советские времена государство не скупилось, и «севера» получали столько средств, сколько было нужно (впрочем, их и тогда всё время не хватало). Но в рыночную эпоху страна уже была не в силах нести такие расходы. А без нужного финансирования, когда людям нечем платить за работу, какую работу от них можно требовать, каких специалистов можно пригласить с материка, когда разъезжались последние, какую современную технологию можно внедрить, когда разваливалось всё, что осталось ещё от советских времён? Если бы те же Якимов, Боковиков могли ворочать такими же деньжищами, какие вваливал «ЮКОС» в округ, они, может, ещё и не то бы здесь понастроили, организовали… Но, как любил говорить покойный Александр Иванович Лебедь, «если бы у бабушки была борода, она была бы дедушкой».

Деньги пришли в округ с Золотарёвым, и все это хорошо понимали и принимали. А вместе с ними в округ пришли перемены и приметы, характерные для корпоративного стиля «ЮКОСа». Это жёсткость, граничащая с жестокостью, со стороны руководства, беспрекословность со стороны подчинённых, подозрительность во взаимоотношениях. Золотарёв переломал в администрации все стены, оставив отдельные кабинеты только для своих заместителей, а сотрудников всех управлений усадил в огромные общие залы, заставленные столами с компьютерами. Все сидели как в аквариуме, тут уже не поболтаешь лишний раз, не попьёшь кофе с коньяком, не поторчишь с сигаретой на лестничной площадке — всех курильщиков Золотарёв повыгонял сначала на крыльцо администрации, а потом и вообще на улицу, под пожарный щит.

Очень большое значение губернатор придавал обеспечению своего положительного имиджа — впереди ведь были очередные выборы. Практически с первых дней работы администрации он создал крепкую пресс-службу. Сначала в ней работали всего три человека: начальник управления Василий Бондаренко — немногим старше меня, начальник отдела Алексей Немков, пресс-секретарь Ольга Мирошниченко — обоим не более тридцати, все — приезжие. Они писали славословные пресс-релизы, статьи о работе новой администрации во главе с Золотарёвым, часто мне не нравившиеся, но менять что-либо в них я не имел права, и я помещал их в газете как есть.

«Хочу настоящую газету!»

Прошло ещё какое-то время, и меня где-то в конце лета 2001 года вдруг приглашают к губернатору. У Золотарёва в кабинете, кроме него самого, находились вице-губернатор Борис Байдаков и пресс-секретарь Ольга Мирошниченко. Для приличия расспросив, как идут дела в газете, губернатор вдруг резко поменял тон и сказал, что газета ему не нравится — маленькая, с мелким шрифтом, не всё ему нравится и в содержании. Золотарёв говорил, что он понимает, что у газеты есть проблемы и с кадрами (где их взять посреди тайги?), и с полиграфической базой. А потому он, как учредитель, принимает решение усилить её, переведя вёрстку и печать в Красноярск, для чего там создаётся дополнительное бюро с набором в него высокопрофессиональных журналистов. Мне же надо подготовить расчёты, во что это обойдётся. Насчёт кадров для красноярского бюро беспокоиться не стоит — есть уже кандидатура на должность его шеф-редактора, это некий Владимир Пантелеев, он-то и подберёт среди красноярских журналистов новых сотрудников для бюро. Ну а в Туре, соответственно, надо провести сокращение штатов на то количество сотрудников, какое будет содержаться в красноярском бюро… А мне и возразить было нечего: газета у нас в самом деле была маленькой, вёрстка её была далека от совершенства, и уж точно профессиональных журналистов у меня в штате было — раз-два, и обчёлся.

Пантелеев, оказавшийся сыном известного красноярского детского писателя Ивана Пантелеева, кандидатом исторических наук, имел достаточный опыт работы в региональных СМИ. Получив приказ о своём назначении, Пантелеев вернулся в Красноярск и развернул там кипучую деятельность — губернатор торопил нас с выходом газеты в новом виде.

К тому времени администрация округа открыла своё представительство в Красноярске, для чего в девятиэтажном здании на улице Республики, 51, где ещё с советских времён размещались редакции основных краевых изданий, у ПИК «Офсет» был арендован целый этаж. Под бюро временно выделили один из кабинетов с телефоном и компьютером (везде шёл евроремонт), где и обосновался Пантелеев. Вскоре он нашёл верстальщика Владимира Солдатова и корректора Елену Ломанову — они до этого работали в какой-то… тюремной газете, и Елена приходила на вычитку нашей «Эвенкийки» в форме с лейтенантскими погонами. Я познакомился с членами своего красноярского бюро в один из ноябрьских дней — специально ездил в командировку, чтобы посмотреть, что у нас там будет и как. Там же заключил договора с названными сотрудниками, а также с ныне покойным известным эвенкийским писателем Немтушкиным (к тому времени Алитет Николаевич оказался без работы, а «чистая» литература в наши дни способна прокормить лишь единицы писателей) — он взялся делать страницу на эвенкийском языке, и одним из красноярских журналистов — Анатолием Мошницким, которого, впрочем, условия не устроили и он так и не отработал в «Эвенкийской жизни» и дня. Позже в штат бюро был принят другой красноярский журналист — Евгений Кутаков, и тоже ненадолго.

Конец империи «ЮКОС»

Уже с конца 2002 года газета стала выходить на шестнадцати страницах. Конечно, она стала интересней, насыщенней, потому как в заполнении её участвовали как редакционные журналисты, её нештатные авторы, так и сотрудники пресс-службы во главе с Майей Соколовой — они работали по вахтенному методу, и каждую неделю-две какой-либо из журналистов находился в командировке в округе и собирал материалы для дальнейшего использования как в нашей газете, так и в иных средствах массовой информации. Я с благодарностью вспоминаю сотрудничество с Анастасией Попковой, Ириной Новиковой, Машей Браун, Натальей Герасименко, готовивших интересные, «читабельные» материалы.

Жить становилось чем дальше, тем интереснее. Особенно захватывающие события произошли в Эвенкии в 2004 году: у нас разразился такой скандалище, что за развитием его стала следить вся страна. А всё дело в том, что совершающий свой очередной вояж по Сибири глава империи «ЮКОС» Михаил Ходорковский неожиданно был снят в Новосибирске с самолёта и арестован Генеральной прокуратурой. Как выяснилось, он должен был прилететь в Туру, а здесь, на сессии Законодательного собрания (Суглана), его уже ждало выдвижение на пост сенатора от Эвенкийского автономного округа — во всяком случае, мне известна именно такая версия событий. Говорили, что этот «зонтик» Михаилу Борисовичу был нужен в связи с тем, что в последнее время он развил очень бурную кипучую политическую

деятельность и готовил себе почву и электорат для участия в будущих президентских выборах — ну вот мало человеку было того, чем он владел. Эти-то амбиции и погубили нашего благодетеля (что так и есть: не свои же деньги Борис Золотарёв инвестировал во все эти бурные преобразования, происходящие в Эвенкии) и чуть было — не всю верхушку нашего округа. От вожделенного кресла Ходорковского отделяли всего несколько часов — сессия уже работала. Правда, при этом существовала одна очень небольшая, но крайне занозистая проблема: в этом кресле уже сидел сенатор от Эвенкии, бывший депутат Суглана Николай Анисимов. То, как его пытались выковырнуть из Совета Федерации, чтобы освободить место для главы «ЮКОСа»,— целая история. Анисимова пытались подкупить, предлагая ему и денег, и непыльную работу, и запугивали его — во всяком случае, именно так он рассказывал в специально раздаваемых по этому поводу интервью многим СМИ. Но Анисимов упёрся на своём: не уйду, и всё тут! И тогда окружному парламенту ничего не оставалось делать, как отозвать своего представителя в Совете Федерации, вменив ему в вину профнепригодность. Анисимов опротестовал это решение в суде, но в конце концов проиграл его.

Между тем Ходорковский оказался в «Бутырке». И наша политическая верхушка, чтобы сохранить лицо, предложила занять место в сенате другому одиозному представителю «ЮКОСа» — Василию Шахновскому, тоже, кстати, находившемуся под следствием. Что страшно разозлило руководство страны (не скажу, что самого Путина, но администрацию президента — точно!). Потому что «ЮКОС» к тому времени уже начали буквально «перепахивать». Его бы, возможно, не трогали и до сих пор, если бы Ходорковский не возомнил себя «Наполеоном» и не стал вынашивать крайне высокие честолюбивые замыслы. Ну а раз так — получи! И «выяснилось» вдруг, что и налоги-то компания не выплачивала в миллиардных размерах, и убирала со своего пути, даже пользуясь услугами киллеров, неугодных людей. А тут какая-то Эвенкия пытается спрятать от уголовного преследования сначала Ходорковского, а затем Шахновского. Шахновский, конечно же, не будь дурак, отказался от сенаторства, чем и обезопасил себя. А вот наших первых лиц стали таскать на допросы в прокуратуру по СФО в Новосибирск. Побывали там и Золотарёв, и Амосов, и некоторые другие должностные лица и депутаты Суглана.

Этот скандал буквально «взорвал» средства массовой информации страны. Какую газету ни откроешь, на какой новостной сайт ни заглянешь — везде красной строкой проходят Эвенкия, Ходорковский, Шахновский, Золотарёв, Амосов, Анисимов… Как всегда, много было и вранья. Запустили, например, утку, что наш губернатор, не дожидаясь, пока его отправят вслед за Ходорковским, поехал в Англию во время отпуска, да и остался там. Округ жил в эти дни, затаив дыхание: чем же всё это кончится? А завершилось всё это тем, что просто «кончился» «ЮКОС», а у округа, естественно, кончились его деньги. Никого из нашего руководства не посадили и даже не сняли с должностей — к разочарованию одних и радости других. Но все мы понимали, что теперь Эвенкия и её руководство всегда будут находиться под пристальным вниманием центра, как нашкодившие пацаны: ведь попытка поспособствовать укрывательству главных фигурантов «ЮКОСа» была, что выглядело как прямой вызов Кремлю.

Нетрудно было понять, что теперь с руководством округа, бывшим подотчётным, главным образом, избравшему его населению, Москве будет сладить не просто, а очень даже просто. Тем более что Эвенкия вернулась в обычное своё состояние, когда ей реально начало грозить безденежье. Доходная база бюджета снизилась в разы — она ведь подпитывалась преимущественно кредитными ресурсами и отчислениями из юкосовских структур. Всё, чего округ достиг при этих нескольких годах руководства Бориса Золотарёва,— сплошная компьютеризация, масштабное строительство и капитальный ремонт жилья и школ, клубов, библиотек и пр., реконструкция объектов ЖКХ, асфальтирование улиц окружного центра, финансирование десятков социально-экономических программ,— всё это делалось на деньги «ЮКОСа». Потому как предполагалось, что пришёл он сюда надолго, если не навсегда. Ну а повернулось всё вон как. Очень многие эвенкийцы костерили на чём свет стоит Ходорковского: ну за каким чёртом полез туда, куда его не просили? А теперь и сам на нарах баланду хлебает, и все радужные перспективы округа, связанные с «ЮКОСом», рухнули в одночасье.

Вперёд, обратно в край!

Тема возвращения блудной Эвенкии обратно в лоно Красноярского края поднималась ещё при покойном губернаторе Александре Лебеде, но встречала ожесточённое сопротивление как так называемой элиты округа, так и большинства эвенкийцев: уж очень всем по вкусу пришлось самостоятельное плавание. Хотя иногда при этом корабль под именем «Эвенкия» нередко оказывался на грани крушения: то топливо у него кончалось, то зарплату экипажу нечем было платить, а пассажиров приходилось сажать на голодный паёк. При Золотарёве, за спиной которого был могучий «ЮКОС», Эвенкия держалась всё увереннее и увереннее. И когда вопрос воссоединения края с пустившимися в автономное плавание территориями вновь стал будироваться уже при другом губернаторе Красноярья — Александре

Хлопонине (кстати, считавшемся другом нашего губернатора), Борис Золотарёв с присущей ему категоричностью раз за разом отметал все объединительные инициативы. И в качестве одного из самых убедительных мотивов нецелесообразности объединения приводил финансовую самодостаточность Эвенкии. Дескать, мы и так проживём, зачем нам вливаться в край, который давно уже из региона-донора превратился в получателя дотаций? Причём дефицит бюджета края как раз составлял ту сумму, которая нужна Эвенкии для нормального существования. Арифметика тут была простая: если мы вернёмся в край, то окажемся в состоянии конца девяностых—начала двухтысячных годов, поскольку у края не хватит средств на содержание округа. Об этом и писала регулярно наша газета, и говорили во всех своих интервью различным СМИ Борис Золотарёв, Анатолий Амосов и их соратники. Большинство людей верило им. Поскольку подкреплялись слова наших лидеров теми многими достижениями, которые были свершены за годы, особенно последние, самостоятельного существования Эвенкии.

Но у инициаторов и сторонников объединения были свои, не менее убедительные мотивы. Во-первых, в Эвенкии, как нигде в другом регионе, был раздут до чудовищных размеров чиновный аппарат. При населении округа менее двадцати тысяч—бюрократов насчитывалось около трёх тысяч! Ну вот прямо бери этот аппарат и сажай на любую область с населением в несколько сот тысяч человек—как раз хватит. Во-вторых, у этой инициативы был такой могущественный сторонник, как президент России Владимир Путин. Вернее даже будет сказать, это он, по сути, выступил «сбирателем» землиц российских, которые в начале девяностых наделил суверенитетом его предшественник Борис Ельцин и которые в итоге стали просто-напросто выходить из-под влияния Кремля, а руководители регионов превращались в удельных князьков.

Наверное, немало насмешило сотрудников администрации президента обращение глав МСУ округа, направленное В. В. Путину весной 2004-го, с просьбой не трогать Эвенкию и оставить им губернатора, к которому они привыкли «как дети». Из Москвы на имя Бориса Золотарёва спустя какое-то время пришёл ответ на это обращение, в котором не без ехидства говорилось буквально следующее (текст его был напечатан в газете): «Поскольку обращение отправлено администрацией Эвенкийского автономного округа, а также учитывая, что главы МСУ пишут, что они «как дети привыкли к своему губернатору», просим вас организовать доведение содержания настоящего письма до сведения глав МСУ, подписавших обращение…» И дальше сообщалось, что никто не собирается «уничтожать Эвенкию», и объединение с краем может произойти только при изъявлении желания самими эвенкийцами. А Золотарёв и его «дети» пока такого желания не изъявляли.

Надо сказать, что наш губернатор везде и всюду последовательно отстаивал свою точку зрения, и когда Красноярский край посетил Владимир Путин с кучей министров, Борис Золотарёв не побоялся озадачить в его присутствии министра финансов Леонида Кудрина жёстким вопросом, смысл которого сводился к следующему: сможет ли Москва дать гарантии, что после объединения люди в Эвенкии, на Таймыре не станут жить хуже, чем сейчас? Захваченный врасплох Кудрин промямлил что-то невразумительное, и тогда Путин вынужден был сказать, что, конечно же, объединение должно, прежде всего, иметь социально-экономическую целесообразность, что люди ни в коем случае не должны быть ни в чём обделены. Эта сценка с совещания в Красноярске глав сибирских регионов была показана практически по всем телевизионным каналам, описана во многих газетах и электронных средствах массовой информации. Борис Золотарёв был, что называется, «на коне», и на какое-то время возникло ощущение, что Эвенкию оставят в покое.

Как бы не так. Первыми в стране объединились Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ, на очереди были мы, и стало понятно, что маховик процедуры сбирания земель раскручен и его уже никто не сможет остановить: реализовывалась государственная задача, мешать которой, мягко говоря, не рекомендовалось. В край, в округ зачастил полномочный представитель президента Квашнин, Бориса Золотарёва несколько раз приглашали в администрацию президента, велась соответствующая обработка и спикера окружного парламента Анатолия Амосова.

И, похоже, в Москве к нашим лидерам сумели подобрать соответствующие «ключики»: они вдруг резко, можно сказать—на все сто восемьдесят градусов, сменили свои позиции и с такой же силой, как раньше противились этому, стали ратовать за объединение. Эти метаморфозы очень хорошо прослеживаются по заголовкам статей в нашей газете: до октября 2004 года—«Севера не готовы к объединению», «Единый край парадоксов», «Обделяй и властвуй», «Сохраним Эвенкию», «Зачем ухудшать нашу жизнь?» и в том же духе; и начиная с октября 2004 года—«Борис Золотарёв: „Я возвращаюсь в Эвенкию с полным пониманием, зачем нужно объединение“», «Я уверен: голос Эвенкии не потеряется», «Нас спасёт единство», «Плюсов в объединении много» и так далее.

Главные приводимые при убеждении эвенкийцев в необходимости объединения мотивы: округ после известных событий с «ЮКОСом» утратил свою финансовую самостоятельность и без посторонней поддержки не выживет. Наши

неисчислимые природные богатства так и продолжали лежать нетронутыми под земной толщей: по-настоящему приступить к разработке и эксплуатации месторождений из-за огромной затратной составляющей пока не смогла ни одна компания, в том числе и «ЮКОС». А значит, и мечта эвенкийцев жить не на дотации, а на собственные доходы так и оставалась мечтой. Москва же обещала выделять Красноярскому краю недостающие средства на дотирование Эвенкии и Таймыра в тех объёмах, которые позволят им чувствовать себя в объединённом крае достаточно комфортно.

И на 17 апреля 2005 года был назначен референдум, на котором всем жителям Красноярского края, Эвенкии и Таймыра предстояло ответить на вопрос, хотят ли они объединения наших территорий. К тому времени в рамках реализации закона о местном самоуправлении в Эвенкии были уже упразднены все три района — Илимпийский, Байкитский и Тунгусско-Чунский. Эвенкийский автономный округ стал муниципальным районом, который возглавил руководитель Байкитского жилищно-коммунального предприятия, депутат окружного Суглана Ярослав Малаший. Он стал главой администрации, а главой района — председателем районного Совета депутатов — был избран бывший глава посёлка Тура Пётр Суворов. При этом параллельно продолжали функционировать администрация округа и Суглан — их оставляли до конца 2006 года.

Борис Золотарёв и члены его команды развернули кипучую деятельность по разъяснению населению Эвенкии необходимости принятия участия в референдуме и правильному голосованию на нём по вопросу объединения. Губернатор облетал все посёлки до одного, общался практически со всеми коллективами. Побывал он и у нас в редакции. Но нас убеждать в необходимости объединения и не требовалось: газета регулярно печатала материалы в пользу объединения, и мы давно уже поняли, что хотим мы того или не хотим, но объединение в любом случае состоится. Референдум прошёл на ура, жители всех трёх территорий сказали «да» объединению, и особенно громко это «да» прозвучало в Эвенкии, где и явка избирателей, и процент положительно проголосовавших были самыми высокими. Это означало и конец тринадцатилетнему существованию Эвенкии в качестве самостоятельного субъекта Федерации, и завершение шестилетней бурной эпохи, если можно так сказать, Бориса Золотарёва. И надо признать, что как губернатор он оставил в истории Эвенкии яркий, заметный след.

Связанные с ним скандалы, какие-то неприятные истории (а их в «эвенкийской» части биографии Золотарёва тоже достаточно) рано или поздно уйдут в небытие, а вот всё хорошее, полезное, материально осязаемое, всё, что служит эвенкийцам сейчас и ещё будет служить долго, — новые благоустроенные дома, школы, современные средства связи, асфальтированные улицы, православный храм, — всё это связано с именем второго и последнего губернатора Эвенкии Бориса Золотарёва и всегда будет напоминать о нём…

Евгений Минин

Главное, что музе я угоден!

Пословичное

жизнь прожить — не водку из горла.
Борис Панкин

в страхе жить — шампанского не пробуй,
от работы дохнет даже конь.
натощак вина не лей в утробу,
пей своё, а не своё — не тронь!
утром выпил — и весь день свободен.
в жизни водка лучше, чем гёрла.
главное, что музе я угоден,
стих писать — не водку из горла.

Стенописное

И слово «х..» на стенке лифта
перечитала восемь раз.
Вера Павлова

Конечно, лифт — не храм науки,
но не пронзила сердце злость:
поверь — как много в этом звуке
для сердца женского слилось!

Светлана Курчина

Не хочу жить шёпотом

В настоящей трагедии гибнет
не герой—гибнет хор.

И. Бродский

«Господи! Да чтоб ты отвалилась, чем так издеваться!»—только и вертелось в больной голове, ни о чём другом думать не было сил. После нетрезвых суббот Лёха Чирков всегда чувствовал себя одинаково отвратительно, и его всегда посещали одинаково крайние мысли. Обычно в такие минуты он винил весь белый свет, часами без движения лежал на просевшем диване и терпеливо выжидал, когда его состояние придёт в норму. Но так погано, как сегодня, ему ещё никогда не было. Даже собственная голова теперь казалась врагом, мстившим за то, что вчера ему было хорошо. Он вернулся домой под утро, рухнул на диван и, судя по всему, так и пролежал пластом—тело затекло; но, проснувшись, Лёха боялся пошевелиться: казалось, одно неосторожное движение—и свинец, наливший голову, разнесёт её вдребезги.

С недавних пор Лёха Чирков жил один и поэтому жалел и ругал себя сам. Правда, делал он это крайне редко, предпочитая покорно вписываться в любые жизненные повороты. Сейчас сквозь шум в голове он подумал, что хорошо, что он один,—мать давно бы вынесла ему все мозги своими причитаниями, а он сегодня был не в той кондиции, чтобы выслушивать, что он «сволочь неблагодарная» и «когда-нибудь сдохнет, если будет жрать что ни нальют».

Лёха уже несколько раз засыпал и просыпался, но лучше ему не становилось. Голову по-прежнему плющило, изо рта несло кошками, ужасно хотелось пить, но он никак не мог заставить себя встать. И тут, как назло,—звонок в дверь. Сначала осторожный, затем настойчивый, потом совсем уж нервный. Сиплый сигнал старого самодельного звонка гигантским колоколом откликался в больной голове. Лёху подняло с дивана только жгучее желание убить того, кто сейчас там, за дверью.

Пошатываясь, он вышел на террасу и резко распахнул дверь. На крыльце стоял щуплый парень в замызганной и местами изодранной одежде. Было видно, что он давно не спал и не мылся. Его впалые щёки отливали сизой плесенью и ещё больше выдавали усталость. Лёха не успел ничего ни сказать, ни спросить. Как только дверь открылась, парень осторожно оглянулся и, не обнаружив никого во дворе, из-под длинной чёлки в упор посмотрел на Лёху. Глаза Чиркова поймали его колючий взгляд и едва не выскочили наружу.

— Не понял…—Лёху будто окунули в прорубь, и он вмиг забыл про свой недуг.—Серёга?!

— В дом пустишь? Или тут будешь держать?—хриплый голос подтвердил Лёхины подозрения.

— Серёга! Это что, ты?!—Чирков верил и не верил своим глазам.

— А то сам не видишь,—гость устало перешагнул через порог.

— Так ты же… Так тебя же…—Лёха отступил в глубь террасы.—Серёга! Чёрт! Да ведь это же ты!!! Серёга-а-а!!!—и он совсем по-детски повис у друга на шее.

— Да я это, я. Ты мне шею свернёшь.

— Постой, а как же…—вдруг спохватился Лёха.—А кого ж тогда тёть Нина, ну то есть мать твоя, зимой хоронила?

— Погоди, Чирик. Не всё сразу.

Гость то ли от усталости, то ли по натуре своей был сдержаннее хозяина, будто и не ждал этой встречи.

— Ты пока тут давай осваивайся, а я мигом сгоняю. Это надо отметить!

Лёха торопливо оделся и, не заметив, что напялил футболку наизнанку, выскочил из дома.

Сергей не успел толком и умыться, как Лёха уже вернулся и радостно водрузил на стол большую бутыль с подозрительной мутью.

— А ты дома-то у себя уже был?—Лёха открыл холодильник и, осматривая его небогатое нутро, продолжал пытать своего неожиданного гостя.—Тёть Нина, ну то есть мать твоя, весной умерла, почти сразу же после твоих похорон.

— Знаю,—еле слышно бросил гость, устало наблюдая исподлобья за Чирковым.—Я к себе уже ходил. Люди там какие-то живут. Бумагами тычут. Дом, говорят, купили…

— Говорили, что после смерти тёть Нины родственница какая-то её объявилась. Не то сестра, не то ещё кто-то. Она вроде бы и продала дом.

Лёха поставил на плиту разогревать вчерашнюю картошку и теперь вылавливал из банки огурцы.

— Тёть Валя — больше некому. Она давно на дом глаз положила, всё заставляла мать дом делить. Через то они с ней лет десять как не разговаривали.
— Тётка есть — уже хорошо, всё не один.
— Да я толком и не помню её. Видал когда-то в детстве.
— У тебя хоть адрес её есть? — Лёха разлил самопальную жидкость по стопкам.
— Нет, только помню, что жила в посёлке, который за нашим переездом. Да она меня теперь, небось, и не узнает, — Серёга сидел, ссутулившись, и выглядел совсем подростком.
— Ничего, документы покажешь — узнает. Должен же ты где-то жить, — рассудил Лёха.
— Нет у меня документов. По всем спискам я — мёртвый.
— Как это? — застыл со сковородкой в руках Лёха. — Ты что, все посеял? Так же не бывает, чтоб совсем все.
— Там всё бывает. Там некогда о документах думать. Жетон в бою потерял. По нему вместо меня кого-то опознали и матери хоронить выдали. А военный билет шакалы сразу же забрали.
— Я что-то не въеду, — перебил его Лёха. — Что ты несёшь? Какой ещё бой? Какие шакалы? Мать твоя говорила, что ты в части во время пожара на складе сгорел.
— Да какой, блин, склад! — неожиданно закричал Сергей. — В Чечне я был!!! Сначала на войне, потом в плену!
— Как это «в плену»? — опешил Чирков.
— Обыкновенно!!! Как на войне!

Сергей сам испугался своего крика и теперь не знал, как успокоиться и куда деть глаза и руки. Он схватил вилку и принялся остервенело вонзать её в картошку.
— Ты что, сейчас прямо оттуда? — Лёха не переставал удивляться словам своего старого друга.
— Оттуда, — Сергей бросил вилку и поднял свою стопку. — Так что, Чирик, салам тебе!

— Ну и как там, на войне? Страшно? — хрустнул огурцом после второй стопки Чирков.
— А сам как думаешь? — Сергей замер, сжав в руке вилку так, что побелели пальцы.

У Лёхи проснулся аппетит, он увлёкся едой и потому не сразу заметил, что Сергей замкнулся.
— Ну, давай, — Лёха скользнул своей стопкой по стопке друга, — рассказывай.

Сергей сидел, не двигаясь, и смотрел в одну точку.
— Не хочу, — и потом, помолчав, добавил: — Не хочу это вспоминать.
— Ну, не хочешь — как хочешь. Будь здоров! — и Лёха опрокинул в себя очередную порцию выпивки.

Сергей, помедлив, молча выпил и опять уткнулся взглядом в стену.
— Да ты ешь, ешь, — Лёха вдруг сообразил, что его расспросы расстраивают друга, и он теперь не знал, о чём говорить. — Харчи у меня свои — ты же помнишь мою мать: ползать будет, а картошку посадит. Да и как сейчас без неё? Цены теперь — никаких денег не хватит.

Выпитое поправило Лёхе голову после вчерашнего загула, и теперь он был готов порассуждать «за жизнь».

Сергей, будто не слыша Чиркова, исподлобья осмотрел кухню — в ней с прежних времён ничего не изменилось, только на стенах поблёкли обои и прибавилось жирных пятен. Из раковины торчал ворох немытой посуды. Капал кран, брызги от грязных тарелок оседали на стенке. Ветер сквозь открытую форточку теребил пожелтевший тюль. В углу окна в паутине копошилась муха…
— Мать где? — глухо спросил Сергей.
— На кладбище. Умерла — сердце. И всё, блин, из-за этой грёбаной картошки! Говорил ей: подожди, когда освобожусь, — а она всё: вымокнет, да перед людями стыдно. Теперь вот всё — откопалась!
— А сестра?
— Ирка-то? Так она сразу после школы в Москву сорвалась, да так там и осела. Здесь, говорит, для молодых не жизнь. Чёрт её не разберёт, что она там ищет, — Лёха откусил огурец и выдал неожиданную мысль: — Вот нам, мужикам, что? Были бы мы — будет и жизнь. Потому мы никуда и не рыпаемся. Так что, Серёга, давай за нас!
— За нас мы уже пили, — возразил вдруг Сергей. — Давай теперь за родителей.
— Можно и за них, — согласился Лёха.

Чиркову, по большому счёту, было всё равно, за что пить, и поэтому он не заставил себя уговаривать. Они выпили не чокаясь, зажевали остывшей картошкой и замолчали. Каждый молчал о своём. Чиркову показалось, что перерыв затянулся, и он, с сожалением отметив, что спиртное почти закончилось, аккуратно разлил остатки.
— Смотри, как мы с тобой оперативно: вроде только сели, а уже литруху раздавили.

Но Сергея, давно как следует не евшего, да и отвыкшего за время плена от спиртного, порядком разморило, и в ответ он лишь неопределённо кивнул.
— Давай накатим по последней. Завтра с утра отпрошусь с работы, и поедем твою тётку искать. Слишком кучеряво по нашей жизни домами бросаться, — слишком здраво для выпившего человека рассудил Лёха.
— Как в городе с работой? — спросил Сергей, преодолевая дремоту.
— Да никак! Леспромхоз как закрыли, так мужикам работы совсем не стало. Вертятся. Кто в сторожах зацепился, кто по дачам шарашит. Мне ещё повезло — мужики в бригаду взяли. Если есть заказ, можно неплохо срубить.

— Делаете-то что?
— Да что придётся. Кому печку кладём, кому — баню ставим. Сейчас ведь как: у кого деньги, тот и заказывает. У нас тут кругом многие теперь строятся. Правда, в основном москвичи. Понабрали бросовой земли, у них ведь денег — куры не клюют. Это мы тут вечно на бобах, а у них там — доллары. Мне вот третий десяток пошёл, а я доллары в руках ни разу не держал… — Лёха неожиданно встрепенулся и хлопнул друга по плечу. — Да и хрен с ними, с долларами! Жили мы без них и дальше не пропадём! А? Слушай, чего всухую сидеть? Давай сгоняю к соседке — у неё всегда горючее есть в запасе.
— Ты как хочешь, я — пас. И так сейчас свалюсь.
— Ну ты даёшь — «свалюсь»! Чечню прошёл — не свалился, а с поллитры потёк! Серёга, чёрт, до сих пор не верю, что ты живой! Сказать кому — не поверят!
— Мне как раз лучше, чтоб поверили, документов-то у меня нет.
— Слушай, у нас сегодня ещё до фига времени! А поехали прям сейчас искать твою тётку! — Лёха был возбуждён неожиданной встречей, и его неудержимо тянуло на подвиги.
— После такой дозы за руль не боишься?
— Не смеши! Это разве доза?

Они вышли на улицу, Чирков выкатил из сарая свой старенький мотоцикл.
— Ого! Он ещё жив? — Серёга невольно улыбнулся, вспомнив, сколько они на нём в юности исколесили.
— А ты думал! Не конь, а зверь! — Чирков шлёпнул ладонью по истёртому сиденью. — Сидаум, пли-и-из!

До посёлка, где, по воспоминаниям Сергея, должна была жить его тётка, они добрались без приключений. Протаранив на полном ходу огромную лужу, Чирков лихо остановился у невысокого столба с облезлой табличкой, означавшей автобусную остановку. Кругом было безлюдно. Типовая советская «стекляшка», призванная быть магазином, видимо по причине воскресенья, была закрыта на внушительный замок. Чуть в стороне, в тени высокого куста, опершись на кирпичи, стояла квасная бочка, чумазая от ржавчины и навеки всеми забытая. Судя по всему, эта небольшая площадь служила для местных центром. Ни улицы, ни номера дома своей тётки Сергей не помнил, но узнавал посёлок, в котором случалось бывать в детстве, и ему казалось, что здесь всё — как и много лет назад, только улицы стали у́же, а дома — ниже.
— Может, спросить у кого? — предложил Чирик.

Но на улице, как нарочно, попадались только дети, да поодаль, у заколоченного ларька, скучали два помятых субъекта.
— Подожди… Она жила далеко от остановки. Помню, мы слезали с автобуса и всегда шли обратно.
— Тогда нам в ту сторону.

Лёха развернул своего коня, и они медленно поехали вдоль улицы, но среди встречных домов ничего похожего на тёткин дом Сергей не признавал. Наконец, у небольшой развилки он попросил Лёху остановиться.
— Теперь туда, — кивнул Сергей на узкий просёлок. — Я узнал это место. Видишь столб с площадкой под проводами? Когда я был маленьким, мне всегда хотелось туда залезть, чтобы посмотреть с высоты. Однажды я даже сбежал сюда, но так и не залез. Испугался таблички с черепом и молниями и не полез.

Они свернули с дороги и медленно, боясь угодить в яму на незнакомой тропе, поехали между глухими заборами. Как только заборы расступились, перед ними появилась поляна с небольшим прудом. Поодаль виднелась горстка разномастных домов.
— Всё, Чирик, кажется, нашли, — и Сергей кивнул на добротный дом, стоявший у самого пруда.

Уже от калитки было слышно, что в доме праздник: в открытые окна на улицу вырывалось многоголосие застолья. Они остановились на крыльце покурить. Курили молча. Сергей заметно нервничал и, чтобы успокоиться, затягивался глубоко и не спеша, будто оттягивал неприятный разговор с тёткой. В том, что он будет неприятным, Сергей не сомневался, вспоминая постоянные ссоры тётки с матерью из-за родительского дома. На крыльцо вышел один из гостей.
— Что-то молодёжь так припозднилась?
— Знали б, что нас тут ждут, — приехали б раньше, — сострил Лёха. — Что отмечаем-то?
— Так ведь годовщину по хозяину. Хороший был мужик. Настоящий. Теперь таких нет. Всегда, бывало, комбикорму подкинет, а денег больше, чем полцены, никогда не возьмёт. Теперь таких нет. Теперь каждый только и знает, что под себя гребёт…

Неожиданно, заглушив какофонию застольных споров, бабий голос зычно затянул:

Ой, мороз, мороз,
Не морозь меня…

— Да-а, хороший мужик был, — продолжил своё гость и, докурив, исчез за дверью.
— Поехали, Чирик. Не вовремя мы сегодня. Приедем в другой раз.

Серёга, помня о несговорчивом характере тётки, при чужих людях не хотел затевать разговор о проданном доме.
— Наоборот, всё как раз складывается в нашу пользу! Если люди на поминках поют, значит, дошли до доброй кондиции. Да твоя тётка только обрадуется при таком раскладе. Она глазам не поверит, что объявился живой родственник!

— Ты мою тётку не знаешь! Ей во что выгодно, в то она и верит! — упёрся Сергей.

Но Чиркова, если он выпил, остановить может только пуля. Не слушая никаких доводов, он уверенно шагнул в дом.

Судя по обстановке дома, Серёгина тётка жила в достатке. Сервант был полон хрусталя, пола и стен не было видно из-под ярких ковров, весь проём меж окнами занимал большой импортный телевизор.

В комнате было душно, пахло спиртным и прокисшей закуской. За столом теснилось десятка полтора гостей. По всей видимости, застолье длилось давно и уже успело потерять общее направление. Гости развлекали себя сами: кто-то пел, кто-то спорил с соседом, кто-то наливал сам себе. О причине торжества напоминали пустая тарелка и стопка, прикрытая горбушкой чёрного хлеба…

При появлении чужих людей песня оборвалась, и за столом сразу смолкли.

— Вам кого? — недовольно спросила одна из женщин, обозначив тем самым хозяйку дома.

Серёга с трудом, но всё же узнал в этой постаревшей женщине сестру матери.

— Тёть Валь, это я, Сергей.

— Какой ещё Сергей? — тётка поднялась из-за стола, и Сергей понял, что не обознался.

— Гущин. Вашей сестры Нины сын. Я в Чечне был, в плену.

— Ну, это ты хватил! Племянника моего ещё по зиме похоронили, а за ним, почитай, сразу и Нинку. Так что теперь не осталось Гущиных никого.

Сергей, хотя и не ждал от своей тётки распростёртых объятий, от этих слов как-то разом весь сжался и замолчал. В разговор вступил Чирков, без церемоний взяв быка за рога:

— Тётка, ты нам тут мозги не окучивай! Парень с войны вернулся, а жить негде.

— А я-то тут при чём? — перебила его Серёгина тётка.

— Так ведь это ты дом Гущиных продала.

— И что с того? Я что, обязана перед каждым отчёт держать? Всё сделано по закону, у меня и бумаги об их смертях есть. И его, и Нинки.

Из-за стола сразу хлынула волна советов:

— Да гони ты их, Михаловна, в шею!

— Кругом столько жулья развелось!

— Не заметишь, как сама без угла останешься…

Но Серёгина тётка была не из тех, кто нуждается в советах.

— А ну-ка, покажи свой паспорт, что ты и вправду Гущин.

За столом все разом притихли. Серёга глухо произнёс:

— Нет у меня пока никаких документов, на войне всё пропало.

— Да ты на его рожу глянь, — закричала вдруг раскрасневшаяся баба. — Какая в наше время война? По роже видно — из тюряги он!

Лёха, оценив обстановку, решил, что пора прибегать к крайним мерам, и пригрозил Серёгиной тётке судом.

— Да подавай хоть сто раз! Нашёл чем пугать! Чем он докажет, что он Гущин? У меня вот бумага, что он мёртвый, есть, а у него, что он живой, — нет! Подавай! Там, на суде, как раз и разберутся, кто из нас аферист!

— Ты что, тётка, совсем ку-ку? Какие тебе нужны бумаги? Перед тобой живой человек! — возмутился Лёха.

— Но бумаги-то, что он живой, у него нет! — упрямилась тётка, и за столом поднялся одобрительный гул.

Сергей понял, что ничего они ей сейчас не докажут, совсем сник и молча потянул Лёху за рукав к двери, но тот упёрся и уходить так просто не собирался.

— Тётка, да на тебе креста нет! Оставила парня без угла и теперь гонишь! — не унимался Чирков.

— А вот накося! — тётка достала из выреза яркой кофты золотой крест и пьяно его поцеловала. — И крест у меня есть, и в церкву по праздникам хожу!

— Ага, крест нацепила, а племянника без бумаги и признавать не хочешь?!

— Да я его первый раз вижу! С какого перепугу я обязана каждому прощелыге верить?! Правда за тем, у кого на то есть бумаги! Пусть покажет бумаги! А бумаг нет — нет и разговора!

— Ты что, бумагам веришь больше, чем людям?

За столом опять загудели, обсуждая происходящее.

— Да кто ж ему без бумаг в наше время поверит?! На скотину и ту вон бумаги требуются.

— Пошли, Чирик. Пусть она подавится! — бросил Сергей и вышел на крыльцо.

— Ну, тётка, теперь понятно, зачем ты в церковь ходишь.

Гости недовольно зашумели, но Лёха дальше препираться не стал и пошёл догонять Сергея. Из окна были слышны споры, гостям теперь было о чём поговорить. Заводя мотоцикл, парни услыхали, как тёткин голос опять затянул:

Ой, мороз, мороз,
Не морозь меня…

Её дружно поддержали несколько голосов. Поминки продолжались…

Вернувшись из посёлка, они сидели в сумерках на крыльце Лёхиного дома и курили одну за другой. Сергей, обхватив колени, постоянно ёжился, хотя вечер был не по-сентябрьски тёплым.

— Ты чего трясёшься? Замёрз, что ли? Или расстроился?

Сергей вместо ответа неопределённо мотнул головой.

— Не боись, Серёга, мы своё ещё вернём! — Чирков, несмотря на неудачный визит к тётке в посёлок, был настроен оптимистически. — Поживёшь пока у меня, я всё равно один. Завтра поговорю с ребятами, чтобы тебя взяли в бригаду. Они — мужики нормальные, думаю, поймут. Главное, убедить Вадима.

— Это кто, бригадир?

— Типа того, — Лёха стрельнул бычком в траву. — Пошли, пора на боковую.

Они до того устали, что завалились спать не раздеваясь. Даже Сергей, чьё будущее было весьма неопределённым, через пару минут дрых, что называется, без задних ног.

Ночью Лёха внезапно проснулся от неясного шороха. Он придержал дыхание, вслушиваясь в темноту. В замершей тишине комнаты чувствовалось едва различимое движение. Лёха медленно приподнялся на локте и в полумраке разглядел Сергея. Тот, пригнувшись, по-кошачьи осторожно крался к окну. В его руках вдруг что-то блеснуло.

«Нож», — догадался Чирков.

— Серёга, ты что?!

— Тихо! — хозяйским тоном цыкнул на него Гущин. — Сам не слышишь? Воют. Сейчас стрелять начнут, а у нас ни одного ствола!

— Совсем сдурел?! — Лёха сел на кровати и никак не мог понять, что на самом деле происходит. — Серёга, уймись. Кому мы нужны? Ночь на дворе.

— Сам дурак! Слышь? Опять завыли, — Сергей осторожно выглянул в окно. — Где-то совсем рядом.

С улицы и впрямь доносился протяжный тоскливый вой.

— Блин, Серёга, с тобой чокнуться можно! — Чирков откинулся на подушку. — Да это собака у соседей. Всё никак не соберусь её травануть, никакого покоя от неё нет. Каждую ночь, падла, воет! Ложись, мне завтра на работу.

Сергей распрямился, кинул на стол нож. Дрожащими пальцами открыл форточку и закурил. Чирков немного поворочался, но, соблазнённый запахом табачного дыма, встал и тоже закурил.

Сергей стоял, прислонившись к оконному косяку, молча всматривался в темноту, словно не верил Чиркову, и вдруг глухо произнёс:

— Они всегда перед атакой подкрадывались ближе и выли хором.

Чирков невольно напрягся: ему показалось, что сейчас рядом с ним стоит кто-то другой. Кто-то, кто далеко в горах украл оболочку его друга и теперь выдаёт себя за него — настолько голос у Сергея стал чужим, совсем непохожим на голос того, кто жил в этом теле раньше. Но Лёха был человеком приземлённым, поэтому в возможность подобного бреда не верил. Он шумно выпустил дым и с наивностью ребёнка спросил:

— Зачем?

— Чтоб нас запугать. За этот вой мы их шакалами и прозвали, — голос у Гущина вдруг опять изменился. — Лежишь, тишина, и вдруг — вой. Всё ближе и громче. Только займём позиции — опять тишина. Слышно только, как виски стучат. Час, два. Потом опять воют. Мы не сразу поняли, что они над нами издеваются, на психику давят.

— Дикари! — сплюнул Лёха.

На улице опять раздался вой. Сергей слегка вздрогнул, но Чирков это заметил.

— Ничего, Серёга, со временем отвыкнешь.

— Тебе легко говорить, а у меня это так же, как у тебя — слюни на водку.

Гущин щелчком отправил на улицу окурок, проследил траекторию его огонька и захлопнул форточку.

— С водкой жить можно, а с этим — нет, — выдал, зевая, Чирков. — Ложись, скоро уж вставать.

Утром они разбежались каждый по своим делам. Сергей собрался идти в милицию оформлять новый паспорт. Лёха выдал ему чистую одежду, благо они всегда были одинаковой комплекции. Однако футболка Сергею была явно велика. Лёха неуверенно произнёс:

— Мне кажется, или вчера ты был больше?

— Это я, наверное, грязь смыл, — отшутился Сергей и распрощался с Лёхой у самой калитки — им было в разные стороны.

Чирков оседлал своего железного коня и умчался, оставив вместо себя вонючее сизое облако.

Утром Сергей больше не вспоминал о своей тётке и, полагая, что документы — лишь дело времени, шёл по улицам и беспечно радовался родному городу. «Странно, со мной столько всего произошло, а город каким был, таким и остался. Ничего не изменилось», — подумал Сергей. В этом небольшом, ничем не приметном городе, каких в стране, наверное, сотни, а может, даже и тысячи, Сергей Гущин прожил всю свою жизнь и никогда не задумывался, есть ли где-нибудь места лучше. Он шёл в приподнятом настроении и внимательно вглядывался во все встречные лица, но никого хотя бы отдалённо знакомого так и не встретил. Радость оттого, что закончился этот кавказский кошмар, что он, наконец, добрался до дома, переполняла его. Он еле сдерживал себя, а так хотелось кричать! Кричать на всю улицу, да что там улицу — город: «Люди! Вы что, не видите?! Это же я — Серёга Гущин! Проснитесь! Вы что, не видите?! Я же живой!! Я вернулся!!!» Но заспанные горожане с угрюмыми лицами спешили мимо, не обращая на него внимания. За грузом забот им не было дела до посторонних бед и чужих радостей.

В паспортный стол, несмотря на раннее утро, уже выстроилась длинная очередь. Приём начинался через час, и все пока толпились на улице у дверей.

— Кто крайний? — подойдя ближе, спросил Сергей.

Все, как будто только его и ждали, дружно повернули головы в его сторону и промолчали.

— Кто крайний? — на всякий случай громче спросил он.

Все промолчали, на этот раз уже не поворачивая голов. Серёга под влиянием хорошего настроения пошёл ва-банк:

— Ну, раз здесь никого нет, тогда я первый! — и решительно двинулся к двери.

Все опять равнодушно повернули в его сторону головы и опять промолчали. Все, кроме взъерошенной женщины неопределённых лет, стоявшей у самого входа.

— Щас! Разбежался! Я тут с семи утра очередь караулю. Только пришёл — и уже первый. Вон, будешь за тем дедом, — и она кивнула в сторону.

Мужик, на которого она показала, смолил в стороне и делал вид, что происходящее его не касается.

— А ты, отец, что молчишь, когда спрашивают? — сам не зная зачем, попытался воспитывать его Гущин.

— А я не крайний, — явно получая удовольствие от сцены, произнёс мужик. — Я — последний.

«А среди мудаков ты — первый», — подумал Гущин, но тему вслух развивать не стал, отошёл в сторону и принялся терпеливо ждать. За время службы он привык к долгому бездейственному ожиданию, и поэтому стояние в очереди его не напрягало. В паспортный стол он попал ближе к обеду.

— Слушаю, — привычно произнесла молоденькая паспортистка, не глядя на посетителя и дописывая что-то в своих бумагах.

— Девушка, мне надо восстановить паспорт.

— Ваши документы? — паспортистка, наконец, подняла голову.

— Утеряны во время боевых действий! — глядя в её ярко накрашенные глаза, отрапортовал Гущин.

— Молодой человек, не морочьте голову. Какие военные действия в мирное время? — паспортистка с раздражением посмотрела на часы.

— Я службу проходил в Чечне, — терпеливо произнёс Сергей. — Понимаете…

Паспортистка не дала ему договорить.

— Ну так идите в военкомат и там требуйте. Следующий!

Сергей вышел из паспортного стола, нисколько не расстроившись, — он был готов к тому, что восстановить документы быстро не получится, и поэтому с надеждой направился в сторону военкомата. Он не подозревал, сколько бесконечных кругов родной бюрократии ждёт его впереди. Радость оттого, что он остался жив и вернулся домой, заслоняла собой всё, что сейчас происходило вокруг. Временами ему даже казалось, что то, что было прежде, — не настоящее, не жизнь. В глазах встречных людей читались проблемы, но теперь, многажды сталкиваясь со смертью, Сергей научился ценить жизнь и был уверен, что любая проблема — пустяк по сравнению с тем, что он пережил. Ему казалось, что люди, шедшие мимо, на самом деле совсем не знают, что значит *жить*…

— А что в военкомате? — спросил вечером Лёха, когда Сергей начал подводить итоги своих походов.

— Сегодня неприёмный день. И завтра тоже. Ну ничего, днём раньше, днём позже… Насчёт работы поговорил?

Лёха стушевался и не сразу нашёл что ответить.

— Поговорить-то поговорил, но не выйдет у нас ничего. Я и не ожидал, что мужики так прижмутся.

Было видно, что Чиркову перед другом неудобно.

— Понимаешь, — начал он объяснять Сергею, — нас в бригаде пятеро. Вадиму, собственно, по фигу — он только ищет заказы, за это берёт себе половину. Остальное мы делим на четверых.

— Нехило ваш Вадим пристроился!

— А что делать? Никто никого не держит. Он этот расклад задал в самом начале, все и молчат. Сейчас кругом столько желающих заработать, что возмущаться — себе дороже: работы-то нет. Короче, не захотели мужики делиться. Придётся нам с тобой что-то ещё придумать.

Сергей заметно расстроился — он очень надеялся, что проблем не будет хотя бы с работой. В какой-то момент у него в груди всё сжалось и никак не хотело расправляться. Неведомая сила стиснула грудь и мешала дышать, но он быстро совладал с собой. После того, что ему довелось пережить, глупо ждать от людей человечности. Умом-то он это понимал, но тело его не слушалось и вело себя странно: после того как в груди отпустило, Сергей заметил, что кожи на руках стало будто бы чуть больше, и она висела, как перчатка, купленная не по размеру. Он смотрел на свои руки и никак не мог понять, это на самом деле так или ему это просто кажется.

Неприёмный военкоматский день Сергей промаялся бездельем и бытовыми хлопотами. С утра он съездил на кладбище. Зачем — он и сам толком не знал. Поехал, потому что чувствовал, что так надо. По хлипким приметам, обозначенным Чирковым, он долго не мог отыскать могилу матери, а когда нашёл — остолбенел: рядом с могилой матери обнаружил свою собственную могилу. Отправляясь на кладбище, он и не подумал, что его тоже похоронили и что, значит, где-то должна быть и его могила. Первым желанием было выдернуть из земли табличку со своим именем, но потом, справившись с собой, он повернулся к этой могиле спиной, постоял недолго у просевшего холмика матери и, не зная, что делают в таких случаях,

пошёл к выходу. Но с полдороги вернулся, схватил ком земли и с усердием затёр грязью своё имя на могильной табличке.

Петляя в лабиринте крестов и плит, Сергей подумал, что как только заработает денег — поставит матери памятник. Выйдя на главную аллею, он вдруг понял, что не может вспомнить её лица и что у него нет ни одной её фотографии. Уже у самых ворот ему показалось, что он слышит её голос — всегда уставший и как будто просящий. Знакомый голос звучал так отчётливо, что Сергей не поверил своим ушам и даже на миг остановился. Странно, материн голос он помнил, а вот лицо почему-то нет. Сергей сделал над собой усилие, чтобы не обернуться, и вышел на улицу…

Дождавшись среды, Гущин, наконец, отправился в военкомат. Дежурный не стал вникать в нештатную ситуацию и сразу направил его к военкому. Быстро сориентировавшись в знакомом коридоре, Сергей без труда отыскал нужный кабинет. Судя по табличке на двери, военком был всё тот же. Помня ещё с призывного возраста байки про его самодурство, Сергей аккуратно постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, вошёл. Военком, казалось, и не вставал из-за своего стола с того самого момента, как Сергей впервые приходил к нему за подписью в приписном свидетельстве. Правда, за это время он раздался вширь да разжился ещё одной звёздочкой.

— Здравия желаю, товарищ полковник! Разрешите войти?

— Молодец, знаешь, как к начальству положено входить. Разрешаю, — оценив намётанным глазом посетителя, военком снял галстук и, потирая затёкшую красную шею, совсем по-свойски продолжил: — Что у тебя?

Гущин устал за последнее время повторять нюансы своей судьбы и поэтому теперь, не вдаваясь в детали, изложил военкому самую суть проблемы: что был срочником в Чечне, что попал там в плен, что потом бежал, что документы утеряны. Военком выслушал его молча, беззвучно пожевал губами, зачем-то энергично потёр собственное ухо и выдал Сергею чистый лист и ручку.

— Пиши.

— Что писать? — на всякий случай уточнил Гущин.

— Правду! Как и при каких обстоятельствах утерял военный билет.

Пока Сергей излагал свои проблемы на бумаге, военком принялся куда-то звонить.

— Полковник Нехайло на связи. Доложите обстановку.

Выслушивая доклад, он одобрительно кивал и, нисколько не стесняясь посетителя, командным голосом добавил:

— И чтоб сальца́ там не жалеть, как в прошлый раз! Буду в два как штык! Всё, конец связи!

Дав отбой, полковник спросил Гущина:

— Написал? Припиши внизу: «Готов нести ответственность по всей строгости, в соответствии с законом». Написал? Давай.

Пробежав глазами заявление, он решительно разорвал его и швырнул клочья на стол перед Гущиным. Сергей опешил.

— Выкинешь на улице, — полковник выдал ему новый лист. — Пиши заново. Про то, что билет у абреков, лучше не пиши — могут возникнуть сложности. Придумай там сам что-нибудь попроще.

— Сами ж сказали — писать правду. А какая ж это правда, если врать надо?

— Отставить разговоры! — военком вдруг побагровел и шлёпнул ладонью по столу. — Тебе не врать приказано, а при-ду-мы-вать! Разницу в силе поражения усекаешь? А за твою правду нас всех тут так замордуют проверками, что лёгким испугом не отделаешься!

Сергей, немного подумав, послушно изложил на бумаге новую версию утери военного билета. Военком напомнил:

— И не забудь приписать: «Готов нести ответственность по всей строгости, в соответствии с законом».

Сергей сделал приписку. Военком пробежал глазами написанное и, довольный результатом, кивнул:

— Вот теперь лады! Полковник Нехайло плохого ещё никому не посоветовал! — и, не глядя, выудил из стопки на столе папку, вложил в неё заявление Гущина. — Всё, полдела сделано!

— И когда можно приходить за документами?

— Неделя — туда-сюда, неделя — на запросы. В общем, через пару недель можешь заглянуть.

— Спасибо! Разрешите идти? — глаза Сергея заблестели надеждой.

— Иди! Но к следующему разу, рядовой Гущин, не забудь, что «спасибо» — не булькает!

Две недели по сравнению с целой жизнью — не срок, но сидеть на шее у друга Сергей не собирался, а потому решил искать работу, не дожидаясь документов. Лёха расценил эту затею как бесперспективную.

— Ну и что, что без паспорта? — упёрся Сергей. — Руки-ноги-то у меня есть!

Но через пару дней он был готов признать, что правда оказалась не на его стороне. Он обошёл городские стройки, автосервисы, потолкался на рынке, встретил кое-кого из знакомых, но всё безрезультатно…

В их небольшом городе новости случались нечасто, поэтому весть о воскресшем Гущине быстро разлетелась по городу. Правда, жизнь Сергея от этого лучше не стала. Горожане поговорили-поговорили об этом, окрестили Гущина Чеченом, да и забыли, а Сергей как был не у дел, так и остался. Он часами слонялся по городу, чтобы хоть как-то

убить время до назначенного военкомом срока и в надежде на возможную удачу. Сегодня около него притормозила машина. Сергей обернулся—в машине сидели двое. Гущину они чем-то показались подозрительными, и он решил не останавливаться. Машина медленно поехала следом.
— Эй!—окликнули его из-за опущенного стекла.— Это ты Чечен?
— Ну, я,—Сергей остановился, зачем-то оглянулся по сторонам и для уверенности засунул руки в карманы.
— Садись, разговор есть.
— Пешком постою. Говори…
— Нам сказали, ты работу ищешь.
— Ну, ищу.
— Тогда садись.

Гущин секунду поколебался, но в машину всё же сел. Сзади эти двое—один за рулём, второй рядом с ним—были совершенно одинаковыми: коротко стриженные затылки, сидевшие на крепких воловьих шеях, тёмные спортивные куртки, провонявшие табаком и пóтом. «Ребята конкретные»,—успел подумать Гущин. Не оборачиваясь, тот, что сидел рядом с водителем, сообщил:
— У нас для тебя работёнка есть. Непыльная, но занятость полная. Оплата—сдельная.
— Что надо делать?
— Петь в ансамбле.
— Петь?—удивлённо переспросил Гущин.—Вы меня с кем-то путаете.
— Мы ни-ког-да ни-че-го не путаем. Ансамбль раньше был такой—«Голубые береты». В курсе? Вот у нас, считай, их филиал. Все наши артисты—инвалиды, бывшие солдаты. У тебя форма есть?

Гущин качнул головой.
— Выдадим. Стоимость потом вычтем из зарплаты.
— Да я и петь-то не умею,—от столь неожиданного предложения Гущин совсем растерялся.
— Есть захочешь—научишься. Сначала будешь подпевать. В городе о тебе знают, значит, поверят и будут лучше подавать. Основная точка—у вокзала, в выходные по электричкам—самый чёс. Деньги—половину фирме, остальное поровну на всех.
— Я должен подумать.
— А чё тут думать? Думаешь, на это место нет желающих? Просто мы с умом подбираем кадры.

Сергей не решился вот так сразу дать ответ. Он не считал для себя это работой, да и сомневался в прозрачности данного предложения. С другой стороны, это могло положить конец его бесконечным мытарствам и дать хоть какой-то заработок, поэтому Гущин никак не мог решить: да или нет.
— Короче, если надумаешь—завтра в пять вечера у вокзала.

После разговора с Чирковым Гущин только укрепился в своих подозрениях. Лёха рассказал ему, что этот бизнес держит в городе некий Шёпот.
— Его шестёрки насобирали убогих и теперь выдают их народу за «афганцев». Те поют, народ—подаёт. Говорят, бизнес прибыльный. Шёпот, гнида, крышует их на вокзале, за крышу, понятное дело, берёт свою долю.
— А то твой Вадим не гнида!—взвился вдруг Сергей.—Так же забирает себе половину. Я смотрю, у нас в городе жизнь пошла—живут одни Шёпоты, остальные или в холуях ходят, или с голоду дохнут.
— Время теперь, Серёга, такое. По-другому не поднимешься. Или ты, или тебя.
— Голову включи: при чём здесь время?! Народ оскотинился по полной! Рвут друг у друга куски прямо из глотки! А ещё в Чечню, блин, лезем порядок наводить! Какие из нас наводилы, если сами по уши в дерьме?!! Ты скажи: я что, там под пули лез, чтобы потом здесь под Шёпотом лежать?!
— Да ладно тебе, Серёга, чёрт с ними со всеми! Как-нибудь образуется. Не заводись.

Гущин и сам надеялся, что всё рано или поздно образуется, но за то небольшое время, что он вернулся из плена, он уже успел понять, что мир колюч, и его натура активно этому миру протестовала. Ему было обидно, что, пока он выбирался из плена и надеялся выжить, мир безнадёжно прогнил и что Лёха Чирков—единственный оставшийся близкий ему человек—покорно гниёт вместе с этим миром. При этой мысли в груди опять, как тогда, после поездки к тётке, что-то сжалось, и стало тяжело дышать. Сергей боялся этого непонятного ощущения, может быть, даже больше, чем остаться без дома и работы. Он принялся колотить себя кулаком по груди, но дыхание не восстанавливалось. И тут он вдруг явно ощутил, что сам он уменьшается в размерах, а одежда становится ему велика. Он резко поднял руки и глубоко вздохнул, надеясь, что воздух не позволит ему совсем уменьшиться. Лицо стало неестественно багровым, его бросило в пот, но в груди тут же отпустило.
— Ты чего?—испугался Чирков.
— Ерунда. Прошло.

Какое-то время назад Сергей заметил, что на любую несправедливость его организм реагирует странным образом: будто кто-то у него внутри закручивает неведомую пружину, и его тело становится меньше, словно пытается спрятаться от этой несправедливости. В том, что после возвращения из плена он уменьшился в размерах, Сергей уже не сомневался: джинсы, выданные ему Лёхой на той неделе, теперь приходилось подворачивать. Эту странность своего организма Гущин с другом не обсуждал, боясь, что тот поднимет его на смех или, чего доброго, подумает, что он свихнулся. На обоях, рядом с умывальником, Сергей тайком от Лёхи сделал отметку ногтем на высоте своего плеча и время от времени с ней сверялся. А Чирков или делал вид, что ничего не видит, или и правда ничего не замечал.

Спустя две недели Гущин вошёл в военкомат с надеждой, что его мытарствам сегодня наступит конец. Он решительно постучал в знакомую дверь военкома.

— Здравия желаю, товарищ полковник! Разрешите войти?

— Молодец, знаешь, как к начальству положено входить. Разрешаю,—полковник Нехайло, когда был в настроении, всем говорил одно и то же.— Что у тебя?

— Я по поводу военного билета. Утерянного во время боевых действий в Чечне… Вы мне на сегодня назначили…

— Фамилия?—военком раскрыл потёртую папку.

Сергей назвал себя. Полковник покопался в бумажках, отыскал нужную. Молча прочитал и изучающе посмотрел на посетителя. Затем всё так же молча достал из ящика стола тощую серую папку— Сергей успел разглядеть на ней свою фамилию.

— Гущин, говоришь?—военком с подозрением упёрся в парня взглядом.

—Так точно.

Военком, будто не слыша ответа, побарабанил по столу крепкими пальцами.

— По данным Министерства обороны, Гущин Сергей Александрович мёртв. Вот и справка из части имеется.

Сергей терпеливо принялся рассказывать военкому всё произошедшее с ним в армии, но тот, не дослушав, по-чиновничьи упёрся:

— На запрос пришёл официальный ответ, что Гущин С. А. погиб. На каком основании я выдам мёртвому военный билет?

— Какому мёртвому?! Я ж вам рассказал, как всё было!

— Откуда мне знать, что ты не врёшь? И вообще, что ты—это ты?

— Ну вы же видите, что я живой!

— Это ты говоришь, что живой, а по документам ты, точнее, Гущин числится в списках погибших. У тебя обратные доказательства есть? Нет? Вот когда раздобудешь—тогда и предъявляй требования! А у меня в твоём деле справка, что ты, точнее, Гущин, погиб. Вот, гляди,—военком ткнул толстым пальцем в какую-то бумажку в папке.— С печатями и подписями, как положено. А ты чем докажешь, что не погиб?

— Да перепутали меня! Что, на войне такого не бывает?

— На какой войне?—насмешливо произнёс военком, откидываясь в кресле.

— На чеченской.

— Смотрите-ка, герой выискался! «Война-а-а!» Пороху понюхал и сразу к героям примазался! Там, между прочим, была не война, а наведение конституционного порядка!

Гущин опять почувствовал, как внутри медленно сжимается пружина. Он неожиданно для самого себя вдруг глубоко вздохнул и, резко перекинувшись через стол, вцепился обеими руками военкому в воротник и принялся его трясти.

— Какой ещё, б…я, «порядок»?! Тыловая вша! Ты тут мозоли на жопе натираешь, а там люди гибнут! Ты звездишь про порядок, а меня убивали, и я убивал!!! Вот этими самыми руками!

Побагровевший полковник еле смог оттолкнуть Гущина от себя.

— Не я посылал тебя на ту войну. Иди и разбирайся с теми, кто посылал!—военком, тяжело дыша, начал приводить себя в порядок.

Гущин сел на стул и пытался унять внутри себя упрямую пружину.

— И не я тебя списывал на боевые потери. В документах должен быть порядок, а слова твои к делу не пришьёшь! Я—лицо официальное, мне доказательства нужны! Не с тебя потом—с меня спросят!

— А то, что я живой стою,—это не доказательство?!—начал опять закипать Гущин.

— Отставить! Человек сам по себе ещё не доказательство! Человек—это всего лишь человек! Мне нужна справка, что ты Гущин,—это раз, и что ты живой—это два!—и полковник сам распахнул дверь своего кабинета, давая Гущину понять, что разговор окончен.

Вернувшись домой, Сергей придирчиво осмотрел себя в зеркале. В последнее время он только и делал, что бездельничал, однако выглядел неважно. Глаза будто бы стали больше, а лицо—меньше. Кожа на лице и шее висела дряблыми складками, как у иссохшего старика. С помощью метки на обоях он опять увидел, что его рост стал меньше на целый палец, и потому до самого вечера Гущин висел на турнике—боролся со своей внутренней пружиной, которая неумолимо уменьшала его в размерах при малейшем столкновении с несправедливостью. Он всерьёз обеспокоился, что скоро из-за его мальчишеских размеров ему и впрямь никто не поверит, что он пережил войну и плен.

На следующее утро он отправился в поликлинику. Народу на удивление было немного. К счастью Гущина, в регистратуре без особого труда отыскалась его амбулаторная карточка, и Сергей, прижимая её к груди как единственного свидетеля его существования в той, прошлой, жизни, через ступеньку помчался к участковому терапевту.

Услышав его просьбу, молоденькая сестричка прыснула, опустив низко голову, а терапевт недоумённо пожала плечами и направила странного пациента к главному врачу.

Пожилой врач, оторвавшись от вороха каких-то бумаг, терпеливо выслушал Гущина и что-то стал говорить про эксгумацию могилы, про то, что на это требуется согласие родственников и что если родственников нет, то никто не имеет права, разве что милиция, а милиции это не надо…

— А мне-то что делать? — растерялся от этих нескончаемых «если» Гущин.
— Хлопотать. Пойти в милицию, в суд, наконец! Везде ведь люди…
— Они не люди, они — чиновники! Роботы, которые верят только справкам! Они живут бумагами, а не людьми! — перебил его с досадой Гущин.
— Что поделать, такое время! Мир идёт от плохого к худшему, но в ваших интересах доказать, что тот, кого вместо вас похоронили, — не вы.
— Тьфу ты, господи! Мне надо доказать, что я — живой, а не что мёртвый — не я! Даже если я докажу, что он — не я, разве это доказывает, что я — это я?
— Молодой человек, вы мне совсем закружили голову своим «я — не он, он — не я»! От меня-то вы что сейчас хотите?
— Справку, что я живой! — Сергей начал терять терпение.
— Да нет у нас такой формы. Справка, что человек мёртв, существует, а что жив — нет в нашей стране такой справки! Я больше сорока лет врачом работаю, и вы первый, кто такую справку от меня требует! Единственное, что в моих силах, — выдать вам справку о состоянии здоровья.
— Ну, давайте хоть о состоянии, — сдался Гущин.

Он спрятал в карман никому не нужную справку о состоянии здоровья Гущина С. А. и теперь стал ломать голову над тем, как доказать, что он, собственно, и есть этот самый Гущин С. А.

Лёха явился домой с работы навеселе. Сегодня им выдали аванс, и они с мужиками, по его собственному выражению, это дело спрыснули. Лёха, как обычно, когда был под градусом, любил поговорить «за жизнь». Он завалился на диван и приступил к расспросам.
— Ну, Серёга, рассказывай, как там наши успехи на родном бюрократическом фронте?

Сергей настолько устал от безрезультатных хождений и безысходности своего положения, что лишь отмахнулся:
— Да никак! Выдали справку, что здоров. Другой формы у них, говорят, нет. Формалисты хреновы!
— Ну так это хорошо, что здоров! Это значит, они признали в тебе живого! Ты вот сам подумай: мёртвый здоровым бывает? Нет. А ты здоров — значит, живой!
— Я и без их справок знаю, что живой. А дальше-то что? Как доказать, что я — это я?

Чирков в поисках подходящего варианта повертелся на диване и, улёгшись поудобнее меж выпирающих пружин, наконец выдал:
— Да, наверное, в суд идти придётся. Не боись — я у тебя свидетелем буду!
— Придётся, хотя ничего глупее и придумать нельзя! Чёрт, я и не думал, когда с Кавказа домой добирался, что так вляпаюсь.
— Земля, Серёга, вертится. Вот, видать, и довертелась — свихнулась с катушек, — попытался шутить Чирков.
— А люди тоже с катушек съехали?! Все теперь лезут в депутаты и на должности. Хлебом не корми — дай покомандовать! Обычных людей зажали дурацкими условностями так, что они от безысходности или вымрут, или по миру разбегутся — выживут одни чиновники. Хотел бы я посмотреть, как они будут жрать друг друга. Одно из двух: или перегрызутся, или в стране наступит рай!
— А ты, Серёга, оказывается, романтик! — Лёха хлопнул друга по плечу.
— Да какой к чёрту романтик?! — отмахнулся Сергей. — Хорошо, что у меня нет в руках автомата. Руки чешутся его разрядить…

На следующий день Гущин отправился в суд. Стена коридора была заклеена образцами заявлений на все случаи жизни. Их было так много, что у Сергея голова пошла кругом, но он честно пытался разобраться во всех тонкостях заполнения исковых документов. Его растерянный вид рассердоболил пожилую секретаршу, проработавшую полжизни в здешней канцелярии, и она помогла Гущину написать заявление с просьбой признать его живым и установить его личность.
— Справку о состоянии здоровья прикладывать надо? — на всякий случай уточнил Сергей.
— Давай. В таком деле лучше перебдеть, чем недобдеть! — она отобрала у Гущина справку и решительно приколола его к заявлению.

У Сергея снова появилась надежда, и он стал ждать повестку в суд. Работать его по-прежнему никуда не брали. Приходилось перебиваться случайными копеечными заработками и Лёхиной добротой. Его внутренняя пружина после того случая в военкомате больше не напоминала о себе, и Сергей стал забывать и о ней, и о метке на обоях. По городу ходили слухи о предстоящем суде, многие проявляли к этому делу любопытство, но, кроме Чиркова, желающих выступить в суде свидетелем так и не нашлось. Кто-то ссылался на занятость, кто-то сам бегал от суда…

Уже лежал снег, а Сергей Гущин всё никак не мог доказать своего права на собственную фамилию. Надежды, что суд восстановит справедливость, не оправдались. После первого же заседания Сергей понял, что проблем у него впереди непочатый край. То одна, то другая буква закона с каждым заседанием только запутывала и без того непростую ситуацию. Свидетельства одного Лёхи Чиркова судье А. Б. Сурду оказалось недостаточно. Тётка, вызванная в суд, признавать в Сергее своего племянника наотрез отказалась на основании того, что ещё прошлой зимой своими руками бросила

в его могилу горсть земли. Суд за недостаточностью доказательств отложили.

Судебная система в нашей стране — противник поспешных выводов. После многочисленных решений, разрешений и согласований была проведена эксгумация матери Сергея и того, кто был похоронен под именем Гущина. Процедура, на которую ушла добрая пара месяцев, показала, что эти люди родственниками являться не могли. Но, как справедливо заметил Сергей ещё в поликлинике, это вовсе не доказывало того, что он — Гущин. А взять заранее анализы у истца, по российскому головотяпству, никому не пришло в голову. Гущина С. А. объявили пропавшим без вести, а суд опять отложили.

От заседания до заседания Серёга так и мыкался без документов и без работы. Чтобы не сойти с ума от безделья и безысходности, он и сам не заметил, как зачастил в городскую котельную. Кирпичная развалюха без окон и с прокопчённой трубой, работающая по старинке на угле, ютилась на пустыре, куда горожане, не таясь, вывозили отслужившее свой срок барахло. Как ни странно, это нереспектабельное место было единственным в городе, где Сергей чувствовал себя спокойно. Он долго не мог понять, что за человек кочегар дядя Паша, но родственную душу в нём почувствовал сразу.

Дядя Паша всегда был чисто выбрит, в отличие от большинства работяг, не матерился, не суетился и на жизнь не жаловался. Жил в каком-то своём мире и смотрел на всё с задумчивым прищуром. Чуть позже он рассказал Сергею, что всего каких-то несколько лет назад был инженером, что за ненадобностью его вместе с заводом сократили, и вот теперь он не работает, а зарабатывает в кочегарке себе пенсию. Во время перекуров дядя Паша обычно молчал, но если Сергей затевал разговор, то с удовольствием принимался философствовать.

— Эх, зелень! Вам бы всё ершиться и доказывать! — это он в ответ на очередные Серёгины возмущения о траектории заката нынешней жизни.

— А что ж, по-вашему, я должен делать вид, что мне всё нравится?! — Гущин задохнулся от возмущения. — Почему я должен доказывать, что имею право жить как человек?!

— Тебе, парень, жизнь задарма досталась, так чего ж ты от неё ждёшь?

— Ну, мне уж точно не задарма, — закипал в ответ Сергей.

— Жив остался — и то хорошо. Живи и радуйся тому, что есть.

— Меня не жизнь, меня люди напрягают!

— А что люди? Не нравятся — отойди в сторону.

— В Чечне меня не особо-то спрашивали, нравится мне или я хочу в сторону!

— Ну что ты сразу в край кидаешься?! Армия не в счёт, армия — это долг!

— Кто ж спорит? Долг! Только я не просил меня хоронить! Штабные суки накосячили, а я теперь разгребай! Я, блин, должен был всем, а мне никто! Никто и не думает исправлять свои ошибки! Засунули меня жизни в самую задницу и теперь смотрят, выберусь я или нет! Выходит, что главный долг для нашего чиновника — похоронить человека?! Это что, по-вашему, правильно?! Все будто ослепли, оглохли и отсиживаются в стороне.

— Тебя обидели, вот ты теперь революции и устраиваешь!

— Да при чём здесь «обидели»?! Люди вконец скурвились! Готовы затоптать любого!

Дядя Паша остался невозмутим, будто и не слышал Серёгиных речей.

— Жизнь научила людей лишний раз не высовываться. За это нельзя их винить, они и так живут на износ.

— Проще простого всё списать на жизнь. Только и слышно: «не мы такие — жизнь такая». Все живут так, будто жизнь кончается завтра. И никто не хочет замечать, что люди уже не похожи на людей.

— Известное дело: из русских можно и дубину, и икону. Время, видать, пришло из нас дубины стругать.

— Когда-нибудь доструγаются и получат этими же дубинами по башке! — не унимался Сергей.

Дядя Паша докурил молча, затушил окурок о подошву сапога, надел рукавицы, взял лопату, всё так же молча накидал в телегу угля и уже от дверей котельной крикнул:

— Ты думаешь, мне всё в этой жизни нравится? Думаешь, только ты один видишь, что народ оскотинился? Я иногда тоже бываю на жизнь злой, а иногда мне наплевать. В России нельзя будить лихо — это может плохо кончиться! Жить надо настоящим, а не митинговать!

— Таким настоящим, как у нас, живут только Шёпоты, а я не хочу!

Впервые за последние месяцы внутри Серёги опять проснулась пружина. Он испугался, но ничего со своим телом поделать не мог, спрятал руки от мороза в рукава и, ссутулившись, пошёл в сторону дома.

После этого разговора он в котельную больше не ходил, напрочь разочаровавшись в жизненной позиции дяди Паши.

После новой экспертизы выяснилось, что ДНК Сергея и матери совпадают лишь на девяносто четыре процента. Суду этого оказалось недостаточно, чтобы признать истца Гущиным Сергеем Александровичем, и он так и остался неустановленной личностью.

Неожиданно вечером домой к Чиркову пришёл участковый. Потрёпанный жизнью невысокий коренастый мужчина средних лет с бегающими глазами представился по форме и, будто у себя в

кабинете, уверенно предложил Чиркову пройти в дом.

Не успел Лёха прикрыть за собой дверь, как участковый напрямую заявил, что знает историю возвращения Гущина и что тот живёт у Чиркова без документов, а он рискует местом и погонами, прикрывая беспаспортного жильца на своём участке. Но, зная, как непросто в нашей стране добиться правды в суде, он готов за определённую сумму этим пожертвовать. Не успел Чирков среагировать на услышанное, как участковый добавил, что зайдёт в конце недели, и исчез, будто бы его и не было.

Сергей в это время тоже был дома. Пока Чирков шёл открывать дверь, он со страхом метнулся к отметине на обоях — во время последнего заседания суда он опять почувствовал шевеление пружины… Разумеется, Гущин слышал всё, что говорил участковый. Не успел Сергей и подумать об услышанном, как пружина опять пришла в действие. Грудь сжало с такой силой, что Сергея отбросило от стены в сторону, и он упал. Когда он открыл глаза, всё вокруг было невообразимо огромным. Сверяться с отметиной уже не имело смысла: он еле-еле доставал рукой до умывальника. Одежда с него свалилась.

В этот момент вернулся Чирков. Увидев вместо друга нечто похожее на живую куклу, Лёха вцепился в дверной косяк и ошарашенно обвёл взглядом комнату.

«Пипец, допился!» — первое, что пришло ему в голову. Он потёр переносицу, затем глаза — похоже, что это было не видение. Чирков опустился на колени и шёпотом спросил:

— Серёга, это на самом деле ты, или у меня глюк?!

— Если хочешь, зови меня Глюк — у меня всё равно нет ни имени, ни фамилии.

— Ё-моё! Ты… ты что с собой сделал?!

— Это не я, это жизнь. Я за неё изо всех сил цеплялся, а она меня кинула.

Вместе с ростом у Сергея изменился и голос, и было странно слышать серьёзные слова, произнесённые детским голосом. Чирков слушал и до сих пор не верил своим глазам. Он даже пару раз зажмуривался, надеясь, что это всё-таки галлюцинация. А человечек неправдоподобно маленького роста, ещё десять минут назад бывший его другом детства Гущиным Сергеем, продолжал:

— Ты никогда не думал, куда мы все катимся?

— Никуда, — удивился Лёха. — Мы просто живём.

— Что значит «просто живём»?! Чирик, ты что, дурак или правда не видишь, что у нас никто не думает о людях? В нашей стране они не для того, чтоб жить. Они нужны, чтобы жили чиновники и дельцы типа Шёпота и твоего Вадима.

— И ты что, теперь таким и останешься?

— Не думаю, что жизнь сможет откормить меня обещаниями, — мудро изрёк Сергей.

— А как же? Ты ведь всегда сам говорил: полоска чёрная, полоска белая?

— Я же тебе сказал: жизнь стала другой, а я слеплен жить не по этим законам. У нас в стране жизнью теперь правят не ценности, а понятия, вот моё нутро и бунтует.

…Они проспорили весь вечер. Лёхе иногда казалось, что он или спит, или сошёл с ума, потому что такого не может быть на самом деле. Ему так и не удалось убедить Сергея в том, что на жизнь надо смотреть проще, всегда лупить первым, и тогда у тебя всё получится. Гущин, как упрямый ребёнок, без конца твердил, что не может жить по волчьим законам, жить в обществе, где не все люди — люди. Чирков понял, что переубедить Гущина у него не получится — во всяком случае, сегодня. Он ещё надеялся, что всё, что произошло с Сергеем, — неправда, дурной сон, который рано или поздно закончится. Он даже был согласен, чтобы это было первым звонком белой горячки.

— Ты только смотри не исчезни совсем! — совсем по-детски попросил огромный Лёха маленького Сергея, и они легли спать.

Местные врачи пришли в замешательство. Они честно попытались разобраться в столь неординарном случае, но дальше анамнеза дело не пошло. Ни у кого из собравшихся на консилиум в практике не было случая, чтобы люди рассасывались на глазах из-за жизненных проблем и несовершенства общества. Чиркова, как единственного близкого такому необычному пациенту человека, врачи успокоили тем, что в наше время от стыда не умирают, и решили направить Гущина для изучения в какой-нибудь НИИ. Долго спорили, в какой из институтов отправлять, и, поскольку во мнениях не сошлись, выписали направление в НИИ скорой помощи, справедливо решив, что на то она и скорая, чтобы побыстрее разобраться, что к чему.

Сергей за это время устал от осмотров, расспросов, похлопываний и прочих манипуляций и однажды утром не проснулся.

— Умер, — испугался Чирков.

Но Сергей в этот момент повернулся на другой бок, и Лёха успокоился.

— Так даже лучше, — решил он.

Чирков аккуратно завернул Гущина в полотенце, положил свёрток в спортивную сумку и отправился на вокзал, надеясь на всесилие современной медицины.

НИИ скорой помощи видал всякое, но появление в приёмном покое Гущина вызвало такой переполох, какого здесь никогда не было и, вероятнее всего, никогда больше не будет. В небольшое помещение до отказа набился персонал всех мастей. Медики с любопытством рассматривали нового больного

и периодически поглядывали друг на друга с тайной надеждой, что столь проблемный пациент достанется не их отделению.
— Ты видишь то же самое, что и я? — еле слышно спросил один анестезиолог другого.

Тот вместо ответа толкнул коллегу в бок. Пока решали, в какое отделение направить Гущина, в коридоре поднялся шум — появились журналисты: кто-то из прикормленных осведомителей уже успел слить информацию. Увидев камеры, Сергей повернулся ко всем спиной и сделал вид, что спит.

«Значит, мозги у него ещё работают», — расценил манёвр друга Чирков.

В последующие несколько дней Гущина тщательно обследовали и, откровенно разводя руками, как эстафетную палочку, передавали из одного отделения в другое. Сергей всё это терпеливо сносил, но есть без посторонней помощи сил у него уже не было.
— Ешь, милок. Ешь хорошенько, — уговаривала его пожилая нянечка. — Бог даст силы, может, ещё и поправишься.
— Да где он, ваш Бог? Разве Он не видит, как в стране людей топчут? — в возмущении оттолкнул ложку Гущин.
— Бог, милок, один. На всех Его разве хватит? Богу надо помогать, — устало загремела она больничными плошками.

После обеда в палате появился новый доктор. Он объяснил пациенту, что пишет диссертацию о проблемах увеличения человеческого роста и готов Гущину помочь, но для этого необходимо его согласие на операцию. Сергей понял, что доктор не особенно-то изучал историю его болезни и вникал в её причину.
— Разве ваша гениальная операция способна исправить общество? Должны измениться люди! — назидательно ответил на предложение врача маленький пациент.
— Если бы ты почаще думал о себе, а не о людях, то, может, с тобой этого бы и не случилось! После операции ты станешь похожим на нас! — принялся убеждать его доктор.

Сергей вместо ответа прибег к своей хитрой тактике — молча полежал с минуту, уставившись в одну точку, и сделал вид, что уснул. В это время, судя по скрипу двери, в палату кто-то вошёл.
— Ну что, уговорил? — шёпотом спросил незнакомый голос.
— Почти, — ответил доктор. — Такой шанс сделать себе имя, и я его не упущу!
— А если не получится, и он погибнет? Я бы на твоём месте не торопился, ведь это явно новая форма идиосинкразии…
— Значит, при плохом раскладе от неё-то он и умрёт, — спокойно ответил доктор, выходя из палаты.

Через пару дней Лёха Чирков приехал проведать друга. В палату его не пустили. Заведующий отделением сообщил ему, что маленький пациент вчера бесследно исчез.
— Как это исчез? — не понял Лёха. — В смысле, умер?!
— Нет. Именно исчез. Бесследно. Впрочем… — врач покопался в ящиках стола и протянул Чиркову небольшой клочок бумаги.

Лёха мысленно ругнулся в адрес Серёги, но не успел посмотреть, что в записке, как врач добавил:
— Может, оно и к лучшему…

Лёха непонимающе округлил глаза.
— Сегодня вашим другом интересовалась военная прокуратура. Я не особо вникал, но, кажется, его подозревают в дезертирстве.
— А ничего, что они его сами похоронили? — Чирков от несправедливости начал задыхаться.
— Он ведь через суд доказал, что вместо него похоронен кто-то другой…
— И? — искренне не понял Чирков.
— И не исчезни он, ему пришлось бы доказывать, что он не бежал из армии, а был в плену. Извините, меня пациенты ждут.

Лёха молча кивнул доктору, но так и не сдвинулся с места. В груди что-то сжалось и никак не отпускало. Лёха поторопился выйти из больницы на воздух. На улице Чирков помаленьку справился с непонятными ощущениями и тут только вспомнил о записке. На клочке, криво оторванном от газеты, было мелко написано всего несколько слов: *«Я не хочу быть похожим на вас!»*

«На фига ты с собой это сделал?! Что кому доказал? — мысленно начал спорить с исчезнувшим другом Чирков, но в памяти всплыли последние слова доктора, и вслед за ними в сознании юркнула мысль: — А может, оно и правда к лучшему?»

Александр Дьячков

Дворик детства

● ● ●

Восьмидесятые. Примерно третий класс.
Природоведенье ведёт Светланыванна:
— *Вода важна. Цель каждого из нас —
беречь её…* И капает из крана.

Я руку поднял. — *Что тебе, Дьячков?*
— *Мы говорим… а кран… закрою, можно?*
Злой, удивлённый взгляд из-под очков,
понять его тогда мне было сложно.

Большая пауза. И будто приговор:
— *Иди закрой, не создавай проблему.*
Так я, закрыв, открыл большую тему.
Я этой теме верен до сих пор.

● ● ●

Вот в этом дворике прошло чужое детство.
О, где ты, дворик детства моего?
Я в жизни не забуду наше бегство
из Казахстана нового, того,

где русские в одно мгновенье стали
врагами подлыми. Их нечего терпеть!
На пустыре, где мы в футбол играли,
теперь кривая высится мечеть.

…Поправлю строчку и проверю знаки,
а может быть, оставлю всё как есть…
В остывшем чайнике кипит, бушует накипь,
никак не может, бедная, осесть.

● ● ●

И вновь я согрешил! Что за проклятье?
Но о таком не пишется в стихах.
Единственно достойное занятье —
пасть на лицо и плакать о грехах.

Но я интеллигент, учитель, гений,
и каяться мне предлагаешь ты?
Отвергнув истину своих падений,
я погружаюсь в правду суеты.

Я лицемер! Я подрываю веру!
Когда о Церкви плохо говорят,
что мне сказать, наглядному примеру?
Я знаю, кто в упрёках виноват.

Ода

Спасибо, Господи, за то, что я живу,
спасибо, Господи, за то, что так бывает:
и помню я, как в детстве в синеву
мой красный шар стремится, улетает.
Как во дворах трепещется бельё,
как дерево шумит в осенний вечер,
как на вокзале детства моего
прибывший поезд объявлял диспетчер.

Спасибо, Господи, за то, что я любил
по-детски безответно и наивно.
И высшая любовь — Ты мне открыл —
как правило, бывает не взаимна.
Спасибо, Господи, что попустил упасть,
и я упал, и поднимался долго.
Зато теперь я не считаю страсть —
любовью и любовью — чувство долга.

Спасибо, Господи, за то, что я грешил:
был дудкой дьявола и человека сузил,
но бросил богохульствовать, решил
забыть о скверной, развращённой музе.
И в поисках любви и красоты
писать иначе, вместо чувства — мысли.
Я в ад сошёл бы если бы не Ты,
причём в прямом, не переносном смысле.

Спасибо, Господи, что страшных Таин Твоих
я с замираньем сердца причащался,
и не губами-лбом к мощам святых —
устами и челом я прикасался.
Спасибо за пасхальный крестный ход,
я, помнится, пришёл в ужасном стрессе,
и ощутил впервые мой народ,
и с ним кричал: «Воистину воскресе!»

Спасибо, Господи, за то, что я уйду
не в мир идей, не в подлую нирвану,
не распадусь, в цветок не перейду,
но весь умру и целиком восстану.
Спасибо, Господи, за то, что смерти нет,
не может быть и не было в помине.
За тихий-тихий невечерний свет
Твоей благоухающей святыни.

● ● ●

Чтобы дойти до природы,
надо пройти над помойкой,
там, где сточные воды
граничат с бессмысленной стройкой.

Мимо шины, ботинка,
сломанного девайса…
Там будет одна тропинка,
иди и не сомневайся.

лэпов бетонные шпажки
всажены в русское поле,
а в небе летают пташки,
а под ногами букашки.
Я сентиментальным стал, что ли?

Видишь, идёт электричка?
Слышишь, звонит колокольня?
Будет сперва непривычно,
что больше тебе не больно.

Тёплое чувство свободы—
радостной, истинной, стойкой…
Я прошёл над помойкой.
Я дошёл до природы.

……………………………………..

Из «Европейского цикла»

1.

Собор Парижской Богоматери,
представь, когда-то был цветной.
Теперь он цвета серой скатерти,
причём застиранной такой.

Грехов огромное количество
собор сумело закоптить,
но всё, что может католичество,—
его, как зубы, отбелить.

Народ безграмотен, как водится,
но нынче больше, чем вчера…
А синий цвет—цвет Богородицы,
а тёмно-бурый—цвет Петра…

Так истончается в истории
и к чёрту гаснет благодать!
Что за святые на фронтоне, я
не мог без гида угадать.

Так на фиг мы достали фотики?
(Мелькают вспышки тут и там.)
Ну, образец погасшей готики
мы развезём по городам.

Но цвета нет—и нету памяти,
и, может быть, я слишком груб:
Собор Парижской Богоматери—
разрекламированный труп.

2.

Неподалёку от вокзала
стоит фигура Дон-Кихота.
Но и в Европе есть вандалы,
плебеи, панки, идиоты.

О бедный рыцарь из Ламанчи,
как обошлись с тобой жестоко.
В руке оруженосца Санчо
всего лишь банка из-под сока.

А у тебя закрыты очи,
завязаны какой-то тряпкой.
Тут символ видеть не захочешь—
увидишь символ точный, яркий.

Душа и плоть Евросоюза,
душа пути не разбирает,
а плоть, точнее скажем—пузо,
всё жрёт, и жрёт, и потребляет.

Спросил я гида, как обычно
хамя, а может быть, стесняясь:
— *Тут вроде ставить нелогично:*
где Бельгия—и кто Сервантес?

Но не загнал, как говорится,
своим вопросом гида в угол.
— *Брюссель испанской был столицей.*
Не знал? Ничё, заглянешь в «Гугл».

Нам надо дальше продвигаться.
Водитель—немец, он уедет.
Итак, валлоны и фламандцы,
король бельгийский лишь посредник.

Душа и плоть Евросоюза.
Душа пути не разбирает,
а плоть, точнее скажем—пузо,
всё жрёт, и жрёт, и потребляет.

● ● ●

Депрессия богоугодна.
Лежащий в депрессии чел
не может предаться свободно
порокам, которым хотел.

Стираются вкусы, и звуки,
и запахи, даже цвета.
Стерильные, серые муки!
Он видит, что всё суета.

Уныние грудь придавило.
Исчезли другие грехи.
Лежит он, живая могила,
и шепчет: «Господь, помоги…»

И вроде бы нету исхода,
но Бог так устроил хитро:
в раздавленной воле—свобода…
И зло переходит в добро.

Валерий Скобло

Мимо Атлантидских островов

● ● ●

После их смерти я в комнате редко бывал—
той, где отец… и другой, там, где мать умерла.
Встретили в той, где я нынче живу, свой финал
тёща и тесть, но ведь это другие дела.

Мать переехала, дочь у меня родилась,
хлопоты всякие как-то и мать отвлекли.
Всё забывается, если намаешься всласть…
всё растворяется в некой туманной дали.

Мать поменяла жилплощадь, оставшись одна,
ну, я старался, как мог и умел, ей помочь.
С внучкой дружила, подружкой считала она…
В полном беспамятстве встретила вечную ночь.

Сдуру в блокнотик тех лет я решил заглянуть,
чувствую: зря я полез разбирать закрома.
Большую часть телефонов могу зачеркнуть—
так вот, наверное, медленно сходят с ума.

● ● ●

…Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу…
1817

Я люблю смотреть, как умирают дети…
1913

В восемнадцать или двадцать лет, конечно,
Вряд ли точно выверишь слова.
Нет возмездия, и жизнь продлится вечно…
Не болит об этом голова.

О расплате даже крошечные мысли
В эти годы разум не гнетут.
Если есть, то где-то с краешка повисли:
Не сейчас… не с нами… и не тут.

В этом возрасте—и слава Богу, право,—
Осторожность глупая чужда.
Нет семьи, детей по лавкам не орава,
Жизнь прекрасна, далека беда.

Разве видишь ты себя, мой друг, во прахе
Из-за пустякового словца?
Даже мыслей нет совсем о Божьем страхе
Лет за девятнадцать до конца.

● ● ●

Земную жизнь свою, в её тщете и скорби,
Прожив едва не всю… испив почти до дна,
Я всё своё несу, как нищий в утлой торбе,
Другая местность мне—сокрытая—видна.

С улыбкою иду, утратив всё земное.
С укором не гляжу на сноба и ханжу.
Что у меня отнять? Ведь всё моё—со мною.
Каким сюда пришёл, таким и ухожу.

Какою б ни была—к любой готов расплате.
Судьбу, какая есть, другой не заменю.
Пусть рубище моё—заплата на заплате,
Но совесть сохранил и не предал огню.

Я вижу хуже—да, но очи есть другие,
Я ими вижу путь, и там, в конце пути…
Но не могу сказать о том вам, дорогие.
А свет, открытый всем, и дальше мне свети!

● ● ●

Уезжаю завтра… уплываю,
Я уже билеты приобрёл.
В гавани стоит—четвёртый с краю—
Старый пароход «Морской орёл».

Сброшу грусть, что грудь мою томила…
Балтика… Атлантика… делов…
И Оркнейских, и Азорских мимо…
Мимо Атлантидских островов.

Невидаль… Не первые, однако…
Многие прошли такой маршрут.
Сколько их—узревших отблеск Знака…
Право на него—тяжёлый труд.

Может, заслужил, а может, случай—
Не за деньги я купил билет.
Я по жизни, в общем, невезучий.
Сколько ждал я… сколько долгих лет.

Скоро посмотрю в иллюминатор
Моего смешного корабля,
Ну а там—не полюс, не экватор,
Там другие небо и земля.

● ● ●

Не стихи мне дóроги, не строчки,
Не «спасибо» чахлое за них…
Написал—и выкинул листочки,
Те, что принимали этот стих.

Напечатал—и смахнул с дисплея.
Голова не этим занята:
Жизнь начать, о старой не жалея,
С чистого, как говорят, листа.

Это всё, конечно, иллюзорно.
В общем, я всегда об этом знал.
Но мечтать об этом не зазорно
Изредка… хотя бы раз в квартал.

Громкую… звенящую… лихую…
Светлую, подобную лучу.
Если призадуматься, какую
Выбрал бы,—я лучше промолчу.

Тихую… без жгучих откровений,
Жаркую… подобную огню.
Я подумал несколько мгновений—
И скажу, пожалуй, что ценю:

Тот порыв, наперекор всем спорам,
Уносящий душу в синеву
Ровно на мгновение… в котором,
Может быть, я только и живу.

● ● ●

Всё расхищено, предано, продано…
1921

Написала: «…расхищено, предано…»
Чуть не век пролетел с этих пор.
Что случилось—нам всем это ведомо:
Как сейчас, актуален укор.

Покосилось и рухнуло здание,
Что построили здесь на костях.
Но на чудо её упование
Живо, точно столетье—пустяк.

● ● ●

Есть путь у зла, он прям и широк,
Он раньше других возник.
А у добра много троп и дорог,
И все как одна—в тупик.

Идти столбовою дорогой не в лом,
Не стоит большого труда
Рядом с дышащим жарко злом—
Оно не предаст никогда.

Тягаться узеньким тропкам добра
С трассою зла?—Да брось…
…Извилистым…
гибким, как плоть ствола…
Бегущим и вкривь, и вкось.

● ● ●

Можно жить ещё проще… проще…
Плоти мира касаясь едва.
Я смотрю, как в осенней роще
Опадает с дерев листва.

Как ненужные побрякушки…
Скоро здесь закружит метель.
Но ведь тоже—совсем не простушки,
Зиму встретят сосна и ель.

В этом вечном своём зелёном
Через снежный шагнут порог.
Но навряд ли дубам и клёнам
Преподать желают урок.

Вот и я—не носитель истин,
Мало вижу, вглядевшись вдаль…
Не жалею опавших листьев,
И деревьев голых не жаль.

Но я следую их примеру,
Отрясая ненужный хлам—
Память, мудрость, надежду, веру…
Лишь любовь пока что не сдам.

Никакой нет больше обузы,
Мне на плечи не давит гнёт…
…Выцыганиваю у Музы
Самый сладкий… последний мёд.

● ● ●

Упаси меня, Боже,
В стихах от налёта трагизма…
Та, что дышит в затылок,
Упряма она и капризна.

Ей нащупать бы только
Хоть малую щель в обороне…
Не пытаюсь вглядеться:
Что может почудиться, кроме

Влажной тени, скользящей
По следу неточного слова?
Подогнать их друг к другу
Пытаюсь я снова и снова.

Осторожным движеньем
Сбиваю их в гибкую стаю…
Но чуть ближе, чуть дальше,
А Муза ли, Смерть ли—не знаю.

Кинотеатры из детства:
Волшебный, таинственный ящик
С лентой прожитой жизни,
Теперешней и предстоящей,

Предстаёт предо мною
В своей красоте безупречной,
Намекая на вечность…
А жизнь не желает быть вечной.

Сергей Ставер

Голубой пароходик

● ● ●

С небес на стыке двух веков
И в рубище земном,
Христос спустился с облаков,
Вошёл в богатый дом.
Испить водицы попросил,
Склонившись пред четой:
— Устал я, выбился из сил,
Пустите на постой.
Достав из рубища свечу,
Хозяину сказал:
— За кров я светом заплачу,
А утром — на вокзал…
Посплю, а Бог вас наградит
За вашу доброту.
А муж хозяйки был сердит.
— Мотай! — кричит Христу.
Ушёл Господь… стучит рукой
В домишко, где живёт
Старик с козлиной бородой
И брагу вечно пьёт…
— Коль жажда мучает — плесну,
Но денежки — вперёд!
Побрёл Господь, прошёл страну —
Везде такой народ.
— Вот Божий храм, зайду сюда, —
Сказал себе Христос.
А поп, речист, как тамада,
Глядит, а странник — бос!
И нищ, и грязен; а паркет —
Как пол у короля!
— Проси у Бога, глупый дед,
Коль нет в мошне рубля, —
Перстами жирными грозит.
На каждом — перстенёк!
Вот так закончен был визит;
Заплакал с горя Бог…

● ● ●

Отзвучал весёлый, звонкий
Голос вызревшей весны…
Прокатились похоронки
Плачем смерти и войны.

Звёзды выползли из речек,
Остудив полночный жар…
Впились в сердце человечье
Стрелы молний, пули жал…

Прокатились, мир нарушив,
В горе ввергнув стар и млад…
Стонут яблони и груши,
Бьёт врага отец-солдат.

Нет меня, я буду позже,
А пока я не рождён…
Плачет светлый детства дождик
Рядом с огненным дождём!

Брат убит, дядья убиты,
В медсанбате мой отец…
Он вернётся с поля битвы,
Русский воин и мудрец.

Он вернётся, сын родится,
Ну а дальше — всё пучком!
Дольше жизни память длится,
Чай кипит над костерком.

Нет отца, и мамы нету,
А на мне — веков вина.
Стариком бреду по свету;
За спиной гремит война!

● ● ●

Голубой пароходик,
Символ розовых грёз.
Мир, взрослея, уходит
За разрывами гроз.

За раскатами—надо!
За порывом—бери!
И звучит серенада
Ошалевшей зари…

Канонада затихла,
Камнепад не пройдёт!
Средь уснувшего лиха
Спит души пароход

Голубой, бело-синий,
В красном шарфе зари…
Из России в Россию
Свет несут снегири.

● ● ●

Поздняя черёмуха, девица на выданье,
Жёлтый луг мать-мачехи—будто солнца свет…
А людей вокруг него видимо-невидимо!
С колоколенок церквей льются мёд и медь…

Ах, душа моя, душа, радость несказанная,
Как и горюшко, она—столп людских судеб!
Очень труден к звёздам путь, к зареву от зарева,
Очень горек нищеты и страданья хлеб.

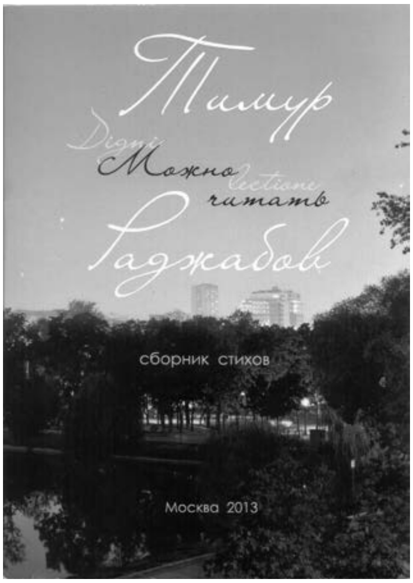
Ел полжизни я его… все пути заказаны,
Никому не нужен ты, если нет бабла…
Не корми меня, мудрец, сладкими рассказами,
В них давно всей сути нет… совесть умерла!

ДиН ревю

Тимур Раджабов

Можно читать

Сборник стихов (Москва, 2013)



Тимур Раджабов родился в 1976 году в Республике Дагестан. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Рекомендацию для поступления в 1997 году молодому поэту дал Расул Гамзатов. Лауреат премии им. Юсупа Хаппалаева (Махачкала, 2012); лауреат международного поэтического конкурса «Серебряный стрелец-2007» (Лос-Анджелес). В 2006 году вышла книга стихов «Озорное вино».

● ● ●

Московское небо слегка поседело.
Ноябрь. Двенадцатый час.
Грустить—далеко не весёлое дело,
Поедем со мной на Кавказ!

В моём Дагестане и горе—не горе,
И камень—бесценный кристалл.
Зелёное море, зелёные горы,
Зелёные сосны у скал.

На миг оторвись от широкой натуры
Своих подмосковных полей,
Взгляни, как танцуют могучие туры
Под песни весёлых людей.

Как встретит меня, словно юного бога,
Обычно суровый мой дед.
Старинным вином из янтарного рога—
За здравие тысячу лет.

Московское небо уже поседело.
Ноябрь. Двенадцатый час.
И жизнь без тебя—невесёлое дело.
Поедем со мной на Кавказ!

Михаил Красиков

Божья вишня

● ● ●

Подкармливает бомж собак—
таких, как он, совсем бродячих.
Как милосердная Судьба,
даёт кусок, даёт удачу.
И что с того, что сам не ел
три дня до этого ни крошки,
а вот, гляди, разбогател—
и дарит счастье понемножку.

● ● ●

Больничный садик весь в цвету—
как наважденье,
как будто шаг за ту черту—
к освобожденью
от бед, и хворей, и тоски—
вселенской, жгущей…
Апрель у гробовой доски—
брат райских кущей.

● ● ●

Наверное,
недостаток
воображения:
никогда не мог
представить себе
уродливый цветок,
счастливого поэта
и свободный народ.

Largo et mesto[1]

Largo et mesto играют сонату.
Largo et mesto играется жизнь.
Largo—в летящем слоге Торквато.
Птицею mesto в песне дрожит.

Largo et mesto—вместо скандала,
рынка и кухни—смертельной возни!
Ларь и алтарь—купцам да прелатам.
Ношу в дорогу—лишь душу возьми.

Largo et mesto—Природа ответит.
Лавр и терновник ветвями сплелись.
Largo—с пелёнок выучил ветер.
Mesto—не хочет, а учит всю жизнь.

Божья вишня[2]

Божья вишня, меня научи
доброте своей и смиренью:
всё раздать, раздарить—без стремленья
что-то выиграть, получить.

Воробьям, или детям малым,
или просто—земле, траве…

Осыпайся агатовой манной—
ныне, присно, вовек!

1. Широко и скорбно *(лат., итал.)*—обозначение темпа и характера исполнения 2-й части сонаты №7 Людвига ван Бетховена.
2. Так на Украине в народе иногда называют шелковицу, щедрее всех плодовых деревьев дающую ягоды и плодоносящую дольше всех (отдельные виды—с июня по сентябрь).

Анатолий Юхименко

Троеперстие

● ● ●

и неизвестно: важен ли сюжет,
когда—вот жизнь—сложна, но бессюжетна.
едва очерчена, как смутный силуэт
огромного и нужного предмета.

в ней—тьма всего. в ней лишь на первый взгляд
нет ничего, что б привлекало взоры.
но выбери любую наугад,
как денежку из рыхлой кучи сора,

и—онемеешь от красот и язв,
от скорбной красоты не смытых пятен.
пробьётся свет. к рукам прилипнет грязь.
но, собственно, с неё и начинал Создатель.

● ● ●

какое ровное дыханье у печали.
без перехватов. спазмов. без пробелов.
так начерти же веточкой на белом,
как некто бегло дышит за плечами.

печаль—светла. а некто беглый—нежен.
то—безучастен. то, как дымка,—зыбок.
осмелься же на кроткое «спасибо»
за всех, кто был. немотствовал. и нежил.

отмерен срок. а тот, кто за плечами,
положим, в белом—балует восходом.
так ощути же с гибельным восторгом:
какое ровное дыханье у печали.

● ● ●

а это одиночество двоих—
есть некто третий: мудрый и лукавый,
витиевато, как изгиб лекала,
оберегавший отчуждённость их.

примерный скряга, скудный геометр,
отмерявший на ощупь расстоянье
от притяжений и до расставаний,
умножив по наитию в уме

всё то, что было, на всё то, что есть,
и чётность чисел, где итога нету,
позволил брать за чистую монету,
но брать чужое—не большая честь.

● ● ●

живи один. исполнишься до края
многоголосьем, что вишнёвый сад.
твой ад—внутри. в миру—улики рая.
и каждый прав. поскольку виноват.

и ты—правее правых. и исполнен
молений и проклятий через край.
почти бесплотен. и—совсем бесплоден.
и этот ад—есть твой привычный рай.

и, сам с собою избегая сходства,
уже в миру, как айсберг тот—на треть.
зане известно чем грозит актёрство.
и не Христа, чтоб бесям подобреть.

● ● ●

дождь исполнился торжества
в этом мире—и жёстком, и чёрством,
плоть смягчил, но стоят дерева,
словно некто по поводу в чёрном.

как хотелось изысканных тог,
а досталось наследие рубищ.
ах, скорбишь не о том, и жалеешь не то,
и не тех и страшишься, и любишь.

точно кто-то с тобою чудит
и неведеньем тайно голубит…
жалко времени—а оно не щадит.
страшно смерти—а она тебя любит.

● ● ●

то умираешь, то живёшь.
как резонируют струною.
то переплавишься на вошь,
то станешь вровень с сатаною.

то укрощаешь, то творишь
державу сумрачных деяний,
то милосерд, как нувориш,
то ищешь жадных подаяний.

то въешься вглубь, то рвёшься вширь,
то задыхаешься от пресса.
то жаждешь каверзной души
не хуже беса.

● ● ●

вот женщина, которую ты губишь.
глаза — огромные и серые, как быт.
вот женщина, которую не любишь
за то, что должен полюбить.

вот женщина, приученная стойко
сносить лишенья, но её вина
доказана безоговорочно настолько,
насколько нелюбимая она.

она, как яблоко, доступна и запретна
у первых нерастраченных людей.
вот женщина, которую ты предал
тем, что остался предан ей.

● ● ●

и только боль одна нелжива.
попробуй всласть не жировать,
когда укладывает жилу
под кружевные жернова.

и за умеренную плату,
когда предъявят крупный счёт,
на торжествующую плаху
хмельную голову кладёт.

и, будто волю, кормит вволю
зрачок исполненных красот,
когда не взять добычи вору
с полунагих твоих сирот.

● ● ●

быть милым — тяжкая обязанность.
а нелюбимым — это право.
как за актёрство крики «браво»
из зала на упавший занавес.

а право — ровня для судьбы.
и, право же, должно и вправе
возникнуть, как опасность справа,
когда вы тщетны и слабы.

и неизбывное, как Рим,
семью холмами вознесётся.
и — несомненно — жизнь даётся,
чтобы воспользоваться им.

● ● ●

«не бойся, малое стадо».
на этих чрезмерных лугах
дарована будет услада
надменней, чем низменный страх.

не выше ведь ветреной птицы
и хрупче глубинных корней,
но будет дано причаститься
от плоти нездешних кровей.

и даже не нервом, но нёбом
дано вразуметь — как остра
боль кроткого чистого неба
за тех, кого мучает страх.

● ● ●

я люблю этот мир так, как любит кочевье скиталец.
потому что любить — это ладное властное дело.
потому что исполнено святочных таинств
его братское броское тело.

я люблю этот мир. его аз. его веди и яти.
потому что любить — это броско, как барская роскошь.
потому что июльские росы — не яды,
но с божественным промыслом — россыпь.

я люблю этот мир. потому что он вскормлен, нет, выстрадан нами,
потому что душна, нет, тщедушна взаимность,
потому что торгуют на взвесь именами
и судьбою — за краткое

Владимир Алейников

Присутствие Катаева

Говорить о Катаеве... Да. Говорить. И сказать—по-своему—обо всём? Нет, хотя бы о том, кем он был для меня—всегда. С детства—и до теперешних дней. Но тогда почему же—был? Жив он—в речи. А значит—есть. И его присутствие—рядом—и со мной, и с другими людьми—несомненно. Поскольку в речи существуют обычно—лучшие. И Катаев—один из лучших. Так сложилось. Он—выжил. Стал, вопреки эпохе и власти оголтелой,—самим собою. Долговечные создал книги. В них—судьба его. Между строк—да и в каждой строке. В любом полновесном катаевском слове. Просто надо уметь читать. За вниманием—понимание, словно свет золотой, придёт. Ведь в катаевских книгах—всех—созидательная энергия, драгоценная, помогающая людям жить. Великое свойство! Ну а прежде всего писатель замечательный этот—поэт. Вот и надо сказать. О многом. И легко—и действительно трудно.

Присутствие в мире. В сознании людском, беспокойном. В душах. Во множестве бьющихся в разных синкопических ритмах, но всё-таки тяготеющих иногда к неизбежной вселенской гармонии на просторах земных и небесных, неизменно отзывчивых, если есть на что отозваться, сквозь время и пространство, людских сердец.

Присутствие в памяти. В ней всё то, что дорого,—дома.

Присутствие в яви. В реальности. Со всеми её парадоксами. С достоинствами, недостатками, с огнём и медными трубами, с прорывами в неизведанное и с трезвым её осознанием—как данности. Никуда нам всем от неё не деться. Задуматься? Оглядеться? Шаг влево, шаг вправо. Путь найти. С него—не свернуть. Всему вопреки—идти. Никто не собьёт с пути.

Присутствие в настоящем. И в прошлом. Потом—в грядущем. Дано это лишь идущим. Поблажек и льгот не ждущим. Дано это лишь прозревшим. Желанную песню—спевшим. Сумевшим спастись. И—выстоять. Свой путь—деяньями высветлить. Пусть век был жесток и болен. Победа—за тем, кто волен однажды решить—как быть. Протянется свыше нить, чтоб выйти из мрака к свету. Отнюдь не в сплошное лето. И вовсе не в рай. В аду—лишь веря в свою звезду, спастись удаётся. Весть услышать. Прозреть. Упрямо пройти сквозь любые драмы. Упрямцам—хвала и честь.

Жизнь в речи. В стихии. Труд огромный. И в нём—спасенье. Избранничество? Везенье? Пусть вождь на расправы крут. Плыть—против теченья. Встать над хаосом. Жить в затворе—у всех на виду. Знать горе. И выстрадать—благодать. Ведь речь—наше всё. Лишь в ней—свобода, и в ней—защита от бед. И лишь в ней открыто земных продолженье дней.

(Может, скажут зоилы: ну вот, с панегирика начал,—причём, как всегда, у него получается—говорит ведь не прозой—стихами!

Мне виднее, как изъясняться. Речь ведёт меня нынче сама. И чутьё, и наитье—при мне. Говорю—так, как нужным считаю.)

Первая по-настоящему большая, многостраничная, вполне взрослая книга, прочитанная мною, после целой груды разнообразных маленьких, досадно тоненьких, с преувеличенно крупными, чёткими шрифтами, щедро снабжённых цветными или чёрно-белыми иллюстрациями, разноформатных книжек, предназначенных именно для маленьких детей и оттого, наверное, отчасти игрушечных, каких-то несерьёзных, в моём послевоенном провинциальном украинском детстве, ещё в дошкольном возрасте, в то далёкое, благословенное, чистое время, когда жажда непрерывного, всё нового и нового, ежедневного, притягательного, увлекательного, познавательного, распахивающего передо мною земное пространство и зовущего за собою сквозь все времена, вовсе не механического, не потребительского, но, как я понимаю теперь, именно творческого чтения, дававшего нужный импульс моему собственному воображению, уже стала для меня жизненной необходимостью,—катаевский «Белеет парус одинокий».

Книга из маминой домашней библиотеки. Довоенное издание, конца тридцатых годов прошлого века.

(Непривычно, странно и даже почти дико для меня—уточнять, что «прошлого века», если всё это и в начале нового, двадцать первого века так ясно видится, так отчётливо помнится, словно происходит не в былом, а сейчас.)

Простая, синевато-свинцовая, цвета зимнего моря, пожалуй,—да, морская, а как же иначе, если парус—в тумане моря, если он белеет сквозь хмарь, если море—стихия, такая же, как и речь, если речь и море—в неизменном, давнем родстве, если в этом родстве—залог жизни, творчества, суть, продолжение дней земных, спасенье, прозренье, пониманье, горенье, даренье,—достаточно твёрдая, прочная и поэтому довольно гибкая, пружинистая, не дававшая трещин, если даже резко её сгибать, упрямо возвращавшаяся в прежнее ровное состояние, прямо-таки с характером, выносливая обложка.

Желтоватая, возможно—газетная, но тоже почему-то прочная, не сминавшаяся бумага. Примерно двести пятьдесят страниц. Вот это—совсем по-взрослому. Так и надо. Как раз—для меня.

Текст, в котором таилось чудо.

Помню я, находясь в настоящем своём, не желая прощаться с минувшим, остающимся для меня всё таким же реальным, живым, вопреки всем прожитым дням и годам—родным, настоящим, как открыл эту книгу—и начал читать.

И с первой же фразы, мгновенно увлёкшей меня за собою, я не мог уже оторваться от книги, покуда не дочитал её всю, до завершающих её лермонтовских строк.

Эта первая фраза была камертоном—для всей тут же услышанной и на протяжении всех последующих лет никогда не прекращающейся музыки.

«Часов около пяти утра на скотном дворе экономии раздался звук трубы.

Звук этот, раздражающе-пронзительный и как бы расщеплённый на множество музыкальных волокон, протянулся сквозь абрикосовый сад, вылетел в пустую степь, к морю, и долго и печально отдавался в обрывах раскатами постепенно утихающего эха».

Свежий юго-западный ветер ворвался ко мне в окно, влажный, полынный, мятежный, словно таинственный незримый вестник, то ли из прошлого, то ли из будущего, и принёс в дом йодистый запах моря, увидеть которое так я мечтал тогда.

Свободная стихия моря волшебным образом соединилась в моём сознании со стихией речи.

Наивное, но верное предощущение ждущей меня где-то далеко, впереди, неведомой, но прекрасной любви, самых невероятных событий, путешествий, приключений, радостей и мучений, сражений со злом и торжества добра пришло откуда-то извне, возможно—из вселенских глубин, и одновременно бережно и сильно сжало моё детское сердце.

Золотистый, осенний, чистый, с ненавязчивой, но очевидной, словно проседь, воздушной, лёгкой, расслоившейся в глубине набухающих новым дождём беспредельных небес, над землёю, над садами окрестными с жёлтой и багряной листвой, над стоящими вдоль протянутой к северу улицы молчаливой шеренгой домами, завораживающей, сквозящей холодком, ледяной серебринкой, разрастающийся, словно древо, вверх повёрнутое корнями, непокорный, гордый, скитальческий, вольный, но и задумчивый, тихий в то же время, неброский, скромный, не желающий объяснять, что к чему, отчего он такой, остающийся в бездне пространства, в дебрях разных времён, в любых измереньях самим собою, несказанный, блаженный свет на глазах моих превращался в изумительное сияние.

Прочитав катаевскую книгу, я, застенчивый веснушчатый мальчишка с аккуратно подстриженной рыжеватой чёлкой, фантазёр, мечтатель, книгочей, вдохновенный обитатель своих воображаемых миров, пристально вглядывавшийся во все проявления разворачивавшейся вокруг меня непрерывными шлейфами, сверкавшей передо мною на каждом шагу, в любое мгновение всеми своими показными и потаёнными гранями, восхитительно загадочной, полной невероятных тайн, донельзя противоречивой, обескураживающе сложной, настораживавшей, ошарашивавшей, заставлявшей призадуматься, в чём-то быть осторожнее, что ли, не бросаться в эту клубившуюся, непрерывно звучавшую, неизбежную, властную бездну с головою, но и неизменно, всё сильнее, всё чаще, манившей к себе яви, твёрдо знал, что через какое-то время, повзрослев, тоже стану писателем.

Всё началось—навсегда.

С тех пор этот дивный писатель, в прозе своей—поэт самого высшего ранга, выразивший свою страшную и прекрасную, безумную и жестокую, трезвую и вдохновенную, со всеми её проявлениями бесчисленными, эпоху так, как никто другой, присутствует—нет, обитает, живёт, находится рядом, разговаривает со мной, смотрит своим пронзительным, от запорожских предков доставшимся, острым, цепким, хищным, степным, козацким, походным взглядом воителя и сказителя на меня, слышит меня повсюду, где бы я ни был, напутствует, выстояв смело, присутствует, словно родной человек, в моей весьма непростой, но такой уж как есть, как сложилась, мне дарованной, личной, моей, бурной, странной, когда-то богемной, а потом сторонящейся хаоса междувременья, проходящей в ежедневных трудах, в стороне от развала и бреда, затворнической, созидательной, творческой жизни.

А может быть—да, конечно же, если в корень смотреть, если вдуматься, суть поняв, только так,—и в судьбе.

В отрочестве постоянное, неутолимое, неутомимое чтение было для меня — моим укромом, уединением, отъединением от школьных занятий, от уличного общения, от всего, что мешало сосредоточиться, жить постижением нового, впитывать, вбирать себя знания, чувствовать себя открывателем неизведанных земель, измерений, миров.

Чтение было сокровенной, закрытой от посторонних любопытных взглядов, моей собственной, личной областью, владением, даже страной.

Чтение было защитой от всего нежелательного, чуждого, ненужного, раздражающего, мешающего жить по моим законам и правилам, никого не копируя, никому не подражая, отстаивая свою независимость, каждый день по чутью, по наитию находя необходимые ритмы для жизни вовсе не будничной, не скучной, не однообразной, но именно творческой, для размышлений, фантазий, для той свободы воображения, которая, открывшись мне так рано, не покидала меня уже никогда.

Чтение было средой обитания. Чуть ли не образом жизни.

Чтение было — началом Пути.

Разумеется, в числе множества других, всегда были рядом и катаевские книги. Все, которые удавалось обнаружить и взять домой сразу в нескольких библиотеках, где считался я едва ли не самым усердным читателем, — и таких книг, изданных и переизданных в прежние времена, было, конечно, больше, вплоть до катаевского собрания сочинений, внушительного пятитомника, — или же, попросив денег на такое благое дело у родителей, а то и самому их накопив, найти и купить, что было намного лучше, да и приятнее, потому что сам процесс поисков желанных книг был азартным, каким-то следопытским, охотничьим, потому что книга, обретённая наконец-то в результате неустанных поисков, становилась тогда моей собственной, принадлежала именно мне, — все катаевские, такие увлекательные, необычайно яркие, буквально светившиеся талантом, солнечные, идеально совпадавшие с моими давними настроениями, дававшие щедрую почву для размышлений, разительно отличавшиеся от прочих советских изданий, книги, которые посчастливилось мне прочитать.

«Хуторок в степи».

Хорошо помню, как, накопив немного денег, я отправился с территории нашей заречной, низинной, закрытой от степных ветров холмами, заросшей садами, сквозь густую зелень которых выглядывали оранжевые черепичные крыши окрестных домов, представлявшей собою некий особый, независимый мир, со своими нравами, своим собственным неторопливым движением жизни, шелестящей на ветру листвой огромных старых тополей, родной для меня, её обитателя, почти пригородной Гданцевки, называемой раньше, в девятнадцатом веке, далеко не случайно, конечно же, Тихим Притулком, в город, как мы все тогда говорили, или же в центр, в старую часть Кривого Рога, перешёл мост через Ингулец, оказавшись на левом берегу реки, где начинались уже, вперемешку, кварталы старых и новых домов, и отправился на поиски сокровищ по всем известным тогда мне, расположенным в относительной близости книжным магазинам, и нигде ничего хорошего не обнаружил, — но зато прямо на улице, где воздух содрогался от воробьиного щебета, доносящегося из ближнего сквера, на тротуаре, по которому поднимались вверх, к рынку, люди с пустыми сумками и корзинами и спускались вниз уже побывавшие на рынке люди, тащившие наполненные продуктами сумки и корзины, а мимо них, тарахтя на выбоинах горбатой дороги, проезжали грузовики или редкие легковые машины, заставляя прохожих невольно оглядываться на них, на лотке, сиротливо приткнувшемся к выщербленной стене жилого дома, неподалёку от продовольственного магазина, посреди малоинтересных для меня изданий, сразу же увидел, поскольку зрение сфокусировалось именно на ней, и немедленно купил эту изданную «Детгизом» книгу в плотной зелёной обложке.

Сколько раз я её перечитывал — трудно сказать.

Она идеально совпадала с моим тогдашним состоянием души.

В ней была удивительно выражена — любовь.

«Зимний ветер».

Насквозь прокалённый, донельзя прогретый, чрезмерно перегретый, со всех сторон опалённый разгорячённым, вошедшим в раж летним солнцем, разомлевший, соловый, полусонный Бердянск. Рыбацкие сети, вздрагивающие от малейшего признака ветерка. Лодки, на днищах которых закипала и пузырилась отражающая свет густая смола. Белёсые соляные полосы, среди которых росли марсианские красные растения. Гирлянды сушёных бычков, развешанные во дворах. Песчаный, усыпанный осколками ракушек берег Азовского моря. Слишком тёплая, изжелта-зелёная, кишащая морскими коньками и рыбами-иглами вода в заливе. Серебристые, стройные, со сквозной бликующей листвой, древесным воинством стоящие на страже чего-то недосказанного, растаявшего в разгорячённом, зыбком, слоистом воздухе, вытянутые ввысь тополя. Неумолкающий, громкий, призывный стрёкот цикад.

Пионерский лагерь, куда, словно притягиваемый загадочным магнитом, ездил я несколько раз, по причине страстной и безответной любви к одной белокурой, с характером, девочке. Распорядок дня, утренняя зарядка, походы, коллективные

купания в море, художественная самодеятельность, по вечерам—фильмы в летнем кинотеатре, под открытым небом, нашествие комариных орд, задушевные разговоры, выразительные взгляды, надежды, желания—и, конечно же, танцы. Томный голос певца из громкоговорителя: «О Флорида, Флорида, Флорида, почему не танцуешь, Флорида?..» Кружащиеся или неуклюже топчущиеся на месте пары, которым так хотелось поскорее стать взрослыми. Освещённая прожекторами танцплощадка. Томящая, манящая к себе, до предела насыщенная пряными запахами, вкрадчивая темнота аллей. Сплошные тайны. Романтика. Невыразимое, сокровенное, доныне близкое, родное.

В городе, в газетном киоске, стоявшем посреди жары, между небом и морем, как отдельный крохотный островок, я купил, ещё издали увидев броскую обложку, сразу же выделявшуюся среди маловыразительных обложек прочих периодических изданий, свежий, только что вышедший номер журнала «Юность», с напечатанной в нём первой половиной катаевского романа,—и немедленно, прямо на улице, забыв обо всём остальном, стал его читать. Боже мой, какие откровения таил в себе для меня этот полностью совпадавший с тогдашним моим состоянием и со всеми перепадами настроений моих, завораживавший, написанный так, что невозможно было оторваться от него, навсегда входивший в моё сознание текст!

Потом, через бесконечно тянувшийся месяц, казавшийся мне целым годом, уже в Кривом Роге, проявляя должное терпение и разрываясь от желания поскорее прочитать продолжение, с трудом дождавшись нужного времени, заранее договорившись с продавщицей в киоске «Союзпечати», чтобы ни в коем случае не опоздать, прийти к открытию киоска, быть первым, чтобы никто не успел меня опередить,—купил я пахнущий типографской краской следующий номер «Юности», со второй половиной романа. И, поскольку никак нельзя было удержаться, тут же, на месте, с головой погрузился в чтение.

Позже, проявляя упорство и волю, поскольку книг в прежние времена выходило, по сравнению с нынешним «как бы временем», немного,—я всё-таки разыскал и купил отдельное издание этой книги, читал её и перечитывал.

Настоящим праздником для меня стала вышедшая в самом начале шестидесятых годов (опять приходится говорить: прошлого столетия) катаевская тетралогия «Волны Чёрного моря». Два солидных тома, в крепких суперобложках с синими зигзагами—стилизованными морскими волнами. В них—четыре романа. Причём завершающий эпопею роман «Катакомбы», хорошо мне известный раньше под другим названием, оказался изрядно, на добрую треть, сокращённым. Признаться, мне жаль было, что в него не вошли многие великолепные страницы. Но писателю всегда виднее, как поступить. Сознательная жертва была им принесена—во имя целостности всей эпопеи. Вскоре я это понял. Радостно было мне осознавать, что любимые книги мои наконец-то изданы не поврозь, а все вместе. Эти два тома, уцелевшие в круговерти всех моих прежних бурных, зачастую бездомных лет, и теперь стоят у меня под рукой, в коктебельском доме, на полке. При желании можно достать их—и снова читать.

Помню, как поразила меня повесть «Отец». В ней почувствовал я ту недосказанность, тот главный, пронзительный, трагический смысл этой вещи, скрытый глубоко внутри, между строк, встающий за текстом, точно молчаливый, но помнящий абсолютно всё и терпеливо ждущий той поры, когда можно будет сказать правду, очевидец страшных времён, смысл, только слегка зашифрованный, смутно угадываемый, призывающий пристальнее вглядеться в него, распознать его, правильно понять, смысл, который открылся, наконец, почти через пять десятилетий, уже в наши дни, в начале нового века.

В школьные свои годы, лет с двенадцати, я, с первого по восьмой классы отличник, примерный ученик—правда, всё больше и всё охотнее интересующийся тем, что происходит вне школьных стен, постигающий жизнь в разнообразных её проявлениях, поскольку это было намного интереснее школьных уроков и сулило немало неожиданных открытий и даже откровений,—уже вовсю, запоем, писал. В основном—прозу. Приключенческую. Это было ведь так увлекательно! И, конечно, фантастику. Тоже, согласитесь, предостаточно возможностей для того, чтобы вообразить уж такое необычное, что самому себе можно было удивляться.

Чего только я в ту блаженную и вдохновенную пору своего наивного и такого раннего творчества не насочинял! Идеи, одна другой лучше, смелее, парадоксальнее, возникая сами по себе, словно ниоткуда, загадочным образом, ежедневно переполняли меня. Сюжеты, закрученные немыслимыми спиралями, рождались в голове моей один за другим, непрерывной чередой. Я просто не успевал всё это записывать. Начинал какую-нибудь очередную «приключенческую повесть»—и всё для меня уже становилось ясным, дальше писать было неинтересно. В голову приходило—новое. И я бросал частично исписанную тетрадку—и начинал заполнять другую.

Покуда я шёл в школу, находившуюся в трёх километрах от родительского дома, в военном городке, я успевал столько нафантазировать, что и писать уже не хотелось. Потом я шёл из школы

после занятий, снова три километра, домой, тоже в окружении своих фантазий.

Дома, вечерами, я усаживался за отцовский письменный стол, зажигал настольную лампу на высокой устойчивой ножке, старомодную, с зелёной, широкой, стеклянной, слегка приплюснутой полусферой, наподобие шляпки большого гриба, сверху, доставал из ящика стола чистую тетрадку — и принимался сочинять очередную повесть или рассказ.

Шумел за окнами весенний, летний или осенний дождь, шёл мягкий, пушистый, волшебный, какой-то гоголевский, с причудами, украинский снег, светило степное солнце, гудел порывистый ветер, зеленела или желтела листва, лиловело или светлело возвышающееся воздушным куполом над знакомой округою небо, сиял словно пришедший из народных песен молодой месяц, горели в необозримых высотах неисчислимые звёзды, времена года сменялись, я становился старше, к сочинительству своему относился всё серьёзнее.

В школе я издавал рукописный литературный журнал, в единственном экземпляре, большую часть которого занимали мои собственные сочинения, а остальные страницы этого обычного, довольно толстого альбома для рисования, моего журнала, были заполнены писаниями моих одноклассников, до этого сроду ничего не писавших, но вдохновлённых мною на сочинение стихов и прозы и неожиданно увлёкшихся этим занятием.

Постепенно от приключений и фантастики я перешёл к писанию более «жизненных» текстов, к реальности, оказавшейся в достаточной степени увлекательной и даже фантастической.

Я взрослел. Часто влюблялся. Старался проявлять свою независимость, самостоятельность. Приучался, при надобности, совершать решительные поступки. Пространства страны, именуемой нынче Империей, оказались необозримыми. Реальной становилась возможность будущих путешествий. Несколько раз ездил я на Чёрное море — на Кавказ, в роскошь субтропиков, гор, плещущихся на просторе белопенных волн, и в Крым, более скромный, какой-то домашний и потому симпатичный, в насквозь пропитанный запахом лимонной полыни и йодистым запахом морской травы степной Скадовск, несколько раз ездил в Бердянск, на Азовское море. Побывал, вместе со школьной экскурсией, в Москве, где, так я сразу решил тогда, после окончания школы буду я учиться в университете и жить, и в Ленинграде, совершенно особом городе, этой мистической, магнетически притягательной Северной Пальмире, от которой только шаг оставался до чужеземных стран. Горизонты и разные неизменно манящие дали как-то сами по себе, свободно, радостно, просто, вдруг раздвинулись для меня. Чувства, переполнявшие мою душу, требовали выражения в слове. Вполне понятно, что вскоре — после стольких впечатлений, размышлений, догадок, открытий и даже ранних прозрений — начались и мои стихи.

Катаевские книги — надёжные спутники, задушевные собеседники, закадычные друзья, помогавшие мне разобраться во многих вопросах, сформироваться, порою даже прозреть, — всегда были поблизости, рядом.

Однажды, прочитав какой-то литературоведческий текст с биографическими данными — то ли обстоятельную статью, то ли целую книгу — о моём любимом писателе, я с удивлением и восторгом выяснил, что родился в один день с Катаевым.

В этом совпадении почувствовал я добрый знак.

О гороскопах тогда никто ничего ещё толком не знал. Какие там гороскопы! Созвездия наблюдал я в ночном украинском небе, благо было оно в далёкие годы настолько чистым, что вибрации необозримой Вселенной улавливать можно было не только зрением, но и ощущать всей кожей. Теперь-то, в совсем другие, весьма хаотические времена, когда информация, буквально обрушившаяся на человечество, словно её прорвало, не только велика, но и чрезмерна, и количество её всё возрастает, названия созвездий, под которыми рождён тот или иной человек, известны решительно всем с малолетства.

Мы с Катаевым оба — по созвездию — Водолеи.

Было мне, наверное, лет пятнадцать, когда я решил написать Катаеву письмо. Дорогой, уважаемый Валентин Петрович, я очень люблю ваши книги, сам пишу стихи и прозу, и прочее в таком роде. Письмо своё любимому писателю так я и не отправил. Адреса домашнего — не знал. К тому же — как-то застеснялся, смутился. Ну зачем буду я беспокоить занятого человека? С детства усвоенное правило: не навязываться людям. Чтобы, не дай Бог, не подумали, что я напрашиваюсь на знакомство. Нет, уж лучше я свою приязнь буду хранить в себе.

Это мальчишеское письмо, несмотря на бесчисленные утраты моих бумаг в семидесятые бездомные годы, словно вопреки всяким былым трудностям, — вдруг, лет через сорок пять, нашлось. Почему-то сохранилось в кладовке родительского дома, среди старых рукописей. Видимо, не случайно.

То-то мысленный мой разговор с Катаевым никогда не прерывался на протяжении всех минувших десятилетий.

Продолжается он и теперь, когда я, ставший, как принято в литературных кругах обо мне говорить, коктебельским отшельником, немолод, сед, бородат, на собственном опыте узнал, что такое огонь, воды и медные трубы, прошёл сквозь такие испытания, каких и врагу не пожелаешь, выжил,

уцелел, написал столько стихов, что их—если вспомнить высказывание Хлебникова о том, что написал он столько стихов, что хватит их на мост до серебряного месяца, и провести некую параллель—хватит, думаю, для того, чтобы выйти за пределы Солнечной системы, написал много книг прозы, примерно половину этих писаний, после четверти века существования моих текстов только в самиздате, поскольку на родине меня слишком долго, по разным и непонятным для меня причинам, не издавали, всё-таки издал, когда со спокойной совестью могу сказать, что я тоже сумел сказать своё слово в отечественной словесности.

После окончания школы я, восемнадцатилетний молодой поэт, уже довольно известный у себя на родине, да ещё и на себе успевший испытать, что это такое—негаданно нахлынувшие гонения, со всякими разгромными статьями в украинской прессе, в период хрущёвского разгрома формалистов, незамедлительно уехал в Москву, поступил в МГУ, начал там учиться.

Столица всем нам, что-то пишущим или рисующим провинциалам, заменяла в минувшие годы Париж, до которого, при всём желании, не было никакой возможности добраться, и он оставался мечтой. А Москва—опять-таки при желании—была доступной. И мечта становилась реальностью. Надо было только проявить волю, настойчивость, добиться своего—и оказаться там, в ней, где жизнь, в отличие от провинции, действительно била ключом. Это был в подлинном смысле слова культурный центр. Однако литература в нём разделялась на официальную и неофициальную. Точно так же искусство разделялось на официальное и неофициальное. Нынче принято говорить—«другая литература», «другое искусство», андеграунд называют—«вторым русским авангардом». В прежнюю эпоху понятия «андеграунд» не было. Чужеродное это словцо вряд ли пришлось бы кому-нибудь из нас по душе. Но, поскольку русского определения никто не придумал, приходится временно смиряться с тем, что есть. Разумеется, стал я одним из поэтов отечественного андеграунда. Известность моя стремительно росла. Круг знакомств и дружб с каждым днём расширялся. Нигде я не печатался. В нашей среде, вольнолюбивой, независимой, противостоявшей официозу, неприличным считалось печататься в советских изданиях. У нас выработалась собственная этика. Никуда, ни в какие редакции не ходить, никогда никого ни о чём не просить. Не издают? Переживём. На выручку всем нам пришёл самиздат. Напечатаешь сборник стихов на пишущей машинке, в трёх-четырёх экземплярах, раздашь друзьям. Через неделю таких, размноженных на машинках людьми, сборников—уже в несколько раз больше, а через месяц-другой—и не счесть. Эпоха была орфической. Стихи прекрасно воспринимались людьми с голоса. Читал я свои стихи, в самых разных местах, везде, куда непрерывно звали, охотно и часто. Вскоре образовался наш легендарный СМОГ—и завитки спирали моей судьбы оказались такими непредвиденными, крутыми, зачастую фантастическими, небывалыми, что продолжается это, должен признаться, и поныне.

И катаевские книги—по традиции, по причине всегдашней их необходимости для души и для сердца, причём, что немаловажно, воспринимал я эти книги отнюдь не как стоявшие в бесконечном ряду общесоветской книжной продукции, но, по своему всегдашнему чутью, по давнему ощущению совершенно особенной, скрытой и, тем не менее, упрямо прорывавшейся к свету, с недомолвками, с болью, частями, постепенно, целенаправленно, как произведения в достаточной степени андеграундные, и к тому же, при всей их вынужденной замаскированности, приноравливании к диктовавшей жёсткие правила и ставившей варьировавшиеся в зависимости от политических веяний собственные условия для существования, коварные условия, огороженной колючей проволокой, с указателями, что разрешено, что запрещается, куда можно идти, куда нельзя, жестокой, лживой, несмотря на все её оптимистические призывы и лозунги, опасной, вроде минного поля, действительности, как явление не советской, а русской и только русской литературы,—всегда были рядом.

Шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые годы прошлого столетия—эпоха катаевской новой прозы.

Основные её приметы? Их так много, настолько характерны они именно для этой прозы, так блещут они всеми сверкающими гранями своими в общей массе текстов, так убедительны они, так притягательны, так органичны, самым естественным образом существуя в своде всех поздних катаевских текстов, что назвать их все, составить некий перечень сложно. И всё-таки—попробую назвать хотя бы некоторые из них.

Замечательная новизна авторского письма. Не вымученная, не кабинетная. Наоборот—свободная настолько, что проза соседствует в ней с поэзией, документальные вкрапления преображены воображением, лирика дружит с эпичностью, внутри произведения запросто может оказаться ещё и «книга в книге», могут появиться любые отступления, свободное движение в пространстве, перемещение во времени, могут быть слышны любые голоса, различимы самые разные лица, точнейшие детали соседствуют с обобщениями, пульсирующие, синкопические, джазовые ритмы в ладу с мощным симфоническим звучанием текста,—новизна решительная, оправданная строем

каждой вещи, совершенно естественная, очень живая, мгновенно узнаваемая, «фирменная», тысячами незримых, но чрезвычайно прочных нитей накрепко связанная с жизнью, с той реальностью, от которой никуда не денешься, которую позарез надо было выразить именно по-своему, сказать о ней—раз и навсегда.

Разительная непохожесть на всё, что в те же самые годы писали остальные катаевские «собратья по перу». Или «по цеху». Всё равно ведь, как их обозначить. «Собратья»—мнимые, условные. Потому что Катаев был одиночкой. Был, прежде всего, человеком независимым. От всего, что мешало ему жить и создавать свои вещи. Для того, чтобы пресекать излишнее любопытство литературных деятелей, чтобы не допускать их, да и вообще никого из ненужных сограждан, с которыми всю жизнь приходилось ему быть начеку, слишком близко, существовать вроде бы и на виду, но на самом-то деле замкнуто, в стороне от хаоса, от всеобщего бреда, от псевдосоциалистического сущего ада, шутки с которым были плохи, но в котором приходилось жить, да ещё и вести с властью свою рискованную игру, были у него, боевого офицера, прошедшего Первую мировую войну, затем воевавшего вовсе не в Красной армии против белых, а в белой армии против красных, поистине чудом избежавшего гибели в чекистских застенках, слишком веские, крайне серьёзные основания. Произведения писателя, если они настоящие, всегда похожи на него самого. Катаев, отстранившись от всяческой суеты и бестолковщины, сознательно уединившись в своём переделкинском доме, сосредоточившись исключительно на работе, вовсе не навёрстывал упущенное—дар его, на протяжении всей его долгой жизни, был неизменно при нём и с годами, неуклонно развиваясь, проявляясь в каждой его вещи, становился только масштабнее, значительнее. Он, прирождённый творец, продолжал создавать свой, само собою—непохожий на все остальные, мир, он работал так целенаправленно, что серия всё новых его книг, разрастаясь, приобретала черты эпоса. Его «мовизм»—поистине праздничное, мощное, лирическое и драматическое, зачастую и трагическое, вобравшее в себя весь его человеческий, жизненный, собственный опыт, всё, что столько десятилетий хранил он в себе, обособленное и одновременно настежь распахнутое для современников, творческое противопоставление настоящей литературы—всей оптом серятине, производимой несусветным числом членов Союза писателей, одно только перечисление которых в алфавитном порядке занимало, как известно, толстенный том.

Детское изумление перед миром. Великое это дело—сохранить в себе детскость восприятий бытия. Стереоскопичность, объёмность, выразительность, яркость, необычайная свежесть каждого мгновения дня или ночи, утра или вечера, каждого шага по земле, вхождение в явь, сулящую неисчислимые откровения, именно как в детстве, с широко открытыми глазами, в катаевской прозе чисты, высветлены, бережно взяты из памяти, и всему этому дано свободное дыхание, непрерывное движение, дарована жизнь, поистине «всё во мне, и я во всём». Катаеву, когда читаешь его прозу,—веришь. Кстати говоря, этим и сильны лучшие книги для детей: они написаны так, что их авторам—веришь. Катаевские читатели—это и дети, и взрослые. Книги его, включая и поздние, выходили, помимо других издательств, ещё и в «Детгизе», например—«Трава забвенья», «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона». Читали их—взрослые люди. Те, которые знакомство с катаевской прозой начали с «Паруса» и прочих его книг, предназначенных вроде бы для детского и юношеского чтения.

Очень взрослое, трезвое, пришедшее рано, в молодости, тесно связанное с Первой мировой войной, с революцией, с Гражданской войной, с крушением всех прежних надежд, возможностей, идеалов, с разрушением всего, что было гармоничным, разумным, привычным, с гибелью прежнего, дореволюционного уклада жизни, с тем драгоценным, уже невозвратным, что казалось если не раем, то единственно важным, родным, сокровенным, сберегаемым в сердце, вынужденно скрываемым во всём круговороте советских времён, укрепившееся с годами, с накопленным опытом ясное понимание устройства этого социального мира, пробудившее сопротивление злу, многолетнее противостояние, нашедшее выражение в поздних катаевских книгах. Думаю, поживи Катаев ещё несколько лет, он не только «Уже написан Вертер» сумел бы создать—и высказаться открыто, откровенно, в полный голос, так, как в состоянии сказать был только он один.

Феноменальная зоркость. Умение видеть пристально, пронзительно, даже порою беспощадно точно, конкретно, сфокусировав свой прицельный, хищный, меткий, воинственный взгляд на предмете любом, на детали, с виду вроде бы незначительной, да на всём, что могло находиться в поле зрения,—как говорится, видеть всё и в природе, и в жизни, что хотел он увидеть, насквозь.

Уникальная память. Способность оживлять то, что вспомнилось,—в речи. На страницах написанных книг. В этих книгах—вся биография. Плюс история. География. Всё, что видел, что помнил, что знал, что по-своему выразил в слове. Память—сказочная. Сокровищница. Из которой в книги вошла, полагаю, лишь некая часть. Остальное—надёжно

скрыто. К сожалению, навсегда. Но того, что сказано было,—предостаточно, чтобы нам, поражаясь катаевской памяти, возвращаться время от времени к поздней прозе писателя, прозе долговечной, авангардистской—и классической, прозе естественной, как дыхание, прозе новаторской, прозе, жанр которой непросто, этак с ходу, определить и основа которой—память.

Смелость, даже отвага. В чём? В подходе к слову. В обращении со словом. В раскованности ассоциативного письма. В нахождении новых изобразительных средств. В неустанном расширении, обновлении этого внушительного арсенала. Да ещё и дерзость. Раз уж писать, то не по шаблонам, а так, как хочется. Как надо. Потому что писать—значит, творить. «Это шествуют творяне, заменивши Д на Т»,—строка Хлебникова, из «Ладомира». Катаев был—и творянином, и дворянином, с личным, за геройство на войне, дворянством. Ещё хлебниковское выражение: изобретатели и приобретатели. Катаев был—в творчестве своём—неустанным изобретателем. Несть числа его новациям в прозе. Надежда Яковлевна Мандельштам в своих воспоминаниях говорила о Катаеве примерно так: мол, трудно даже представить, как мог бы развиться огромный талант Катаева, если бы не советская власть. Развился талант. Огромный. Несмотря на советскую власть. Катаев—прирождённый победитель. Он во всём—победил.

Великолепное чувство меры. Умение твёрдой рукой отсекать, устранять из текста всё ненужное, лишнее. Катаев свою позднюю, мовистскую прозу, словно прислушиваясь к услышанным и всерьёз воспринятым ещё в молодости заветам Бунина, писал от руки. Сын Катаева, Павел, много раз наблюдавший неспешное, но неуклонное движение отцовской работы, лучше всех знающий, какой это был огромный труд, настоящий литературный подвиг, рассказывал мне, как отец его, работая над очередной книгой, сознательно убирал, вычёркивал всё, что представлялось ему второстепенным, дисгармоничным, явно мешающим общему строю вещи, сгущал, оттачивал, высветлял текст, и только тогда, после этой нелёгкой работы, после очередного переписывания, появлялся окончательный вариант произведения.

Искусство отбора. Там, где мера, совсем рядом,—отбор. Чего? Да любой стихотворной цитаты. Или—эпитета. Или даже—названия книги. Всего, что работает на целое. Составляет его. Придаёт ему должную выразительность. Всего, что нередко превращает прозу—в поэзию.

Полифоничность. Звучание одновременно нескольких музыкальных, смысловых, речевых тем в рамках одной вещи. Многоплановость. Многослойность. Перетекание темы в тему. Возможность вариаций. Полифоничность—открывшаяся вполне закономерно, сама, словно на зов, откликнувшаяся и пришедшая к писателю, благодаря внутренней свободе, раскованности и естественности изъяснения, гибкой и чуткой ассоциативности подвижного, будто бы саморазвивающегося, сверкающего всеми серебристыми нитями стиля и золотистыми узорами слога, дышащего, зрячего, живого, полнокровного катаевского письма.

Ясная, чистая, сочная, меткая русская речь. Здесь добавлять вроде бы нечего. Впрочем, постойте. Вот что следует обязательно сказать. Это—речь одессита, воспитанного на русской классике. Речь левантийца. Со всеми своими особенностями. То есть—речь, щедрая на неповторимые, невозможные в другом городе, уникальные интонации, тонкости, парадоксы, метафоры, виртуозные обыгрывания характерных деталей чего-нибудь, попавшего, как говорится, на язык, привычных понятий, на которые одесситы смотрят по-своему и судят о которых по-своему, независимо, решительно и оригинально, речь с примесью жаргонных словечек, с добавлением всякой житейской всячины, становящейся материалом для диалогов или монологов, для обсуждения всевозможных событий, речь солнечная, искрящаяся юмором, сдобренная иронией, приправленная, наподобие перца, особым южным шиком в самом произнесении некоторых фраз, пропитанная черноморской солью, вобравшая в себя шелест одесских акаций, тополей и платанов, плеск морских волн, рыночный гомон, гудки кораблей в порту, птичий щебет в приморских парках, запах цветов, раблезианское изобилие фруктов и овощей, аромат белых, красных и розовых вин, вкус жареной скумбрии и знаменитых баклажанов, по-местному просто «синеньких», разговоры, песни, легенды, сонные окраины с мальвами возле заборов и с шелковицами во дворах, роскошные центральные улицы, блеск стеклянных витрин магазинов, отражения в зеркалах, звон трамваев, гугуканье горлиц, крики чаек, окрестные степи, высокие обрывистые берега, загородные дачи, тенистые сады, виноградные лозы, лунные отсветы, звёздные россыпи в небе, да и всё остальное, чем велик, прекрасен и вечен этот город, красавица-Одесса, столица юга, речь такая живучая, эффектная, колоритная, артистичная, глубоко и свободно дышащая самим воздухом Черноморья, самим вольнолюбивым духом этого выросшего когда-то на руинах турецкой крепости, созданного находившимися на русской службе иностранцами, французами, итальянцами, населённого русскими, украинцами, потомками запорожских казаков, поляками, евреями, греками, немцами, болгарами, молдаванами,

образовавшими, по существу, единый, именно одесский, разноплемённый, но при этом и целостный, необычайный народ, великолепного, не имеющего аналогов города, что её, эту речь, не спутаешь ни с какой другой. В прозе Катаева эта речь доведена до максимального совершенства. Всю жизнь он говорил с неистребимым одесским акцентом, даже не помышляя перестраиваться на московский, допустим, говорок. Своя рубашка ближе к телу. Речь повседневная—срослась с человеком. И стала—речью литературной, непрерывным, серьёзным творчеством. Осип Мандельштам как-то сказал, что у Катаева есть настоящий бандитский шик. Это—суждение петербуржца, человека северного, об одессите, человеке южном. Насчёт «бандитского»—конечно, сильно сказано, с явным преувеличением. Воображение у Мандельштама всегда работало постоянно и безотказно. Но вот шик—да, это Катаев легко, без особых усилий, мог продемонстрировать. При его-то именно одесском, врождённом артистизме. Запросто мог и разыграть поэта. Которому, кстати, в трудные годы, в отличие от прочих писателей, сознательно, долго, с безусловным риском для себя, но при этом открыто и смело, помогал. Катаевский жизненный артистизм органично проявился и в его книгах. Артистичны они в высшей степени. Начало всего этого—разумеется, на родине писателя, в Одессе. На юго-западе Империи.

Одесситы—творцы своей собственной мифологии. Достаточно вспомнить местный фольклор. И прежде всего, разумеется,—одесские песенки. Да хотя бы вот эту: «На свете есть такой народ, он весело живёт… Ай, Одесса, жемчужина у моря, ай, Одесса, ты знала много горя, ай, Одесса, любимый, милый край, живи, Одесса, и процветай!» Всё ведь самое важное в ней уже сказано. Так, что запомнилось—надолго. Нет ничего удивительного в том, что эмигранты, выходцы из Одессы, основатели Голливуда, создали в новых для себя краях, ностальгически вздыхая по оставленной родине и одновременно испытывая творческий подъём, прекрасно уживающийся с коммерческим подходом к делу и трезвым расчётом, практически на пустом месте, из ничего, по вдохновению, решительно, азартно, отчаянно смело, всю оптом американскую мифологию, с лихими ковбоями, индейцами, романтическими бандитами, роковыми красавицами, да и всем прочим, что и поныне производит заокеанская фабрика грёз.

Множество разнообразных находок—в каждом катаевском тексте. Порой это даже похоже на сознательную демонстрацию приёмов, ходов, свободных, размашистых, но и, что характерно и важно, предельно точных, обдуманных, убедительных, единственно возможных, для выражения чего-то конкретного, движений кисти артистичного, вдохновенного, уверенного в себе художника. Очень современного, замечу. Ну да, реалиста. Вроде бы. А присмотреться повнимательнее—настоящего авангардиста. Последователя тех, наших, русских, отечественных, живших и работавших в первой трети двадцатого века. В этом смысле—конечно, продолжателя традиций. Авангардных, само собою. Катаев—не так-то прост, как хотелось бы некоторым согражданам. Катаев—сложен. И—мудр. Есть народная пословица: «Годы как горы—в мешок не положишь». Катаев прожитые свои годы—как раз хранил в пресловутом мешке. Мешке памяти. Хотя были там и такие горы и горки, что укатали бы любого сивку. Но только не Катаева. Он, упрямец, хотел выжить. И выжил. Хотел жить. И жил. Хотел работать. И работал. Писал так, что дай Бог каждому. Впрочем, каждому такой дар не даётся. Он—для избранных. Он вообще—большая редкость. И—огромная радость для читателей. Катаев не только непрерывно рос, развивался как писатель. Порой он переходил границы дозволенного. Смело заглядывал в такие области, где ждали его уже вселенские тайны. Человек сугубо земной, в любое мгновение ощущающий материальность мира, порою он всё-таки становился почти визионером. В прозе его—предостаточно вполне мистического толка открытий, откровений и даже прозрений. Слишком долго он себя сдерживал. И только в старости стал неудержимо прорываться к пониманию таких тонких и сложных понятий, которые, будь они включены в его тексты и преображены его личным писательским ви́дением, выражены в его слове, могли бы новым, таинственным светом засиять на страницах. Но раз уж всё сложилось у него, как всегда, только по-своему, именно по-своему, со всей обособленностью, неповторимостью, несомненной значительностью этого жизненного и творческого пути, а не иначе, не так, как у других, да и слишком уж много их, этих других, а Катаев—один, среди всех бурь и гроз минувшего времени, среди всех его ненавистников и всех его сторонников, ценителей, почитателей, то вполне достаточно и того, что им написано. Того, что—надолго—есть.

Что ещё? Что важно, что существенно—в прозе Катаева?

Умение обобщать. Свойство, присущее не прозаикам, но поэтам. Обобщение—словно прощение. За некоторые вольности. За художническое, от детства идущее озорство. За резкость, которую обязательно надо было сказать. За дерзость. Оправданную. За нередкую, иногда и внезапную, но позарез необходимую в нужное время и в нужном месте книги, продиктованную чутьём смену регистров, музыкальных ключей, тональностей. За раскованность и рискованность. За внутреннюю свободу. Только в дружбе с нею можно побеждать.

Обобщение—не какая-нибудь там рамка для холста. Это что-то вроде благословения свыше—на такие слова, от которых только шаг остаётся до скрижалей. А может быть, и до вечности. Обобщение—прощание: с абсолютно всем, что мешает работать, мешает жить. Осознанное. Бесповоротное. Смелое. Решение, принятое раз и навсегда. Выход из мглы прозаической инерции—к свету, к поэзии. Обобщение—обещание: не единожды вспомнят и ещё глубже поймут—в грядущем.

Внимание к безукоризненно точным деталям. Этому он учился ещё в Одессе, на заре своей писательской работы, причём—у самого Бунина. Каждая деталь текста—частица целого. Наподобие кусочка смальты в мозаике. Из соединения этих частиц получается целостная картина. Катаевская деталь могла бы, наверное, существовать и сама по себе, настолько она выразительна, такое это всегда снайперское попадание в яблочко. Но задача писателя—намного серьёзнее: создать полноценное произведение. Пастернаковский «всесильный бог деталей» здесь только помощник. Писатель и сам—творец. Из некоего замеса, в котором немало чего содержится и в процессе работы, в движении, идёт в ход, в итоге возникают—миры.

Гибкая, послушная и мысли, и вдохновению, и наитию, и чутью, многообразная, сверкающая разного рода новациями пластика всех катаевских текстов. Ладно уж—виртуозность, иногда и парадоксальность, весь блеск мастерства,—всё это есть. Но ещё ведь и какая-то особенная элегантность, что ли, самого письма. Элитарность, наверное. При всём демократизме, при всей густоте жизненного материала. Пластика—прихотливая, но без тени навязчивости, не раздражающая. Наоборот, органичная. Совокупность речи, музыки, живописи, театра, кинематографа. Создающая зримые, живые, объёмные формы.

Найденные для каждой вещи единственно верные ритмы. Об этом вполне можно написать обстоятельный трактат. Ритмы—созвучные с различными настроениями, состояниями души. С биением сердца. С дыханием. Связанные, кстати, и со вселенскими ритмами. Ведь Катаев, неоднократно сознательно подчёркивая, что мир, без сомнения, материален, воспринимал мироздание как единство всего сущего—и выражал это единство средствами речи.

Создаваемое каждой вещью магически притягательное поле. Почему так увлекают, завораживают катаевские книги? Почему трудно от них оторваться, покуда не дочитаешь до конца? Почему их через некоторое время ещё и перечитываешь, причём открываешь в них обязательно что-то новое для себя? Потому что в них есть это мощное поле. Каким образом оно создаётся—тайна писателя. Многое здесь—от мастерства, но что-то—и от волшебства.

Рождение новых жанров в прозе. Да, это заслуга Катаева. Более того, это наглядный и убедительный пример—что такое настоящее свободное творчество. Это одновременно и урок—тем, кто думает, что подобные тексты делать легко. Так писать—трудно. Катаев очень высоко поднял планку. Словно распахнул окно, за которым стали видны тропы и дороги, ранее скрытые в тумане соцреализма и разных устаревших схем. Он показал, насколько велики возможности прозы. Новой прозы, как сам он её называл. Или, как именовал он свой поздний период, по счастью—долгий и плодотворный,—мовизма.

Мгновенная узнаваемость всех катаевских текстов. Их лицо. Голос. Их выделяемость, отделяемость в читательском сознании от текстов других писателей. Вспоминается понятие—харизма. В жизни Катаев, безусловно, был харизматичен. Можно ли сказать это и о книгах его? Не знаю. Но то, что, помимо их обаяния, их притягательности, их необходимости для людей, есть в них нечто и более высокого порядка, пусть это выразить трудно, хотя и ощущаешь это хребтом, и принимаешь это безоговорочно, полностью, навсегда,—непреложный факт.

Катаевский юмор. Как же одесситу без этого жить? Говоря по-одесски, что это за манцы? Настоящий одессит и шагу без юмора не шагнёт. Во всяком случае, юмор везде при нём, всегда наготове. Юмор—в самой его природе, в сознании, с детства. Юмор—помогает, выручает, защищает. Едкая, метко бьющая в цель ирония. Тоже что-то вроде брони. Хотя сквозь неё и проникают стрелы грусти, да и тоски, и скорби, и отчаяния. Всё в жизни взаимосвязано. Вот оно—и вокруг, и в самом человеке. Обострённое восприятие всех без исключения жизненных перипетий, событий, каждого дня, часа, мгновения—характерное свойство талантливых творческих людей. Катаев—человек ранимый. Держался, даже хорохорился, виду не подавал, что это так. Но—мучился, страдал. Скрывать это помогало боевое оружие—юмор, сатира, ирония. Что на самом деле было в душе? Чем было переполнено сердце? Ответы—в книгах его.

Катаевские большие предложения. Коронные. Классные. Многоплановые. Разумеется, полифоничные. Наглядно демонстрирующие весь блеск, все высоты писательского мастерства. Такие предложения—словно отдельные произведения. Некий синтез изобразительных средств. При этом они

вовсе не стоят особняком. Они естественны, необходимы. Поди попробуй вырвать их из текста! Не старайся, ничего получится. Они — на своём месте. Именно там, где они больше всего нужны.

Выраженные в русском слове с огромной силой, независимо, смело, верно, откровенно и глубоко, неминуемая трагичность и несомненная красота бытия.

И так далее, как обычно говаривал Хлебников.

«Фирменных» примет этой прозы — множество.

И важнейшая из них — поэзия.

Да, поэзия. Ведь известно: если человек, пишущий прозу, по сути своей, по устройству души поэт, если дар этот сумел он сохранить и развить, то и проза его — всегда особенная, разительно отличающаяся от «конкретной» прозы.

Примеры? Пожалуйста.

Гоголь, Бунин. Паустовский, Олеша. Юрий Казаков.

И, конечно, Катаев.

Лет пятнадцать назад зашёл у меня разговор с одним давним моим приятелем о Катаеве и Олеше. Приятель с трудом разыскал и наконец-то купил в букинистическом магазине катаевский десятитомник — и теперь с упоением читал, все тома, подряд.

Он вдруг обрушился на прозу Олеши, утверждая, что, конечно же, всё это хорошо, но чего-то необходимейшего для писателя всё-таки ему не хватало.

Из этого бурного, пристрастного, на повышенных тонах, но зато предельно искреннего и потому интересного монолога неожиданно вырвалось: «Понимаешь, у Катаева есть в текстах — соединительная ткань. А у Олеши — этого нет!..»

В сознании моём что-то щёлкнуло, словно включился электрический ток. Определение — было найдено.

Да, именно так. Соединительная ткань. То необычайно важное, каким-то образом прочно связанное со всей энергетикой произведений, то, что словно обволакивает защитной плёнкой слова, служит для сцепления фраз, гармонизирует строй, работает на взаимосвязь всех частей, на целостность прозы, что даёт нужные вибрации, движение, развитие, глубокое, долгое дыхание, даёт полноценную жизнь текстам, плазменное или звёздное вещество, живущее в русской речи.

Строфическая запись текстов — это не вовсе не вольность, которую позволил себе в своих поздних книгах опытный мастер. Это — необходимость. Когда проза — почти поэзия, или даже — просто поэзия, то надо уметь найти единственно верное решение — как её записать. Катаев такое решение — нашёл.

(В конце шестидесятых годов — увы, прошлого века! — Генрих Сапгир в московской своей квартире, где бывала вся тогдашняя богема, читал свою книгу стихов «Элегии» приехавшему из Питера Иосифу Бродскому. Покуда чтение длилось, Бродский явно нервничал и весь както напрягался, словно человек, чего-то ещё не знающий, и от этого мучающийся, и как можно скорее желающий узнать то, что для него важно. Когда Сапгир прочитал всю книгу, Бродский первым делом спросил его: «А как это записано?» Генрих показал ему самиздатовскую машинописную книгу. Стихи в ней были записаны — в строку, внешне напоминая — прозу. Между текстовыми сгустками — были пробелы. Бродский сразу же преобразился, оживился, повеселел: он понял, как это сделано.)

Пробелы между абзацами и периодами, будто между строфами стихотворения, в катаевской прозе тоже чрезвычайно важны. В них — воздух. Да, именно воздух. Другого слова здесь не подберёшь. Воздух, нужный — для дыхания. Дышит ведь — и сам писатель, и его текст. И Катаев это прекрасно понимал.

(Кстати, мой друг, замечательный художник Анатолий Зверев, много раз в былые времена говорил: рисовать надо так, чтобы воздух в работе оставался. Он, человек уникальный, вообще много чего знал и понимал. Свидетельствуют об этом теперь — его акварели, живопись и графика, получившие мировое признание.)

Вся катаевская новая проза — встаёт столпами, колоннами, напоминая то ли Стоунхендж, то ли Парфенон.

«Святой колодец», «Трава забвенья», «Кубик», «Алмазный мой венец», «Юношеский роман», «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона», «Кладбище в Скулянах», «Уже написан Вертер», «Спящий», «Сухой лиман».

Вышедший в «Вагриусе» несколько лет назад четырёхтомник называется просто и кратко: «Мовизм».

Созданный Катаевым памятник своему времени.

Помню, как читал я и перечитывал вещи Катаева, напечатанные в «Новом мире», в самую трудную, бездомную пору своей жизни, в семидесятых, тридцать пять и почти сорок лет назад, у себя на родине, в Кривом Роге, в родительском доме, куда я, набродившись, намаявшись, приезжал — и только там приходил в себя, обретал новую энергию и снова много работал.

Помню, как читал я катаевские книги: в любые свои годы — и в молодые, и в зрелые, и в любые свои периоды — и в непомерно сложные, и в относительно светлые.

Чтению этому — без малого шестьдесят лет.

Вот сколько времени книги Катаева — рядом.

Никто не догадался доныне — сопоставить катаевский «Алмазный мой венец» с «Поэмой без героя» Ахматовой. А ведь параллели — есть. И невольная перекличка. И эта карнавальность — в бахтинском понимании? Или в катаевском? Карнавал — или маскарад? Или — миракль? Что это за произведение? Может быть, реквием? Или — сжатый до объёма в двести страниц новый эпос? Это ведь не просто воспоминания. И не только воспоминания. Да и вообще — никакие не воспоминания. Нечто совсем другое. Но что? Вот и гадают об этом и читатели, и литературоведы. Им есть над чем поразмыслить.

На позднюю катаевскую прозу, безусловно, оказали воздействие фильмы Федерико Феллини. То-то в «Святом колодце», в одном эпизоде, будто бы так, между делом, между прочим, появляется Джульетта Мазина, жена и любимая актриса Феллини, с явным намёком на эту связь творчества русского писателя с фильмами итальянского кинорежиссёра.

Кто-то писал о том, что ещё при жизни Катаева зашёл разговор о том, что было бы интересно экранизировать повесть «Кубик». И Катаев тогда сказал: «Для этого нужен Феллини». По существу, сам всё вкратце объяснил.

Дорогие сограждане, вот что всем вам следует нынче знать. Это вовсе не диссиденты, а Катаев, гораздо раньше и намного действеннее, своим журналом «Юность», главным редактором которого был он в переломные годы нашей отечественной истории, расшатал советскую власть.

Никогда не забыть мне, чем был для всех нас во второй половине пятидесятых и в начале шестидесятых годов прошлого века этот журнал. Со страниц его тогда — веяло свободой. Он был настолько нов, необычен по сравнению с другими литературными журналами, был так интересен для всей молодёжи, да, собственно, для людей всех возрастов, что его читали взахлёб, ждали выхода каждого очередного номера с нетерпением, находили в нём для себя, чуть ли не на каждой странице, нечто важное, близкое, довольно смело и достаточно убедительно по тем временам говорящее, в обход цензуры, не напрямую, конечно, поскольку такое было тогда невозможно, да и опасно, с обязательными предосторожностями, но упрямо, целенаправленно, с помощью всего богатейшего арсенала средств речи, об уже происходящих и всех возможных, желанных, грядущих переменах в жизни страны. Журнал был — всегдашним праздником и постоянным откровением. Был — необходимостью. Именно как воздух. Журнал был создан — Катаевым. Совпадение обстоятельств? Или судьба? И то, и другое. И ещё — знамение времени. Катаев это — почуял. Потому и взялся за редакторство. Появился журнал нового типа. Таких раньше не было, да и быть не могло. Журнал делал своё дело исключительно хорошо. Просветлял сознание. Вселял в молодые сердца надежду на лучшее — там, впереди. Расширял кругозор. Журнал был — и учебником, и лечебником. Журнал появился вовремя — и сдвинул заржавленные стрелки незримых часов. Изменил у молодёжи угол зрения. Вызвал к жизни новые веяния, новые взгляды. За которыми позже пришла пора поступков — и даже деяний и подвигов.

Шестидесятники, прозаики и поэты, печатавшиеся в «Юности», смело можно сказать, выращены, воспитаны Катаевым. Это он их открывал. Он с ними работал. Он дал им пресловутые путёвки в жизнь. Это ему, замечательному редактору, обязаны они своей известностью.

Но всем им — никогда не сравниться с Катаевым.

Как говорилось в одной комедии, «не тот фасон».

К тому же, сознательно покинув пост главного редактора «Юности», чтобы сосредоточиться на творчестве, Катаев преподал всем им великолепный урок, показал на примере своих новых книг, как можно писать, как надо писать, каковы разнообразнейшие возможности русской прозы.

Предки Катаева по материнской линии со времён Запорожской Сечи и до конца девятнадцатого столетия — воины. И сам он — воин. Воитель. Ещё будучи юношей, он ушёл на Первую мировую войну. Стал артиллеристом. Был ранен, контужен. Имел боевые награды. Офицер. Герой. В Гражданскую войну — тоже воевал. В белой армии. Но вовсе не в Красной. Командовал головной башней бронепоезда. Видимо, принимал участие в одесском заговоре против красных. Был схвачен чекистами. В тюрьме около полугода ожидал расстрела. Избежал гибели — чудом. После всех пережитых потрясений понял, что прежнюю Россию, за которую столько лет он сражался, уже не вернуть. В новых условиях надо было — выживать. Как-то приноравливаться ко всему, что происходило в стране. Выручил Катаева — огромный его талант. Уехав из родной Одессы вначале в Харьков, а потом в Москву, молодой писатель вскоре начал широко печататься и получил признание в столице. Да ещё и перетащил сюда многих своих одесских друзей. Катаевская война — продолжалась на протяжении всей его жизни. Вёл он эту войну — средствами речи. Столько десятилетий, не только сложных, но и страшных, когда погибнуть можно было в любой день, Катаев за нос водил советскую власть! И ведь переиграл её. Победил. И расшатал. Своим журналом «Юность». Сумел изменить сознание молодёжи. Всё, что считал сказать нужным, — выразил

в поздних книгах своих. Высказался — надолго. Думаю, на столетие вперёд.

Катаев — и власть. Лучше всего сказал об этом он сам:

«Бессмертию вождя не верь: есть только бронзовая дверь, во тьму открытая немного, и два гвардейца у порога».

Катаевское зрение. Поразительное. Орлиное? Нет, человеческое. Но — уникальное. «Хищный глазомер простого столяра», как говорил Мандельштам? Нет. Зрение прирождённого воина. Воителя. И — писателя.

Фамилия матери писателя — запорожская, козацкая. Бачей. От слова «бачити», по-украински — видеть.

(Фамилия — прозвище. Давалась — по роду занятий. Шаблий, например, — тот, кто сабли делал, кузнец. Бачей — прекрасно видел, обладал особенным зрением. Зоркий человек. Видевший, различавший вдали то, чего не замечали другие. Кстати, древнее значение слова «гетман» — хорошо видящий, зоркий вождь. «Геть» — значит, смотреть, видеть.)

Катаев — именно видящий.

Есть в нём и немецкая кровь — по материнской линии. Возможно, и какая-нибудь южная, степная, тюркская — от предков-запорожцев.

По отцовской линии предки его — из Вятки. Скорее всего, потомки новгородцев, поселившихся когда-то в этих краях.

Скажу о происхождении фамилии — Катаев. Раньше «катать» — значило «жить без оглядки, гулять, кутить». Отсюда — «катай», бесшабашный, разгульный человек.

(А ещё катай — представитель одной из башкирских родоплеменных групп. От племени катаев — название уральского города Катайск. Многие обрусевшие катаи стали Катаевыми. Но это вряд ли относится к писателю.)

Любовь для Катаева — самое главное. Движущая сила бытия. Всю свою жизнь, и в прозе, и в стихах, благородно, искренне, страстно, застенчиво, находя чистейшие, светлые слова, говорил он о любви:

«Коснуться рук твоих не смею, а ты любима и близка. В воде, как золотые змеи, скользят огни Кассиопеи, ночные тают облака. Коснуться берега не смеет, журча, послушная волна. Как море, сердце пламенеет, и в сердце ты отражена».

Так уметь сказать — значит, быть настоящим поэтом.

Одесса — родина Катаева. И его «вечная весна».

Катаев — совершил свой литературный подвиг. Создал свои долговечные книги. Высказался так, как считал нужным. И воспел свой родной город намного сильнее и лучше всех своих земляков — поэтов и писателей. Такая любовь — заслуживает благодарности одесситов. Знаю, что когда-нибудь, под ясным южным небом, в окружении акаций с их воздушной листвой, сквозь которую издали различимо прекрасное Чёрное море, будет стоять в Одессе памятник одесситу Катаеву.

Подмосковное Переделкино — место долгого обитания Катаева. Место его затворничества и его подвижничества. Здесь в течение многих лет, каждый Божий день, он работал. Здесь — создан его мовизм. Здесь написаны его поздние книги. Старость словно ничего не могла поделать с этим человеком, наделённым невероятной жизненной энергией. Чем старше он становился, тем лучше писал. Размеренная, замкнутая, сосредоточенная на работе жизнь в Переделкине и всё катаевское творчество этого периода — пример серьёзнейшего отношения к писательскому труду. Катаев — действительно труженик. Он умел работать. Он всё время совершенствовался, шёл вперёд, вглубь и ввысь. Его десятитомное собрание сочинений — полагаю, далеко не полное.

Бунин — учитель Катаева. Это известно всем. Никогда не стал бы обладавший «тем ещё» характером, сверхтребовательный решительно ко всем вокруг, и уж тем более к людям пишущим, известный писатель возиться с каким-то одесским мальчишкой, если бы по первым же прочитанным им полудетским стихам этого вихрастого гимназиста, по каким-то отдельным строкам, словно по высветлившимся знакам, не понял, что Катаев действительно талантлив. И помог ему — развить свой талант.

Видимо, чете Буниных было хорошо известно, что Катаев некоторое время воевал в белой армии и, наверное, имел отношение к офицерскому заговору в Одессе. Но они умели хранить тайны.

Для Бунина было крайне важно, чтобы его ученик состоялся как писатель. И он этого дождался. Несколько десятилетий он внимательно следил за творчеством Катаева, читал все его публикации. Книгу «Белеет парус одинокий» Бунин в Париже читал вслух жене и восхищался, что Валя Катаев так умеет писать.

Однажды мы с Андреем Битовым говорили о том да о сём. Разговор как-то сам по себе съехал на литературу: что в итоге останется от писателя? Вдруг я произнёс пламенный монолог в честь Катаева. Битов задумался. Потом сказал: «Да мало ли что происходит с человеком в жизни! Главное — то, что он создал, что написал». Я сказал: «Именно так». Битов посерьёзнел и, словно окончательно убеждая самого себя, подтвердил: «Написанное Катаевым — надолго останется».

Приходилось мне порою обстоятельно и серьёзно беседовать с сыном писателя, Павлом Катаевым. Знаком я с ним лет сорок. Виделись мы и в Москве, и в Коктебеле. И, разумеется, говорили о его отце. Павел написал об отце отличную книгу—«Доктор велел мадеру пить». Книга эта недавно издана. Иногда в разговоре с Павлом я увлекался и начинал ему говорить, как я понимаю Катаева, насколько важно для меня присутствие этого писателя в моей жизни. Павел оживлялся, весь как-то просветлялся и восклицал: «Ты обязательно напиши об этом!» Вот, пишу сейчас этот текст. Далеко не всё говорю, что в состоянии сказать. Приходится сдерживать себя. Срабатывает чувство меры. Эссе моё—не трактат, не обстоятельное исследование. Кроме того, я не литературовед, а поэт. Говорю—о том, что считаю нужным сказать. Прежде всего—о том, кто Катаев—для меня самого.

Катаев—не был учителем для меня. Был—воображаемым собеседником. Спутником. Был—мысленным другом. Катаев—присутствовал, сопутствовал, напутствовал. Почему так получилось? Почему всё происходило именно так? Объяснить невозможно. Да и зачем объяснять? Что-то совпало—давным-давно. И осталось в душе—навсегда. Какие-то частоты и волны, на которых работал Катаев, были найдены вовремя, и слова его были услышаны мною в общем гуле и хаосе перенасыщенного всевозможными звучаниями эфира. Так всё сложилось. И этому я—рад.

Катаев—действительно *видящий*. Порою—до ясновидения. Вспомним: в «Траве забвенья» цветок бигнонии—страшный образ революции, Гражданской войны, гниения, распада всего былого, казавшегося прекрасным и оказавшегося разрушенным, гибнущим, образ цивилизации, которая, быть может, когда-нибудь сумеет выжить и возродиться.

Верный угол зрения важен—при чтении катаевских книг, и особенно—при чтении книги «Алмазный мой венец». Только такой угол зрения поможет читателям понять, что же это за необычное произведение, в чём его тайна, суть, видимый и скрытый смысл, почему суждена ему долгая жизнь.

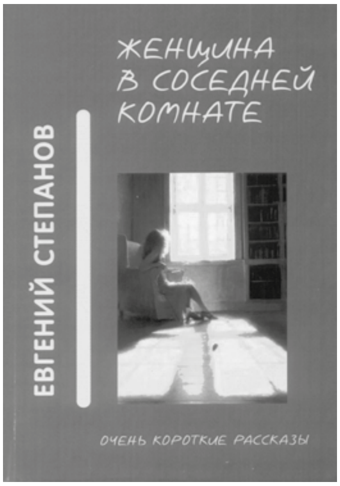
В завихрениях нашего нынешнего «как бы времени» титулы «великих» раздают кому угодно, даже всякой попсе. Напрочь забывая при этом о немногих действительно достойных людях.

Поэтому—скажу сейчас то, что давно пора всем осознать.

Валентин Петрович Катаев—говорю это всем, и зоилам, и читателям понимающим,—великий русский писатель.

Заслужен им, воином речи,—алмазный его венец.

ДиН ревю



Евгений Степанов

Женщина в соседней комнате

Москва: «Вест-Консалтинг», 2014.—244 с.

В книге опубликованы короткие рассказы Евгения Степанова, написанные в разные годы. Они наполнены юмором и житейской мудростью. А тематический диапазон поистине огромен: от «издательских будней» до взаимоотношений с женщинами, от философии усталого романтика до точно подмеченных эпизодов жизни. Книга адресуется широкому кругу читателей—каждый найдёт в ней что-то для себя.

Константин Миллер

Крушение империи

(Пьеса в кузове)

Действие 1

Пространство кузова огромного грузовика, заставленного какими-то предметами, ящиками. Всё укрыто брезентом. В углу под брезентом наблюдается какое-то шевеление.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС. Ой, кто это здесь?

МУЖСКОЙ ГОЛОС *(грубо)*. Тихо, не ори! Куда лезешь? Тут всё занято…

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС. Ну не пихайтесь, это же свинство! Я вот сюда, в уголок…

МУЖСКОЙ ГОЛОС. Так и знал, что кто-нибудь припрётся, блин… Тихо, ты!

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС. Ну так вы подвиньтесь.

Снаружи доносятся голоса: «Ты всё проверил?!» — «Всё!» — «В кузове всё проверил? Никого?» — «Никого. Уже пять раз всё с лампой облазил». — «Ну давай крепи… Закрывай!» Кто-то чем-то стучит, что-то сверлят, затем заводится двигатель машины, и она отъезжает, медленно набирая скорость.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС. Как я успела, в последнюю минуту…

МУЖСКОЙ ГОЛОС. Да заткнись ты!

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС. Ну мы же уже едем…

МУЖСКОЙ ГОЛОС *(шипит)*. Молчи!

Снаружи слышится какой-то шум, два голоса о чём-то говорят негромко; через минуту грузовик срывается в скорость.

МУЖСКОЙ ГОЛОС. Ну, теперь, кажется, всё, проскочили. Ты где, здесь ещё? Ты извини, что я наорал на тебя… Они всегда так делают — двигатель заведут и на малых катят, а слухари рядом идут и кузов прослушивают, и тех, кто от радости восторг свой сдержать не может, — пожалте сюда, под белые ручки, обратно в рай. Чего молчишь-то?

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС. Какой-то вы дикий… Я вас боюсь.

МУЖСКОЙ ГОЛОС *(обиженно)*. И вовсе я не дикий. Просто я так долго всё это готовил, а из-за тебя мы могли в первую же минуту погореть. Ты кто такая? Откуда взялась-то?

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС. Все меня Мышкой зовут, из-за моего маленького роста, наверное. А вас как звать?

МУЖСКОЙ ГОЛОС. Никак меня не звать, у автора я обозначен как «Он», то есть без имени… И вообще, поменьше задавай вопросов, лежи себе да посапывай, и тоже не особенно громко.

МЫШКА. Какой вы злой! Всё вам не так: это не спроси, так не скажи, теперь вот и дышать нельзя.

ОН. Хочешь до границы добраться — лежи и затухни, а не хочешь — мне ещё лучше: можешь прямо сейчас из кузова прыгать. Понятно? А теперь давай поспим, пока дорога хорошая, дальше только хуже будет… Слышишь, по тенту-то замолотило? Это надолго.

Возникает короткая пауза. После этой паузы — возмущённый голос Мышки.

МЫШКА. Ну, это уж, вы знаете, слишком! Вы совсем меня к этому ящику прижали…

ОН. Ладно, ты не очень-то брыкайся.

Некоторое время слышны ворчание, какие-то шорохи, но вскоре всё это затихает, и зал наполняется лишь звуком работающего двигателя.

Действие 2

Кузов того же грузовика. В кузове немного светлее, чем в первом действии. Грузовик стоит.

МЫШКА *(со сна)*. Ой, как светло!

ОН. Тихо! Не слышишь, что ли, что мы стоим?

Снаружи вновь раздаются какие-то крики, что-то падает, чей-то раздражённый голос говорит: «Сказал же, приделай как следует…» Через пару минут — этот же голос: «Заводи, чёрт с ним, времени нет». Вновь урчит двигатель, и грузовик трогается.

МЫШКА *(шёпотом)*. Так светло. Утро, должно быть?

ОН. Сама ты — утро. Это Первый Выезд был: под прожекторами стояли, и сейчас под прожекторами едем... *(В кузове темнеет.)* Вот и всё, утро закончилось. Теперь если примерно через час направо повернём — значит, верным курсом идёте, товарищи!

МЫШКА. А если налево?

ОН. А если налево, то считай, что я — полный идиот, что всё зазря было, что залезли мы с тобой не в ту машину, и она увезёт нас чёрт-те куда, на какую-нибудь базу дурацкую.

МЫШКА. А откуда вы всё это знаете: куда и когда машина повернёт?..

ОН. Оттуда.

МЫШКА. Ну вот, опять вы так грубо со мной разговариваете.

ОН. Нормально разговариваю. Я же не так, как ты, с бухты-барахты, в кузов прыг — и будь что будет! Я этот побег несколько месяцев готовил, потому и знаю всё. Понятно?

Мышка молчит.

Обиделась? Ты чего-то обидчивая какая-то. Не пойму я тебя: на такой шаг решилась, а по всяким пустякам дуешься. Это я на тебя обижаться должен: место приготовил, харчей припас, лежу, дожидаюсь, так сказать, желанного мига, а тут нá тебе — Мышка! Тебе, кстати, сколько лет?

МЫШКА. Много. Сколько надо. Не скажу...

ОН. Ну вот видишь, лет много, а ума мало. Ты чего побежала-то? Плохо жилось в раю этом, а?

МЫШКА. А вы чего? Вот и я — того же.

ОН. Как хочешь, можешь не отвечать, я не прокурор. Спрашиваешь, почему я? Да потому, что достало меня всё это, по самое горло достало: голодуха эта бесконечная... Переломали всё, позасрали, экологию всю нарушили и на нас же всё ещё и валят. Уроды!

МЫШКА. Вы, как я вижу, совсем не патриот?

ОН. Чего?! Вот это да: со мной в одном кузове драпает и ещё о каком-то патриотизме чего-то вякает.

МЫШКА. У меня были веские причины, чтобы совершить такой поступок, а вы — как все эти нытики: чуть похуже в стране стало, так быстрее и бежать без оглядки...

ОН. Э, да ты и впрямь за борт захотела. Заткнись-ка, пока не поздно, а то я не посмотрю, что ты маленького роста.

Какое-то время оба молчат. Слышно некое шуршание и шелест. Затем по всему кузову, а чуть позже — и по всему зрительному залу распространяется запах пищи.

МЫШКА. Ой, что это?

ОН. Где — что?

МЫШКА. Запахло чем-то так сладко.

ОН. Это так сладко запахло сыром с чесноком, который я сейчас есть буду, а ты, агитатор хренов, пососёшь сначала одну лапу, потом другую, а потом подтянешь живот и станешь мне дальше рассказывать, какой я нытик, и ещё о том, как ты любишь свою родину.

МЫШКА. Ну и подумаешь! Подавитесь вы своим сыром, я и есть-то не хочу, я ужинала...

ОН. Знаем мы ваши эти ужины патриотические. Хотя мне ещё лучше: ужинала — значит, сыта. Только какого дня ты последний раз ужинала? Молчишь? Ну молчи, а лучше вспомни какой-нибудь лозунг и задумайся тут же, какая же в нём всё-таки сила скрыта. Я вот так полагаю, что если его раз сто подряд повторить (про себя, конечно), то кушать окончательно расхочется.

МЫШКА. Какой вы отвратительный! Как я вас ненавижу! Да знаете ли вы: если б не жених мой, я бы ни за что из нашей страны не побежала бы.

ОН *(с показным интересом)*. А что с ним? Что-то серьёзное стряслось?

МЫШКА. Да, стряслось! И не смейте таким издевательским тоном говорить о нём, о нас! Он поддался уговорам одной... которая и мизинца его не стоит. Я-то знаю наверняка, что она бросит его сразу же, как он ей не нужен станет... А он такой не приспособленный к жизни. Понимаете ли вы это, гадкий вы тип?! Мне спасти его надо!..

ОН. И обратно, что ли?

МЫШКА. Ну а как же? Неужели вы думаете, что я, как вы, могу родину бросить, променять её на реки эти молочные, которые там, кстати, не текут? Запомните это: не текут!

ОН. Эх ты, наивняк, наслушалась говна всякого от козлов этих продажных. На-ка вот, перекуси немного. Бери, бери и не выпендривайся, а то охудаешь совсем, пока до суженого своего доберёшься. Придется ему потом до границы тебя на себе переть.

МЫШКА *(жуя)*. Почему же это до границы-то?

ОН. Да потому, что через границу, сюда обратно, он не поползёт. Он ведь не такой балбес, как ты.

МЫШКА. Как вы можете так говорить о нём? Вы совсем его не знаете.

ОН. Нет, милая, это ты его совсем не знаешь. Если уж ты отсюда выскользнуть умудрился, то нужно полным идиотом быть, чтоб обратно сюда лезть. А он, как я правильно ферштейн, совсем другого огорода овощ. Понял, что с тобой каши не сварить, потому и нашёл себе другую спутницу. А тебя, скажи честно, уговаривал небось, а?

МЫШКА *(гневно)*. Это не он нашёл, это она, гадюка эта, уломала его!

ОН. Теперь это уже не важно. Важно то, что они нашли другу друга и, может быть, проскочили через границу, а мы с тобой ещё здесь и в кузове этом грязном трясёмся.

МЫШКА *(продолжая о своём)*. Нет, не может такого быть, не верю я, это всё эта… Он так поступить не мог. Вот я найду его, и он сам мне всё расскажет, а потом…

ОН. А потом он тебе скажет, что извини, мол, дорогая моя, но если ты такая безмозглая, то ползи обратно одна, а я здесь остаюсь.

МЫШКА. Ну ведь нельзя же так, в самом-то деле: из-за куска пожирнее взять и бросить родину, всё то, что с детства было свято! Поля родные, леса, родное небо…

ОН. И грязь бесконечную, и лужи вонючие.

МЫШКА. Да! И это тоже, потому что это всё в нас…

ОН. В вас. Во мне уже давным-давно живут другие вещи. Ты, кстати, поела? Понравилось? Я очень рад, что хоть в этом мнения наши не расходятся. Голод—он и враг, и друг, для каждого одинаково: и ссорит нас всех, и сближает. А тебе я совет дам: пока ещё не поздно, останься здесь. Сейчас уже скоро Второй Выезд будет, там после проверки и прыгай. До ночи где-нибудь в канаве отлежишься, а по темноте—вдоль дороги назад…

МЫШКА. Нет, я решила его найти—значит, я его найду, чего бы мне это ни стоило. У меня характер такой и он мне всегда говорил…

ОН. Тихо! Тормозим!

Грузовик медленно останавливается. Слышатся какие-то голоса, крики, команды. Откидывается задний борт, поднимается полог, и в кузов залезает человек в каком-то огромных размеров плаще с капюшоном. В руках у него фонарик; он начинает тщательно осматривать все грузы, поднимая брезент и простукивая ящики.

Действие 3

Тот же кузов. Тот же, в плаще, человек бродит среди ящиков с фонариком, всё ближе подходя к дальнему углу, где, сжавшись от страха, прячутся наши герои.

ГОЛОС СНАРУЖИ. Ну что там у тебя?

ЧЕЛОВЕК С ФОНАРИКОМ. Да ничего вроде, груз в норме.

ГОЛОС СНАРУЖИ. Ну вылазь тогда, а то опять этот ливень проклятый начинается… Отправлять надо машины, пока не раскисло всё окончательно!

ЧЕЛОВЕК С ФОНАРИКОМ. Сейчас, пару минут ещё…

ГОЛОС СНАРУЖИ. Ну как хочешь, мы пошли!

ЧЕЛОВЕК С ФОНАРИКОМ. Вот мудаки! Вечно так: бросят всё на полпути… Эй, погодите меня!..

Выключает фонарик, заталкивает его в карман и прыгает из кузова через задний борт. В скором времени машина трогается.

ОН *(тихо)*. Фу, пронесло.

МЫШКА. Кошмар, как я перепугалась, он мне почти на ногу наступил.

ОН. Почти—не считается. Вот мы тоже почти у цели, но всё ещё—почти.

МЫШКА. И что теперь?

ОН. Сейчас прикинем, что теперь. Это был Второй Выезд, значит, через пару километров они должны свернуть налево и всё время прямо и прямо, до самой приграничной зоны. По такой погоде будем мы, конечно, часов пять телепаться, а может, и больше. Главное, чтоб вообще не застряли.

МЫШКА. Не застрянем.

ОН. Ты что же, желаешь побыстрее с родины вырваться, от родных лесов и полей? От этих дорог раздолбанных?

МЫШКА *(строго)*. Я хочу скорее увидеть своего жениха и вернуться с ним вместе обратно.

ОН. Это навряд ли. Ну да ладно, об этом мы уже с тобой поговорили… Ты как знаешь, а я спать буду. Уверен, что завтра ещё много побегать придётся.

Некоторое время в кузове стоит тишина. Монотонно гудит работающий двигатель; что-то стучит друг о друга.

МЫШКА. Эй, послушайте, вы спите?

ОН. Засыпаю. Чего тебе? Есть, что ли, ещё хочешь? Надо потерпеть. Нет, не подумай, что мне жалко, но я не знаю, как всё дальше сложится…

МЫШКА. Ах, не об этом я! Я вас спросить хотела: а чего вы там делать будете? Ну, вот проскочим границу, а дальше—куда?

ОН. Это что, опять в тебе твой патриотизм заёрзал или простое любопытство?

МЫШКА. Что, вам сказать, что ли, трудно?

ОН. Пока я точно не знаю, но я не пропаду, не переживай. Я думаю, что хуже, чем здесь, там не будет.

МЫШКА. Почему вы это знаете?

ОН. Потому. Потому что хуже быть не может. *(Вдруг и горячо.)* Неужели тебе самой не надоело всё это дерьмо, в котором мы здесь жили?

МЫШКА *(очень тихо)*. Надоело. Вы не поверите, но я тоже уже об этом думала. Все говорят: гордись, что ты живёшь в такой стране. А я не знаю, как и перед кем можно этим гордиться: у всех всё одинаково — шаром покати, эти норы грязные, мокрые; а зимой холод такой, что и сейчас вспомнить страшно. Как можно этим гордиться?

ОН. Вот и я тебе всё время об этом толкую. Понимаешь, нельзя дальше жить, если этого «дальше» дальше просто нету. Я ведь, как и ты, с детства слышал всю эту ахинею: родина — мать, береги её пуще всего, уважай и почитай. Но что это за мать такая, скажи ты мне, которая так детей своих унижает день ото дня? На кой чёрт мне нужны такие родители, которые меня с детства учили жить в такой безнадёге, в какой и сами родились, и в ней же всю жизнь промучились? Да гнать такую мать в шею от себя или самому от неё бежать. *(Более спокойным голосом.)* Поэтому ничего преступного, Мышка, в действиях своих я не вижу, а вот им там всем, правителям этим, должно быть стыдно (по меньшей мере), что если даже такие, как мы, драпают в разные стороны, то чего-то они там всё-таки не так делают. Двоечники бестолковые! И запомни, Мышка: неумение управлять на таком уровне — преступление страшное, которое калечит всех, весь народ. Но ещё большее преступление состоит в том, что они, всё это понимая, своё неумение и свою ничтожность, продолжают сознательно делать то, что они делают… *(Короткая пауза, во время которой стоит полная тишина, не нарушаемая даже работой двигателя.)* Эх, поразбежались бы оттуда все, остались бы там эти раздолбаи одни, вот бы весело стало. Может быть, перегрызли бы друг друга… Хотя нет, как-нибудь бы выжили бы, выкрутились, они ведь живучие, гады. Они живучее, чем клопы, которые живут, жили и будут жить в веках. Аминь!

МЫШКА *(наивно)*. А чего ж они тогда нас тут держат, раз мы им совсем не нужны? Выпустили бы всех, кто уехать хочет.

ОН. Ох и дурочка же ты, Мышка. Если б такое случилось, тут все бы так рванули… Или почти все. По крайней мере, те, кому уже терять нечего. *(Небольшая пауза.)* Ну и плюс это будет ужасный удар по их дурацкому национальному престижу: бегут… Кричит кто-то, слышишь?

Слышно, как грузовик замедляет ход. Какие-то голоса, крики, шум. Через пару секунд — выстрел.

МЫШКА. Что это?

ОН. Не слышишь, что ли, — стреляют. Понятия не имею, где мы и что случилось, здесь до самой приграничной зоны никаких остановок больше быть не должно. Вероятно, посты усиливают, драпает народец, видно, кучами.

Голоса слышны отчётливее. Несколько человек разговаривают совсем рядом с машиной; беседа их довольно оживлённая, но разобрать можно лишь отдельные слова. Вдруг совершенно ясно кто-то произносит: «Давай пятьсот, я согласен!» Другой голос: «Ну вот, а ты…» Смех. Голоса удаляются. Через некоторый временной интервал грузовик трогается в дальнейший путь.

МЫШКА. Вы что-нибудь поняли?

ОН. Поняли. Чего тут не понять? Наши эти двое, что груз везут, определённо тоже лыжи за кордон навострили, а документы у них, судя по всему, липа, вот и откупаются у каждого столба. Хватило бы у них денег до границы, чтобы на их машине и нам с тобой… Здорово бы было. Ты чего затихла, Мышка?

Мышка не отвечает.

Да что с тобой? Не грусти, всё не так уж и плохо. Нам самое главное — поближе к погранзоне подобраться, а там ничего, как-нибудь — ножками, ножками…

Слышится всхлипывание — Мышка.

ОН. Ты чего, плачешь? Ох ты, Боже мой, этого нам сейчас только и не хватало.

МЫШКА. Ничего я не плачу, просто настроение какое-то странное.

ОН *(бодро)*. А должно быть наоборот. Немного ещё осталось, потерпи.

МЫШКА. Потому и настроение — дрянь. Теперь я уже ничего не понимаю — правильно я сейчас поступаю или нет, всё во мне перемешалось, всё перепуталось…

ОН. Да не терзай ты себя, Мышка, обратно вернуться завсегда успеешь. Будешь потом трястись в норе своей вонючей и вспоминать наше с тобой путешествие.

МЫШКА *(вновь всхлипывая)*. Да в том-то и дело, что не хочу я больше обратно! И туда не хочу.

Сама не знаю, чего я хочу… Я вот только сейчас поняла, что не найду я жениха своего, а если и встречу когда, то… Не знаю…

Мышка начинает плакать.

ОН. Ну успокойся. Что на тебя нашло-то? Ну прошу тебя, успокойся. Может, покушать хочешь? У меня тут осталось немного…

МЫШКА *(рыдая)*. Не хочу я еды вашей!

ОН. Ну вот… Ты, может быть, боишься, что одна границу перейти не сможешь? Так ты не беспокойся, я не брошу тебя. *(Небольшая пауза.)* А про жениха своего забудь, пусть он там как ему хочется живёт. Ну подумаешь, он немного умней тебя оказался, раньше до всего дорубил, так ведь и мы уже почти у цели. И мы ещё знаешь как там устроимся… Ну не плачь, прошу тебя, Мышка!

МЫШКА *(обиженно)*. Всю жизнь вы мою за один день изувечили, всё теперь коту под хвост. Дура я, дура, всем верила: жениху верила, этим всем верила, отцу верила… Отец всё тоже вечно твердил: родина, родина. Родину—никогда, умирать—под родными берёзами. Умирать-то, может быть, и хорошо под этими берёзами родными, а вот как под ними жить, чтоб умирать не хотелось, этого он мне объяснить никак не мог. Как радио, каждый день долдонил одно и то же: родина, родина…

ОН. А где он теперь, отец твой?

МЫШКА. Не знаю. Года три назад в реку, на берегу которой они жили, сбросили чего-то такое, что даже камни на дне побелели; они от ужаса с матерью и подались куда глаза глядят. А куда у них в тот момент они глядели, разве узнаешь теперь?

ОН. Да, страна большая, как и глаза у страха,—есть от страха где разбежаться… По-моему, опять останавливаемся, зачастили что-то, определённо граница рядом. Ну, Мышка, держи хвост пистолетом!

МЫШКА. И так уж всю дорогу только что и делаю—держу и держу.

ОН. Останавливаемся.

Грузовик притормаживает, двигатель продолжает потихоньку работать. Сквозь этот шум слышны голоса, но разобрать, кто и о чём говорит, невозможно. Внезапно очень громко, через весь этот шум, мы слышим слово: «Тихо!» После этого возгласа и в самом деле становится очень тихо, и двигатель больше не работает. В этой наступившей абсолютной тишине незнакомый голос отчётливо произносит: «Полная проверка груза и документов. И баста! Я сказал!»

Действие 4

Открывается задний борт машины, откидывается брезентовый полог. Луч фонарика скользит по грузам в кузове. Это пограничник.

ГОЛОС ПОГРАНИЧНИКА. Выкладывайте всё это барахло на досмотр, а машину—в общую очередь! Раз ты по-хорошему не хочешь… Развелось вас тут, мудаков!

ГОЛОС ВОДИТЕЛЯ. Погоди, командир, не горячись, мы согласны. Давай как договорились…

ГОЛОС ПОГРАНИЧНИКА. А с кем это ты и о чём договаривался? *(Выключает фонарик и опускает полог.)*

ГОЛОС ВОДИТЕЛЯ. Да ты чё, командир? Ты же сейчас сам цену назначил, мы согласны…

ГОЛОС ПОГРАНИЧНИКА. Эта цена—одна цена, а с вас ещё по двадцать пять с носа—за базар в приграничной зоне!

ГОЛОС ВОДИТЕЛЯ. Командир, ты же раздеваешь нас совсем! Нам же на границе-то платить нечем будет…

ГОЛОС ПОГРАНИЧНИКА. Так вас, козлов, и надо учить! Родину бросаете, суки…

ГОЛОС ВТОРОГО ВОДИТЕЛЯ. Да ты сам лучше, что ли? Сейчас на нас бабок заколотишь и через пару месяцев двинешь, только тебя и видели…

ГОЛОС ПОГРАНИЧНИКА. Чё?! Чё ты сказал?! Ну всё, братцы, поворачивай оглобли, а нет—открываю огонь на поражение.

ГОЛОС ВОДИТЕЛЯ. Да вы чё?! Ты чё, офигел совсем?! Погоди, командир, пойдём поговорим, как говорится, с глазу на глаз. Погоди, командир!.. А ты здесь стой, совсем уже, блин, не шаришь, где чё базарить… В луже этой сдохнуть хочешь? Погоди, командир!..

Слышны быстро удаляющиеся шаги, чавкающие по грязи.

ГОЛОС ВТОРОГО ВОДИТЕЛЯ. Скотина! Был бы пистолет, всю обойму бы в него высадил, защитник рубежей хренов!

Неторопливо удаляющиеся шаги; слышно, как чиркает спичка о коробок.

МЫШКА *(шёпотом)*. И что теперь будет, как вы думаете?

ОН *(шёпотом же)*. Одно из трёх: шмонать станут, повернут их, или всё же проскочим. Эх, видно, туго у ребят с деньгами, совсем туго. А эти тоже, уже вконец обнаглели, на каждом посту рвут и рвут… Тихо, хлюпает кто-то.

Шаги. Приглушённый разговор, в котором разобрать ничего невозможно. Хлопают дверцы в кабине, и в следующее мгновение машина плавно трогается с места.

МЫШКА *(всё так же шёпотом)*. Выглянуть бы, оглядеться, куда едем: вперёд или назад?

ОН *(иронично)*. А тебе, голубушка, куды надобно—туды или сюды?

МЫШКА. Нет, ну серьёзно.

ОН. А если серьёзно, то там всё равно ничего не разглядишь: темень жуткая, и льёт как из ведра… Ты вот что, Мышка: если мы до границы всё же худо-бедно дотащимся и если там что-то с ребятами этими непредвиденное случится, то придётся нам с тобой сигать отсюда—и ножками, ножками в разные стороны…

МЫШКА. Почему же это? Вы же обещали помочь мне, а теперь…

ОН. Никаких «теперь», обещал—значит, помогу.

МЫШКА. Как же вы мне помочь сможете, если мы в разные стороны разбежимся?

ОН. Подожди ты со своими вопросами, лучше слушай меня внимательно. Если нам не получится границу с ходу форсировать и разбежаться нужно будет, то запомни: встречаемся возле заброшенной водокачки; она должна находиться где-то справа от пункта контроля. Увидишь, в общем, она здоровая такая. Знаешь хоть, как она выглядит?

МЫШКА. Знаю.

ОН. Так вот, там я тебя сутки буду ждать. Потом уж—извини, если не успеешь, поползу один…

МЫШКА. Я успею.

ОН. Я тоже так думаю. И вообще, поспокойнее будь, если там стрелять станут или…

МЫШКА. Как?! Стрелять станут? Кто же это?

ОН. Да так, знаешь ли, ходют тут люди разные по лесам родным да рощам и постреливают… Пограничники, кто же ещё! Ох, Мышка, Мышка, с какого же ты неба на меня свалилась? Так вот, стрелять станут—сразу падай и не шевелись, и лежи так как можно дольше, потом куда-нибудь в сторону потихоньку отползай. Они в такую погоду далеко не полезут: пару раз пальнут да фонарями посветят. По-крайней мере, я так думаю.

МЫШКА *(совсем перепуганно)*. А если ранят, что делать? Что делать, если ранят?

ОН. А ты не думай об этом, на-ка вот поешь лучше и заснуть попытайся… Всё нормально будет.

МЫШКА. Спасибо, но кушать мне совсем не хочется. Мы эту еду лучше с собой возьмём, а то мало ли что нас там ждёт; может, у них и еда совсем другая. Я вот слышала, что они специальное что-то в пищу добавляют, чтобы их люди, еды этой поев, страну нашу ненавидели. И даже в воду тоже…

ОН *(весело)*. С тобой, ты не обижайся, но безо всякого цирка можно со смеху лопнуть. Да тебе самой вон и добавлять ничего не надо. Забыла, что ли, где ты сейчас и куда направляешься?

МЫШКА. Опять вы за своё?! У меня и так в жизни ничего не осталось, никаких идеалов, а вы…

ОН. Ну извини, извини. *(Короткая пауза.)* А насчёт еды, так ты права, оставь немного. И всё, хватит болтать, ложись поспи, я тебя разбужу, когда надо будет. Да и я, пожалуй, прилягу, а то с такой, блин, ездой…

МЫШКА. А не проспим?

ОН *(смеётся)*. Не проспим. Хотя лучше бы, конечно, проспать и на той стороне проснуться. Но так в сказках бывает, а на границе сказок не бывает. Спи!

В кузов спускается тишина. Слышен привычный звук мерно работающего двигателя. Так проходит какое-то время. Затем раздаётся взволнованный шёпот Мышки.

МЫШКА. Слышите?

ОН. Слышу, слышу, я уже давно не сплю.

МЫШКА. А что это?

ОН. Граница, вот что это. Ты всё запомнила, как уговорились? И сейчас, прошу тебя, делай всё, как я скажу, ничего не переспрашивай… Тихо!

Грузовик сбрасывает обороты двигателя и на самой низкой скорости подкатывается к какому-то большому шуму. Разобрать в этом шуме практически ничего невозможно: работающая техника, крики людей, какие-то глухие металлические удары, и над всем этим—громкий, усиленный мегафоном голос: «Грузовые—влево! Легковые—вправо!»

Ну всё, Мышка, теперь будем лишь на удачу уповать.

Внезапно машина резко тормозит; чей-то незнакомый голос—требовательно: «Оба из кабины с документами!» Хлопают дверцы, неразборчивое бормотание. Через минуту—тот же требовательный голос: «Этих двоих тормози, в сторону, на досмотр!»

ГОЛОС ВОДИТЕЛЯ. А чё случилось, командир? Чё-то не в порядке?

ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ ГОЛОС. Всё не в порядке.

ГОЛОС ВОДИТЕЛЯ. Но у нас больше нету, не, я клянусь. Всю дорогу, на каждом углу трясли…

ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ ГОЛОС. А мне насрать. Я сказал — на досмотр, и точка!

Удаляющиеся шаги нескольких человек. И вновь голос водителя.

ГОЛОС ВОДИТЕЛЯ. Командир, ну погоди, поговорим. Чё ты убегаешь-то?

ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ ГОЛОС *(издалека)*. Ну что ты бегаешь за мой? В карцер хочешь?

ОН. Ну всё, Мышка, ждать больше нечего, влипли наши ребята конкретно. Будут их здесь держать, пока они не откупятся. И если денег у них и в самом деле больше нет, то придётся им платить грузом. А это значит, что здесь шарить начнут и нас найдут сразу же. Бежать надо и дальше своим ходом пробираться; слава Богу, что мы рядом совсем… Я сейчас вылезу и осмотрюсь немного.

МЫШКА. Страшно мне.

ОН. А чего тебе страшно?

МЫШКА. Что с нами будет теперь?

ОН. Лучше молчи, Мышка, не начинай опять, всё нормально будет, только молчи.

В кузове вновь тихо, лишь слышно, как негромко вздыхает Мышка. Проходит некоторое короткое время.

ОН. Куда-то они все пошли — скорее всего, договариваться, но боюсь я, что не выйдет у них ничего. На границе от ухарей этих так просто не откупиться: тут у них дно золотое, и пока они тебя до нитки не разденут, никуда ты отсюда не двинешь. Это — диалектика, дорогая моя Мышка.

МЫШКА. Значит, бежим?

ОН. Конечно, а другого выбора у нас и нету. Сейчас вот только дождёмся, когда совсем стемнеет… И не забудь, о чём мы с тобой договаривались, насчёт водокачки.

МЫШКА. Возвращаются, кажется. Слышите?

Приближаются хлюпающие шаги, вместе с возбуждёнными голосами.

ГОЛОС ВОДИТЕЛЯ. Вот урод! Нет, ты понял, чё они хотят?

ГОЛОС ВТОРОГО ВОДИТЕЛЯ. А ты чё думал, если те всю дорогу трясли, эти всё обратно отдадут? Здесь вообще всё отборное дерьмо собралось.

ГОЛОС ВОДИТЕЛЯ. И чё делать будем?

ГОЛОС ВТОРОГО ВОДИТЕЛЯ. Чё делать, чё делать! Рвать отсюда. Отдать им половину, пусть берут чё им надо, и рвать на всех парусах, пока они не передумали и машину не отобрали…

ГОЛОС ВОДИТЕЛЯ. Да ты чё?! Чё мы там без груза-то делать будем?!

ГОЛОС ВТОРОГО ВОДИТЕЛЯ. А чё ты здесь с грузом делать будешь? Если здесь зависнем, рано или поздно всё заберут, а потом ещё и шлёпнут, чтоб свидетелей не было.

ГОЛОС ВОДИТЕЛЯ *(жалобно)*. А там-то как же без всего?..

ГОЛОС ВТОРОГО ВОДИТЕЛЯ. Да не ной ты, машина будет — не пропадём… Пошли к этим …, а то ещё передумают. Пошли!

По грязи шлёпают шаги, жалобно блеет голос водителя.

ОН. Всё, Мышка, больше времени у нас нет. Через пару минут они вернутся, и тогда поздно будет. Давай через борт! Здесь рядом с машиной канава, постарайся в неё упасть, потом ползи по ней направо, к кустам… Давай!

МЫШКА. А вы?

ОН. И я, естественно. Про водокачку не забудь…

С одной стороны кузова приоткрывается брезентовый полог, и мы видим, как две крысы (одна побольше, другая поменьше) прыгают с борта машины куда-то вниз, в темноту.

Брезентовый занавес.

Александр Ломтев

Переплывая реки

Саня-кнут

Мир сильно изменился. Очень сильно. Вот, например, пропали юродивые. Дураки, маньяки, нищие, бесноватые остались—этих маньяков и бесноватых по телевизору сколько угодно показывают, а юродивых больше нет. Вымерли как вид. А я ещё застал времена, когда они изредка встречались. В середине двадцатого века…

В деревеньке, где жили мои бабушка с дедом, жил, может быть, последний юродивый России. Ну уж в наших краях последний—точно! Классический такой юродивый: ходил в обносках, зимой и летом босиком, в сумку собирал всё, что ни найдёт или что подадут. Не попрошайничал, был добрым и разговорчивым. И всё время не расставался с самодельным верёвочным кнутом, за что и был прозван Саня-кнут.

Дед мой, когда сильно сердился на меня за детские мои не всегда безопасные проделки, говорил в сердцах:

—Да у тебя понятия меньше, чем у юродивого! Вырастешь—будешь, как Саня-кнут, с голым пузом ходить.

Как и положено юродивому, был Саня-кнут истово верующим. И была у него мечта: попасть на камушек Серафима Саровского. Саровский монастырь в те годы уже оказался за колючей проволокой; посёлок, что был под его стенами, облюбовали учёные и военные, которым Родиной было поручено создать атомную бомбу, чтобы ответить на бомбу американскую и спасти мир от войны. За колючей проволокой в три ряда, контрольно-следовой полосой, вдоль которой ходили солдаты с овчарками, оказалась и Дальняя пустынка, где Серафим вершил свой главный подвиг. Так что мечта попасть туда была из области несбыточных.

Но не зря старые бабушки говорят: вера сотворит любое чудо. Невероятно, но факт: на серафимовских местах Саня-кнут побывал!

Как-то в июле он вдруг из села пропал. А через месяц его привезли на военном «газике», провели в правление колхоза, а потом опять посадили в «газик» и увезли. Верёвочный кнут, как заметили немногочисленные свидетели происшествия, был при Сане… После этого юродивый сгинул окончательно…

И только годы спустя тайное стало явным.

В то лето Саня-кнут во что бы то ни стало решил попасть в секретный город и пробраться на Дальнюю пустынку. Он всю весну и весь июнь бродил вдоль колючей проволоки и выискивал лазейку. Безрезультатно. Один раз в него даже стрелял узкоглазый темнолицый солдат—то ли киргиз, то ли якут. Но не попал.

И вот в конце-концов Саня набрёл на железнодорожную ветку, по которой в закрытый Саров по ночам ходили время от времени составы. Тут он и понял, как проберётся в город. Выждав, когда на станцию пригнали состав с лесом, он нашёл платформу с самыми большими брёвнами и ухитрился пробраться в щель между стволами. Конечно, там его непременно должно было раздавить во время движения. Но не зря в народе говорят, что Бог заботится о дураках, пьяных и Соединённых Штатах Америки. Поскольку юродивый сродни дураку, Бог, видимо, пожалел Саню, и его не раздавило брёвнами, не унюхали овчарки, не проткнул длинным железным штырём солдат на кпп. Когда состав пришёл на товарную станцию Сарова, была ещё ночь, и Сане удалось незамеченным выбраться из брёвен и так же не обнаруженным уйти со станции.

Недели полторы он жил в самодельном шалашике на Дальней пустынке, которую нашёл без труда по рассказам богомольных стариков из нашего села, ещё помнивших, как их в детстве водили на поклонение мощам Серафима и в монастырь, и на пустынку. Однако когда кончилась принесённая в котомке еда—хлеб, печёная картошка и печёные же яйца, пришлось идти в город. Тут, в городе, его и замели. Для интеллигентных жителей научного Сарова в диковинку оказался грязноватый человек в рубище и с кнутом на плече, который стоял у магазина и ласково просил хлебушка. кгб в те времена работал шустро. Саня-кнут был моментально задержан, доставлен куда следует, и кто следует его допросил. Долго не решались поверить, что оборванный человек—не американский или, на худой конец, английский шпион. Несмотря на то, что Саня кнут подробнейшим образом описал, как он проник в город, показал шалаш, в котором жил, и рассказал, кто он и откуда, саровские рыцари плаща и кинжала долго отказывались признавать реальность его истории и усердно строили версии

шпионского направления, допрашивая его, как инквизиция Коперника. Саня, однако, всем улыбался, ничего не боялся, охотно и многословно отвечал на все вопросы и вышел из себя лишь однажды, когда кэгэбэшники отняли у него кнут. Он так орал, рыдал и колотился в судорогах, что кнут ему вернули и больше отнять не пытались.

В конце концов, Саню посадили в «газик», привезли в село и предъявили правлению колхоза с председателем во главе для опознания. Со шпионской версией кэгэбэшникам пришлось-таки с большим сожалением расстаться…

Куда увезли Саню, так никто и никогда не узнал. Говорили только, что, садясь у крыльца правления в кэгэбэшный «газик», Саня-кнут беспечно и счастливо улыбался. Ещё бы: его несбыточная мечта сбылась. «Газик» повёз его в неизвестном направлении, а оказавшиеся около правления случайные старушки тайком крестили воздух ему вслед…

С тех пор ни одного юродивого в наших краях никто никогда не видел.

Остановка

Господи, сколько же я здесь не был? Лет сорок? Я совсем другой, а тут всё по-прежнему. Только деревья стали повыше и стволы их потолще, а дорога, что была проезжей, теперь брошена, и поворотный круг — конечная автобуса 3 «а» — почти зарос полынью и крапивой. И что это нас тянет в места, связанные с детством, словно убийцу на место преступления? К этим дворам, скамейкам и сиреневым купинам за облезлыми штакетниками, к этим тропинкам, среди миллионов следов которых давно стёрлись наши следы; никто и ничто нас здесь не помнит и не ждёт, но память никак не желает смириться с потерей…

…Автобус останавливался, заставив качнуться плотно стоящий народ, замирал у таблички «Остановка», и двери с шипеньем удава открывались. Если кондуктором была Матрёновна — полусумасшедшая пожилая тётка — пассажиров ждало небольшое развлечение: Матрёновна бросалась открывать автоматические двери руками, поскольку всю жизнь работала на старых автобусах, в которых двери за специальный рычаг должен был открывать кондуктор. И сколько ей ни объясняли, что двери теперь открываются сами, она всё равно бросалась их раздвигать, и тужилась, и сердилась: вот сволочь, тугие какие!

Если пойти вот этой совсем ветхой асфальтовой дорожкой, придёшь к реке. В реку и сейчас смотрится старая колокольня. Правда, теперь вместо телеантенны над ней крест, а неподалёку, вместо зелёных финских домиков среди сосен, поднялись над зелёными кронами красные многоэтажки. А если идти в противоположную сторону, придёшь к синему штакетнику детского садика, куда, собственно говоря, и водил меня каждое утро отец… Ни детского садика, ни тем более штакетника теперь нет. Всё-таки меняемся не только мы, но и те места, что казались нам когда-то незыблемо вечными.

«Санька, на какую букву начинается слово «остановка»? На «О». А почему же на табличке написано «А»? Действительно, почему? Дурак, потому что «автобус», вот почему! А-а…»

Табличка совсем заржавела, краска мелкими струпьями кудрявилась кое-где по жестяной плоскости, но при желании всё ещё можно было разглядеть неверные очертания большой буквы «А». Прямо от посадочной площадки в лес уходила живописная тропинка, над которой шатром смыкались ветви клёнов, тополей и лип. Оттуда пахло сырой травой, мхом, ежами и ещё чем-то таинственно неведомым, там сквозь мягкий прибой листвы под ветром свиристели невидимые птицы. И мне всё время хотелось туда, в этот зелёный призрачный сумрак, но отец упрямо вёл меня мимо тропинки, мимо окраинных финских домиков, к знакомому синему штакетнику детского сада…

— И вот она, эта женщина, вышла с девочкой из автобуса и пошла не по тротуару, а в лес…

Я сижу в зарослях сирени под ограждением веранды: ребятишки играют на площадке — кто с мячом, кто с куклами, двое мальчишек ссорятся из-за большого зелёного экскаватора, а на меня нашла блажь забиться в укромное местечко и помечтать. К нашей воспитательнице пришла воспитательница из соседней группы и они, опершись на перила веранды и поглядывая каждая за своими, не замечая меня, азартно шепчутся громким полушёпотом.

— А шофёр ещё обратил внимание: чего это она с утра в лес, если и детский садик в другую сторону, и речка в другую, а в лесу ни грибов, ни ягод? Да и девочка маленькая совсем ещё.

— Ну и…

— Ну и решил постоять. Конечно, график, и нагоняй мог получить, но вот, видимо, предчувствие у него какое-то…

— Ну-ну…

— Ну, смотрит, а она вся не своя, возвращается одна, садится в автобус с вытаращенными глазами и сидит, как мумия.

— А шофёр?

— А шофёр выскочил из кабины да как побежит в лес по тропке-то; смотрит, а там… — мне становится холодно в моей июльской сирени. — А там девочка-то и висит на дереве повешенная!

— Боженьки ж вы мои!

— Но он её успел снять, пока она ещё не до самой смерти задохлась. Лёгонькая, шейку-то ей не до конца затянуло…

— Я бы этой злыдне все зенки повыцарапала — родное дитя повесить! Это что ж за времена настали?..
— Нагуляла она девочку-то безмужняя, вот, говорит, люди вокруг, родня попрёками и довели. Говорит, и сама отравиться потом хотела. Правда, и таблетки какие-то при ней вроде бы нашли. А девочка в милиции и говорит: мама, мол, верёвочку на шейку повязала, играть, говорит, будем, а сама пропала…
— Да-а-а…

Я сидел в кустах под верандой ни жив ни мёртв, оглушённый свистящим дуэтом воспитательниц, и постепенно начинал понимать о мире что-то другое, чего не знал до сих пор; что-то большое, грозное и неумолимое. Наверное, я впервые почувствовал, насколько беззащитен и одинок на свете человек, если даже родная мама может…

У стояка, к которому крепилась табличка остановки, прямо через отверстие большого колёсного диска, врытого вместо станины, проросла рябина; может быть, поэтому ржавое железо, спрятанное в её листве, и уцелело от исчезновения в недрах «цветмета». Асфальт тротуаров тут и там пробила всесильная зелень, от поветшавших, но сохранившихся ещё финских домиков доносился собачий лай. В плотной стене зелени не было даже намёка на живописную тропинку, уводившую когда-то моё воображение в лесной рай с ежами, папоротниками и неведомыми птицами. А ветер по-прежнему шумит и шумит в плотной листве, как шумел сорок лет назад, и будет шуметь через сорок лет после моей смерти, когда не только о детском садике, об этой пропавшей тропинке, о девочке и её несчастной матери, но и обо мне самом-то некому будет вспомнить…

Слёзы

Крыльцо заметно покосилось. Да и немудрено: последний раз к нему «прикладывали руки» лет двадцать пять назад. Константин Иванович остро почувствовал это время: «Четверть века!» Вроде всё как прежде, да только поизносилось, осело, будто бы полиняло… И снова очень остро он осознал, что расстаётся с этим домом навсегда. На деревянном, грубо сколоченном ещё дедом столе, что словно врос в доски просторного крыльца, лежали документы на дом.

Женщина-покупательница внимательно просматривала бумаги; из-за плеча её так же внимательно смотрел мужчина, но было ясно: главная — она. Покупатели жили в этом доме уже полгода, и дом стал приобретать чужие неясные запахи, стал исподволь, словно тайком, меняться, даже как бы изменять бывшим хозяевам. И Константину Ивановичу было это неприятно. В общем-то, продавать дом он и не собирался, всё-таки и «родовое гнездо», и дачка какая-никакая. Но вдруг открылся неподалёку восстановленный монастырь, известный на всю Россию, и цены даже на такие старые, неухоженные дома взлетели неимоверно. Ехали всё больше с Украины, надрывно-православные, какие-то возбуждённые, чуть сумасшедшие, торговались, но почти всегда соглашались с хозяйской ценой. И тут жена Константина Ивановича, прежде снисходительно поглядывавшая на «имение» как на ненужную безделицу и даже позволявшая привозить себя на день-другой в мужнину деревеньку, вдруг заладила: продай да продай. Да и причин было хоть отбавляй: дочке на институт нужно, машину поменять давно пора, ремонт в квартире лет пять не делали, да мало ли…

Жена с дочкой в доме вязали узлы со старыми альбомами, бабкиным, ставшими вдруг модными, вязаными ковриками, кринками и иконами, а Константин Иванович сидел за дедовым столом, смотрел, как ласточки стригут летнее небо, как кошка карабкается по тесовой крыше соседского дома, и тосковал. То ли о доме, то ли об ушедших временах, то ли о себе самом, оставшемся где-то в далёком детстве…

…Субботними летними вечерами, после баньки, дед выносил на крыльцо самовар. Настоящий, большой. Топил его смолистой сосновой щепой, шишками, которые специально собирал в большой рогожный мешок. Приходили соседи — Калган с Калганихой, их внучка Любашка, пили чай. Дед, бабушка, Калганиха — вприкуску, Костя с Любашкой — внакладку, Калган — вприглядку; у него был диабет, да и вообще он больше уважал самогон. Когда лица у всех краснели и пот начинал капать с носов, самовар убирали в сторону и дед доставал карты или лото. В карты играли на копеечку — в дурачка подкидного, в пьяницу, в петуха и даже в совсем уж детское «хрю-хрю». Калган, получив карты, начинал балагурить:
— Вот собрались медведь, волк, лиса и заяц играть в карты. Медведь сразу говорит: играть честно! А волк: а кто будет мухлевать, того будем бить по наглой рыжей бесстыжей морде!

Никто не смеялся, а Калганиха говорила:
— Ты этот анекдот в прошлый раз рассказывал.

Бабушка усмехалась:
— И в позапрошлый.

Дед:
— И в следующий раз расскажет!

Тогда все смеялись. А Калган и правда в следующий раз снова заводил историю про зверей…

А как хорошо было зимой! Набегаешься по снежным горкам, замёрзнешь, задубеешь, как полено на морозе, а тут печка, на полу матрас, набитый душистым сеном, братья и сёстры возятся под лоскутными одеялами, старый тулуп в головах поделить не могут, щекочут друг друга. Дед цыкнет, погасит свет, сядет на чурбачок у голландки,

курит едкую самокрутку — «козью ногу», дым в отсветах огня, радио на этажерке горит зелёным глазом и поёт далёким мужественным голосом: «И снег, и ветер, и-и звёзд ночной полёт… Меня-а моё сердце в тревожную даль зовёт…»

Сейчас люди так не живут. И живут не так, и сами другими стали. Кажется, вроде и к лучшему всё идёт — вон сколько всего полезного… Сотовый, в Турцию два раза ездили, и никакого разрешения ни от парткома, ни от профкома — были бы деньги. Еда какая хочешь в магазинах. Константин Иванович усмехнулся, вспомнив, как привозил впервые появившиеся заграничные деликатесы в деревню, как втолковывал деду преимущества рынка. Как дед, отведав отварных креветок, говорил упрямо: «Ну, раки-то лучше!» Да-а… А всё ж таки что-то ушло. Тепло ушло, душа куда-то, как вода меж пальцев, просочилась.

Забывшись, Константин Иванович всё смотрел и смотрел на гладкие доски стола, на заплывшие царапины, на рубчики от ножа, на едва видимые, отполированные руками и временем сучки и жилки; вспоминал, как бабушка скоблила столешницу ножом, тёрла содой, насухо вытирала тряпицей… И мычали вечерние усталые, истомлённые летним молоком коровы, возвращавшиеся в деревню, и тарахтел, задыхаясь, по задам кривоногий тракторишка-пердунок, волоча, как большой красный муравей, огромное бревно, и хулиганили под застрехой пудики, и жизнь была длинная-длинная, наполненная то солнечным теплом, то морозным солнцем, то жёлтой берёзовой метелью, то безудержными трелями вернувшегося из нетей скворца…

Женщина наконец сложила бумаги и, кивнув головой, обернулась к мужу:
— Неси деньги…

Константин Иванович очнулся, вынырнул из прошлого; вместе с женой и дочкой, вытащившими на крыльцо узлы с последними отобранными пожитками, он замороженно смотрел, как покупатели пересчитывают купюры, как жена аккуратно складывает пачки в сумку, и чувствовал, что сердце наливается усталостью и безразличием. Не слыша самого себя, попрощался с новыми обитателями дома, подхватил узлы, спустился с крыльца.

Выйдя на дорогу, он обернулся и увидел в тёмном окне женское лицо. На мгновенье показалось, что это бабушка, как раньше, смотрит ему вслед, и он вдруг заплакал. Руки были заняты узлами, и он не мог вытереть слёзы. Шёл и плакал.

Жена удивлённо и даже испуганно остановилась:
— Да Костя, да что ты? Ну давай вернёмся, отдадим деньги, откажемся… Что ты?

Дочка смотрела во все глаза и молчала. Константин Иванович, не останавливаясь, шёл к машине и сладко плакал.

Ехали они молча, слёзы на щеках Константина Ивановича высохли, но он чувствовал, как двумя невидимыми дорожками они стягивают кожу. Как в детстве…

Переплывая реки

Нам было по двадцать, нам хотелось приключений и испытаний духа и тела. И мы переплывали реки. Мы переплыли вольную, но медлительную Волгу, переплыли не столь широкую, но неприметно быструю Оку, холодную лесную, пропахшую смолой и дизелем Вятку; Урал мы переплыли «на одной руке», правда, в нас, как в Чапая, не стреляли с крутого берега злые белогвардейцы. Переплыв стремительную и холодную Северную Двину, мы долго не могли согреться у огромного костра из таёжного валежника; зато, переплывая в компании весёлых дельфинов Керченский пролив, мы и не устали, и не замёрзли.

По зелёному берегу Дона отливали тусклой платиной чубы ковыля, по краю прибрежного обрыва ходили ленивые лошади, а высоко в небе кучерявились невесомые облачка. Мы знали, что Дон не доставит нам хлопот.

Сидя на горячем песке в позе лотоса, он глубоким и ровным голосом Будды не сказал, а изрёк:
— Преодолевая реку, ты преодолеваешь себя.
— Ты заговорил афоризмами. Но я бы тогда обобщил: преодолевая любое препятствие — ты преодолеваешь себя.
— А может быть, ещё глобальнее: преодолевая самого себя как одно из главных препятствий, ты преодолеваешь жизнь!
— Тогда уж: преодолевая жизнь, ты преодолеваешь смерть!
— Аминь!

Мы ещё не готовы были задуматься о том, что можно преодолеть всё, кроме Леты; мы вошли в прохладную воду Дона и поплыли. До другого берега жизни плыть мне было ещё очень далеко. А его берег был совсем близко. Но мы тогда об этом ещё не знали…

На Ивана Купалу

Были каникулы. Было лето. Был день Ивана Купалы. Мы бегали вдоль пруда и *сика́ли* в прохожих водой из любых подручных ёмкостей — из «клизьмы», из велосипедного насоса, из водяных пистолетиков; а если заставали кого-то из сверстников на узком, в три доски, мостике через пруд, то сталкивали его в воду. Мы брызгали в тёток, идущих по мостику на обеденную дойку за околицу, в визжавших в притворном ужасе старшеклассниц, бежавших с тока домой пообедать, в старого почтальона, закрывавшего руками свою

сумку, в юродивого, который смеялся беззубым ртом и грозил нам самодельным кнутом из размочаленной верёвки, в деда, гнавшего по берегу пруда норовистую козу. И никто не обижался; в жаркий летний день даже приятно, когда на потное горячее тело брызгают прохладной водицей. А если людей поблизости не было, мы *сика́ли* друг в друга, в собаку Шарика, носившуюся с нами как угорелая, сбивали водяными струйками быстрых стрекоз и оводов… Воду мы набирали прямо из пруда, тут же, с шаткого низкого мостика.

Иногда, утомившись от необузданного смеха и погони за жертвами, мы ложились голыми животами на горячие шершавые доски и всматривались в мутноватую воду пруда, пугая друг друга:
— А вот сейчас русалка тебя за волосы — хвать!
— Утопленник!
— Водяной!

Мир мирно и солнечно плавал вокруг нас бездумным сонным цветочным, сенным и молочным духом.

А кругом было лето, и свет, и свобода двенадцати лет…

А вечером из-под мостика вытащили утопленницу. Семнадцатилетняя девушка утопилась ночью «от несчастной любви». Она весь день была там, под мостиком. И, может быть, безмятежно лёжа на тёплых досках и глядя в воду, мы смотрели прямо в её печальные глаза…

Паук

Ему за восемьдесят. Он смотрит в окно. За окном ночь, дождь, осень, за окном на полуоблетевших ветках мокнут последние яблоки. За окном млеет в предзимней дрёме глухое мордовское село. Пахнет печным дымом и предчувствием снега. Когда-то, когда он был совсем маленьким, отец сказал: каждый серб должен побывать хоть раз в России! Слова эти отчего-то запали в душу, и он всю жизнь мечтал побывать здесь, в России. В какой-нибудь маленькой деревеньке с деревянными домами, с белой церковкой на косогоре, с погостом при церковке, со стогами, в доме с русской печкой, среди простых деревенских людей, чтобы стояли на столе тарелки с картошкой, с солёными огурцами, с грибами; чтобы его угощали настоящим самогоном и чаем из самовара… Ах, как ему хотелось бы, чтобы давно ушедший из этого мира отец как-нибудь смог узнать, что сыну довелось-таки сюда приехать…

Порой он сам удивлялся, сколько отпустила ему судьба. Европа казалась ему теперь такой маленькой. История мира была его историей. Сербия, Франция, Германия. И вот теперь — огромные просторы России, к которой его всегда тянуло и в которую он никогда не надеялся попасть. Человеку, сбежавшему от Тито, даже после охлаждения дружбы между СССР и Югославией, в Советский Союз въезд был заказан.

Он берёт стакан с мутноватым содержимым и говорит:
— Я всегда поднимаю один необычный тост. Мы выпьем, а я потом расскажу, — он поднимает гранёный стакан с мордовской самогонкой. — За паука!

Мы, морщась и крякая, выпиваем, и он рассказывает нам про паука.

— История сделала полный оборот. Круг. В жизни моей всё начиналось с бомбёжек — бомбёжками всё и заканчивается… Когда я был маленьким, Сербию бомбили немцы, у меня, тихого «домашнего» мальчишки, на глазах убили серба на нашем заднем дворе, потом пришли советские. А теперь, под занавес моей жизни, когда я осел в Германии, я смотрел по Си-эн-эн бомбёжку Сербии НАТО.

Мне было шестнадцать, когда я бежал из Югославии во Францию; я участвовал в студенческих беспорядках, вновь бежал — в Германию, в Западную, само собой. Занимался живописью, влюбился и надеялся на счастье, но остался один. И вот тебе уже тридцать, и ты один, и не можешь вернуться на родину, и сердце гложет тоска о покинутой девушке, а до тебя никому в целом свете нет никакого дела. Мне было очень грустно. Очень.

Я уехал на Адриатическое море. Жил на берегу, в домике на краю виноградника, бродил по холмам вдоль бухты, иногда купался, порой лежал на горячих белых камнях и думал о жизни, о людях, о прошлом и будущем. И вот однажды я сидел в тени виноградной лозы; и тут увидел этого паука. Большой такой, красивый яркий паук. Сначала он прятался, но я сидел тихо, и он выглядывал из-под листьев и, застыв, смотрел на меня. Вокруг под камнями было полно мелких бледных скорпионов. Я поймал одного и, насадив на жёсткую травинку, протянул пауку. И тот схватил скорпиона и унёс в гущу листвы. Я ждал, но паук больше так и не появился. Зато на следующий день паук ждал меня в том самом месте, и я снова поймал для него скорпиона. Каждый день он ждал моего прихода. Мы подружились, я кормил его скорпионами, разговаривал с ним. Паук перестал убегать и внимательно слушал, и мне казалось, что я хоть кому-то на планете стал близок и дорог. А вы знаете, между прочим, что паук делает двести тысяч разных сложных движений? Это всё равно как если бы у человека был словарный запас в двести тысяч слов. Это значит, паук очень интеллектуальное животное. Паук — красивое, полезное и умное животное, нужно просто приглядеться, понять его мир. И, познавая его мир, вглядываясь в его жизнь, я как-то легче и проще стал относиться к самому себе.

Дни шли один за другим, душа моя стала входить в берега, я успокаивался, тоска настаивалась в светлую печаль, а печаль постепенно таяла, как летнее лёгкое облачко…

Наконец пришло время уезжать. Я пошёл попрощаться со своим пауком. Но, представляете, под камнями у виноградника не оказалось ни одного скорпиона. В пакете у меня лежали бутерброды, и я решил посмотреть, чем можно угостить друга. Я склонился над виноградным листом, а паук привычно, приподнявшись на задних лапах и выставив передние, ждал подарка. И тут с помидорки на бутерброде на виноградный лист капнула большая капля оливкового масла. Паук бросился на каплю и схватил её. Он схватил её, потом высоко подпрыгнул — и умер! Я подул на него, стараясь освободить от масла, даже взял его за лапку и легонько потряс. Бесполезно — паук умер.

Я смотрел на мёртвого паука и чувствовал, что жизнь ударила меня под дых. И я заплакал, я плакал, прощаясь с пауком, с молодостью, с прошлым, с глупыми, наивными надеждами, не знаю ещё с чем. Но я почувствовал, что впереди меня что-то ждёт, многое — и плохое, и хорошее, интересное и трагическое, разное… Так оно и вышло. С тех пор в кругу друзей я обязательно вспоминаю того паучка и поднимаю тост: «За душу покойного паука!»

За столом все молчали. Дождь мерно стучал в чёрные окна, осень за окном с тихим стуком сбивала наземь последние яблоки. Пахло печным дымом и предчувствием снега. От печки шло сухое доброе тепло, стояли на столе тарелки с картошкой, с солёными огурцами, с грибами, мутно отсвечивал в большой бутылке ядрёный самогон; и трудно, почти невозможно было бы представить себе, что где-то плещется Адриатическое море, печёт солнце, и шелестит широкими листьями зелёный виноградник, и скорпионы прячутся от жары под белыми камнями, если бы не задумался у окна девяностолетний человек, который увидел весь свет, несколько войн, любил и терял, мечтал и разочаровывался… И всю жизнь не мог забыть о нечаянно убитом пауке…

Д*и*Н стихи

Александр Шубин

Чернозём

Поезд уходит

Поезд уходит в полночную осень.
Черти грохочут под каждым вагоном.
Малый: догоним — по строгому спросим!
Старый: чуток — и догоним!

В каждом вагоне — и с каждой скамейки
дни мои грустно таращатся в окна.
Я — как последняя проба ремейка —
В это же действие вогнут.

Перед глазами киношной келейкой
чёрный квадратец, подсвеченный детством:
кинопись жизни — где склейка на склейке —
в общенародном контексте.

Поезд летит, как в побеге растратчик, —
перемежая тоскою дыханье.
Как же сладка из последней заначки
жизнь за прозрачною гранью.

Сириус белым горит, светофорит,
гонит в Аид, в пересуд бесконечный,
где — первым кругом, огнями «love story» —
переливается Млечный.

Чернозём

Темна и голодна дернина дней созревших:
им отданы миров огни, и голоса,
и времена, где ты, застыв, остался прежним —
как древний богатырь, хранящий чудеса.

И жизнь моя — в прирост, в исподник травостоя,
где память бытия — всеобщий кровоток,
таинственный замес, творящий всё живое.
Как щедро в нём разлит божественный желток!

Став притчею веков, мы — у порога дома,
где ал — раскаян лист к отечеству припал.
И первый снег — простак и простоты потомок —
скатёркой тишины весь белый свет убрал.

Мы — горняя капель, живущая полётом,
с дарующей руки берущая взаём
мгновенный облик лиц и душу как работу,
которую так ждёт небесный чернозём.

Семён Каминский

Судьба барабанщицы

Однажды родственники из деревни привезли Чуприниным в качестве гостинца петуха. Петух был ярко-белый, толстый и самодовольный, с пухлым багровым гребнем. Несколько дней он жил у них на балконе, привязанный верёвочкой за лапку к решётке. Маленькой Ирке петух понравился. Ей сказали, что его зовут, естественно, Петей, но она называла его почему-то Пашкой. Ирка часто бегала на балкон посмотреть, чем он занимается, беседовала с ним по душам, подсыпая пшена в железную коробочку от сайры. Когда петух клевал пшено: тук, тук, тук-тук-тук,—Ирка отстукивала такой же неровный ритм деревяшкой по перилам. Звук метался, дробился оглушительным многоголосием в колодце двора, окружённом одинаковыми девятиэтажками. В окнах появлялись недовольные физиономии соседей. Петух поднимал голову, минуту-другую прислушивался к этому тарараму и снова продолжал клевать.

Дня через три, пока Ирка была в детсаду, петуха зарезали и сварили наваристый суп. Ирка сначала ничего о случившемся не знала, выскочила на балкон—а там пусто, даже подстилки от петуха не осталось. И тут её позвали обедать: иди попробуй, какой супчик замечательный получился! Ирка плакала навзрыд и есть категорически отказалась: вы все, заявила, самые подлые предатели и убийцы, я никогда не буду есть суп из моего друга.

Лет в четырнадцать ей купили первые джинсы—польские или болгарские, странного лилового цвета с белёсыми разводами,—ну, тогда и таких было не достать, не говоря уже о настоящих, американских. В этих потешных джинсах и клетчатой байковой рубашке Ирка сидела в коридоре Дворца культуры железнодорожников—прямо на полу, возле двери в репетиционную комнату рок-группы «Локомотивы»,—когда её заметил руководитель группы Вилен Давидович.

—И давно ты так сидишь?—спросил он, выглянув из репетиционной по какому-то делу.

—Не очень,—отозвалась Ирка.—Недели три… или немножко дольше.

Оказывается, в течение месяца она регулярно приходила сюда во время репетиций (вторник-четверг-суббота). Подложив курточку, устраивалась возле заветной двери в рок-музыку и, внимательно прислушиваясь к каждому доносившемуся оттуда звуку, отбивала ритм на коленях. Пока шли занятия, Вилен Давидович (за глаза называемый Вилей) выходил из комнаты редко, а ребята, если и бегали покурить, на Ирку особого внимания не обращали: сидит малолетка, видно, ждёт кого-то из музыкантов—может, сестра или знакомая. Им, в творческом порыве, было не до неё. Как только начинался перерыв и в комнате замолкала музыка, Ирка подбирала курточку, уходила в другой конец коридора и терпеливо ждала продолжения репетиции, расположившись на подоконнике и болтая ногами в чёрных мужских ботинках. А потом опять возвращалась под дверь.

—И зачем ты сидишь?—заинтересовался Виля.

—Я это… от барабанов тащусь,—сказала Ирка.

—Заходи,—ухмыльнулся Виля.

Тут как раз начался перерыв. Все музыканты вышли, и Виля распахнул створку окна, чтобы немного проветрить комнату.

Ирка приблизилась к сияющей красным лаком, никелем и медью чехословацкой ударной установке «Амати».

—Можно мне там посидеть?—попросила она, кивнув на трёхногий стул ударника.

—Посиди,—разрешил Виля.—Можешь даже постучать немного. Только не трогай Геркины фирменные палочки—убьёт. Он их на толчке покупает. Вот тебе запасные, совковые. Я сейчас приду.

Виля ненадолго спустился на первый этаж. А когда возвращался, ещё с лестничной клетки услышал, что в их репетиционной происходит что-то непонятное: похоже, кто-то врубил запись «Лед Зеппелин», и на весь дк бешено гремят барабаны Джона Бонэма.

Но это была не запись, и это был не Бонэм. Это была Ирка. Техники ей, конечно, не хватало. Она сидела высоко, неудобно и, напряжённо закусив губу, с трудом дотягивалась до педалей, а палочки ухватила неправильно, зажав в кулаках. Но гулкий большой барабан-«бочка»—сердце установки—под ударами её маленькой ноги совсем неплохо «качал», держал ритм. Вкусно, с лёгким треском—т-ч! т-ч!—отзывался рабочий барабан. Услужливо хлопотал весёлый хай-хэт. Убедительно—тув-в! тув-в!—высказывались солидные том-томы. И рассыпались в полнейшем восхищении тарелки: ах! ах-х! ах-х-х!..

Виля остановился в дверях, поражённый тем, что она вытворяет, а за его спиной собрались вернувшиеся с перекура музыканты — гитарист Миха, барабанщик Герка и рыжий басист Вадюня. Завидев их, вошедшая в раж Ирка прекратила стучать, с невинным видом аккуратно сложила палочки на рабочий барабан и выскользнула из-за ударной установки.

— Ты где это так научилась? — спросил Виля.

— Дома... — бросила Ирка, топая к выходу.

— У тебя что — дома барабаны есть? — удивился Герка.

— Не... я на книжках... — не очень внятно проговорила Ирка и попыталась выйти из репетиционной.

Вилен Давидович задержал её:

— Погоди... посиди тут. С нами.

С этого момента Ирка, крайне довольная переменой в своей жизни, торчала у них в комнате на каждом занятии. Она нашла себе укромное местечко в углу, между колонками, на ящике с проводами, и терпеливо ждала перерыва, чтобы хоть немного посидеть за ударными. Она приходила раньше всех и уходила самая последняя — только тогда, когда Виля готовился запереть дверь и включить охранную сигнализацию. Незаметно музыканты так привыкли к постоянному Иркиному присутствию, что она стала как бы частью репетиционной обстановки, и когда один раз Ирка не появилась из-за сильного гриппа, все с некоторым удивлением поглядывали на пустой угол.

Как-то само собой вышло, что она стала ездить с ними на концерты: помогала собирать барабаны, расставлять по сцене стойки, сматывать микрофонные шнуры, развешивать костюмы. И звать её в команде начали по-свойски — Чупой. А Герка стал задерживаться после репетиций, чтобы показать ей, как правильно держать палочки, сидеть за барабанами, извлекать звук. У неё получалось — всё лучше и лучше.

Но родители ужасно скандалили, потому что Ирка поздно возвращалась домой. Они не понимали, да и не хотели понимать, чем она занимается: шляется, конечно, с мальчишками — что же ещё?

— Проститутка! — визжала мать, принюхиваясь к Ирке, и, не учуяв, к своему удивлению, запаха спиртного, продолжала: — Таблетки жрёшь?

Ирка пыталась что-то объяснить, но её не слушали, и она вообще перестала что-либо объяснять.

В начале весны в группе узнали, что Герке скоро уходить в армию. Однако ни у кого не возникла мысль, что Ирка сможет его заменить, — уж слишком маленькой она для них была, — и, чтобы найти нового ударника, Вилен Давидович дал объявление в газету.

Он прослушал около десятка желающих, но хорошей замены Герке так и не нашёл. Впрочем, нет, нашёл — некоего Арсения, уже потёртого, игравшего в каких-то столичных коллективах, а потом в местном ресторане «Рассвет». Но и оттуда Арсений ушёл, как он сказал, «по сугубо творческим причинам»: мол, в кабаке играют одну попсу галимую, а ему охота пусть в самодеятельности, но поиграть настоящий рок-н-ролл.

На репетиции Арсений стучал превосходно, но большой уверенности в нём не было: Виля сразу предположил, что мужик «склонен к употреблению». Так оно и вышло: Арсений подвёл их буквально на первом же выступлении. Просто не явился к автобусу, когда они отправлялись на концерт, оплаченный пригородным совхозом (Герка к тому времени уже вовсю барабанил в вокально-инструментальном ансамбле Черниговской танковой дивизии). Виля задерживал отъезд, безумно нервничал, ждал, бегал звонить к соседям Арсения (телефона у того не было), возвращался к забитому аппаратурой автобусу и всё выглядывал, не идёт ли злосчастный «столичный» барабанщик... Но напрасно. Ждать больше не могли. Отчаявшись, Виля собрался опять идти звонить: на этот раз — в совхоз, отменять концерт (скандал! — руководство ДК им этого не простит — и прощай, нормальная репетиционная база). Он уже открыл рот, чтобы дать команду разгружаться, но тут Ирка, забившаяся в самый хвост автобуса, поближе к зачехлённой «Амати», сказала:

— Вообще-то могу постучать я...

...Своего концертного костюма у Ирки, конечно, не было, и Виля второпях напялил на неё огромную Геркину рубашку, которая обнаружилась в чемодане с костюмами. Расшитая крупными голубыми звёздами рубашка доходила ей до колен, снизу виднелись потрёпанные лиловые джинсы. Но на сцене картинка неожиданно вышла прикольная: маленькая сосредоточенная девичья мордашка над алыми округлостями барабанов, взлетающие тонкие руки, мелькающие палочки, развевающиеся рукава широченного балахона... вроде всё и было так задумано. От ударной установки на зрителя катился мощный звуковой поток. Ирка нигде не сбилась — может быть, один раз, в самом начале. Вот только темп половины песен с перепуга загнала так, что музыканты еле за ней поспевали, и концерт получился коротковатым. Однако публика никаких огрехов не заметила и приняла выступление на ура. А после того как Миха, перечисляя музыкантов в финале концерта, представил Ирку (фамилии её он не знал и брякнул: «На барабанах — Ирина Чупа!»), зал разразился громом таких аплодисментов, каких ребята на своих выступлениях ещё не слыхали. Жаль только, что Ирка из-за несуразного наряда постеснялась выйти вперёд — на поклон вместе с парнями. Так и осталась сидеть за установкой, пока не закрыли занавес. Тут к ней бросилась вся команда:

— Ну, Чупа! Ну, молодца-а!

Другого барабанщика уже не искали, а с помятым Арсением, явившимся на следующий день, Виля и разговаривать не стал—«по сугубо творческим причинам».

Осенью Иркиного старшего брата тоже забрали в армию. Спустя пару месяцев началась война, и брата отправили в афганское пекло. И уже через полгода—ужас похорон, грубо развороченная глина, гадкие удары падающей земли о крышку цинкового гроба. С братом, здоровенным, не обременённым тонкой натурой «качком», Ирка, так же как и с родителями, никогда не ладила, но эти удары—звуки отчаяния и бессмысленной, кричащей криком пустоты—запомнились ей точно и ярко. Ночью они нагло вмешивались в её сны, а иногда вдруг чудились и днём, сбивая ненужными синкопами с привычного, слышного только ей одной строгого внутреннего ритма.

И липкая беда, притащившаяся в дом с этих похорон, никогда уже не ушла. Отец и раньше нередко являлся навеселе, а сейчас и вовсе «з глузду зьихав», как сказала соседка, тётя Поля. Участились материны истерики, начались домашние драки, вопли, суета.

И вдруг… Пришла Ирка как-то с репетиции, а они сидят в полном согласии—отец и мать, два голубка,—нестройно воют про то, что «нэсэ Галя воду», и про Иванко, что увивается, значит, за этой самой Галей, несущей воду… На столе—почти допитая бутылка «Московской», нехитрые объедки. В общем, мать начала пить вместе с отцом. Теперь отец по друзьям не ходил, и родители оба почти ежевечерне синхронно набирались под самое горлышко.

Отец лет двадцать был сменным мастером на пивзаводе, мать служила там же, в бухгалтерии. На этом же заводе они когда-то и познакомились. Нынче, после многочисленных прогулов и появлений на работе в непотребном виде, Чуприниных долго жалели (бедные-несчастные, сыночек у них погиб, вот горе-то), пять раз разбирали на собраниях и оперативках, но в конце концов уволили. Оба устроились в кооператив, к какому-то знакомому, делать колбасу, реализовывать её на рынке и в продуктовых киосках по городу. Сначала хозяин платил хорошо, водка и закуска на столе не переводились (только ту чудную колбаску, что производил кооператив, сами не ели). Но вскоре за их кооператив взялись проверяющие органы, нашли кучу нарушений, и застолье стало намного скромнее: водку брали «палёную», колбасой уже не брезговали—тащили с работы кооперативную—и варили макароны самого дешёвого сорта.

Ирка приходила домой только спать. Виля, зная, что творится у неё дома, доверил ей ключи от репетиционной, и она, сидя в наушниках, целыми днями барабанила там под фонограмму. Выбежит на полчаса в булочную или в буфет Дворца культуры (если открыт), заскочит в туалет пару раз—и опять за палочки.

По Вилиному же совету Ирка поступила учиться в железнодорожное училище. Будущая профессия железнодорожника её, понятное дело, не интересовала, однако у Вили были причины, по которым он настоятельно советовал ей идти именно в это училище. Во-первых, оно было подшефным Дворцу культуры, в котором играли «Локомотивы». Во-вторых, заместителем директора по воспитательной работе этого замечательного учебного заведения был лучший друг Вилиного детства. Пользуясь такими связями, Виля постоянно освобождал Ирку от занятий—то для участия в концертных поездках группы, то для подготовки к конкурсам. Так что на занятиях Чупринину видели нечасто, однако ставили тройки и платили стипендию, на которую Ирка умудрялась жить: покупала еду, палочки, иногда одёжку (в детском отделе ЦУМа) и мечтала собрать деньги на «фирменный пластик»—хотя бы для рабочего барабана.

«Локомотивы» стали тогда уже довольно известными: заработали множество призов, выступили по столичному телевидению и собирались на фестиваль в Польшу. Виля начал подумывать об изменении статуса команды с самодеятельного на профессиональный, но найти подходящую филармонию или концертную организацию ему пока не удавалось. Зато они всё чаще и чаще играли на свадьбах и «хозрасчётных», как стали говорить, концертах (между собой музыканты называли такие выступления «халтурами»).

На свадьбы Ирку не брали—опять же потому, что слишком молода. Кроме того, учитывая её домашние проблемы, Виля считал, что ей вообще незачем лишний раз находиться в разгульной обстановке подобных мероприятий, и приглашал какого-нибудь взрослого ударника со стороны. Однажды, когда все знакомые барабанщики оказались занятыми и положение создалось безвыходное, ему опять пришлось найти Арсения. Тот не подвёл, и его снова стали брать—но исключительно на «халтуры». Никакой Арсений не смог бы теперь отстучать Иркины концертные партии так, как это делала она, особенно её невообразимо сложный, исступлённый, шестиминутный сольный номер—гвоздь программы «Локомотивов». Виля знал, что в городе нет ни одного барабанщика лучше Ирки. Да что там—в городе! Она показывала настоящий мировой класс, но Виля хвалил её весьма осторожно: боялся, что уйдёт. Впрочем, пока его опасения были напрасны: куда она могла от них деться—такая маленькая?

Ирке едва исполнилось шестнадцать, когда Виле всё-таки пришлось взять её на свадьбу. Арсений попал на пятнадцать суток за хулиганство в пьяном виде, и рассчитывать на него в этот раз было

уже невозможно. А свадьба намечалась денежная, но трудная—у цыган.

Музыканты знают, что такое цыганская свадьба… Там тебя могут заставить играть без передышки всю ночь, украсть инструменты, обмануть при расчёте. Но могут накормить и напоить на убой, нагрузить спиртным и продуктами «на вынос» и заплатить даже больше того, что обещали,—это в том счастливом случае, если ты сильно понравишься хозяевам.

Обычно Виля опасался иметь дело с цыганами. Но пригласивший его немолодой круглолицый чернявый мужичок вид имел скорее хохлацкий, чем цыганский. Он подошёл к Виле сразу по окончании платного концерта «Локомотивов», замечательно прошедшего субботним вечером в летнем концертном зале парка имени Шевченко. Сияя широкой золотозубой улыбкой, мужичок восторженно отозвался о выступлении группы и сообщил, что свадьба его любимого сына Василя скоро состоится в посёлке Мирный, совсем недалеко от города.

— Для нас это великая честь—бачиты на нашей свадьбе таких прекрасных артыстив, як вы, хлопци!—на суржике уговаривал он Вилю, возбуждённого успехом концерта и ещё не совсем ясно воспринимавшего действительность.

Круглолицый любитель «локомотивного» творчества предложил за свадьбу довольно крупную сумму, и Виля согласился. Хлопнули по рукам. Мужичок подозвал жениха и невесту, стоявших, как оказалось, невдалеке, у противоположного края сцены:

— Деточки, йдите-ко сюда, знайомиться с артыстами!

— Так они ж цыгане…—шепнул Рыжий, упаковывая басовый усилитель и при этом как бы ненароком приблизившись к Виле.

Действительно, внешность Василя и особенно его будущей супруги не оставляла в таком выводе никаких сомнений.

— Да вижу я!—с досадой сказал Виля, но отказываться было уже неловко.

Так жарким августовским днём они оказались на цыганской свадьбе, да ещё и Ирку вынужденно прихватили с собой.

Хозяева были, конечно, не кочевыми цыганами, и дом их выглядел как обычный поселковый дом—не сильно большой и не шибко богатый,—но во дворе раскинулся белый, внушительных размеров, шатёр, чем-то напоминавший о далёкой кочевой жизни. Пёстрая, шумная толпа гостей—родственников и соседей—плотно заполняла длинные деревянные лавки, разливалась по двору, выплёскивалась на улицу.

«Локомотивы» установили аппаратуру за домом, на тесном заасфальтированном пятачке. Ножки барабанов и стоек с тарелками пришлось заблаговременно подпереть найденными тут же кирпичами, чтобы части ударной установки не разъезжались в стороны во время неистовой Иркиной игры. Несколько голосовых колонок примостили на веранде, а сеть подключили через открытое кухонное окно. (Музыкальный жаргон определяет тип подобного выступления как «хасню на огородах».)

Долгие витиеватые тосты, обильная еда и беспрерывные возлияния продолжались не один час. Целовались молодые, их целовали и обнимали гости, гости целовали и обнимали друг друга и тащили подарки. Стоял жуткий галдёж.

Пора было играть. В начале празднества музыкантов посадили за стол, расположенный в углу шатра, очень близко к забору. Чтобы выбраться со своих мест, они должны были теперь по очереди протиснуться между столом и коленями толстенной соседки-украинки, усевшейся на краю лавки и закупорившей собой весь проход. Очумевшая от водки красномордая бабища развлекалась тем, что, заливаясь глупым смехом, бесстыдно хватала между ног каждого пытавшегося пролезть мимо неё музыканта. Завидев Ирку, баба удивлённо пробасила:

— О-о! Так цэ ж дивка!—и, подобрав гигантское пузо, беспрепятственно позволила Ирке выбраться из-за стола.

Во время короткой настройки ансамбля публика чуток притихла. Ирка трижды цокнула палочками—и по всему посёлку с шальным захлёбом разлетелась нехитрая заводная мелодийка:

А запрягай, папаня, лошадь,
Рыжую, мохнатую,
А я поеду в дальний табор,
Цыганочку сосватаю.

Я парамела, я чебурела,
Я сам самели тулия,
Гоп, я парамела, гоп, я чебурела,
Гоп, барон цыганский я!

Толпа исступлённо прыгала, выкрикивая в такт:

— Гоп! Парамела! Гоп! Чебурела!

Цыганский «папаня» сидел рядом с молодыми и растроганно плакал.

— Ну что?—спросил Виля, повернувшись от клавиш к Ирке во время короткой паузы, пока Миха искал в тетрадке со словами следующий «хасневый» шедевр.—Как тебе такой «рок-н-ролл»? Не тошно?

— Тошно…— не глядя на него, проговорила Ирка и, скривившись, со всего маху вмазала по тарелкам так, что гости, сидевшие за ближайшими столами, от неожиданности пролили самогон из поднятых стопок.

— А сейчас для наших гостей из солнечной Молдавии звучит эта песня…— забубнили динамики

сладким, слегка шутовским Михиным говорком — и веселье продолжилось.

Поздней ночью, после вялого исполнения на бис очередной «Парамелы», к Виле наконец-то подошёл, пошатываясь, хозяин и расплатился сполна.

— Вы все чудови, хлопци, чудови! — повторял цыган, пожимая руки окончательно упарившимся музыкантам. — Но мала дивчинка — от шустра, от спритна… Оце тильки тоби! — и сунул в Иркину руку несколько влажных скомканных бумажек.

На цыганские деньги Ирка приобрела у фарцовщиков подержанный рабочий барабан от английской установки «Премьер» (оранжево-перламутровый, звонкий — настоящий!), и к нему — несколько американских пластиковых мембран «Пинстрайп». Позднее, продолжая играть с ребятами на «халтурах», она заработала на хорошие тарелки, поменяла «пластик» на всех остальных барабанах и стала понемногу собирать деньги на собственную ударную установку. Ей страшно хотелось заполучить серебристый «Людвиг», виденный как-то на цветном плакате «Битлов».

Теперь на сборных концертах к ней нередко подходили взрослые длинноволосые парни-барабанщики из других групп и уважительно просили разрешения посмотреть и потрогать «фирму». И вообще, Ирка постепенно стала местной музыкальной знаменитостью. Виля ревниво приглядывался ко всем, кто к ней приближался, и напряжённо прислушивался, о чём с ней говорят. Он уже знал, что ей неоднократно предлагали перейти в другие группы — и у них в городе, и во время поездок на фестивали, и даже в столице. Но Ирка отвечала всегда одинаково — серьёзно и непонятно: «Я никогда не буду есть суп из моего друга». И всё. Что это значило, не было известно никому, но после таких странных слов говорить с ней повторно на подобную тему уже никто не решался.

И ещё душа у Вили была неспокойна по другому поводу: Ирка начала взрослеть и отчаянно хорошеть. Несмотря на то, что она по-прежнему одевалась как пацан, никогда, даже на сцене, не пользовалась косметикой и совсем немного прибавила в росте и в весе, принять её за мальчишку теперь было уже трудно. У неё как-то совершенно неожиданно, чуть ли не в один день, началось явственное округление форм и появилась своеобразная грация.

— Коты, вот коты… — бурчал про себя Виля, подмечая, какие взгляды стали бросать на Ирку представители мужского пола (как зрители, так и коллеги-музыканты), восхищённые не только взрывным талантом юной барабанщицы, но и её женской привлекательностью, особенно удивительной и загадочной в таком «безбашенном», как казалось, существе.

Сам Виля был не очень юн и женат на Леночке Сутеевой, сухонькой руководительнице танцевального ансамбля того же дк железнодорожников. Имелись у него двое детишек: маленький мальчик от Леночки и девочка постарше от первой жены, соученицы Вили по музучилищу. Брак с Леночкой тоже давно стал ему в тягость. Во время гастролей он вполне активно включался в различные любовные интрижки с директрисами клубов, методистками и культорганизаторшами и месяцами жил не дома, но до полного развода дело пока ещё не доходило. Можно сказать, что на окончательное решение этого вопроса у них с Леночкой просто не хватало времени.

С девчонками из «Локомотивов» Виля никогда не связывался, хотя в группе периодически появлялись то миленькие вокалистки, то симпатичные клавишницы, а одно лето с ними ездила чудная скрипачка Зойка («Локомотивы» в тот момент не на шутку увлеклись фолк-роком). «Не е…и, где живёшь, — не живи, где е…ёшь», — повторял Виля. Но, соблюдая эту затасканную «мудрость», он одновременно предоставлял широкое поле деятельности Михе, Рыжему и другим своим парням, которые напропалую гуляли с девчонками группы и даже без всякого стеснения передавали подружек от одного к другому. Малейшие же попытки кого-то из парней ухлестнуть за быстро взрослеющей Иркой пресекались Вилей самым строгим образом — и самыми разнообразными способами: от язвительных насмешек над нарушителем в присутствии всей команды до грубых разговоров наедине («Я тебе за малолетку яйца оторву, донжуан недоделанный! Завтра же из группы выкину на хер!»). За спиной Вилена Давидовича, конечно же, болтали, что он не только блюдёт мораль молоденькой девчонки, но и симпатизирует ей, но что ни говори, а никаких близких отношений между ним и Иркой замечено не было.

Виля всё своё основное время занимался группой, музыкой, аранжировками и репетициями. Между тем в окружающем, активно изменяющемся в последние годы, мире уже оголтело вертелись предприимчивые люди, которые в данный исторический момент удачно оказались недалеко от значительно более материальных, чем музыка, природных и неприродных благ. Кто-то был вхож в правление подыхающего завода с тоннами металла, станков или труб на затоваренных складах и как-то незаметно прибрал этот завод к рукам. Кто-то очень удачно перебежал из махонького профсоюзного начальника в учредители возникшего из небытия крупного частного предприятия. А молодые люди с ясными глазами и комсомольскими значками стали бодро создавать при горкомах и обкомах концертные организации, печатать и продавать собственные билеты, приглашать известных и сбивать бригады из малоизвестных артистов: раскручивался дикий, но уже красиво называвший самоё себя «шоу-бизнес».

Скоро Вилю начали звать уже не только для того, чтобы выступить с хорошими, но всё-таки непрофессиональными «Локомотивами», а для того, чтобы с помощью их приличной аппаратуры озвучить в небольших залах концерты заезжих новоиспечённых «звёздочек» (но, конечно, не настоящих, суперпопулярных «звёзд» — те прибывали со своим оборудованием, рассчитанным на стадионы).

Мало-помалу это стало для Вили интересным и, главное, весьма прибыльным занятием (надо было только не забывать что-то отстёгивать директору и худруку родного Дворца культуры, которому, в общем-то, принадлежала львиная доля аппаратуры «Локомотивов»). Появлялись и укреплялись связи со столичными музыкантами, а главное, с их менеджментом. И однажды Вилю позвали в столицу: один из его новых приятелей создавал студию звукозаписи и предложил там работу звукоинженера (а в близкой перспективе — и музыкального «продюсера», присовокупил столичный кореш заманчивое новое словцо).

Времени на раздумье у Вили не было: позвонили из столицы и сказали, что ждут ответа на следующий день. Вечером Виля отчаянно напился с лучшим другом детства, заместителем директора по воспитательной работе того самого училища, где числилась Ирка. Затем, не сомкнув глаз, проблевал всю ночь, а утром, с жуткого бодуна, решительно объявил Леночке, что подаёт, наконец, на развод и уезжает. Руководителем «Локомотивов» был оставлен Миха, прощание с командой прошло без сантиментов, коротко и по-деловому: вот я там пристроюсь и всех вас вытащу, хватит вам тут, в провинции, прозябать…

На вокзале музыканты мялись, курили, по нескольку раз жали ему руку:

— Счастливо, Вилен Давидович!

Ирка пришла, когда поезд уже вот-вот должен был тронуться, и Виля, стоя на площадке вагона, едва выглядывал из-за плеча крупнокалиберной проводницы. Он увидел Ирку, закричал:

— Ира! Чупринина! Успехов тебе! До скорого!

Ирка подошла очень близко к вагону, подняла голову и сказала серьёзно и непонятно:

— А я никогда не буду есть суп из моего друга.

Через два года, зимой, Миха по какому-то делу приехал в столицу. Они встретились с Вилей в крошечном пивном баре. В студию, объяснил Виля, он пригласить Миху не может: там, мол, идёт запись некой крутой группы (сказать какой — нельзя, секрет!), и посторонних не пускают.

Миха поведал Виле о том, что «Локомотивы» продолжают «лабать» на «халтурах», то есть, по-современному, на корпоративах. Состав команды уже несколько раз поменялся, играют они в основном попсу и — редко — традиционные рок-н-роллы, а на барабаны вернулся Герка…

— Герка? — переспросил Виля. — А где же Чупринина?

— Чупа… а она это… похоже, померла, — бесцветным голосом произнёс Миха и шумно отхлебнул пива.

— Ты что, Михаил, несёшь?! — охнул Виля. — Что значит: «похоже, померла»?

— Да вот так, Вилен Давидович, полгода уже… Странная история получается. Был у неё, если помните, прикол: она всё бабки собирала на «Людвиг». Ховала их где-то в доме. Паханы ж у неё, сами знаете, бухали не по-детски. Ну а кооператив колбасный, где паханы работали, вроде накрылся… этим самым местом. Бухать, значит, стало не на что. Вот Чупа приехала из двухнедельной поездки по сёлам (был у нас один такой удачный вояж), а оба родителя, упитые в дупель и, простите, обоссаные, обрыганные, храпят на полу… Ещё и чужих людей полон дом, тоже бухих: погуляли, видимо, на славу. Где деньги взяли? Кинулась Чупа, наверно, в свой тайник, уж не знаю, где он был, — ни фига нет. Короче, как-то они её выследили, денежки все упёрли и пропили. Ну и она… бешеная ж всегда была, чумовая… Выходит, что схватила на кухне бутылку с дихлофосом или с чем-то там ещё, чем тараканов травят, и выпила. Мы с Рыжим узнали только дней через десять — после того, как Чупа два раза подряд на репетиции не явилась. В хату к ним сунулись — закрыто. Поговорили с соседкой, тётей Полей, — говорит, это она Чупу нашла, я не понял как, и скорую вызвала. В какую больницу забрали, мы так и не дознались. Обзвонили вроде все. Нигде нет, только в одной больничке сказали, что была как бы похожая девчонка, типа «суицид», но документов никаких, фамилию не знают, померла… Мы опять домой сунулись — закрыто-забито. Тётя Поля сказала, паханов менты замели за эти самые кооперативно-колбасные дела, что-то там серьёзное, а где Чупа — так никому и неизвестно…

— В милицию ходили? — выдавил из себя Виля, прислоняя к щеке холодный бокал с остатками пива.

— Ходили, один раз. Разговаривать с нами они не захотели. Кто вы такие, волосатые, обкурились, наверно, никакой Чуприниной мы не знаем, у нас работы невпроворот, будете доставать — сейчас вас самих…

— Эх, чёрт, если бы я там был, я бы, конечно… — начал Виля и осёкся.

Они долго сидели за столиком и молчали. Миха изучал панно из медной чеканки, занимающее полстены за спиной Вили. Панно изображало романтические, но слегка квадратные фигуры юношей и девушек, свершающих что-то героическое в лучах квадратного солнца. Виля уставился в окно, где мокрый снег прилипал к грязному стеклу и бесформенными ошмётками медленно, бесконечно сползал вниз.

Мёрзли ноги. Виля заказал ещё пива.
— А вы тут как, Вилен Давидович?
— Ты знаешь, тут тоже на самом деле ничего особо интересного...— вздохнул Виля.— Обещали одно— получилось другое... Я ж им не мальчик, чтобы подай-принеси и инструменты настраивать! Я из студии ушёл. В Израиль вот собрался, а оттуда думаю махнуть в Америку. Есть там знакомые, обещали пристроить сессионным музыкантом в одну из чикагских студий. Хорошие музыканты, говорят, всегда нужны.
— Вот это да...— покрутил головой Миха.— В Америку?

В середине дня в музыкальный магазин «Гитарный центр» на Арлингтон Хайтс Роуд вошла невысокая крепкая женщина в байковой рубашке с закатанными рукавами, тёмно-синих джинсах и ботинках на толстой подошве. Она вела за руку дочку семи-восьми лет. Не останавливаясь и почти не глядя по сторонам, они прошли мимо тихого, закрытого стеклянными дверями помещения с классическими гитарами, миновали залы с тесно развешанными на стенах разноцветными электрогитарами и сквозь плотные ряды колонок и усилителей направились в отдел ударных инструментов. Это был большой демонстрационный зал, забитый десятками барабанов различной акустической и электронной конструкции. Здесь скромно стояли обычные ударные установки и громоздились установки-монстры с дополнительными барабанами всевозможных размеров, тарелками, бонгами, гонгами, стойками и креплениями, а также лежали на стеллажах тамбурины, маракасы, бубны, каубеллы и другие стучащие, звенящие, шуршащие и гудящие штучки, названия которых в основном неизвестны широкой публике.

Женщина купила две пары недорогих барабанных палочек, а затем они с дочкой стали медленно пробираться по залу между барабанами, внимательно их рассматривая. Иногда они останавливались, и было похоже, что мать подробно объясняет дочери устройство и назначение частей какой-нибудь установки или просто рассказывает о чём-то интересном. Так они дошли до серебристых барабанов фирмы «Людвиг»— копии легендарной установки, на которой играл Ринго и которая запечатлена на фотографиях и плакатах «Битлов».

Девочка что-то сказала матери, а та, слегка улыбнувшись, устроилась на трёхногом стуле за «Людвигом», взяла приготовленные на барабанах палочки и...

Техника игры у неё была уверенная, стремительная, филигранная. Гулкий большой барабан-«бочка» под ударами маленькой ноги безукоризненно точно держал ритм. Вкусно, с лёгким треском— т-ч! т-ч!— отзывался рабочий барабан. Услужливо хлопотал весёлый хай-хэт. Убедительно— тув-в! тув-в!— высказывались солидные том-томы. И рассыпались в полнейшем восхищении тарелки: ах! ах-х! ах-х-х!..

Зал погрузился в такой потрясающий, многослойный шквал звуков и взбалмошного темпа, что стало невозможным отвлечься или уйти. Замерли за кассами опытные продавцы, слышавшие игру не одной сотни музыкантов и наверняка знающие толк в искусстве барабанщика. Замолкли на полуслове, повернувшись к источнику неукротимого звука, немногочисленные посетители, потянулись люди из других залов.

Но женщина вдруг резко оборвала игру яростным ударом по двум тарелкам и «бочке», и пока затухали последние отголоски этой неожиданной «коды», аккуратно сложила палочки на рабочий барабан и выскользнула из-за установки.
— Ну, Пашка, пойдём, пора,— негромко, хрипло сказала она по-русски, протянув дочке руку.— Мне сегодня работать в госпитале в ночную смену, нам надо ещё многое дома успеть.

Немолодой, обрюзгший продавец с бейджем «VILEN», одетый, как и другие продавцы, в чёрную футболку с красной надписью «Гитарный центр, Чикаго», хотел броситься к этой женщине, остановить её, заорать: «Ирка! Чупринина! Чупа! Чу...»

Но... не шевельнулся.

Он остался стоять посередине отдела ударных инструментов, окружённый сверкающим великолепием «Премьеров», «Людвигов», «Там», «Роландов», «Ямах», и смотрел вслед двум разным по росту, но очень похожим фигуркам, неспешно топающим одинаковой, немного тяжеловатой походкой к выходу из магазина.

...Маленькая упрямая барабанщица поднимает голову, смотрит на него и говорит, серьёзно и непонятно:
— Я никогда не буду есть суп из моего друга.

Зинаида Кузнецова

Новые рассказы

Повесть о скифской царевне

1.

— Вовка! Смотри, что я нашёл! — Гарик удивлённо смотрел на кусочек кирпича, поднятый им из воды, который, быстро высыхая под солнцем, оказался половинкой женской фигурки, куколки, с тщательно вырезанными чертами лица.
— Ух ты, да это же человечек! — удивился Вовка. — Дай посмотреть!

Гарик протянул ему фигурку, и… они оба полетели в бурлящую, как кипяток, воду…

Он проснулся от щемящей боли в сердце. Что это с ним? А, сон…

…Фигурка была маленькая, размером не больше двух сантиметров, вернее, половина фигурки — голова, плечи… Это была женщина или девочка, одетая в накидку, типа капюшона. Черты лица красивые: точёный курносый носик, раскосые глаза, пухлые губы. Из-под капюшона на грудь спускаются две косы…
— Вот здорово, — сказал Вовка. — Надо ещё поискать, может, нижнюю часть найдём. Или ещё что-нибудь.

Но сколько они ни разглядывали речное дно, усыпанное разноцветными камешками, ничего подобного найти не удалось. Разочарованные, они забыли даже про «чёртов палец», за чем, собственно, и ушли так далеко от дома. Все ребятишки в деревне мечтали найти «чёртов палец» — продолговатой формы белый минерал, похожий на мрамор. Нашедший такой камешек считался счастливчиком. Любая ранка, стоило посыпать её пыльцой «чёртова камня», мгновенно заживала.

Гарик каждое лето приезжал в деревню, к бабушке и дедушке, и тоже мечтал о такой находке. И сегодня они с приятелем Вовкой с утра пораньше отправились на его поиски…

Гарик… Нет, теперь уже Игорь, а точнее — Игорь Васильевич, взглянул на часы: второй час ночи. Странно всё-таки, ведь прошло столько лет, а стоит вспомнить о той находке или увидеть во сне, сразу возвращается чувство невозвратимой потери, которую он испытал тогда. Казалось бы, на что он ему, взрослому мужчине, этот кусочек терракоты, найденный на каменистом дне мелкой речушки, а чувство утраты так и не проходит…

Тогда они с Вовкой ещё долго ходили по усыпанному галькой дну, но тщетно: ни «чёртова пальца», ни фигурок им больше не попалось. Ночью ему не спалось. Он то и дело вставал, подходил к окну и в свете луны разглядывал находку. Дядя Коля, мамин брат, сказал, что это, наверное, скифская царевна. Или её игрушка. Гарик не знал, кто такие скифы, но от фигурки девочки веяло такой таинственностью, такой необычностью, что в груди появлялся какой-то холодок, сердце замирало, и хотелось, чтобы скорей наступило утро — и они с Вовкой отправятся на речку…

Они шли вниз по течению, вода становилась всё темней, у берегов густо рос камыш, и уже слышался гул небольшого водопада, после которого глубина реки была «с ручками» — это когда ныряльщик поднимал руки, и они едва виднелись из-под воды. Ребята излазили весь берег, осмотрели каждый камешек на дне, но — увы… Разочарованные, они остановились на краю водопада: дальше идти не имело смысла — глубина там была не меньше двух метров, вода бурлила, как в кастрюле во время варки, да ещё течение… Вовка, поскользнувшись на мокром камне, нечаянно толкнул Гарика, и тот полетел в воду. Когда, отплёвываясь и тяжело дыша, он выбрался на берег, первой мыслью было: хорошо, что бабушка не видит. Ему строго-настрого было запрещено близко подходить к «бучилу» — так деревенские называли это место. А потом… Потом он с ужасом почувствовал, что в руке ничего нет, фигурка исчезла. Он с криком бросился в воду и там, под водой, открыв глаза, пытался разглядеть драгоценную потерю. Конечно же, её не было. Наверное, её унесло дальше мощным потоком, или она навсегда утонула в придонном иле…

Что-то стукнуло в окно, громче зашелестели листья, заколыхалась лёгкая занавеска окна. На улице шёл дождь. Он шёл уже третий день, мелкий, нудный, вселяя тоску в отдыхающих, мечтавших о солнце и загаре, а вместо этого вынужденных сидеть по номерам, резаться в карты или пить.

Игорь по этому поводу не расстраивался. Ему любая погода была в радость — северяне даже такое удовольствие, как тихий летний дождь, нечасто испытывали. Вот лютый холод, полярная ночь, вой ветра — это пожалуйста, сколько угодно.

Он лежал и слушал шум дождя, но на душе было неспокойно. Казалось, что под окном кто-то ходит. В шелесте листьев ему чудились какие-то голоса, стукнувшая в окно ветка заставила вздрогнуть. Что это с ним? Пятидесятилетний мужик, проживший на Севере двадцать пять лет, закалённый лютым морозом и адской жарой литейки, он испугался шороха в ночном саду? Смешно. Но все эти непривычные звуки почему-то напрягали. Нервы. Конечно, нервы. Расслабился, потерял контроль над собой, вот и «волнируешься» от пустяков.

Надо закрыть окно и постараться уснуть. Или не закрывать? Он выглянул в окно: тишина, никаких шагов, никаких голосов, только дождик шелестит, небо плотно затянуто тучами. Где-то далеко внизу — море, но его не видно сквозь густую листву, только чуть слышен шум волн, набегающих на берег. Он вспомнил, как в детстве в первый раз приехал с родителями на море, но не по путёвке, а дикарями. Они расположились в живописной бухточке в палатках, купались, загорали, а в первую ночь он никак не мог заснуть — мешал шум прибоя. Он долго ворочался на своей постели, потом не выдержал и разбудил мать: «Мам, выключи его!» — «Кого, сынок?» — спросонья не могла понять мама. «Море выключи, оно мне спать не даёт».

На небе ни звёздочки, не горит ни одно окно в корпусах, только слабый свет фонарей пробивается кое-где сквозь густую листву тропических растений. Пахнет магнолией. Он знал этот запах с детства: на мамином туалетном столике всегда стояла коробочка пудры с белым цветком на светло-зеленоватом фоне. Мать не разрешала брать её, а его так и тянуло открыть коробочку и втянуть носом необыкновенный запах…

Лёгкий порыв ветра прошёлся по парку, затрепетали листья, и Игорь увидел, как с листочка медленно сползает капля, удлиняясь и утолщаясь внизу и становясь похожей на жемчужную серёжку. Капелька, на мгновение задержавшись на краю листочка, упала в темноту… И снова сердце словно на мгновение остановилось, а потом вновь забилось часто-часто…

Днём, возвращаясь из столовой, он увидел афишу, извещавшую о концерте оркестра «Виртуозы Москвы». Вот это да, о таком он даже мечтать не мог, обычно в таких местах приедет какая-нибудь не слишком знаменитая группа или сотрудники пансионата порадуют своей самодеятельностью, а тут…

Зал был заполнен до отказа. Шумели дети, шелестели фольгой любители шоколадок, молодёжь хрустела попкорном, пищали мобильники. Но вот зазвучала музыка, и для Игоря всё перестало существовать, кроме волшебных звуков. К середине концерта зал был полностью покорён. Игорь почувствовал, что его ладони горят — так неистово хлопал он ими после каждого номера. Полному растворению в музыке мешала деваха, сидевшая впереди. Бедняга попала на концерт, скорее всего, не представляя, что это за «Виртуозы», и теперь крутилась, вертелась, с недоумением оглядывалась на соседей, с энтузиазмом хлопавших в ладоши. На её круглом, полном лице с малиновым румянцем на щеках отражалось искреннее недоумение: а чему хлопают-то? К тому же причёска у неё была а-ля Анджела Дэвис, поэтому Игорь по-настоящему обрадовался, когда она, не выдержав, ушла.

Женщина, сидевшая впереди него через ряд, повернула голову, и он увидел тускло блеснувшую в мочке её уха серёжку в виде лепестка со сползающей с него жемчужной капелькой. Сердце его почему-то на мгновение остановилось, потом неровно запрыгало, он не понял, почему. Он попытался сосредоточиться на музыке, но взгляд сам собой опять потянулся к этой серёжке. Он где-то когда-то её уже видел. Конечно же, видел. Он вспомнил где. Боже мой, неужели Лена? Женщина повернулась к соседке, что-то говоря ей, а Игорь, забыв о музыке, пристально вглядывался в этот профиль, пытаясь понять, она это или нет. Да вроде бы нет, лицо округлое, волосы тёмные, а у Лены были светло-русые, заплетённые в косы, свободно падавшие на грудь.

Публика двинулась к выходу, Игорь потерял женщину из виду и лихорадочно шарил глазами: ну где она? Он должен убедиться, что это не Лена, нет, это не она. Такого не может быть, чтобы вот здесь, за тысячи километров, через столько лет встретиться в каком-то забытом Богом пансионате. Наконец он увидел её: нет, конечно же, это не она. Лена была тоненькой, миниатюрной девочкой, а это вполне взрослая женщина, слегка полноватая… И волосы другие, и глаза… Эти глаза равнодушно скользнули по его лицу и пропали в толпе.

Он захлопнул окно. Хватит, пора спать. Вообразил себе невесть что. Откуда ей здесь взяться? Серёжка в виде капельки? Ну и что? Миллион таких серёжек на свете… И глаза карие… Правда, тоже слегка раскосые. Но это, наверное, он желаемое за действительность принимает… Спать, спать… а завтра… завтра он постарается встретить её и окончательно убедится, что это не она.

2.

…До стипендии оставалось ещё три дня, а в кармане — шаром покати. Хотелось есть. Гарик открыл свою тумбочку — она была пуста. Она была пуста уже неделю, так же как и другие тумбочки,

стоящие в их комнате. Он вздохнул. Сколько раз говорил себе, что надо заначку делать, а то привыкли жить по «закону правой и левой руки»: приходишь после стипендии в кафе, глядя в меню, закрываешь правой рукой цены и набираешь всё подряд, а перед стипендией — закрываешь левой рукой список блюд и смотришь только на цены…

Денег ни у кого из ребят не было. Гарику предки посылали раз в два месяца перевод, но до очередного финансового потока было ещё далеко. Занять тоже было не у кого, даже экономные девчонки — и те перед стипендией питались одной китайской лапшой. «Пойду пройдусь, — думал Гарик, — может, повезёт, поем у кого-нибудь». Поесть не получилось, но зато в одной из комнат ему дали четыре картофелины и малюсенький кусочек сала. Картошку можно было бы сварить, но… ему так захотелось жареной, со шкварками, что он чуть не подавился слюной, представив себе эту вкуснятину!

Гарик весь извёлся, пока разогревалась плита, пока кусочки сала медленно, неохотно начали мягчеть, уменьшаться в размере, зарумяниваться, а от картошки наконец пошёл умопомрачительный запах — он готов был съесть её полусырую.

И вот картошка готова. Он взял сковородку и понёс её к себе в комнату, в другой конец коридора. Он нёс сковородку на вытянутых руках, как нечто драгоценное и хрупкое, и с вожделением вдыхал запах, вырывающийся из-под крышки. На середине пути он поскользнулся на брошенной кем-то кожуре банана, сковородка выпала из рук и с грохотом брякнулась на пол. Картошка с золотистыми кусочками сала рассыпалась по грязному, затоптанному полу… Гарик стоял, оглушённый свалившимся несчастьем, да что там несчастьем — катастрофой! Наконец, осознав, что случилось непоправимое, он… заплакал. Он не хотел, но слёзы сами брызнули у него из глаз, как у трёхлетнего малыша. Он даже тихонько завыл, зажимая рот ладонью.

Одна из дверей открылась, и в проёме показалась девушка. В коридоре было темновато, она, слегка вытянув шею, всматривалась в полумрак.

— Что случилось? — спросила девушка, но, увидев рассыпанную картошку, всё поняла и засмеялась. — Что, последняя, наверно? — спросила она.

Он, не отвечая, быстро пошёл по коридору, однако она, как видно, успела и услышать всхлипывание, и увидеть блеснувшую на щеке слезу.

— Эй, — окликнула она, — можно тебя на минуточку?

Он, не оборачиваясь, сердито буркнул:

— Что надо?

— Есть хочешь? — слегка насмешливо спросила девушка.

— Хочу! — неожиданно для себя ответил он. — Ещё как!

— Ну, тогда заходи.

Гарик никогда раньше не бывал в комнатах девушек и сейчас с интересом оглядывался по сторонам: на стенках — портреты звёзд эстрады, аккуратно застеленные кровати, мягкие игрушки и даже кукла на одной из тумбочек. «Они что, до сих пор в куклы играют?» — удивился он.

Гарик совершенно забыл, что он некрасив, бедно одет, что носки у него дырявые и что пора уходить.

В свои двадцать лет он ещё ни разу не влюблялся. Он сторонился девчонок, потому что считал себя некрасивым: с такой внешностью, как у него, нечего и мечтать о ком-нибудь. «Зачем они меня родили, — думал он о родителях, разглядывая себя в зеркале, — урода такого?» Но на самом деле ничего уродливого в нём не было — парень как парень, только невысок ростом и тщедушен. Он не любил бывать в компаниях, не ходил на дискотеку, а всё больше сидел над учебниками — учился хорошо. Вообще, он был начитанным, не в пример многим своим сверстникам — те книгам предпочитали пиво, девочек, дискотеки. Потихоньку курили травку. Это были люди другого сорта — детки богатых родителей, заносчивые, хорошо «упакованные», сливки общества. И хоть жили все вместе в одной гостинице, специально построенной властями их «соцгорода» для своих студентов, с остальной массой они не пересекались. Пристроенные в институт по знакомству, учёбой себя особо не напрягали, да и зачем?

Гарик был из простой семьи: мать — учительница, отец — инженер, две младшие сестрёнки, — и в гостиницу попал только потому, что общежития ему не дали. Плата за гостиницу была весьма высокой, но что делать, жить где-то надо. Родители с трудом выкраивали из семейного бюджета пару сотен рублей, чтобы послать сыну, мечтая увидеть его когда-нибудь образованным и богатым. И он добросовестно учился, не пропустил ни одного занятия, вовремя сдавал зачёты — одним словом, ему вообще было не до девчонок.

И когда такая девушка, как Лена, обратила на него внимание, Гарик влюбился сразу и навсегда. Накормив его в тот злополучный день китайской лапшой с тушёнкой, она попросила его помочь с математикой. Она училась в пединституте на физико-математическом факультете, но математика давалась ей нелегко. Он охотно согласился. Но как-то так получилось, что они больше разговаривали о любимых фильмах, о прочитанных книгах, вспоминали детство, школьные годы. Лена была сиротой, воспитывала её бабушка, но и она умерла.

— Вот, память от неё осталась, — показывала Лена на свои серьги в виде лепестка со сползающей каплей.

Они стали встречаться каждый день. Утром вместе шли на занятия, вечером он ждал её у входа в пединститут. Приближалась весна, уже слышалось её робкое дыхание, на лицах людей всё чаще появлялись улыбки, на карнизах домов повисли длинные сосульки.

А в сердце Гарика весна наступила уже давно: там пели соловьи, звучала музыка любви, и сердце трепетало в ожидании чего-то ещё более прекрасного.

Им было хорошо вдвоём. Он не чувствовал себя рядом с ней некрасивым, как он привык о себе думать, он просто забыл об этом. И странное дело: он и в самом деле похорошел, распрямился, стал казаться выше ростом, от него исходил какой-то свет, и частенько встречные девчонки даже оглядывались на него.

Взявшись за руки, они шли по аллее. Было воскресенье, тёплый весенний день. Звенела капель, весело блестели лужи, ворковали голуби, слышались громкие детские голоса. Лена сняла шапочку, и её длинные русые волосы, обычно заплетённые в две косы, вырвавшись на волю, рассыпались по плечам. Она была необыкновенно хороша сегодня, и сердце Гарика замирало от любви и нежности. Вечером они собирались сходить в кино, а потом в кафе — вчера он получил перевод от родителей.

— Смотри, голуби целуются! — воскликнула Лена.

Гарик покраснел. Он ещё ни разу не решился поцеловать её, и вид целующихся голубей смутил его. Лена, посмотрев на молчащего Гарика, вдруг тоже смутилась, потом расхохоталась и побежала, разбрызгивая лужи. Он бросился ей вслед, мельком увидев группу парней и девчонок, стоящих у самого тротуара, тех самых, из богатеньких. Среди них была Лялька, однокурсница Лены, первая красавица в институте. Все парни за ней бегали, и она крутила ими как могла. Стоило какой-нибудь девчонке влюбиться, она тут же принималась заигрывать с её парнем, и когда тот, не устояв, начинал сохнуть по ней, безжалостно бросала. Это у неё было что-то вроде спортивного интереса. Немало разбитых мужских сердец и девичьих слёз было на её совести. А вот с Гариком не получалось. Его совсем не интересовала эта избалованная кукла, тем более сердце его было прочно занято Леной. Ляльке, собственно, Гарик был совсем не нужен, но как это так, такой «замухрышка» — и не поддаётся её чарам.

— Гарик, привет, — защебетала она, демонстративно не обращая внимания на Лену. — А мы билеты взяли на новый фильм, пойдём с нами!

Лялька по-свойски провела пальцами по щеке, по шее Гарика, а сама, скосив глаза, смотрела, как реагирует Лена. Лена растерянно взглянула на Гарика — тот стоял красный как рак и молчал. Лена отпустила его руку и, не оборачиваясь, пошла дальше. Он, преодолев сковавшее его оцепенение, бросился вслед и, догнав её, обнял за плечи, чего ещё ни разу не делал. Лена, дёрнув плечом, стряхнула его руку. Глаза её наполнились слезами.

— Ну, что, облом? — послышался чей-то голос, и компания громко расхохоталась.

— Это мы ещё посмотрим! — огрызнулась Лялька, отступать она не привыкла.

— Да нет, тут дохлый номер, посмотри на них, ха-ха-ха, — доносилось до ребят.

— Лялька, зачем он тебе нужен, метр с кепкой? — заржал кто-то. — Возьми лучше меня!

Ребята свернули в переулок, но идиотский смех ещё долго преследовал их.

Светило тёплое весеннее солнышко, громко чирикали воробьи, звенела капель, по бульвару гуляли нарядные люди — всё было по-прежнему, и… всё было другим.

3.

Растревоженный воспоминаниями, он заснул только под утро и проснулся уже после обеда — на часах было двадцать минут третьего. «Вот это я вздремнул», — удивился он. На обед опоздал, конечно, но есть не хотелось.

Дождь давно перестал, светило яркое солнце, парк был наполнен щебетом птиц, благоухали цветы. Он шёл по аллее, пристально вглядываясь в каждую встречную женщину: не она ли? Нет, опять не она… Скорей всего, ему просто показалось… Может, это и хорошо, успокаивал он себя, столько лет прошло… но глаза снова и снова искали во встречных женщинах Лену, его «скифскую царевну», как он когда-то её называл. Она и вправду была похожа на ту терракотовую фигурку, найденную им в детстве, особенно когда заплетала волосы в две косы и они свободно спускались на грудь…

Вечером, в столовой, женщины тоже не было, и на бульваре она ему не встретилась. Да и с чего он взял, что она живёт в этом же пансионате? Может, она из местных, пришла на концерт, и всё. А он навыдумывал себе бог знает что… Разочарованный, он пошёл к себе. Хотел почитать, но не читалось. Позвонить домой, что ли? Он взял телефон. Поступило два сообщения. Одно: «Как дела?» — и второе: «Что не звонишь?» Супруга. Беспокоится. Но звонить не хотелось. Он отправил смс: «Всё в порядке, целую», — и вздохнул: всё, как всегда, под контролем. Он, конечно, давно к этому привык, Маргарита — женщина властная, конкретная, но сейчас почему-то ему было неприятно.

Тогда, в Норильске, она сразу положила на него глаз. Яркая, пышная, громкая, с решительным подбородком, она тоже привлекла его внимание, но он ни о чём таком даже и не думал — просто красивая женщина, и всё. Он приходил в кафе, где

она работала официанткой, чтобы скоротать длинный вечер, в общежитии было совсем невмоготу. Стояла полярная ночь, до конца практики было ещё далеко, и о встрече с Леной можно было только мечтать. К тому же от неё внезапно перестали приходить письма. Он писал ей каждый день и от неё получал регулярно, и вдруг она замолчала. Он пытался позвонить по междугородному телефону, но связи не было. А потом он получил письмо. Почерк на конверте был незнакомый. В конверте—несколько фотографий.

Он сидел в ярко освещённом зале, смотрел на публику, в основном это были мужчины. Женщин было мало, молодых тем более. Преобладали дамочки бальзаковского возраста, развязные, нетрезвые. За окном бушевала пурга, вой ветра не заглушала даже громкая музыка. Сердце его разрывалось от боли.

— Скучаем?—к столику подошла официантка Рита, в белой кружевной наколке на высоко взбитых иссиня-чёрных волосах, пышные формы обтягивала короткая юбка. Фиолетовые тени, яркокрасные губы.

Он смотрел на её шевелящиеся пухлые губы, но не понимал, что она говорит.

— Уснул, что ли, малыш?—со смехом продолжала Рита.

Он злился, когда она так его называла, а она только хохотала в ответ. Рита присела на краешек стула, навалившись на стол тяжёлой грудью.

— Может, коньячку принести? Кстати, у меня сегодня день рождения, угощаю за свой счёт.

Он молча покачал головой.

— А что так?

— Не хочу!

—Что-то случилось?—Рита перестала улыбаться.

—Девушка, подойдите, пожалуйста,—позвали её из-за соседнего столика, и она убежала.

Случилось, Рита, ещё как случилось! Он достал из кармана конверт с незнакомым почерком. Фотографии с какой-то вечеринки. И на всех крупным планом Лена. Пьяно улыбается, с распущенными волосами, полураздетая. Вот Лена в объятиях какого-то парня, вот он целует её… А это… Игорь задохнулся от гнева: Лена спит, блузка расстёгнута, видна обнажённая грудь, джинсы тоже расстёгнуты… Рядом тот же парень…

— Что за фотки? Дай посмотреть,—это опять Рита.

— Не твоё дело!—грубо ответил он, пряча конверт в карман.

— Ну, не моё так не моё,—не обиделась Рита.— Знаешь что? Приглашаю тебя на день рождения, сегодня, после смены… Потанцуем, музыку послушаем…

Её грудь колыхалась у него перед глазами. Он хотел отказаться, но вдруг так захотелось уткнуться лицом в эту тёплую грудь, пожаловаться и даже поплакать. Так захотелось, чтобы его кто-то пожалел, приласкал, утешил…

Через месяц он отправил Лене свадебную фотографию: счастливая, улыбающаяся Рита в белом платье, он надевает ей кольцо на палец,—и постарался вычеркнуть её из своего сердца.

Конечно, болело долго. Но отболело. К Рите привык, потом дети родились—и потекла жизнь, спокойная, благополучная даже, без особых взлётов, но и без катаклизмов. Он никогда не жалел, что женился на Маргарите, хотя с годами она становилась всё властнее, подбородок делался всё решительней, и вопрос «кто в доме хозяин?» был в этом случае чисто риторическим—и так всё ясно. Но его это не сильно волновало и даже устраивало в некоторой степени. Наверное, он даже любил её по-своему. О Лене никогда не вспоминал, не давал себе вспоминать. Слишком велика была обида, нанесённая ею. И вообще, всё это осталось в далёком прошлом.

Но однажды прошлое напомнило о себе. Игорь, находясь в командировке в краевом центре, неожиданно встретил Веронику, подружку Ляльки. Он мало её знал, практически не общался, но встрече даже обрадовался—всё-таки старая знакомая. Коротать вечера в гостинице одному было тоскливо. Они посидели в кафе и решили прогуляться по городу. Они шли по набережной, дул пронизывающий встречный ветер, и им приходилось кричать, чтобы услышать друг друга. Было такое ощущение, что ветер срывает их голоса и уносит прочь. И он не сразу расслышал, о чём говорит Вероника. А она, смеясь, рассказывала, как они когда-то подшутили над Леной. Лялька под каким-то предлогом заманила Лену в свою компанию, и там напоили её до бесчувствия, подсыпав к тому же снотворное. Лялькин дружок исполнял роль влюблённого, а Лялька фотографировала. Потом, когда бедная девочка уснула, они расстегнули ей кофточку, джинсы, сняли бюстгальтер и снова снимали, умирая со смеху. Лялька решила послать фотки Игорю, адрес она знала, потому что давно перехватывала его письма. Фотографии пошли гулять по институту, был большой скандал. Лена бросила учёбу и уехала из города.

Игорь, с его характером, никогда не мог убить даже таракана, наступить на муравья или дождевого червя. Если в комнату залетала муха, он открывал окно и выпускал её на волю. Но сейчас он был готов убить эту курицу, с глупым хихиканьем рассказывающую о том, как они поломали жизнь двум ни в чём не повинным людям.

И ничего нельзя было исправить, ничего! Он тогда вернулся домой с чувством, будто его переехал поезд. Жизнь продолжалась, случались какие-то

приятные моменты, но это была уже другая жизнь. Он не корил себя за поспешную женитьбу, за то, что поверил мерзким фотографиям: что толку корить? Душа ещё долго была больна, и лечить эту боль было нечем.

4.

Он шёл по крытой галерее, ведущей из главного корпуса в столовую, разглядывал росписи на стенах, изображающие жизнь простого советского человека во всём её многообразии: друг друга сменяли картины героического труда и заслуженного отдыха. Судя по одежде людей, роспись была сделана в пятидесятых годах прошлого века. Особенное умиление вызвала картина, на которой мужчина, закатав брюки до колен, парил ноги в тазике, из тазика поднимался пар, а рядом стояли ботинки, так тщательно выписанные художником, что даже шнурки казались настоящими, не нарисованными.

Игорь свернул за угол, где находился небольшой зимний сад и стояли диванчики, и увидел идущую впереди женщину. Ту самую, которую он принял за Лену. Он прибавил шаг. Блеснула серёжка в виде капельки…

— Лена,— тихонько окликнул он.

Она оглянулась, но, увидев, что это кто-то незнакомый, пошла дальше. Сердце его бешено колотилось, не хватало воздуха. Это была она!

— Лена,— снова позвал он,— это я, Игорь.

Тёплая южная ночь опустилась на берег. Смолкла музыка, весь вечер гремевшая на танцплощадке, успокоились птицы. Одно за другим гасли окна в корпусах. Затих прибой; казалось, что и море тоже уснуло. На чёрном бархатном небе горели яркие звёзды. Пустынный пляж напоминал какую-то космическую картину, и сами они, Лена и Игорь, как будто растворились в этой тишине мироздания и друг в друге. Время от времени в берег тихо плескалась волна. «Прости, прости…»— слышалось в её плеске. Она успокаивалась, словно получив прощение, потом её сменяла другая— и снова: «Прости, прости…»

Они не говорили больше о прошлом. Эта ночь была не для выяснения отношений— она была волшебной сказкой, куда они, наконец, добрались после долгого и трудного пути.

Лунная дорожка лежала на спокойной поверхности моря. Он смотрел, как Лена идёт по ней, всё дальше и дальше удаляясь от берега. «Вот бы так идти и идти вместе с ней и остаться в море навсегда»,— мелькнула шальная мысль, и он поплыл вслед.

…Волосы Лены, рассыпавшиеся по плечам, пахли морем.

— Заплети косы,— попросил он.

Две косы, свободно лежащие на груди, её удивительные раскосые глаза, её руки— всё это наполняло его таким счастьем, что становилось трудно дышать.

Набегавшая волна целовала песок. «Люблю, люблю»,— шептала волна. «Навсегда, навсегда»,— еле слышно отвечал песок. С неба печально смотрела одинокая Луна…

Игорь проснулся в полдень, с ощущением необыкновенного счастья. В распахнутое окно доносился птичий щебет, лёгкий ветерок шевелил тюлевые занавески, по стенам прыгали солнечные зайчики. «Лена!»— вспомнил он и вдруг испугался: не приснилась ли она ему? Скорей, скорей увидеть её и убедиться, что она в самом деле существует!

В столовой её не было. Наверное, тоже проспала, мысленно улыбнулся он. Ну ничего, вечером увидит. Но ждать не было никаких сил, хотелось немедленно увидеть её. А где она вообще-то живёт? В каком корпусе, в каком номере? Ну ладно, вечером встретимся.

На ужине Лены тоже не было. Он вышел на набережную в надежде встретить её, но напрасно проходил там до самой темноты— она не встретилась. Бессонная ночь длилась целую вечность. Болван, упрекал он себя, надо было хотя бы фамилию узнать, ведь у неё теперь другая фамилия, кого спрашивать-то!

Утром, когда он шёл на завтрак, его остановила незнакомая женщина.

— Вот, вам просили передать,— она протянула ему конверт.

Он, уже предчувствуя недоброе, развернул небольшой листок бумаги. «Я уезжаю. Прости меня. У нас нет будущего. Прощай».

Он яростно сжал листок в кулаке. «У нас нет будущего!» Ну нет! На этот раз он просто так не отступит. Он всё равно найдёт её! Подумаешь, фамилия, нет ничего проще— пойти на ресепшн и выяснить, кто покинул пансионат в эти сутки. Жить без неё он больше не хочет и не может. И не будет!

Самолёт набрал высоту, пассажиры расслабились, послышались разговоры, смех. Стюардессы разносили напитки, предлагали карамельки— всё как всегда.

Он устроился в кресле поудобнее, закрыл глаза. До Красноярска лёту пять часов, можно и поспать. Неизвестно, когда будет рейс в Норильск, может, придётся коротать сутки, а то и больше, в аэропорту— на Таймыре уже две недели бушует ураган, аэродром не принимает. Ну, может, это и к лучшему: сына хоть навестит, с внуком познакомится. Полгода уже пацану, а он ещё ни разу не видел его. Маргарита тоже вся извелась, ждёт не дождётся отпуска. Вчера позвонила, огорошила новостью: её уволили с работы. «За что?»— удивился он. В последнее время она работала директором

вип-гостиницы для важных гостей и сама была в городе вип-дамой. Маргарита, всхлипывая, рассказала, что случилось. Недавно приехали какие-то иностранцы, то ли итальянцы, то ли французы, видать, очень важные, если их сопровождал заместитель губернатора. Всё городское начальство из кожи вон лезло, чтобы как следует принять их.

Банкет обслуживала сама Маргарита. Стол ломился от закусок, звучали тосты, обстановка была более чем дружеская. Судя по всему, стороны сумели договориться. Заместитель губернатора, красивый мужчина лет сорока, начал произносить тост. В это время в зал вплыла Маргарита с подносом, уставленным тарелками. «Горячее!»—торжественно провозгласила она и начала расставлять тарелки. Краевой начальник так и остался стоять с открытым ртом...

Игорь засмеялся, представив эту картину. Как это похоже на Маргариту! Ну и хорошо, что уволили, для семьи больше будет времени. Хотя она и так была хорошей хозяйкой: дома всегда чистота, порядок, наварено-нажарено... Он вздохнул—так захотелось скорее оказаться дома.

Уснуть не удавалось. Он смотрел на плотный слой белоснежных облаков и думал, что где-то там, под этими облаками, есть на земле посёлок или город, и там живёт Лена. Его пропавшая когда-то девочка-царевна, которую он нашёл и опять потерял. Потерял и не захотел найти. Почему? Почему он не стал искать её? Ведь это было так просто! Он не мог ответить на этот вопрос. И, наверное, не хотел.

У́спеху нет

Форс-мажор

Своего мужа, Василия Кузьмича, Мария частенько называет дедом Щукарём. Василий не обижается—ведь это истинная правда, он, как и шолоховский персонаж, постоянно попадает в нелепые, смешные, а порой и драматические ситуации. То на рыбалку уйдёт без удочек, то чемоданы перепутает и уедет с чужим, то сахаром яичницу посолит... А то как-то в отсутствие жены гулеванил с дружками на даче и полез в погреб за соленьями, а лестницу забыл поднять (он её опускал на верёвке, чтобы воры не попали) и полетел вниз. Правда, успел раскинуть руки, да так и провисел до утра, зацепившись за края погреба. К тому же солидный животик тоже помог—не пролез в узкий лаз.

— У́спеху нет,—смеялась жена.

— Что за у́спех?—сердился Василий.—Может, всё-таки успе́х?

— Да это моя бабушка так говорила: «Работаю, работаю, с ног валюсь, а у́спеху нет. Стараюсь, стараюсь, а всё опять кувырком—ну нету у́спеха, и всё тут».

В кои-то веки Василию дали путёвку в санаторий. Жене тоже хотелось поплескаться в море, позагорать на золотом песочке, и Василий решил взять супругу с собой: там курсовку купят или снимут какой-нибудь угол у частников.

До отхода поезда оставалось тридцать минут. Они уже вышли на перрон, и вдруг Василий обнаружил, что нет барсетки с документами и деньгами. Перерыли все вещи—нет сумочки! Забыли, видно, в спешке.

Кузьмич рванул на привокзальную площадь: может, поймает такси. Таксист сначала отказался:

— Восемнадцать километров до города и восемнадцать обратно за двадцать пять минут? Ты в уме, мужик?

Но, увидев крупную купюру в руке Василия, распахнул дверцу:

— Садись. Только держись крепче!

Машина летела как стрела, слышался непонятный свист.

— Что это свистит?—спросил Василий.

— Ветер. Скорость-то погляди какая!

Через пятнадцать минут они были возле дома Василия. Он взлетел на седьмой этаж, схватил лежащую на тумбочке сумочку и бегом вниз. Обратно неслись уж совсем на бешеной скорости, в запасе было только десять минут. «Только бы не разбиться»,—мелькало в голове Василия, крепко вцепившегося в ручку над дверцей.

Жена спокойно стояла на крыльце.

— Что, опоздал?—всё ещё дрожа от перенесённого страха, спросил Василий.

— Опоздал. На два часа.

— На какие два часа, ты что?

— Поезд на два часа опаздывает,—отвечала жена.

— Ах ты, твою дивизию!—разозлился Василий.—Что за порядки! Не предупредят, не скажут, а ты хоть разбейся, им всё равно.

Он ещё долго бушевал, потом успокоился.

— Схожу-ка я, мать, в буфет. Стресс надо снять, дрожит всё внутри. Дай рублей сто, а то я все таксисту отдал.

— Сходи,—великодушно согласилась супруга.—Деньги в сумочке, в красном кошельке.

— А... а где сумочка?—Василий растерянно смотрел на неё.—Я ведь тебе её отдал...

— Да нет, не отдавал ты её мне.

— Ну как не отдавал, когда отдал?!—снова начал заводиться Василий.

И вдруг кинулся к выходу, на ходу бросив:

— В такси забыл!

На площади было малолюдно, только на остановке в ожидании автобуса толпились пассажиры. Поодаль стояли две иномарки и старый «жигулёнок». Такси не было ни одного.

...Василий и Мария уныло стояли на остановке, надеясь встретить кого-нибудь из знакомых, чтобы занять денег на билет и вернуться в город.

— Ты бы хоть номер машины запомнил! — в который раз начинала ныть жена.
— Когда мне было его запоминать? Хватит уже! — злился Василий.

Из-за поворота выскочила машина с «шашечками».

Сделав крутой вираж, остановилась возле бедолаг.
— Твоя? — водитель достал сумочку с заднего сиденья. — Растяпа! Хорошо, что никто из пассажиров не прихватил… Ну и что теперь?
— Билеты пропали, путёвка сгорела — отдохнули, называется! Поезд давно ту-ту.
— Знаете что, — водитель распахнул дверцу, — давайте попробуем догнать ваш поезд!

И догнали. В Красноярске. Он там долго стоит — минут сорок.

Знакомый адрес

Василий после работы собрался на рыбалку. Он работал во вторую смену, до двенадцати ночи, а на следующий день был выходной. Он с нетерпением ждал конца смены и тут вдруг вспомнил, что не приготовил для рыбалки самое главное… ну, вы поняли, о чём я…
— Вовка, — позвонил он своему сменщику, — выручай, забыл бутылку купить. Сам знаешь: какая рыбалка без неё, родимой?

Приятель, посмеявшись, обещал решить вопрос. Договорились, что Владимир купит водку и оставит её у себя в холодильнике. Только вот закавыка: Людка уехала по путёвке, а ключ у них один. Конечно, можно оставить под ковриком, но как-то опасно… Это в прежние, советские времена ключ прятали под ковриком, клали в почтовый ящик, при этом в двери оставляли записку: «Ключ в п/я», — и ничего, воровства в социалистическом городе не было и не могло быть. В конце концов, решили так: Вовка оставит дверь незапертой — рисковать так рисковать, Василий зайдёт ночью и возьмёт бутылку, а дверь потом захлопнет. Авось пронесёт.

Василий хорошо знал планировку квартиры, поэтому, не зажигая света, прошёл в кухню, открыл холодильник — вот она, подруга дней моих суровых! В это момент вспыхнул яркий свет, он обернулся — в дверях стояла незнакомая женщина, в ночной сорочке, с взлохмаченными волосами. «О-па, — усмехнулся про себя Василий, — вот это Вовка даёт: не успела Людмила уехать, как у него уже дама… Чёрт, что же он меня не предупредил?»
— Вы что здесь делаете? Как вы сюда попали? — испуганно спросила женщина.
— Да… да мы с Вовкой д-договорились… — от удивления Василий стал заикаться. — Я сейчас уйду, вы не беспокойтесь!
— С каким Вовкой? Я сейчас милицию вызову! Коля, Коля, вставай, — закричала она в темноту квартиры, — тут вор забрался, вызывай милицию!

Василий, не дожидаясь, когда появится какой-то Коля, оттолкнув женщину, выскочил в дверь и, перепрыгивая через две ступеньки, стрелой помчался вниз. Не хватало ему ещё милиции. Бутылку, однако, из рук не выпустил. Отдышавшись на скамейке во дворе, он попытался понять, что случилось. Кто эти люди? Почему они в Вовкиной квартире? Ну, завтра он устроит своему дружку допрос с пристрастием! Он огляделся — и тут только понял, что это какой-то другой двор. Но дом-то Вовкин, он сто раз тут бывал. Он машинально пошарил взглядом по фасаду — название улицы, номер дома — и всё понял: это был соседний, как две капли воды похожий на Вовкин дом. Таких домов в городе большинство. Он, видимо, был так занят мыслями о предстоящей рыбалке и шёл, что называется, на автостопе, что не заметил, как перепутал их.

Василий зашёл в квартиру друга, открыл холодильник, но бутылку не взял — пусть остаётся Вовке, в качестве приза. Захлопнув входную дверь, он заторопился: скоро будет первый автобус в сторону плотины, и надо на него успеть.

«Ножки мои, ножки»

Василий не любитель ходить по гостям, но жена всё время обижается: ты со мной на люди стесняешься показаться! Не говори глупостей, отмахивался Василий, но она выискивала всё новые и новые доказательства своим домыслам. Поэтому он, скрепя сердце, уступал ей, когда кто-то из многочисленных родственников приглашал их на юбилей или какое другое торжество.

Обычно он, отведав угощение, тут же начинал толкать Марию в бок: пора домой. Она возмущалась: перед роднёй стыдно, мы что, поесть сюда пришли? Но знала, что бесполезно уговаривать, поэтому, когда он на дне рождения двоюродной сестры начал многозначительно поглядывать и кивать в сторону двери, она тихонько подозвала сестру и сказала, что им надо идти. Светлана понимающе кивнула, она знала эту привычку зятя.

Василий с трудом нашёл в куче обуви свои туфли, а ложечку не мог найти и, чертыхаясь, еле-еле натянул их на ноги. Они решили идти пешком, до дома было не более пятисот метров. Шёл мелкий дождичек, отражались в лужах огни фонарей, светились неоновые вывески на магазинах. Ночь была хороша. Мария любила такую погоду и не прочь была прогуляться.
— Ой, нет, пойдём скорее домой, что-то так ноги разболелись, — пожаловался Василий. — Отекли сильно. С чего бы это?
— Я тебе давно говорю, что сердце надо проверить, — забеспокоилась Мария.
— При чём здесь сердце? — рассердился муж. — Надо было на липучках туфли купить, или ещё, знаешь, есть такие, с резиночками по бокам.

Прошли ещё немного, и Василий остановился: ноги совсем отказывают, хоть садись на землю! Тут как раз подошёл автобус, почти пустой, и Василий с облегчением уселся на ближайшее сиденье. Проехав одну остановку, они вышли, до дома было около пятидесяти метров.

— Ножки мои, ножки,— постанывал Василий, то и дело останавливаясь.

— Потерпи, Васенька, скоро дойдём,— Мария бережно поддерживала мужа,— обопрись на меня.

Дома она налила в тазик горячей воды, и Вася с наслаждением опустил туда ноги. Перед сном она смазала их кремом и закутала тёплым шарфом.

Утром, когда Василий ещё крепко спал, она решила помыть обувь, вчера ведь по грязи пришлось идти, а Мария любила чистоту и порядок в доме.

Она взяла туфли мужа и вдруг захохотала как сумасшедшая. Это были не Васины, а Светкины туфли, тоже коричневые, точно такого же фасона, но… тридцать седьмого размера, правда, уже довольно разношенные. А Василий носил сорок первый.

Полусонный Василий никак не мог понять, почему супруга сидит на полу в коридоре с туфлями в руках и хохочет, сквозь смех снова и снова повторяя:

— Ножки мои, ножки! Ножки мои, ножки!

«Спасибо, брат!»

Василий с супругой совершали круиз по Золотому кольцу на комфортабельном теплоходе «Михаил Шолохов». Путёвки им подарила сестра, жившая на Севере, к их серебряной свадьбе. Ошеломлённые роскошью интерьеров, неизвестными им ранее блюдами в ресторане, предупредительностью обслуги, они чувствовали себя не очень уверенно, да что там — просто растерялись и старались как можно меньше выходить из каюты. Но потом пообвыкли, подружились с супружеской парой из Сургута и вскоре уже ничем не отличались от разряженной публики. Экскурсии по древним русским городам, концерты по вечерам, природа — всё это им страшно нравилось. Одно только было плохо — в стране бушевала кампания борьбы с алкоголизмом. А какой русскому человеку отдых без… этого самого? Хотелось иногда пивка, да и чего другого тоже. Мужики маялись, жёны радовались. Василий со своим новым приятелем Семёном на остановках всё же как-то ухитрялись доставать выпивку. Как они это делали — непонятно.

В Костроме Василия с супругой ждала встреча с братом и его семьёй. Времени было в обрез, успели только пообедать — на сухую, конечно,— и пора обратно, на теплоход. Порядки в круизе были жёсткие: если опоздал, никто ждать не будет, догоняйте теплоход сами, это ваша проблема.

Братья расстроились, естественно, но что тут поделаешь! Брат на прощание тайком от женщин сунул Василию завёрнутую в газету бутылку.

— Чистый, медицинский,— шепнул он.

Вечером женщины отправились на концерт, а мужики поднялись на верхнюю палубу, захватив с собой заветную ёмкость и что-то из закуски.

Выпили по стопочке. Посмотрели друг на друга. Налили ещё по одной. Выпили. Помолчали. Осмотрели бутылку со всех сторон, понюхали — спиртом и не пахнет! Вода! Вот это удружил братец! Хотя что с него взять — доктор, *убеждённый* трезвенник. Видно, решил и его, Василия, приобщить к здоровому образу жизни.

Обидно было. Не ожидал такого от родного брата. Опозорил тот его перед другом. Возвратившись домой, решил всё же позвонить в Кострому.

— Ну, спасибо тебе, брат, за подарок! — Василий постарался придать голосу как можно больше сарказма.— До сих пор голова с похмелья болит!

— Прости, брат! Тут такая история вышла. Жена на Крещение в церковь ходила, ну и… В общем, заначку мою она перелила в какую-то банку, а бутылку эту использовала для хранения святой воды. Так что не расстраивайся, это не простая вода…

— О, это, конечно, совсем другое дело! — с ехидцей сказал Василий.— Ну, бывай здоров, не кашляй!

Недели через две от брата пришла посылка с завёрнутой в несколько слоёв газеты банкой. На обёртке крупными буквами было написано: «Святая вода».

Идиот

Дочка из Канады прислала Василию и Марии вызов. Она там живёт уже семь лет, замужем, двое детей. Давно зовёт: приезжайте, приезжайте,— а они никак не решаются: не близкий свет, да и денег нет на поездку. Дочь и денег прислала, паспорта заграничные получили, а всё как-то боязно. Решили посоветоваться с давними знакомыми, у них тоже дочь замуж за канадца вышла. Тоже по Интернету познакомилась. Муж её небедный, коннозаводчик: разводит чистокровных жеребцов на продажу, у него своя ферма. Вывозит своих скакунов на соревнования, призы получает. Она не работает, он ей запрещает,— в общем, повезло девке!

Молодая жена коннозаводчика оказалась дома. На удивлённые расспросы гостей отвечала, что в отпуск приехала. О жизни в Канаде рассказывала неохотно, а потом и вовсе ушла.

— В отпуск она приехала! Ага! — не обращая внимания на одёргивание жены, сердито говорил отец.— Выгнал он её! Дура набитая. Работать надо было, а она от безделья не знала чем заняться.

— Отец, да хватит тебе! Садистом он оказался! Издевался над ней, бил, в сарае держал,— зашмыгала носом жена.

Василий и Мария возвращались домой совсем приунывшие. А вдруг и с их дочкой такая же история? Хоть она и пишет, что муж хороший, да кто их знает, как они там живут. Нет, надо всё-таки

съездить, посмотреть своими глазами. Решили, что Василий поедет один.

Зять и вправду оказался хорошим парнем, не первой молодости, правда, но это, может, и к лучшему. Василий первые дни присматривался к нему, стараясь уловить какие-нибудь неприятные моменты — слова там, взгляды, — нет, всё вроде в порядке: отношения ровные, детишки воспитанные, дочка выглядит довольной жизнью.

— А что же с подругой-то твоей случилось, доча? — спросил Василий. — Как же она на маньяка-то нарвалась?

— Пап, ну какой маньяк? — отвечала дочь. — Нормальный мужик, работящий, богатый.

— Говорят, он её в сарае держал, есть не давал...

— Держал, да... А знаешь за что? Она в его отсутствие решила делом заняться: взяла и подстригла его лошадей.

— Зачем?

— Ну, она решила, что так будет лучше. Обрезала им хвосты, гривы. Джон увидел — чуть с ума не сошёл! Представляешь — чистокровные жеребцы, он их на выставку готовил, там каждый волосок берётся во внимание, а она... помогла, одним словом. Вот он и не выдержал, отхлестал её вожжами, запер в сарае и три дня не выпускал.

— Но это же... а что ж полиция? Его же судить за это должны.

— Да она, как только он отлучился, собрала вещички — и домой, в Россию.

— Ну и дела тут у вас!

— А «у вас» что, по-другому? — засмеялась дочь. — Кстати, лошади — это последняя капля. Он долго терпел. С чего-то вдруг решила, что домашним хозяйством заниматься — не царское дело, и не готовила, не стирала, не убирала. Потом кое-как научилась готовить, но... Представляешь, садятся, например, ужинать, она детям кладёт котлеты, а Джону одно картофельное пюре. Он один раз поел, второй, потом начал возмущаться: не наедаюсь, мол. Она ему: ешь с хлебом, хлеба много... А уж когда с лошадьми такое сотворила, он и не выдержал.

В выходной зять попросил Василия помочь убрать камни с дачного участка. Дачка была небольшая, но добротная, на берегу океана, на участке газон, альпийские горки, даже искусственный водоём имеется. Зять хочет построить беседку, да вот огромные валуны мешают, надо расчистить место.

Несколько камней они убрали без проблем, а один, самый большой, никак не поддавался. Василий — мужик сильный, да и зять тоже не хилый, но возились уже час, а толку не было. Они ломом и заострённым колом поддевали валун под бок и, пыхтя и сопя, жали на рычаги, пытаясь сдвинуть его с места. Наконец валун дрогнул и начал потихоньку выползать из земли.

— Идё-ё-ёт! — кричал Василий, ещё сильнее нажимая на рычаг. — Идё-ё-ёт!

Камень, сантиметр за сантиметром, поднимался вверх.

— Идё-ё-ёт! Идё-ё-ёт! — громким криком помогал себе Василий.

А зять становился всё мрачней и мрачней. Чего это он, подумал Василий, но думать было особенно некогда, и он, в который раз крикнув: «Идё-ё-ёт!» — с такой силой нажал на кол, что камень почти весь вылез наружу. Осталось приложить ещё немного усилия — и порядок!

Зять вдруг бросил лом и пошёл к дому. Василий растерянно смотрел ему вслед. Что с ним?

Дочь отправилась вслед за мужем. Через некоторое время она вышла, глаза её смеялись.

— Что случилось-то? Надулся, как индюк, и пошёл! Ненормальный какой-то! — негодованию Василия не было предела.

— А ты зачем его идиотом обзываешь? — засмеялась дочь.

— Что-о-о? Я — его? Идиотом? Когда?

— Да ты всё кричишь: «Идё-ё-ёт! Идё-ё-ёт!» — а он подумал, что ты его идиотом обзываешь. Ну и обиделся.

Показался в дверях зять, легко, по-молодому, сбежал с крыльца, обнял Василия, что-то сказал по-английски.

— Ладно, ладно, проехали, — Василий не понял ни слова, но интонация говорила сама за себя.

Через час они сидели на веранде, ели жареную рыбу, запивая её пивом.

— Идиот! — время от времени произносил зять и хлопал тестя по плечу. — Идиот!

— Идё-ё-ёт! — вторил ему Василий, и они громко хохотали.

Внизу, под крутым берегом, плескался Атлантический океан.

Рустам Карапетьян

Фотограф

Дворник

— Вот.

Молодой белобрысый парень кладёт передо мной заявление. Поправляю очки, вдумчиво читаю:

— Прошу принять меня… Угу… На полставки… Так-с… В общежитии не нуждаюсь… Ага… И подпись… Ну просто замечательно!

— Это всё?—интересуется паренёк

— Это всё, Наталья Ильинишна?—переадресую я вопрос в угол комнаты.

Дородная голубоглазая Наталья Ильинична, покраснев, хихикает и отворачивается.

— Так-так,—повторяю я и опять начинаю перебирать бумажки.

Парень недовольно следит за мной. Я мурыжу его уже целый час. Это только сегодня час. А так он ко мне ходит уже почти неделю.

— Ой, вот!—наконец радостно обнаруживаю я.— У вас справка о здоровье не совсем правильно оформлена.

— Как это неправильно?—вскипает парень.—Я ж её в поликлинике получал!

— Конечно, конечно!—успокаиваю я его.—Только вот не хватает заключения окулиста.

— А окулист-то вам зачем?!

— Работа у нас такая, сами понимаете, глаз да глаз нужен!

— Это дворнику-то?

— Дворнику—особенно! Раз проглядит бумажку, другой раз пропустит. А это уже две, три бумажки. Это уже мусор! Жильцы недовольны, пишут жалобы. Дворника лишают премии. Дворник напивается и не выходит на работу…

— Я не пью!

— Ну, тогда ещё хуже: непьющий дворник душевно сильно переживает и получает инфаркт.

— У меня здоровое сердце!

— А, ну тогда ладно,—внезапно соглашаюсь я,— если сердце здоровое, тогда это совсем другая картина, тогда на окулиста можно внимания не обращать,—доброжелательно заключаю я.

И, дождавшись, когда паренёк расслабится, добиваю его окончательно:

— Только вот… А где же справка от кардиолога?..

— Какого кардиолога?—уже совсем ошарашенно мямлит парень.

— Как какого? Обычного кардиолога, о том, что у вас здоровое сердце. Вы ж сами только что сказали.

Парень хватает свои бумаги со стола и выбегает из комнаты.

— Нервический какой молодой человек,—обращаюсь я к Наталье Ильиничне.

Та опять краснеет и хихикает, опуская свои зелёные очи долу. Смешливая она у нас очень. И застенчивая. Ну, это ничего, это пускай.

— Я одного не понимаю,—парень влетает обратно в комнату аки на крыльях, его обвиняющий перст указывает прямо на меня.—Вместе со мной неделю назад пришёл устраиваться какой-то бомж! И вы его уже взяли! И не врите мне! Я сам его позавчера видел, как он метлой шуровал!

— Молодой человек, выбирайте выражения,—добавляю я в голос чуть-чуть студёности.—Теперь я совершенно определённо вижу, что вы нам не подходите. У вас же нет никакого понятия о корпоративной этике. У нас бомжи не работают! Наталья Ильинишна!

Чуть побледневшая Наталья Ильинична уже стоит возле стола и суёт мне в руки папочку. Она-то уж знает, что в гневе я—ох как страшен, и лучше не усугублять.

— Так,—распахиваю я папку и начинаю читать, медленно и веско.—Посмотрим, кто это у нас тут… Ага, вот… Принять на штатную единицу дворника… Афанасьев Николай Агафонович, уроженец Тверской губернии, ага… не женат, не привлекался… Да где ж это? А, вот оно. Проживает по адресу: улица Лесная, дом пять, комната двести четыре. Какой же это, извините, бомж?

— Это ж ваша общага,—тихо, под нос, возмущается парень.

— Да,—уже почти миролюбиво соглашаюсь я,—но, как я уже вам сказал, у нас бомжи не работают.

Паренёк вылетает как ошпаренный. Жалко его. Студент, денег не хватает, профессии сурьёзной пока нет. Но у меня свои заморочки, мне надо, чтоб на участке всё тики-пуки было. Чтобы блестело всё и лоснилось. Это студент, что ли, порядок здесь наведёт?

Последний вопрос я, наверное, повторяю вслух, потому что милая Наталья Ильинична опять краснеет и хихикает. А через несколько минут

в комнату вваливается сам виновник торжества — дражайший Николай Агафонович, уроженец Тверской губернии.
— Это… я того… — объясняет он, немного суетливо размахивая руками.

Синяк под правым глазом, с которым он пришёл сюда неделю назад, уже почти не виден. Это Наталья Ильинична над ним с какой-то мазью поколдовала. Да и весь внешний вид у Николая Агафоновича тоже вполне ничего себе, респектабельный. Телогрейку мы ему подобрали по размеру. Штаны я ему свои отдал, в которых машину обычно чинил. А ушанка у него своя была, почти новая.
— Ну, короче, того я…

Это означает, что возле пятнадцатого дома он уже подмёл и пошёл на перекур, а потом пойдёт в семнадцатый.
— И, это, там… да…
— Спасибо, дорогой Николай Агафонович, вы абсолютно правы, машины на газонах — это наша общая беда, но и вы войдите в положение: а куда их ещё ставить?
— Иэ-эх, — Николай Агафонович машет рукой, высказывая своё отношение к машинам на газонах в целом и к человечеству в частности.

И уходит, не забыв осторожно прикрыть за собой дверь. Очень, очень высокопорядочный тип.

Вслед ему умилённо зрит Наталья Ильинична. Она у нас ещё в девках, поэтому на каждого нового дворника смотрит, как бездомная дворняга на чуть задержавшего шаг прохожего. Пока, правда, как-то не складывается. Ну, даст Бог, сложится.

А студентика жалко, конечно, но не его это работа, не его. Да и найдёт он себе что-нибудь более подходящее. Телефонами там торговать или листовки раздавать. А мне дворники нужны из нашенских, из работяг. Чтобы в …надцатом поколении были. Мало сейчас нас таких, потомственных, нам друг друга держаться надо.

Начальство удивляется: и как это у вас, Аристарх Петрович, всё так быстро да складно получается? А я только в бороду посмеиваюсь. Не буду ж я им рассказывать, что лучшие дворники получаются из бывших дворовых, а сантехники и электрики — из домовых. Да и незачем им это знать. Главное, что жильцы довольны, начальство — тоже. Да и мы, опять же, при деле.
— Правильно я говорю, Наталья Ильинишна?

Стажёр

Лечу вниз по лестнице, перескакивая сразу через несколько ступенек. В голове мухой бьётся невесть откуда всплывшее: «Забирай своё и беги, беги, беги! Уноси свои ноги, ноги, ноги́!» Текст совершенно дурацкий, но ритмичный. Бежать под него удобно. Падать, наверное, тоже. Конечно, можно и сбавить скорость, но тогда я точно опоздаю. А опаздывать нехорошо. Особенно если ты без пяти минут выпускник и у тебя первый день практики, по результатам которой и будут судить о твоей профессиональной пригодности или отсутствии оной. Так что — «и беги, беги, беги!».

Уже почти пулей вылетаю из подъезда, но тут на горизонте неожиданно нарисовывается баба Аня с двумя авоськами в руках. Кажется, больше ни у кого таких уже не осталось. Я, по крайней мере, давненько не встречал. С трудом притормаживаю буквально в нескольких сантиметрах от бабки. Уф-ф-ф, пронесло. Лобового столкновения не произошло, продавцов полосатых палочек просьба не беспокоить. Улыбаюсь приветливо:
— Здрасьте, баба Аня!

Баба Аня, подслеповато щурится на меня:
— А-а-а, это ты. Всё носишься?
— Всё ношусь.
— Ну-ну… А я вот с утречка по магазинам. Лифт-то не заработал?
— Не, баба Ань, не заработал. Пешком бегу.
— Ух, изверги, чтоб им морды всем порвало, — ворчит баба Аня то ли на пацанов-хулиганов, в очередной раз умудрившихся вывести из строя древний механизм, то ли на вечно хмельных лифтёров-философов, не спешащих аварию устранять. А скорее всего — и на тех, и на других.
— Движение — жизнь, — утешаю я бабу Аню, но тут же, со стыдом вспомнив, что живёт она, между прочим, на шестом этаже, предлагаю: — Давайте помогу.
— Помоги, милок, — охотно соглашается она. — Конфетку хочешь?..

Ещё минут через пятнадцать, успев узнать все местные слухи-новости, а также мнение бабы Ани о первых лицах страны, а главное, о соседе с шестого этажа («А ещё к нему баба на машине вчера приезжала. Красная вся такая. Машина»), я всё-таки выскакиваю из подъезда. «Это было как в кино, в голове было одно: забирай своё…»

> Доброе утро, последний герой!
> Доброе утро тебе и таким, как ты
> Доброе утро, последний герой!
> Здравствуй, последний герой!

Итак, сегодня четверг и мы снова вместе с вами, и вновь мы пытаемся понять: кто они, нынешние герои? Сегодня у нас в студии три гостя…

Выскакиваю на перекрёсток. На противоположной стороне — метро. «Счастье было так возможно…» Но, как всегда с моим пушистым счастьем, попадаю на красный, приходится стоять, ждать. Я, конечно, опаздываю, но не настолько, чтобы забыть о том, что жизнь — штука короткая. Наконец, красный начинает нервно подмигивать

и уступает место зелёному собрату. Резкий старт, но в последний момент еле отскакиваю назад от несущегося джипа. Козёл! Куда прёшь?! Даже не притормозил, даже не дёрнулся в сторону, урод! Стою, пытаясь отдышаться. Раз, два, три… Всё хорошо… Мне тепло… Я спокоен… Только сердце молотит как бешеное. А джип-то крутой. Связываться с его хозяевами — себе дороже. Переедут пару раз — ты же ещё и виноват окажешься.

Постояв какое-то время, всё-таки успокаиваюсь и, дождавшись очередного зелёного, осторожно перехожу улицу. Жизнь и так прекрасна, зачем же разнообразить её переломанными ногами и руками? Конечно, я уже *опаздываю*, но лучше живой безработный, чем дохлый работяга, не правда ли?

— …А теперь расскажите, пожалуйста, как вы пришли к мысли — помогать сиротам. Ни для кого же не секрет, что большинству наших бизнесменов и вуменов такие идеи глубоко безразличны.
— Понимаете, — совсем не похожий на буржуина-олигарха стройный мужчина поправляет очки, — я сам, конечно, не сирота, но вырос в простой семье. И дружил с простыми ребятами, многие из которых были из неблагополучных, часто неполных семей. Мне-то в этом плане повезло: и отец, и мать у меня были. Но потрудиться мне в жизни пришлось немало. Я и вагоны разгружал, и на рынке торговал, и в тайгу за шишкой бегал. Чем только не пришлось заниматься, прежде чем я стал тем, кто я есть. Но при этом я ни на миг не забывал, кем я был и, в какой-то мере, кем остаюсь по сей день. Как говорил классик, все мы родом из детства. Поэтому я считаю своим долгом, даже не гражданским, а личным — помогать тем, кто в начале своей жизни нуждается в поддержке. И это не только одна лишь материальная помощь. Мой фонд поддерживает творческие проекты молодых людей, мы финансируем несколько технических кружков — я всегда ведь был неравнодушен к технике, — олигарх улыбается и тянется за стаканом воды.
— Спасибо вам большое за содержательную беседу. Мы надеемся, что вы открылись для нашей аудитории с новой, для многих неожиданной стороны. И теперь, услышав фамилию…

Двери вагона закрываются, и поезд мягко трогается. Вздыхаю с облегчением: может, и успею. Оглядываюсь в поисках места и плюхаюсь на единственно свободное пространство возле молодого рыжего паренька с небольшим ноутбуком на коленях. Паренёк азартно долбит по клавишам. Не выдерживаю и скашиваю взгляд: на экране мелькает меч, летят брызги крови, монстры в предсмертных криках беззвучно разевают пасти. То есть звучно, конечно, но звук идёт в наушники. Всё понятно. Я тоже когда-то в такие игры «зависал». Эх, где ты, моя силушка молодецкая да удаль богатырская? (Или наоборот?) В общем, «хорошо с похмелья мечом помахать». До сих пор испытываю гордость за некоторые свои подвиги на поприще меча и магии.

«Осторожно, двери закрываются!» — предупреждает вежливый диктор, и мы отчаливаем от очередной остановки. Рядом с нами останавливается молодая женщина с небольшим животиком. Беременная. Мой юный сосед на миг отрывается от экрана, невидящим глазам мажет по женщине и опять погружается в матрицу. Пионер должен всегда быть вежлив, не обижать младших, помогать старшим, уступать места инвалидам и беременным. Это я откуда-то помню. Вздыхаю и встаю:
— Садитесь, пожалуйста.

Женщина благодарит и садится. Стою и внутренне горжусь собой: это вам не мечом помахать. Ну-ка, и где мои триста пятьдесят очков за благородство? Я за них себе магический убыстритель куплю — гляди ж, тогда точно не опоздаю.

— А вам не кажется, что компьютерные игры — это бегство от реальности, некий суррогат?
— Со стороны, конечно, может показаться и так, — молодой человек взмахивает руками, — но это только на первый взгляд. Во-первых, сейчас ролевые компьютерные игры — это уже не просто тупое махание мечом. Они имеют долгий продуманный сюжет, в котором игроки оказываются в непростых ситуациях, требующих нестандартного мышления, им приходится решать этические проблемы и логические задачи, планировать сценарий своего развития. Во-вторых, сейчас Игра — это не просто компьютерный симулятор. Сейчас в игре может быть задействовано одновременно сто, тысяча, десять тысяч человек. Между ними формируются отношения, возникают конфликты. Люди самоорганизуются в социальные структуры, а потом борются с ними. В общем-то, мы уже не столько играем с компьютером, сколько взаимодействуем и общаемся друг с другом. Ну и в третьих, — молодой человек хитро улыбнулся, — никто же не гарантирует, что наша жизнь — это не выдумка

какого-нибудь компьютерного гения, супермозга. Ведь ещё древние восточные философы говорили, что наш мир—это всего лишь большая иллюзия. Игры—это тоже иллюзии—может, менее достоверные, но по существу и по природе такие же, как и жизнь.

— Хм… Интересная точка зрения. А теперь давайте обратимся к нашему эксперту из зала…

Я почти успел. Метро доставило вовремя. Гляжу на часы: без трёх минут время Ч. Конечно, по неписаному правилу, мне нужно было появиться как минимум за полчаса до начала съёмок. Но поскольку обязанностей у меня пока никаких, надеюсь, что в предсъёмочной суматохе меня никто не хватился.

Уже почти возле самой проходной чуть не врезаюсь в спину внезапно остановившегося прохожего. Дед в старом пиджаке держится за сердце.

— Дедушка, вам плохо?

— Валидол…— шепчет старик.—Дома забыл…

Хватаю деда под руку и тащу до ближайшей скамейки, благо тут несколько шагов. Теперь—быстро позвонить в скорую. Но тут—заминка. Телефон был поставлен дома на зарядку и в суматохе забыт. Блин! Мимо грациозно скользит девушка—красавица, спортсменка, комсомолка. В руке возле уха—вожделенная трубка. Обращаюсь:

— Простите, тут человеку плохо… Надо скорую вызвать… А я телефон дома забыл…

Девушка недоумённо смотрит сквозь меня, на ходу роняет:

— Я спешу,—и скрывается за проходной.

Стерва! Ну и чёрт с ней. А я дурак! Можно же с проходной позвонить. С городского, там же должен быть!

— Вас, наверное, уже замучили этим вопросом, но всё же ответьте: почему вы выбрали именно карате? Ну, вы такая молодая, красивая—и вдруг примитивная драка.

Девушка улыбается, обнажая ряд белоснежных зубов:

— Ну, почему-то всё никак не развеется древний миф, что карате—это не для женщин. Если вы не задаётесь единственной целью—избить всех вокруг, а особенно того мерзавца-амбала, который вам насолил, то к вам рано или поздно должно прийти понимание карате как искусства, в котором есть место и красоте, и грации. В поединке требуется и трезвое мышление, и интуитивное вдохновение, там переплетаются воедино жёсткость и мягкость. Но главное, что карате—это не просто какое-то внешнее умение, вроде езды на велосипеде. Нет, это целая философия, которая пронизывает всю вашу жизнь и все ваши поступки. Ведь правильное название звучит: карате-до. «До»—означает «путь». И это путь длиною в жизнь.

— Спасибо. А теперь расскажите, как вы получили свою первую престижную награду. Кажется, это был чемпионат Европы?..

Стою красный как рак. Переминаюсь с ноги на ногу. Я всё-таки опоздал. Телефон на проходной нашёлся, но пока скорая пришла, пока ушла… А эта, которая режиссёр, всё ж таки подметила моё отсутствие. Профессионал! (Или «профессионалка»?)

— Понимаете…—лепечу, как ребёнок.—Там помочь надо было…

— Молодой человек,—внушительно выговаривает авторитетная тётка,—свои личные проблемы надо решать в свободное от работы время. Мы тут с вами не в бирюльки играем, а творим искусство,—тут голос повышается, чтоб все слышали.—А если кто считает иначе, может убираться сейчас же к чёртовой матери! Я никого не держу!

Разглядываю носки своих кроссовок. Ну да, виноват, поставьте в угол и лишите сладкого.

— Сегодняшний день идёт вам в большой, жирный минус. Можете идти домой. Надеюсь, это послужит вам уроком.

Подавленный, стою, смиренно жду и надеюсь, но когда поднимаю глаза—вижу уже только спину.

— Приходи завтра,—шепчет в ухо ассистент,—она у нас отходчивая. Но сегодня лучше тебе ей на глаза не попадаться.

Мысленно вытираю слёзы и ухожу. Дурак.

— Так кто же всё-таки они, герои нашего времени? Только что мы вместе с вами попытались разобраться в этом вопросе. Надеемся, что в какой-то мере нам это удалось. Смотрите нас в десять утра каждый четверг на телеканале «…-TV». С вами был Александр Соколов. И помните: герои живут среди нас!

Бегу вниз по ступенькам, перескакивая сразу через несколько. Я не опаздываю, я просто спешу. Надо спешить, особенно если у тебя второй день практики, а ты вчера уже накосячил… У подъезда сталкиваюсь с бабой Аней, опять нагруженной под завязку. А лифт всё ещё не работает…

— Здрасьте, баба Ань!—на миг замираю в нерешительности…

Фотограф

Мальчик напряжённо оглядывается по сторонам в поисках мамы. Только что она была здесь—и вдруг пропала. Мир на глазах начинает трещать и рушиться. Мальчик отчаянно вертит головой. Он ещё не плачет, но кончики губ уже потекли вниз. Где же мама? Где же мама?!! *Где же мама????!!!* Я осторожно, чтобы не спугнуть, делаю кадр: две огромные прозрачные слезы в широко распахнутых глазах, готовые сорваться и затопить собой весь мир.
— Митя, Митечка, ты чего?..—молодая рыжеволосая женщина налетает словно вихрь, подхватывает малыша под мышки, подкидывает до неба, ловит, прижимает к груди.

Митечка хохочет так заливисто, что щекотно и хохотно становится всему вокруг.

Она не пришла. Напрасно он прождал её сорок минут. Наверное, он ей не понравился. Да, он ей точно не понравился—тощий, да ещё и в очках в придачу. Даже рада была сбежать при первой же возможности. Он же такой нудный. Молодой человек нервно смотрит на часы, потом на солнце, потом снова на часы. Роза в его руках мелко и нервно трясёт головой. Она не придёт… Ну, это даже и к лучшему. Она—такая красивая, а он урод. Ну, не урод, но и ничего особенного. А ещё эти очки дурацкие… Паренёк срывает очки и чуть-чуть выпячивает вперёд подбородок. Я щёлкаю затвором. Выходит такой а-ля крёстный отец. Во взгляде можно даже разглядеть какую-то жёсткую решительность.
— Прости, прости. Ты уже давно ждёшь? Ой, это мне? Спасибо! А я, представляешь, совсем не на тот автобус села и замечталась, а он когда повернул, я и не заметила. А потом смотрю: ой, куда это я попала? Еле сообразила! А там автобусы почти не ходят. Ты сердишься, да? Ну не сердись! Хочешь, я тебя в щёчку поцелую?

— Тишка, Тишка!

Маленькая коротконогая такса стрелой несётся к цели, ведомой ей одной. За таксой с дикими воплями мчится её маленькая хозяйка лет десяти с болтающимися в разные стороны косичками.
— Тишка, стой!

Девчонка летит так, что даже у меня дух захватывает. Словно это я бегу, а не она.
— Тишка-а!

Никуда таксе не деться—лапы у неё коротковаты. Но такса не сдаётся и перебирает лапчонками так часто, что неопытным взглядом их почти не разглядеть.
— Стой!!!

Тишка вылетает на дорогу, девчонка следом, подхватывает таксу на руки. Мгновенно, почти не наводя резкость, нажимаю на затвор. В тот же миг раздаётся отчаянный скрип тормозов. Серая «Тойота» останавливается всего в нескольких сантиметрах от девчонки. У водителя белое лицо. Девчонка тоже насмерть перепугана. Одной таксе хоть бы хны. Лижет хозяйке лицо—подлиза.

Делаю ещё один кадр и отправляюсь дальше.

Потом, поздно вечером, я внимательно разглядываю получившиеся снимки. Маленький мальчик, оглушённый пониманием того, что его незыблемый мир не так уж и незыблем. Разочарованный парень, готовый объявить войну всему и вся. Перепуганная девчонка с таксой в руках, взгляд направлен за границу кадра, откуда на неё уже несётся невидимая «Тойота».

Хорошие фотки. Хорошие люди, дай им Бог. Жаль, что эти снимки никто, кроме меня, не увидит. Потому что они останутся только у меня в голове. Потому что у меня и фотоаппарата-то нет. Ведь настоящему фотографу не нужен фотоаппарат. Настоящий фотограф сам является и инструментом, и результатом. И только так может получиться настоящая фотография. Фотография, которую не надо ретушировать или обрезать. Ведь если фотография настоящая—мир сам подстраивается под неё. И тогда вдруг, откуда ни возьмись, появляется мама. Или приходит на свидание любимая девушка. Или машина останавливается в нескольких сантиметрах, только обдав порывом ветра. Надо только хорошо настроить взгляд и нажать затвор: клац.

Я внимательно разглядываю получившиеся снимки. Хохочущий малыш, падающий прямо в мамины руки. Юноша и девушка, едва касаясь лбами, склонились над распустившейся розой. Рыжая такса вылизывает лицо счастливой хозяйке.

Я ложусь спать. Завтра долгий день, и мне надо перезарядиться.

Старушка растерянно шарит по карманам в поисках кошелька с пенсией…

Евгений Мартынов

Тайна

Гляжу в окошко. Август. Быстро темнеет, и спешат люди. Как винтовка, на плече женщины — гладиолус. Снимает с клумбы девочка свою кошку — осторожнее…

В середине школьных каникул, в рождественскую ночь с шестого на седьмое января, детдомовцы-старшеклассники Игнат, Витька, Женька и четыре девчонки заступили на дежурство по кухне. — *Переписал из старого дневника и продолжил.* — Кухня и столовая — один рубленый дом под соломенной крышей. Он стоял в отдалении, метрах в четырёхстах от спального корпуса. И рядышком с подсобными по хозяйству помещениями. Как бык, вторгался в лоно берёзового леска за деревней Боголюбовка в сторону Усовки и железнодорожной станции Марьяновка, районного центра Омской области. А за этими прилегающими колками — колхозные поля под картошку, просо, овёс, пшеницу и прочее, по усмотрению агронома да председателя.

Мальчишки натаскали колотых дров, заготовленных предыдущей сменой, залили во все три котла, вмонтированных в плиту печи, воду в необходимом литраже для первого, второго и третьего блюд, возбудили пламя в топке, выставили алюминиевый пятиведёрный бак на середину кухни, подтянули мешок с картошкой… Девочки тоже не сидели сложа руки. Занимались чем-то необходимым для общего дела. Но… теперь уже почти всей бригадой разместились вокруг бачка чистить картошку в тазик, наполненный водой наполовину. Все, весь этот личный состав, дежурили не впервой, и дело спорилось. Помалкивали. Сопели себе под нос. Думали… каждый о своём, личном… заветном…

Дичились. Только-только зарождающиеся чувства, влечение особей разного пола друг к другу.

И Вера Новицкая была ничего, симпатичная девочка со стройными ножками, но всё-таки Надя Кузнецова Женьке нравилась больше. Больше жизни, как ему казалось. (Но это — между нами.)

Через какое-то время решили передохнуть. Сходили (сначала мальчишки…) на улицу… посмотреть в звёздное небо. Определиться по времени. Часов не было.

На дворе морозно. В больших прогалинах между косматыми тёмными тучами с изменчивыми абрисами, в звёздной компании — краюшка луны. Вон… и ковшик-черпак. Сверкает Большая Медведица…

Ориентировочно около полуночи девчонки пригласили ребят в пустующую столовую, что располагалась, как уже было сказано, в этом же доме — через коридорчик напротив кухни (двери в двери). Все трое согласились. Правда, Казанцев пошёл было, но вернулся, подумав, что не помешает снять крышку с котла, в котором доходила до кондиции кулеш-каша. И умерить пыл в топке печи. Вернулся именно Женька, возможно потому, что уже с раннего детства был человеком обязательным. Обстоятельства заставили, сформировали такое качество. Пришлось заботиться о младшем братишке Вовке, оставшемся без родной матери с трёхмесячного возраста. Вот и Вера Новицкая такая же по характеру… в этом отношении. При ней здесь в детдоме — маленький Коля, Топ-топ, как его прозвали воспитанники. Малыш забавный.

Окна — наполовину снизу прикрыты ситцевыми белыми шторками. Столик на высоких ножках, или его можно назвать большим табуретом, который придвигали по необходимости к торцу длинного общего стола для приёма пищи, чтобы поставить на него бак с варевом, будь то суп, каша или компот. Теперь этот спецтабурет был отодвинут, накрыт белой скатертью с вышитыми крестом красными петухами. На ней в фарфоровой тарелке стояла зажжённая восковая свеча, рядом располагалось блюдце, тоже фарфоровое, с крутой отбортовкой, а на нём, с видимой внутренней стороны, химическим карандашом намечена, наведена стрелка…

Все, кроме Казанцева, уже разместились вокруг. Женька вслепую придвинул табуретку и молча присел. Наступили минуты *таинства.* Пламя… тени…

Одним из набора гаданий на блюдечке было — «кто тебе нравится» и «кто тебе больше всех нравится»!.. кого ты любишь — другими словами.

Примерно полночь. Логикой и не пахнет, одни чудеса. На лбах пот холодный выступил. Тут не до скуки. Блюдечко продолжало кружить!.. и стрелка тоже, конечно. Свеча еле светила. Тени шарахались… по стенам, полу…

Когда очередь подошла—загадал и Женька. Не без колебаний. Все участники потёрли ладошку о ладошку и прикоснулись подушечками пальцев к кромке блюдца. После непродолжительной выдержки оно… тронулось!… медленно, вроде как бы нехотя, по кругу. Женька затаил дыхание. Вот блюдечко приостановилось. Стрелка показывала на Веру Новицкую…

«Надо же!..»—подумалось Казанцеву. А стрелка, постояв секунды три-четыре, снова «поплыла»… Медленно-медленно, едва-едва. От одного к другому, от одной к другой!.. в кругу сидящих пацанов и девчонок. Женька не отрывал от этой чёрточки своего взора. Любопытство разгоралось, затягивало, словно в омут. И вот блюдце опять замерло. Остановилось. И больше ни с места. Стоит как… прилипшее. Стрелка показывала на Надю Кузнецову! Однозначно. Девочка смутилась. И Женька тоже, и, видимо, покраснев с лица, поднялся. Вылез из-за стола. И все встали.

За окнами завывала вьюга.

Пора было идти на кухню. Продолжить недоделанную работу—чистку картошки на обеденное варево. Помешать половником в котлах и подбросить дровишек в печку или, наоборот, утихомирить кочергой пламя. Что не входило именно в Женькины обязанности—мог бы и Витька или Игнат это сделать.

Но… это ещё не всё.

Распалённые гаданием ребята с обострённым интересом поглядывали друг на друга. Переговаривались. То полушёпотом, то вдруг неоправданно громко, возбуждённо. Девочки, то одна, то другая, вдруг прыскали и как бы смущённо прикрывали… губы ладошкой.

Покарябав толстый и рыхлый куржак на шибочке оконной рамы и не достигнув стекла, Женька открыл форточку… Тьма кромешная и стужа. Луна, звёзды—всё исчезло.

Две пары детдомовцев расположились вокруг бачка дочищать картошку. Остальные занялись кто чем, по заданию шеф-повара тёти Клавы… Но были все в сборе, здесь, на кухне. Казанцев придвинул к цоколю печи невысокую скамеечку, встал на неё, взяв черпак, и стал перемешивать пшённую кашу.

И тут что-то подозрительное мелькнуло и скрылось в глубинах котла. «Чему бы это быть?..»—подумал Казанцев. И стал интенсивнее перемешивать кулеш, высматривать.

—Вот-вот оно, вот,—и… поймал, подцепил… поднял над парящей поверхностью варева.

—Что это?!..—догадывался и не верил себе.

Повесил черпак на кромку чугунного литого котла и ухватил это что-то инородное за, как показалось, лысый длинный хвост. Опустил половник.

—Да это же!..—хотел было сказать и не находил нужного слова.—Это же… смотрите, что я поймал!..

—Крыса!..—выпалили все хором!.. ахнули.

Чистильщики картошки привстали со своих мест. И другие тоже замерли в тех позах, которые они занимали до этого момента. Да, то была… огромная полевая мышь!.. или, может, небольшая крыса-подросток.

Брезгливо держа за хвост облезлое безобразие, Казанцев вышвырнул его за окно, через форточку.

Луна свидетель.

Под наблюдением зорких девчонок Женька тщательнейшим образом перемешал пшённую кашу-кулеш… Высмотрели, выловили останки.

Утро. Пятое января 1943 года. Первая, вторая, третья смены—ребятня детдомовская завтракает. Казанцев—на раздаче… Как ни странно, каши в бачке ещё четверть.

—Кому добавки?..—повышает голос, немного смущённо.

В ответ летят тарелки!.. Стоящий на раздаче их ловит. Не скупится и отсылает «поручно» назад желающим добавочного кулеша.

Воспитанники вылезали из-за стола со вспотевшими лицами и почти как никогда сытыми.

Один как перст! И—слышу речитатив: «Спасибо повару, спасибо дежурным за вкусные кушанья!»—примерещилось, что ли?..

И мне думается, что та небольшая тайна, о которой шла речь выше, не стала достоянием всех, к тому причастных, до самого закрытия детдома №210. Уверен, что она не была разглашена и много позже, после окончания Второй мировой войны, а для проживающих детей того… приюта—Великой Отечественной, вплоть до этой публикации.

—Спасибо!..—оно и сейчас слышится мне, как тогда, первозданно.

Александр Шлёнский

Собака на бобре

Ворона

За окном раздался оглушительный пронзительный свист. Я и так давно уже не спал в ожидании Пузана, как называли моего младшего товарища. Звуки такой умопомрачительной силы издавать под силу было только ему одному. В этом смысле он был гордостью всего нашего района. Я выглянул в окошко — только ещё начинался рассвет. Он стоял внизу, запрокинув голову в мою сторону, широко улыбаясь от уха до уха во весь и без того огромный щербатый рот. Я покрутил указательным пальцем у виска, давая ему понять: не мог ещё погромче? Весь дом переполошил! И, схватив ещё с вечера собранный рюкзак, чтобы не разбудить ближних, осторожно, на цыпочках, пройдя через квартиру, открыл дверь и выбежал на улицу. Мы быстро шли в сторону реки по ещё не проснувшемуся городу, всеми лёгкими вдыхая весеннюю утреннюю прохладу, насыщенную запахом ещё не убранных с прошлого года перепревших тополиных листьев. Кое-где между домами на востоке иногда ещё довольно тускло выглядывала узкая багровая полоска зари. Мы специально вышли пораньше, чтобы успеть добраться от дома до реки за то время, пока на улице полное безлюдье. И кроме звука от наших шагов, гулко отскакивающего от стены к стене окружающих нас домов, ничто не нарушало в словно вымершем и опустевшем городе царившей тишины — ни заспанные голоса спешащих на работу горожан, ни звон первых утренних трамваев. Мне было около шестнадцати лет, а Саньке (это было его настоящее имя, каким практически никто его не называл, кроме родителей и меня) не было ещё и четырнадцати. Это был невысокий, крепко сложённый и необычайно шустрый паренёк, изрядно поднаторевший в дворовых драках. Среди пацанов его возраста в этом отношении в нашем районе города равных ему не было, а ко мне он прикипел с недавних пор основательно по определённым причинам. Он достаточно уже был пресыщен извечными дворовыми разборками, подвальными картёжными играми в «азо» — естественно, на деньги, бесцельным препровождением времени в зимние холода где-нибудь в отапливаемых подъездах многоэтажек с местной шпаной. И так далее. И даже уже успел побывать на «малолетке». Конечно, всё это являлось порождением безделья. Да и я в этом отношении тоже особым подарком не был — что скрывать. Но всё-таки, помимо некоторых из этих пороков, присущих в нашем возрасте многим, у меня всё же были ещё кое-какие нормальные увлечения, которые, на мой взгляд, всё же в какой-то степени компенсировали эти мои недостатки. Мне нравилось читать книги, я любил рыбалку, собирать грибы, коллекционировать камни, а также, благодаря родителям, имел понятие о фотографии, живописи и музыке. И ещё совсем недавно появилось совершенно новое увлечение, которым стало пристрастие к охоте. Ничего существенного мне добывать ещё не приходилось, кроме как двух-трёх чирков (мелкой разновидности диких уток) да одной-двух пар болотных курочек. Но я уже тогда начал чувствовать какую-то необъяснимую тягу таинственности алтайских озёр, бывает, чуть ли не полностью покрытых зарослями рогоза, иной раз с такими заболоченными подходами, что подобраться к открытому зеркалу воды, где в основном обитает дичь, почти не представляется возможным. Да ещё через частые островки, до неимоверности загущённые остро режущей осокой, перемежающиеся сплошным кочкарником и водяными блюдцами, словно скатертью, укрытыми ряской. И чем менее они доступны, тем более желанной и радостной становится добыча, к которой ещё нужно незаметно подойти, чтобы сделать удачный выстрел. Да — это было начало проявления охотничьего азарта. Именно во всём этом действии я и ощущал какую-то необъяснимую наркотическую прелесть, пришедшую ко мне, наверное, откуда-то из глубины прошлого. Пузан, разглядев во мне некоторую неординарность, отличающую меня от других наших товарищей, всей душой потянулся ко мне. Достаточно однообразная хулиганская спартанщина уже совсем стала ему поперёк горла. Скорее всего, его изначальность требовала большего — чего-то существенного, созидательного, доброго, отзвуки которого он, видимо, услышал и интуитивно почувствовал в моей душе. А я, в свою очередь, внутренне приветствуя подобные вещи, конечно же, не смог оттолкнуть его от себя,

несмотря на то, что он являлся самым прожжённым и, казалось, безнадёжным из всех нас окружающих хулиганов. И как оказалось в дальнейшем, я не ошибся в этом своём поступке. Со временем Пузан всем сердцем прикипел ко мне, и мы стали достаточно много времени проводить вместе. Он разделял со мной довольно частые вылазки на природу, стал упорно учиться игре на семиструнной гитаре и даже пытался приобщиться к чтению книг, что являлось, без сомнения, самым его большим достижением. Несмотря на свои почти уже четырнадцать лет, он учился ещё только в пятом классе — три раза умудрился остаться на второй год. И, несмотря на свою низкорослость, всё равно выглядел здоровым лбом-переростком на фоне своих одноклассников-пятиклашек. Читал по слогам и необычайно гордился тем, что за свою жизнь ему всё же удалость одолеть одну-единственную книгу — детского писателя Волкова «Волшебник Изумрудного города». Его родители, простые, добрейшие люди, относились ко мне чуть ли не как к родному, так как привыкли до нашей с Санькой дружбы видеть его в совершенно другом, довольно опасном окружении. И это являлось в их жизни самым болезненным и постоянно воспалённым местом. Горя они с ним хватили уже порядком, особенно мать — после того как он попал в колонию. А теперь для них было совершенно очевидным то, что никакого зла для их сына от меня не исходит. А наоборот, он чаще стал бывать дома, внимательнее относиться к родителям, которыми до сих пор полностью пренебрегал. Больше всего их поразило, когда они увидели его за книгой. А это в их глазах вообще подняло моё реноме. Но я не этого хотел. Прежде всего, мне самому нужен был во всём разделяющий меня товарищ. Ну и, кроме того, было приятно, что благодаря моим усилиям один из первых хулиганов города мог настолько преобразиться в лучшую сторону. Пузан мне с каждым разом тоже нравился всё больше и больше — своей простотой, честностью, открытостью. Да, по сути, он всё-таки тоже был добрым, отзывчивым человечком. Просто его сильно ожесточила та среда, где до сих пор ему приходилось обитать. Да и я тоже стал чувствовать какую-то своеобразную ответственность за свои поступки, сам себя стал больше контролировать. Хотя основной связи со своими друзьями, по преимуществу ребятами битыми, закрученными и приблатнёнными, конечно же, не терял, и свой авторитет, который был завоёван далеко не лёгким путём, я по-прежнему поддерживал, но, по возможности, более бескровными мерами, чем раньше. Мать Саньки, тётя Надя, — мягкая, добрая, необыкновенной красоты простая русская женщина, портниха по профессии. Несмотря на то, что сын ей попортил достаточно много крови, в нём души не чаяла. Кроме всего, она была очень чистоплотна, дома у них всегда был идеальный порядок, несмотря на небогатую обстановку. Дядя Саша, отец Саньки, — простяга, что называется, рубаха-парень — работал в кочегарке. Любитель выпить и беззлобно поматериться. Типичный пролетарий, но, что называется, до поросячьего визга не напивался и деньги в дом приносил исправно. Пил только креплёное красное вино. Его довольно частые отрывы скандалом, как во многих других подобных рабочих семьях, никогда не заканчивались. И уж если иной раз он несколько перебирал, то после пары песен, вроде таких, как «Эх мороз, мороз» и «Как родная меня мать провожала», он, по мягкому наставлению своей покладистой жены, тихо-мирно укладывался баиньки в постельку, так как к жене относился с большим уважением. Саньку он тоже по-своему любил. В своей кочегарке он считался лучшим работником, о чём говорили почётные грамоты, висящие у них дома. Не было случая, чтобы он по какой-либо причине не вышел на работу. Это для него было святое. Даже несмотря на свои довольно умеренные заработки, да ещё в то время, они, простые советские люди, умудрились где-то по случаю даже приобрести небольшую скромную дачку. Всё это было сделано ради Сашки, чтобы хоть как-то увлечь его и попробовать вытащить из того котла, в котором ему приходилось вариться. Но это не оказалось достаточно эффективным средством, и он всё-таки угодил на полтора года в колонию для малолетних. А отсидев, всё ещё никак не мог порвать с прошлым: друзья-товарищи, старые притирки и так далее. Поэтому во мне они, наверное, и усмотрели некоторую отдушину и старались никогда не препятствовать нашим очередным авантюрам — в хорошем смысле этого слова. И, когда требовалось, всегда помогали деньгами или продуктами. «Вы имейте в виду, ребятишки, — говорил нам дядя Саша, — мы с тётей Надей никогда вам ни в чём не откажем — лишь бы не на глупости. Вот, сынок, Саша на охоту собирается (я давно уже говорил об этом дяде Саше). Может, и тебя с собой возьмёт. Глядишь, и нам тогда отведать доведётся. Правда, Надюша?» — с лукавством продолжал он, глядя на жену, как бы ища у неё подтверждения. «Да ладно, голодные мы, что ли? Пусть хоть на природу съездят да чистым воздухом подышат. Всё здоровье. А это — самое главное», — ответила тётя Надя. Это, конечно же, был намёк мне, зная, что я им в этом не откажу. Пузан же знал про охоту и всеми фибрами души рвался со мной в эту поездку — уж очень хотелось ему пострелять из настоящего охотничьего ружья. «Конечно, дядя Саша, мы пойдём. Вот только с лодкой заранее договорюсь, чтобы через Обь переправиться». Я брал лодку у знакомого шкипера на дебаркадере, с которым расплачивался рыбёшкой, привозимой с того берега,

так как рыбачил всегда на той стороне и охотиться стал там же, по старицам. «Если Санька не останется нынче на второй год, то к осени я куплю вам лодку»,—ответил Санькин отец. Поистине для нас это было грандиозно стимулирующее обещание. Тем более я знал, что дядя Саша слов на ветер не бросает и, если что, в лепёшку расшибётся, но выполнит то, что сказал. «Понял, балбес?—сделав шутливый лёгкий подзатыльник Пузану, сказал я, когда мы вышли из квартиры.—От тебя зависит, будет у нас своя лодка или нет».—«Ладно, ладно, Шлён (это была моя кличка). Мне бы только не прогуливать да уроки хоть чуть-чуть делать, а так учителя меня за уши вытянут, чтобы опять не оставить на четвёртый год. А батя если сказал—значит, сделает. Батя у меня молодец!»—с гордостью произнёс Сашка. «Да уж, лучше твоего отца нигде уж больше не найти. Так вот и думай тогда. Надо хотя бы одну утку постараться для него добыть»,—сказал я. «Вот бы он обрадовался»,—с готовностью подхватил Пузан.

В четверг после школы я слетал на велике, который позаимствовал для такого случая у соседского пацана, на пристань к шкиперу. Было ему лет двадцать семь, звали Володя. Тоже любитель заложить за воротник, равно как и его вторая половина, Дуся,—вечно с непременным присутствием колоритного фингала не под левым, так под правым глазом. В первый раз он не захотел дать лодку, мотивируя тем, что вода очень большая и холодная: недавно лёд сошёл, плыть опасно. А ему за меня отвечать не хочется. Так что никакие уговоры не помогали. Ни то, что я им привезу рыбы (которую они, конечно, непременно бы обменяли на спиртное), ни даже то, что я им прямо сейчас готов был дать на красненькую. В конце концов, я его понимал. Он боялся не только за себя, но и искренне опасался за мою жизнь, так как на такой довольно утлой, маленькой, словно скорлупка, одноместной жестяной лодчонке он и сам никогда бы не отважился перемахнуть через такую большую, серьёзную реку, как Обь,—и уж тем более в весеннее половодье. Это он ещё не знал того, что я собираюсь плыть не один. Володя всегда был неспокоен, когда я переправлялся на очередную рыбалку, и каждый раз радовался моему благополучному возвращению с того берега. Но всё же знал, что я в воде как рыба. Особенно после того, когда я на его глазах переплыл реку и без лодки. Но тогда был разгар лета, и вода была достаточно прогрета. Но прежде чем уйти, видя и чувствуя дискомфортное состояние Володи (видимо, вчера они крепко захмелились), я всё же дал ему единственную свою рублёвку на похмелку, чему он был бесконечно благодарен. Сам попросить всё равно бы постеснялся. Приехав домой, я быстренько сгонял к Пузану и сообщил ему о том, что охота откладывается до следующего выходного из-за отсутствия лодки. Как мне показалось, он совсем, к моей неожиданности, не расстроился, несмотря на то что очень сильно рвался в эту поездку. Я уехал домой.

На другой день в школе, уже перед окончанием занятий, ко мне на перемене подошли встревоженные одноклассники и сообщили, что на выходе меня ожидает Пузан. Все они боялись его как огня, так как каждый его приход не сулил им ничего хорошего. Как правило, он их всех оставлял без завтрака или загонял в долг. Это он делать умел. В нашу школу, да и в другие тоже, доступ ему был запрещён. Поэтому дальше входных дверей он пройти не мог. Я пообещал ребятам, что Пузан их больше не тронет, если что—ко мне. И они явно успокоились. Я вышел к Саньке. «Что, обшкулял пацанов?»—с подозрением спросил я его. «Да нет, не трогал я их»,—отозвался он. «А чего они зашуганные такие?»—«Это они за прошлое. Я же обещал тебе, что не трону здесь никого больше»,—оправдывался Санька. «Смотри у меня,—предупредил я его на всякий случай.—А то у нас здесь и своих доильщиков хватает. Я и так задолбался пацанов от них омазывать».—«Да ладно, Шлён, успокойся. Я лодку нашёл, об этом и пришёл сказать»,—радостно сообщил он. «Где это ты умудрился лодку надыбать?»—недоверчиво покосился я на него. «Да какая разница? Лодка есть, значит, завтра можно плыть». Честно говоря, я был доволен, что Пузан подсуетился в этом смысле. И мы договорились плыть с утра пораньше в субботу (это был по какой-то причине не учебный день, и мы располагали двумя свободными днями). «Слушай, Шура, Зима с нами на охоту просится»,—неожиданно заявил мне Пузан. Зимин Серёга, годок Пузана, тоже был на «малолетке» за две квартирные кражи. Они были друзья и соседи с самого раннего детства и друг за друга готовы были на всё. Если они где-то появлялись вдвоём, то все приблатнённые сразу, как говорится, прятались по норам. Но если в Саньке проявлялось что-то доброе и хорошее, как я уже говорил, то Зима был неисправим. Если бы ему отрубили правую руку, он воровал бы одной левой. Ко мне он относился тоже с уважением, хорошо. Но я во внимание его никогда не брал и не хотел. «Слушай, Пузан, нам только ещё домушников не хватало для полной комплектации охотничьей артели. Ты знаешь, что я предпочитаю всегда один обходиться. Ладно уж, тебя подписал ещё. Но третьего не надо, не обижайся. Тем более, ты знаешь, я сам не ворую и воров не признаю. Угостишь его дичью, если что добудешь, и ладно. А в мои дела ты больше никого не суй. Да и Зиме это не нужно тысячу лет. Кому-нибудь карманы лишний раз вывернуть да в «азо» в подвале на интерес порезаться—вот это его дело. А сюда нечего лезть. Пусть он не обезьянничает».—«Ну

ладно, ладно, Шлён, я понял, успокойся. Я уже сам жалею, что сказал».—«Вот и хорошо, что ты такой понятливый».

Мы дошли до края высокого обрыва, на многие километры представляющего собой левый берег реки. За спиной оставался теперь уже, наверное, проснувшийся город. Под нашими ногами, как казалось сверху, неспешно и величаво, как всегда, мутная, протекала широченная, полноводная Обь. Весь пологий правый берег, куда нам следовало добраться, насколько хватало глаз, испещрённый многочисленными большими и малыми старицами, был словно изрезан вновь образовавшимися протоками, объединившими их местами в сплошные огромные озёра, из которых, словно обрубки от метёлок, там и тут торчали раскидистые престарелые ивы. «Вот и наша лодка»,—с явной гордостью указав вниз, на неширокую песчаную береговую полоску, произнёс Пузан. Мы быстро спустились с яра по крутой, извилистой, предательски осыпающейся под сапогами тропинке к реке, ещё раз окинув взглядом рассерженно, неприветливо вздыбившуюся, серо-жёлтую от поднятого со дна песка и ила морскую воду. Уже здесь, вблизи, я по достоинству оценил лодку, пригнанную Пузаном, всем своим нутром ощутив, какой дискомфорт пришлось бы испытать на Володиной «мыльнице». И мне стало очевидным то, что вдвоём плыть в такую воду на ней было бы, конечно, полным безрассудством. А ведь, если честно, я всё равно один попытался бы достичь на ней противоположного берега. Ну и слава Богу, что так всё разрешилось. Всё-таки Пузан молодец. Эта же лодка—практически новая, деревянная, свежевыкрашенная в серый стальной цвет, длиной не менее пяти метров, шириной в размах обеих рук, и борта высокие. Вёсла лиственные, длинные, с широкими, обитыми кровельной жестью лопастями. Конфетка, одним словом. На такой я хоть в Тихий океан. «Кто же доверил тебе такой крейсер?»—с восхищением спросил я Пузана. «Да есть тут один знакомый на лодочной станции»,—пытаясь выглядеть скромным, ответил довольный Санька. Действительно, выше нас с километр находилась лодочная станция. Резину мы тянуть не стали, столкнули лодку на воду и пошли на тот берег. Я—в центре на основных вёслах, а Сашка—на однолопастном кормовом сзади. На середине реки только потрепало малость. Тяжёлой грязной лавиной ледяная весенняя обская вода, как угорелая, рвалась на север, слово ей не терпелось как можно скорее растворить себя в бескрайних водах далёкого Карского моря. И хмурое, серое, сплошь затученное небо лишь усугубляло и без того унылую картину. Иной раз неизвестно откуда возникали здоровенные беспорядочные пенящиеся мыры и, будто обухом, били то в левый, то в правый борт нашей посудины, словно лишний раз напоминая о том, что нос всегда нужно держать к основной волне покруче, углом в сорок пять градусов, чтобы не запоперечило. Мы чувствовали себя довольно неуютно в этой негостеприимной обстановке. И я ещё раз поневоле оценил достоинства этой прекрасной лодки, не без содрогания вспомнив о Володиной, как мне уже теперь казалось, жалкой душегубки. Я спросил Сашку, не страшно ли ему, на что он честно ответил: «Да, жутковато, конечно. Без тебя через такую дурную реку я один бы, конечно, не пошёл».—«И то правда»,—согласился я. В общем-то, до того берега мы добрались более или менее нормально. Только снесло вниз по течению больше чем на километр, несмотря на то что мы угребали весьма усердно, изо всех сил, как могли. Поэтому упущенное расстояние, чтобы попасть на моё место, мы навёрстывали уже вдоль берега, где стаскивало не настолько сильно. Вытащив лодку на берег, я попросил Пузана подождать здесь, пока сам схожу на озеро, находящееся посреди полуострова, к которому мы пристали. На этом небольшом, метров сто на семьдесят, озерке я и предполагал сделать стоянку. Но сначала хотел подойти к нему незаметно и посмотреть, нет ли уток, пока мы ещё не нашумели. И не ошибся. С немалым трудом продрался через заросли колючего ежевичника и довольно густого молодого ельника. Подкравшись к озеру, я осторожно выглянул из-за расшеперившейся во все стороны своими ветками самых причудливых берендеевских очертаний, приземистой, толстой, словно наклонившийся бочонок, дуплистой корявой талины. Здесь было полное затишье. От меня в сторону противоположного берега озерка мерно, словно бритвой, разрезая водяную гладь и расчерчивая её на равные, расходящиеся в разные стороны линии, быстро скользили четыре небольшие утки. Это были чирки. По блестящему сине-зелёному оперению я определил селезня, быстро прицелился и выстрелил как раз в тот момент, когда, всё же почувствовав меня, встревоженные пернатые уже начали подниматься в воздух. Утки улетели, а селезень остался неподвижно лежать на поверхности воды. До него было метров сорок. Собаки, естественно, не было. А ветра здесь почти не ощущалось. Понимая, что его ещё не скоро подобьёт к берегу, я вернулся к лодке. «Ну вот, Санёк, дяде Саше на похлёбку одна утка уже есть».—«Да, я слышал выстрел». Он был необычайно обрадован. Протащив ещё подальше на берег лодку для надёжности, мы перебрались на озеро. Сделали небольшой навес из куска брезента. Нарвали и натаскали сухой травы на лежаки. И развели костёр из сухих таловых сучьев. Стоянка была готова. К этому времени мы уже основательно промялись, и голод давал о себе знать. «Слушай, Шура, давай утку

заварганим?» — предложил мне Саня. «А дядя Саша?» — возразил я. «Да у нас есть время сегодня до вечера и завтра ещё целый день. Что, хотя бы одну утку не добудем, что ли? — упрашивал меня Пузан. — Тут вон ещё на берег не успели выйти, как ты уже одну подстрелил». — «Не знаю, не знаю, — не сдавался я. — Охота такая вещь, что здесь зарекаться нельзя». С другой стороны, думал я, быть на озере и не попробовать, сидя у костра, супца из свежей дичи, тем более когда она уже есть, — это попахивало чем-то кощунственным. Да тем более Пузан впервые на охоте. Нет, это дело, конечно, нужно закрепить хорошей утиной похлёбкой. Хотя бы только для того, чтобы у моего младшего друга осталось хорошее впечатление об этой вылазке. «Ну давай занимайся тогда этим сам. А я пока на другие старицы, которые поближе, сбегаю. Может, там что-нибудь найду». — «Да конечно, найдёшь, там этих озёр немерено», — старался меня уверить довольный моим решением Санька. «Давай чай кипяти, пока тем, что есть, перекусим», — поторопил я его. «Один момент», — схватив котелок, бросился он ко мне. Пока мы ели, налетела целая бригада неизвестно откуда взявшихся сорок. Они расселись на деревьях, нас окружающих, и что-то выговаривали нам на своём сорочьем языке возмущённым стрёкотом, то и дело непоседливо перелетая с ветки на ветку, явно стараясь обратить на себя наше внимание. «Наверное, гнездятся здесь неподалёку, — предположил я. — А мы их потревожили». Легко перекусив и попив чаю, каждый занялся своим делом. Пузан стал ощипывать чирка, которого перед этим достал из воды длинной палкой, когда он был уже совсем рядом с берегом. Я быстро поставил на озере пару закидушек, наживив на них заранее приготовленных, привезённых с собой из города червей. Предупредив Саньку о том, чтобы он не хлопал ушами и чем-нибудь накрывал продукты (иначе эти вороватые гостьи оставят нас без обеда), я пошёл в ту сторону, где полуостров примыкал к берегу. Но уже на подходе мне стало ясно, что мы находимся не на полуострове, а теперь уже на острове, так как передо мной возникла большущая протока, которая нас отделяла от основного берега. Такой воды я ещё здесь не видел. Теперь, для того чтобы попасть на те старицы, из-за которых, по сути, мы сюда прибыли, нужно было бы обогнуть добрую половину бывшего полуострова, а затем перейти через вновь образовавшуюся протоку, которую мы не увидели с обрыва из-за растущих на полуострове деревьев. Это было очень приличное расстояние, требующее немало времени и больших затрат сил, для того чтобы добраться туда на лодке, да ещё по такой воде. Поэтому я просто пока решил обогнуть верхнюю часть теперь уже острова вдоль воды пешком. Вдруг удастся подстрелить утку, сидящую рядом с берегом? Если дальше, то, конечно, не имеет смысла и стрелять — иначе её унесёт течением. В такую воду всё равно не полезешь. К табору я вернулся нескоро и без добычи. «Так что, Санёк, плохи наши дела. Наверное, здесь и придётся окончательно тормознуться». Я объяснил ему ситуацию. Решили просто опять, как я сейчас, походить по берегу. Вдруг да удастся хоть одну добыть. Ну, может быть, на нашей озёрине под утро, когда всё успокоится, ещё утки сядут. Погода начала налаживаться. Чувствовался небольшой ветерок. Там, вверху, он, наверное, был гораздо сильнее. Облака местами уже разогнало. И яркое весеннее солнце всё чаще и чаще заявляло о своём присутствии через образовавшиеся в небе голубые просветы. Похлёбка давно была готова. Сашка ещё не ел, всё меня ждал. Мы сели к наскоро сымпровизированному из мешковины столу. Пузан разлил варево по алюминиевым чашкам. Достал из рюкзака целую булку серого хлеба и попросил у меня нож, чтобы порезать его. «А где твой?» — поинтересовался я. «Да дома забыл». — «Постой! Как забыл? А как же ты без меня тогда жратву готовил? Чем утку разделывал, картошку чистил?» — «Да вот этим», — и он мне показал горлышко от бутылки, которое нашёл где-то на берегу. «Ну ты даёшь, — подивился я его находчивости. — Приспособленный ко всему будет мужик. Такой нигде не пропадёт. Голова». Похлёбка была великолепная — что-что, а готовить он умел. Чувствовалось, что уроки тёти Нади не пропали даром, да и «малолетка», наверное, также сыграла в этом какую-то роль. После такого шикарного обеда я развалился рядом с костром. Пребывая в сытом, расслабленном, умиротворённом состоянии, лёжа на спине, с огромным удовольствием вдыхал ни с чем не сравнимый, даже, может быть, с запахами лучшего французского парфюма, аромат, исходящий от моей сухой разнотравной подстилки, слегка приправленный тонким, терпким, приятным запахом от тлеющих таловых угольков костра. Взгляд мой был устремлён в бездонное, уже почти полностью очистившееся небо. На уже по-вечернему слегка потускневшее, но всё ещё согревающее всё вокруг мягким ровным теплом солнце с каким-то почти равномерным постоянством изредка накатывались большие клубящиеся облака, принимая самые различные фантастические очертания. В такие моменты от неожиданной, резко набежавшей на землю тени на какое-то время всё вокруг вдруг опять меркло и становилось однообразно-серым. А со стороны реки неизбежно появлялся достаточно холодный пронизывающий ветерок, после чего сразу же терялось ощущение комфорта. И тогда я с особой остротой начинал понимать и ценить, сколько тепла и радости дарит нам наше необыкновенное светило, на которое мы привыкли смотреть

как на нечто само собой разумеющееся и неотъемлемое от нашей жизни. «Шура, дай мне ружьё, я тоже пойду пройдусь по берегу»,—вывел меня из приятного оцепенения голос Пузана. «Сходи-сходи,—понимая его нетерпение, отозвался я и, отстегнув от своего ремня подсумок с патронами, дал ему.—Только имей, Санька, в виду,—предупредил я,—здесь всего пять патронов. Вот этот, красный,—пулевой. Видишь, буква «П» написана? Пуля у охотника всегда на всякий случай хотя бы одна должна иметься. Вот этот, с цифрами «оо»,—с крупной дробью, на случай крупной дичи: вдруг гусь подвернётся? Остальные три патрона—с мелкой, на уток или болотных курочек. Ну а если на суше, то можешь перепёлку или вальдшнепа встретить. Считай, что на реальную дичь, то есть уток, у нас всего три патрона. Так что впустую не стрелять. Врубился, друган?»—«Конечно, понятно. Как скажешь, так и будет»,—согласился Сашка. «И запомни ещё одну вещь. По возможности выцеливай утку желательно в тот момент, когда она ещё сидит на воде. А стреляй на взлёте, когда она полностью открыта и не набрала достаточной скорости. Если она находится на воде, дробь часто проходит через неё рикошетом, не причинив вреда или сделав подранком». Он закинул мою новую одностволку шестнадцатого калибра себе за правое плечо и проворно стал пробираться через кустарник в сторону реки. Я лишь усмехнулся ему вслед, отметив про себя то, что при его малом росте моя малая одностволочка выглядела на нём словно огромное противотанковое ружьё на каком-нибудь тщедушном солдатике наших легендарных советских войск в период Великой Отечественной войны. Ничего он, конечно, не добудет—тяму ещё нет. Но пусть хоть душу отведёт. Парень давно уже мечтал об этом. Мне всё же хотелось, чтобы ему сопутствовала хоть маленькая удача. Разморённый сытным обедом, обласканный и отогретый долгожданным весенним солнцем, незаметно для себя я отключился.

Проснулся я от выстрела, простучавшего где-то совсем рядом. И вскоре услышал шум, издаваемый пробирающимся в мою сторону через заросли Пузаном. Сначала я увидел маячащий над кустарником ружейный ствол, затем—взъерошенную, сплошь покрытую шишками от репейника голову охотника. А вскоре—и его самого. Нужно было видеть, как этот маленький человечек важной, степенной, неспешной походкой подвалил к костру. К его поясу картинно были приторочены три убитые сороки, а на груди из стороны в сторону, во все стороны растопырив свои огромные крылья, привязанная к его шее, болталась здоровенная ворона. И вот, наконец, он стоял передо мной—гордый, весь переполненный чувством собственного достоинства, с ног до головы увешанный представителями семейства врановых. Эту классическую картину нелепо дополнял высоко вверх из-за плеча выпирающий ружейный ствол. Меня трясло от хохота. «Послушай, зверобой долбанный, ты что, все патроны на этих падальщиков сжёг?»—сквозь истерический смех выдавил я из себя. «А чё—я неправильно что-то сделал?»—вытаращив на меня невинные глаза, спросил Санька. «Да что ты, что ты, всё нормально. Дядя Саша очень будет доволен. Одно я тебе скажу: не видать нам лодки как своих ушей».—«Ты почему смеёшься?»—добродушно спросил Санька. «А чего ты, как новогодняя ёлка, этим вороньём убрался? В рюкзак, если уж на то пошло, не мог бросить?»—«Ну, вроде как охотник, что ли, как и положено»,—пытался оправдаться мой юный друг. «Да перед кем рисоваться-то? Кто смотреть на тебя здесь будет, кроме меня? Да и я лучше бы никогда не видел этого извращения. Ты только там, в городе, никому не скажи, какой ты заправский охотник-следопыт. И на какую бесценную промысловую дичь ты нашу бесценную фауну подредил—а то потом заказов не оберёшься».—«Слушай, Шура, а что, они—совсем несъедобные? Тоже мясо. Не съедим, что ли?»—с какой-то непонятной, сквозившей в его голосе надеждой спросил он. «А ты сам как думаешь? Насколько пикантно на вкус мясо, допустим, того иссиня-чёрного пернатого зверя, который у тебя на груди повесился? Если ему, положим, лет двести-триста будет от роду, и он всю жизнь падалью питался, а при случае и жмуриками не брезговал? Этот деликатес, на мой взгляд, как раз под твой огромный щербатый рот, который курит папиросы, дальше всех плюётся, громче всех свистит и бесподобно матами ругается, идеально подходит»,—продолжал я, в общем-то, беззлобно возмущаться, пытаясь своим злословием хоть немного скомпенсировать урон из-за напрасно сожжённых патронов, на которые нас обоих подрезал Пузан.

«Ну ладно, давай рассказывай, каким образом ты этих вертихвосток насшибал»,—попросил я Пузана примирительным тоном. Он отдал мне подсумок, в котором остался один пулевой патрон. «Надо же,—подивился я,—так, значит, у тебя даже промаха ни одного не было».—«Да был один»,—понуро сказал Саня. «А каким тогда образом у тебя как раз четыре птицы оказалось? Четыре патрона ты и истратил». Оказывается, Санька пошёл, так же как и я, к реке. Ходил, ходил по берегу, видел пару раз уток метров за двести. Ближе они его не пропускали—сразу улетали. Так он проболтался без толку часа два и решил вернуться на наше озеро, только хотел зайти к нему с другого, удалённого конца, которого от нас не видно, так как там озёрина делает резкий поворот и сплошь заросла березняком вперемежку с ивами. В общем-то, он принял правильное решение. Подходил по возможности как можно

тише, прячась за деревья и кустарник, и вроде это ему неплохо удалось. Подкрался таким образом к самой крайней к воде берёзе, выглянул из-за неё на озеро, и его сердце радостно забилось. Он увидел в небольшой заводи двух уток. Они держались совсем рядом друг с другом. У Пузана даже мелькнула мысль, что вполне реально их добыть обеих с одного выстрела. Но так как до них было далековато — метров около ста, он решил ползком подобраться по траве к торчащему почти у самой воды толстому трухлявому пню. В этом месте была поляна. От пня, схоронившись за ним, можно было бы сделать верный выстрел. Так он и сделал. Лёг на землю и быстро пополз по траве в направлении пня, и тут внезапно сзади себя услышал возмущённое стрекотание сороки. Он так же лёжа оглянулся. На берёзе, от которой он отползал, сидела сорока и трещала на весь березняк, явно приглашая сюда других своих подруг. Они не заставили себя долго ждать — появились ещё две баламутки. Пузан, всё так же оставаясь лежать, приложил палец к губам и сказал им: «Тсс!» И шёпотом прибавил: «Помолчите, дуры!» Те — только пуще. Прилетели ещё несколько штук и, присоединившись к этим, подняли такой гвалт, что, казалось, весь березняк заходил ходуном. Санька, привстав на колени, посмотрел в сторону уток. Они, почувствовав неладное, на полных парах улепётывали по воде подальше от этого скандала, к тому берегу. Санёк в отчаянии вскочил, совсем уже не таясь, на ноги, прицелился в уток, несмотря на то что было уже за сто метров. Они стали взлетать. Он выстрелил на авось — конечно же, безрезультатно. Сорочий гвалт стоял такой, что голова шла кругом. Взбешённый Пузан быстро вставил второй патрон, развернулся к берёзе и с криком: «Суки! Я вас всех поубиваю!» — сделал выстрел в самую кучу взбесившихся пернатых. Одна замертво упала на землю, остальные, сразу поутихнув, разлетелись в стороны, некоторые расселись на близстоящие берёзы. Расстроенный Санька жалел лишь об одном: «Плохо, что у меня нет ста патронов! Я бы три дня прожил здесь, но отомстил бы им всем за то, что они таким образом изгадили мне первую в моей жизни охоту». Потом он подумал о том, что, по сути, патрон, который он мог ещё использовать, у него остался один. Думал и о том, что поторопился сделать выстрел в этих гадин. Расстояние было маленьким, и дробь прошла как пуля, зацепив только одну птицу. Подобрав сороку, он отошёл от берёзы метров на сорок, как раз к тому пню, из-за которого хотел стрелять уток. Сорочьё не заставило себя долго ждать. Они опять собрались на этой берёзе и продолжали свою трескотню. Положив ружьё на пень, Пузан не торопясь прицелился с упора в самое скученное место и снова сделал выстрел. Две упали на землю, одна осталась на берёзе, а остальные разлетелись кто куда. Санька с чувством какого-то облегчения подошёл и подобрал ещё двух убитых сорок, затем всех трёх привязал проволочками к ремню. Погонял по берёзе, кидая палки, подранка и, видя, что тот ещё достаточно в силе, пожелав ему как можно быстрее сдохнуть, пошёл к стоянке. По пути он рассматривал своих убитых сорок. И вдруг ему подумалось: «Такие красивые упитанные птицы — почему их не едят? Наверняка они вкусные. Я никогда не слышал, чтобы кто-то говорил, что у них мясо плохое. Может быть, ещё лучше, чем у уток. Просто не принято как-то. Не едят же, например, в Индии корову, а в Казахстане или Татарстане — свинину. А как мы сами голубей жарили? А грачей? Какая вкуснятина! А тот по сравнению с этой красавицей как гадкий утёнок выглядит. Конечно же, это путняя дичь. Смотри, какой у неё длинный красивый хвост. А пёрышки как на солнце переливаются!» И тут его сердце наполнилось гордостью за свою первую и, как теперь ему стало понятно, удачную охоту. До табора оставалось совсем немного. До слуха Пузана донеслось какое-то бульканье, исходящее откуда-то сверху. Он поднял голову и увидел довольно высоко над ним в небе кружащую ворону. «А вот эту птицу мы приравняем к гусю! Может, она не хуже сороки по вкусу», — решил он. И, не задумываясь, достал патрон, на котором было нарисовано «оо». Тем временем ворона всё так же продолжала кружить на одном месте и булькать каким-то не совсем птичьим голосом. Расстояние до неё, несомненно, было за сто метров. Для гладкостволки это очень далеко. Тем не менее, Пузан приложился к ружью, долго целился и наконец нажал на спуск, нарушив уже наступившую было тишину громким выстрелом. Ворона камнем упала где-то впереди в самый березняк. Санька в каком-то неистовом азарте поломился туда напропалую, не замечая ни кустарника, ни валежника. Он застал там ещё живую, старающуюся спастись от него бегством ворону, прыжками настиг её и с каким-то остервенением, ожесточением, чуть ли не с удовольствием отвернул ей шею. Ему в этот миг почему-то казалось, что когда-то это проделывалось им уже много раз. Пока он рассказывал обо всём этом, мне вспомнился какой-то старый чёрно-белый художественный фильм на военную тему. Там замерзающий и умирающий от голода фашист не помню каким образом оказался на советской территории, в тайге, зимой (скорее всего, сбитый немецкий лётчик). Ему из автомата удалось убить ворону. Так вот, мне и запомнился тот момент, как он сидит у костра и в котелке варит её. По-моему, благодаря этому он и остался жив.

«Слушай, Пузан, душу ты, конечно, без сомнения, отвёл. Давай ради балды зажарим твою дичь да попробуем, чтобы знать хотя бы, что она из себя представляет на вкус». Ондатру ели — прекрасное

мясо, только тёмное. Сусликов ели—тоже сносное. Лягушек ели и ракушек-беззубок—нормально. Чаек ели—те рыбой сильно пахнут—ну, на крайняк пойдут. Змей пробовали—если превозмочь брезгливость, очень вкусные, только есть почти нечего. Голуби, если долго варить,—прекрасно, грачи—вообще вышак. А ворона чем не грач? И мы, не поленившись, ощипали и выпотрошили нашу необычную добычу. Долго и тщательно обжаривали на равномерно шипящих углях. Вид получился необыкновенно привлекательный—что у вороны, что у всех трёх сорок. Аппетитные, золотистые, поджаристые целые тушки. Лично я, по крайней мере к сороке, не испытывал вообще никакого отвращения. И сразу же после того, как они были готовы, попробовали на вкус сорочатину. Я уже не помню, но, как сейчас мне кажется, был привкус то ли извести, то ли мела—какая-то специфичность присутствовала. Но в случае крайней необходимости это мясо могло бы выручить. Мы с Пузаном вдвоём, хотя и без особого удовольствия, одну сороку осилили, тем более что были очень голодны. Но что касается вороны, одинаково признали её несъедобность, несмотря на то что мы оба были лишены всякого рода предрассудков. Мясо жёсткое, с каким-то тяжеловатым, неприятным, даже нездоровым запахом. Объяснить сложно. Мы съели по маленькому кусочку, чтобы эстетически не повредить тушку, отрезав от грудинки с внутренней стороны. Скажу так, теперь уже будучи компетентным в чревоугодии такого рода. Если бы мне грозила голодная смерть, сороку я съел бы с удовольствием. Ворону бы тоже съел, но без удовольствия. Правильнее мне этого не выразить.

Я проверил закидушки, которые забросил ещё перед уходом на охоту. Несколько окуней, довольно крупных, всё же попало. И занялся приготовлением ухи. Наступил вечер. Раскалённый докрасна огненный солнечный диск уже больше чем наполовину скрылся за высокий обрыв противоположного берега. В потемневшей, полностью успокоившейся, гладкой, как зеркало, озёрной воде во всём своём идеале повторялась необъятная глубина вечернего синего неба и отражались стоящие по всему периметру озера берёзы. Иной раз некоторые из них были настолько сильно наклонены к воде, что едва касались её своими безвольно обвисшими ветвями, которые совсем ещё недавно выпустили зелёные свежие пахучие листочки. Отражение было настолько реальным и фотографичным, что если бы вдруг какая-то сверхъестественная сила поменяла отражение с оригиналом местами, то, наверное, ничего бы не изменилось, так как между собой они были абсолютно неотличимы. От этой завораживающей, печальной и необыкновенно притягательной картины веяло какой-то успокаивающей наши души мягкой лирической грустью. Я сидел на корточках, положив подбородок на колени, и разделывал пойманных нами окуней на большом куске тальниковой коры, иной раз бросая взгляд то на озеро, то на лежащего у костра боком на своей подстилке Пузана, повернувшегося лицом к озеру и подложившего под правую щёку кулак. В левом углу его перекосившихся губ торчала дымящаяся папироса, а его с какой-то задумчивостью, мечтательный, казалось, ничего не видящий взгляд был устремлён куда-то далеко вперёд, поверх начинающего уже тихо засыпать озера,—туда, где за высоким обрывом левобережья уже почти полностью спрятавшееся солнце оставляло за собой большую полосу кроваво-красного заката, явно предвещавшего на завтрашний день ветреную погоду. Внезапно Пузан, не поворачивая ко мне головы, тихо произнёс: «Смотри, Шура, а берёзы оплакивают кого-то, как будто в этом озере какой-то хороший человек утонул». Я был приятно поражён такой приметливостью Саньки: «Молодец, Санёк, правильно соображаешь. Эти берёзы так и называются—плакучие. Но это в народе. А по-научному она—берёза повислая».—«Хорошо здесь,—словно не слыша моего ответа, продолжал Санька.—Надо бы как-нибудь батю сюда вытащить. Да и мать тоже не помешало бы. Вот бы им понравилось. Здесь получше, чем на даче, будет. Там дом к дому, участки друг на друга лезут, и народу миллион. А здесь тишь да благодать—никого. Не хочу я на даче больше пахать, с тобой всегда буду ездить».—«Привезём как-нибудь и родичей твоих сюда,—пообещал я.—Лучше всего поближе к осени. И тепло будет, и грибов можно пособирать, и для рыбалки самое время. Вода ещё тёплая, утки жирные, и комаров мало. Да и река поласковее, чем сейчас». Поев ухи, выпив по кружке чая, мы завалились на свои пахучие подстилки под полог, накрывшись одним на двоих солдатским шерстяным одеялом, и до утра забылись крепким, здоровым, присущим нашему возрасту сном.

Утренний холод, обнаружив все не прикрытые нашим одеянием бреши, как бы ни хотелось, не позволил нам особо разнеживаться. Солнце ещё не взошло, и первым делом мы берестой и таловыми вперемешку с берёзовыми сучьями оживили почти совсем уже прогоревший костёр. Пока согревались остатки ухи и чай, мы, с лёгким содроганием сполоснув заспанные лица холодной озёрной водой, сняли закидушки—на жарёху ещё было. В общем-то, можно было возвращаться домой—патронов всё равно больше не было, а рыбалка была ещё довольно слабая, да и снастей соответствующих у нас было недостаточно. Решили плыть назад. «А с этим что будем делать?—вытряхнув из пакета жареную ворону и двух сорок, спросил я Пузана.—Выбросим, или, может, сам съешь?»—легонько подковырнул я Саньку.

«Ну уж нет,—отозвался тот,—пусть кто-нибудь другой ест эту парашу».—«Слушай, Пузан, а видто у них какой ресторанный, привлекательный. Ведь и не подумаешь, что ещё недавно они здесь, в лесу, стрекотали да каркали. Кто докажет, что не крякали? Действительно, хоть сам ешь».—«Шлён, давай я ими Зиму накормлю? Тому всё равно, что жрать, лишь бы мясо. Вон он как собачатину трескал у корейцев, которые в соседней квартире живут,—за уши не оттащишь!»—неожиданно оживился Пузан. «Да ради Бога, пусть ест на здоровье. Сороки за чирков сойдут, так как поменьше, а ворона—за шилохвостня, а то и на крякушу потянет, так как, считай, в два раза больше, чем сорока». Пузан засунул свою добычу назад, в пакет, и бросил к себе в рюкзачок. Пока мы добирались до того берега, ветер усилился до такой степени, что иной раз нас чуть не с ног до головы обдавало пеной, сорванной с образовавшихся на поверхности волн беляков. Небо снова было затянуто, и вдобавок ко всему пошёл довольно приличный, не по-весеннему холодный дождь. Ещё издали на берегу я заметил какую-то одинокую фигуру. По мере того как мы приближались, она тоже двигалась в нашу сторону. Кто-то явно нас ожидал. Пузан как-то странно заёрзал на своём сиденье. Я, нутром почувствовав его напряжение, спросил: «Чего задёргался? Ты, случайно, лодку-то не угнал? Не хозяин ли это по берегу мечется?» На что он упавшим голосом ответил: «Да, наверное, хозяин. Кому ещё нужно на берег в такую погоду, когда собаку из дома не выгонишь, таскаться?»—«А что ты мне тогда лапшу на уши вешал, что у знакомого взял? А я поверил тебе, дурак!»—«А ты поплыл бы тогда на охоту со мной?»—огрызнулся Пузан. «Естественно, нет, назад бы отогнали,—ответил я ему.— Поди, ещё и замок сбил. За один сбитый замок уже срок, тем более тебе, корячится».—«Да нет, лодка просто к столбу цепью была примотана, замка вообще не было»,—оправдывался Санька. «И то ладно,—ответил я.—Ну что будем делать, Пузан?» К берегу мы подплывать не спешили. На одном месте пригарцовывая, совещались, как нам поступить дальше. «А мужичок молодой, амбалистый»,—отметил я вслух. «Шлён, ты же знаешь, что мы его в две секунды выключим?»— вдруг весело подмигнул Пузан. «Это в знак-то благодарности за то, что без спросу его лодкой попользовались?»—укоризненно спросил я. «Да пусть доволен будет, что не угнали»,—парировал Саня. «Санька, мне эти разборки в городе надоели. Давай хоть в этом деле по-человечески себя вести. Тем более ты прекрасно знаешь, что я на чужое, да ещё у частников, никогда губы не раскатываю. И так проблем хватает».

«Парни,—раздался с берега довольно миролюбивый голос,—давайте причаливайте. Разберёмся как-нибудь. Всё нормально». Мужчина, конечно же, опасался того, что мы могли бы угнать лодку обратно или рвануть вниз по течению, а там где-нибудь бросить. И он был бы бессилен что-нибудь сделать. Мы подошли к берегу и втроём вытащили лодку. «Ну ладно, пригнали назад—уже хорошо. Ты хоть в следующий раз спрашивай, Пузан, я всегда лодку уступлю, если не занято будет. Тем более если вы за ней присматривать будете».— «Да если что, я твою лодку, мужик, из-под земли достану! А откуда ты меня знаешь?»—спросил Пузан. «Да кто тебя не знает? Рыночные пацаны, которые у тебя на цырлах ходят, в курс дела ввели. Всё как есть».—«Ну, спасибо, мужик, за это. Смотрю—погода плохая, думаю—всё равно никто никуда не поплывёт. Лодка не замкнута, ну и решил попользоваться. Так и так назад бы вернули. Шлён всё равно бы заставил её на место поставить».—«Шлён?—с удивлением поднял на меня мужчина глаза.—Ну и компания у вас подобралась. Это ты Буку поколотил?»—«Да, было дело»,—подтвердил я. Мне стало противно от воспоминаний о том, как я действительно довольно жёстко отбуцкал этого подонка за то, что он, придя к одному из наших общих знакомых, не застав его дома, поставил под нож его мать и забрал у неё чуть больше двух рублей денег—всё, что было. «Да, лихо ты его тогда. Да если бы он сдох, никто бы и не вспомнил. Крови он у хороших людей слишком много выпил. Такие существуют специально для того, чтобы мешать людям жить». Мы помогли дяде Васе, как он назвался, отогнать лодку назад на лодочную станцию. Оказалось, он живёт совсем рядом, сразу же по первой улице, как только на яр поднимешься. Ещё раз извинившись, отдали ему пойманных утром окуней, несмотря на протесты. И мы расстались в хороших отношениях, да ещё и при прекрасных перспективах в отношении лодки.

Наш путь пролегал как раз через рынок, на котором всей шпаной, которая здесь прикармливалась, и хороводил Пузан. Едва мы ступили на территорию базара, как услышали крики пацанов: «Пузан! Пузан! Подожди!» От ближних торговых рядов отделились две детские фигуры и побежали в нашем направлении. Это были Балдик и Гендос, самые отъявленные рыночные воры. Оба они были под Пузаном. В руках у них был большой бумажный пакет, битком наполненный, наверное, наворованными у торгашей фруктами. Днём они обычно паслись здесь, на рынке, а вечерами у городских магазинов шмонали по карманам. Причём зачинщиком был всегда худой, не по годам злобный и циничный Гендос. А Балдик, веснушчатый, с виду довольно добродушный крепыш, что было обманчиво, обычно стоял рядом на отмазке и в случае чего сразу же первым вступал в драку. Причём в этом отношении был необычайно жесток

и беспощаден. Если объект нападения превосходил их в силе, то Балдик очень умело применял для удара шахтёрский фонарик, который почти всегда находился у него в рукаве пиджака. Он был прикреплён проводом, спрятанным там же, в рукаве, петлёй за правое плечо. И первым ударом Балдик, как правило, старался сразу же рассечь сопернику бровь. Оба они, как и почти все рыночные, тоже были на «малолетке». Это считалось в порядке вещей. Но, несмотря на всё это, Пузан у них был в несомненном авторитете. «Шлён,—обратились они ко мне.—Ты чё, Пузана на охоту брал?»—«Ну и что?»—нетерпеливо спросил я, собираясь продолжать свой путь. «Дайте нам поесть чего-нибудь. У вас, поди, жратвы навалом?—с надеждой глядя на наши рюкзаки, спросили они.—А то от этих фруктов ещё сильнее на жор тянет». Пузан приоткрыл и заглянул в пакет, находящийся у Гендоса в руках,—тот до верху был набит яблоками и грушами, наворованными у торгашей. «Ого,—сказал Санька,—щедро с вами киргизы поделились». Мой друг достал из рюкзака двух сорок. «Мы вам жареных утят, а вы нам фрукты. Идёт?»—спросил Пузан. «Да забирайте их все, мы смотреть уже на них не можем»,—обрадовались пацаны. Не успел Санька ещё принять из их рук пакет, как оголодавшие, как волчата, ребятишки уже исступлённо рвали зубами сорочье мясо. Глядя на эту забавную картину, я, не выдержав, громко рассмеялся, а вслед за мной и Пузан. Гендос с Балдиком сразу же оторвались от своих деликатесов и с подозрением уставились на меня. «Чё, Шлён, вы их, поди, на помойке подобрали?»—гнусаво заныл Гендос. Я расхохотался ещё больше. Мне просто ясно представилась картина, как мы с Пузаном с понурым видом и почему-то под проливным дождём ходим по городской свалке и палками скрупулёзно переворачиваем мусорные кучи в поисках дохлых диких уток специально для того, чтобы зажарить их потом и накормить ими не кого-нибудь, а именно Балдика с Гендосом. Ведь надо же, какое у них богатое воображение! «Да нет, пацаны, всё нормально. Просто мне вспомнилось, как Пузан в воду на болоте провалился»,—продолжал я им дуть в уши. Успокоившись, они вновь с прежним ожесточением принялись за свою прерванную трапезу. Аппетит у них был отменный. «Ну чё, вкусные утята?»—глядя на них с непритворным участливым любопытством, поинтересовался Пузан. «Ничтяк»,—показав указательный палец, отозвался Балдик, продолжая с необычайным остервенением мусолить свою сороку. Мы с Санькой многозначительно переглянулись. «Ну ладно, вы рубайте, а мы пошли». Они, не отрываясь от еды, продолжая с жадностью обгладывать своих псевдоуток, только помахали нам на прощание руками. Отойдя за территорию рынка, мы с Пузаном раскидали приобретённые таким не совсем честным путём фрукты на две части. Килограмма по три получилось на каждого. Меня успокаивало лишь то обстоятельство, что эти дары киргизских садов нашим лоханутым пацанам достались ещё более бесчестно. «Ну вот, Пузан, не пропала даром твоя первая охота!»—прокомментировал я. Он был очень доволен. Посидев некоторое время на подвернувшейся лавочке, с огромным удовольствием продегустировав фрукты и ягоды, которые после нашей прогулки казались необыкновенно вкусными, мы разошлись по домам. Перед расставанием Санька ещё раз сказал: «А Зиму я всё же вороной накормлю».—«Ладно, ладно, придёшь—расскажешь».

На другой день к вечеру ко мне пришёл Пузан. «Ну что, накормил Зиму вороной? Ну и как, понравилось?»—не без сарказма полюбопытствовал я ещё с порога, не дав ему опомниться. «Ага, ох и накормил!»—вытаращив на меня глаза, а затем отвернувшись в сторону, хихикнув, произнёс каким-то торжественным тоном Санька. «Что случилось? Рассказывай!»—чувствуя нечто необычное, потребовал я. И вот что он мне поведал.

Когда мы расстались с Пузаном после удачной охоты, он пришёл домой. Родителей не было, так как воскресенье они всегда проводили на даче и возвращались достаточно поздно. Санька, естественно, знал об этом. Жареную ворону, предназначенную для Зимы, завёрнутую в газету, он положил в сетку и бросил в кухне на подоконник, а сам побежал к Зиме, чтобы пригласить его к себе на ужин, где бы он и попотчевал его «жареной утятиной». Дома того не оказалось, и он повернул назад, решив перенести сию трапезу на завтрашний вечер. Придя домой, он был удивлён тем, что застал там родителей: оказывается, был какой-то праздник, который они решили отметить дома. Мать, нарядная и, как всегда, очень красивая, суетилась на кухне. А отец в белой выглаженной праздничной рубашке сидел тут же рядом, за столом, на котором стояла большая початая бутылка красного вина. И, к великому ужасу Пузана, в самом центре стола, на разукрашенной глазурными цветами большой фарфоровой тарелке, красовалась кверху ножками злополучная жареная ворона, предназначенная для Зимы. «Вот и хорошо! Ты как раз вовремя пришёл. А мы только праздник решили отмечать»,—обрадованно произнёс отец. «Вот дурень! Что же я в комнату её к себе не унёс?!—казнил себя обескураженный Сашка.—Опять же, откуда было знать, что родичи дома сегодня? Как им теперь сказать, что это ворона? Куда глаза после этого прятать? Нет, как бы то ни было, всё равно скажу»,—подумал он. Но отец его опередил: «Вот так, мать! Санька-то наш настоящим охотником становится. Ты понимаешь, Надюшенька, кормилец у нас с тобой подрастает! С почином тебя, сынок! За первую твою утку!»

И он, громко крякнув, залпом оглушив до краёв наполненный тёмно-красным вином стакан толстого гранёного стекла, заправски, со смаком, отвернув одну из торчащих кверху ножек от аппетитно коричневеющей поджаристой вороны, с огромным удовольствием отправил её в рот. «Батя, не ешь эту гадость!»—хотел было крикнуть Санька, но что-то остановило его. Слова застряли в горле. А отец, зажмурившись от удовольствия, обгладывая косточки, тянулся к бутылке за очередной порцией допинга. Мать, скрестив руки на груди, стояла рядом, мягко улыбаясь, с удовольствием и интересом наблюдая за своим мужем. «Надюша, присоединяйся! Попробуй, какой вкуснятиной нас сынок кормит!»—«Да нет, Сашенька, спасибо. Ты ведь знаешь, что я к дичи непривычная. Ешь сам на здоровье».—«Зря, зря,—проворчал добродушно хозяин.—Ну а ты, Сашок, что же? Давай тоже присаживайся к отцу».—«Да нет, батя, я уже там, на озере, вдоволь наелся»,—ответил Пузан, скривившись в сторону от отвращения. «Неужели он не чувствует эту дрянь?!» Санька, конечно же, понимал, что в данной ситуации он в какой-то степени смалодушничал, не остановил вовремя отца. И чувствовал себя маленьким подленьким гадёнышем. Но зато у него теперь стопудово к осени будет своя лодка. Тем более он точно знал, что в следующий класс его всё равно переведут. Учителя его сами проинформировали об этом—лишь бы он хотя бы делал вид, что учится, и не прогуливал уроки. Да, в конце концов, батя ничего не понял и от вороньего мяса не помрёт. Главное, доволен. Так что пусть остаётся в своём счастливом неведении. Ну а Зиме теперь он, Пузан, при возможности десять ворон скормит! Так, слово за слово, стакан за стаканом—и от вороны не осталось ни рожек, ни ножек. Дядя Саня оприходовал её, что называется, в один присест и не поперхнулся. Да ещё и под красненькую. Много ли нужно простому советскому рабочему человеку? Не без иронии внимательно выслушав Санькин рассказ, я стоял и думал. Всё-таки как он мог съесть эту гадость? Ведь действительно мясо вороны довольно отвратительно на вкус. Если предположить невозможное: допустим, дядя Саша догадался, что это не утка, а ворона,—чушь, конечно. И, понимая, что сын это очень переживает, взял и вопреки всему скушал её с таким великолепно разыгранным аппетитом, для того чтобы его сын и подумал о том, о чём он в самом деле подумал. Но такой простак, как дядя Саша, не настолько психологичен и не способен на такое проявление в наивысшей степени деликатности. Такие подвиги ему не по плечу. Это мы сразу отметаем. Но ведь здесь и вполне возможна роль какой-то силы самовнушения. Наоборот, он не мог и помыслить о том, что это может быть не утка. Ведь его сын и поехал именно на утиную охоту. Таким образом, стопроцентно зная, что он ест именно утку и ничто другое (а дикая утка просто не может быть невкусной), да ещё сдобрив её приличной дозой красного вина, он мог её неприятный вкус принять за своеобразную оригинальную пикантность. И всё принял за чистую монету. Ну, теперь уж что случилось, то случилось. И опять в этой комичной ситуации разве может не прийти на ум очень известная классическая пословица: не рой яму другому, а то сам в неё и попадёшь?

Жук

Под общие крики разочарования местной детворы, волейбольный мяч, которым мы играли в игру, чем-то отдалённо напоминающую футбол, перелетел из нашего двора через сплошной высокий забор, выкрашенный ярко-зелёной безвкусной ядовитой краской, и упал на ту сторону, где-то на соседнем участке. Это порой случалось, к большому нашему огорчению, так как каждый раз вызывало, мягко говоря, неудовольствие недоброжелательной и немолодой одинокой немки, когда кто-нибудь из нас ходил к ней за потерей. Тем более что, когда последний раз это произошло—не далее как вчера, очередному нашему посланнику, прежде чем ему вернули мяч, пришлось выслушать категорическое и, как сказала хозяйка, последнее предупреждение. Что если подобное ещё раз повторится, чтобы мы и не подумали к ней приходить. Мяч нам более не вернут. А если мы будем назойливы и станем докучать ей, то она надерёт нам уши и натравит собаку, которая спустит с нас штаны. Так что, по куда уж более чем понятной причине, желающих идти к соседке не находилось.

Я был в какой-то степени немного пошустрее других своих сверстников, да и, по-моему, на годполтора постарше их, что в этом возрасте является довольно ощутимой разницей. Было мне около десяти лет. Поэтому почти все, не сговариваясь, стали акцентировать своё внимание на мне. Но перспектива остаться с разорванными штанами и отодранными ушами меня, естественно, нисколько не прельщала. Я предложил своим юным друзьям другой вариант: слазить к соседке незаметно через забор и лишний раз не надоедать хозяйке. А обратно перелезть по тополю, который почти вплотную подходил к забору с той стороны. Так мы и поступили. Меня подсадили, и, восседая на заборе, я мельком оглядел то, что мне сразу бросилось в глаза: ухоженный участок, расположенный вокруг красивого, сплошь увитого гирляндами вьюнков дома. Но хозяйки видно нигде не было, и я, недолго раздумывая, перепрыгнул на ту сторону, оказавшись среди ровных, как струна, чисто прополотых грядок, окружённых таким же ровным, с немецким педантизмом аккуратнейшим образом подстриженным декоративным кустарником. Тогда мне стало понятно, почему наш мяч,

залетающий сюда иногда, вызывал столько негодования со стороны сверхусердной соседки. Это не к нашей деревенской бабке в картошку на огород. Так что наш резиновый предмет игры был явно чем-то инородным в этом царстве устоявшегося идеального порядка. Пройдя кусты, я увидел наш мяч. Он лежал прямо у собачьей будки, у которой на цепи сидела довольно крупная длинношёрстная чёрная собака и с нескрываемым любопытством беззлобно смотрела на меня.

Я собак не очень боялся, несмотря на то что бывал ими уже покусан. Но подойти к мячу всё же не решался после такого грозного предупреждения со стороны хозяйки.

— Собака, а собака, можно, я у тебя мяч заберу?— спросил я дружелюбного пса.

Он, почувствовав с моей стороны миролюбивую интонацию, припал на передние лапы к земле и, склонив голову набок, негромко гавкнул, явно вызывая меня на игру. Видимо, он один здесь совсем скучал. Я подошёл к нему спокойно и стал гладить, а он в ответ лизал меня в лицо. К детям в основном собаки относятся хорошо, тем более если чувствуют их доброжелательность. Забрав мяч и ещё раз напоследок погладив своего знакомого, я уже было пошёл к забору, но внезапно меня остановил возмущённый окрик хозяйки:

— Ты что здесь делаешь? Как ты сюда попал?!

Я оглянулся. На крыльце дома стояла немка, прямая, словно свеча, с бесстрастным и холодным выражением лица, как у Снежной королевы. Она спустилась вниз и подошла ко мне, оставаясь всё такой же прямой, как штакетина из собственного забора.

— Вас что, не предупреждали, что я уши драть буду?

И про свою злую собаку Жука, как она её называла, тоже что-то говорила, пытаясь напугать меня. Хозяйка явно не видела моего общения с животным. То, что я не испытывал страха к Жуку, а он ко мне—никакой злобы, уже нас с ним как-то объединяло и стало пусть хоть и маленькой, но нашей общей тайной. Я, опустив голову, молча, под град угрожающих высказываний, опять уже было хотел пойти к забору. Но она снова остановила меня и, указав на ворота, сказала:

— Иди по-нормальному, через калитку. Не хватало ещё, чтобы у меня тут всякая шантрапа через забор лазила. Передай остальным, что моё терпение лопнуло. Чтобы духу вашего здесь больше не было.

Я ушёл, как она того потребовала, через калитку, по бокам которой тоже были разбиты шикарные цветники, и радовался в душе, что ещё хорошо отделался.

Придя обратно в свой двор, я сразу же обо всём поведал своему лучшему другу Борьке, с которым учился в одном классе. И он, как большой любитель животных, особенно собак, заочно сразу же расположился к новому четвероногому знакомому.

Решить проблему с перелетанием мяча через забор нам помог дядя Валентин, Борькин отец. Он просто нарастил высоту соседского забора где-то по случаю приобретённой старой рыбацкой сетью.

Лето прошло, окончились и игры во дворе. Незаметно прошла и осень. Зима уже подходила к концу, но ещё стояли приличные морозы. Как-то раз, возвращаясь из школы, мы с Борькой увидели, что у соседских ворот, самых красивых на нашей улице, стоят несколько человек и о чём-то негромко разговаривают. Поравнявшись с ними, мы увидели прямо перед разукрашенной всевозможной резьбой калиткой лежащую собаку, которая и являлась предметом обсуждения. К нашему огромному расстройству, это оказался соседский Жук. Никто не видел, но ясно было, что он попал под машину. Здесь были в основном жители нашей наполовину семейной, наполовину студенческой общаги. Собака порывисто и тяжело дышала. Я подошёл и, наклонившись над ней, попробовал погладить.

— Жук, Жук, ты как себя чувствуешь? Узнаёшь меня?—спрашивал я его.

Он приподнял голову и, обведя всех мутным, видимо, ничего не понимающим взглядом, вновь положил её на передние лапы. Нос у него был горячий. Ясно было, что Жук в тяжёлом состоянии. Нам было его неимоверно жаль.

— А почему его хозяйка не заберёт?—спрашивали мы с надеждой людей.—Он же умереть может.

— Её, наверное, дома нет, он давно, с утра уже, тут лежит,—предположила какая-то девушка.

— Да дома она, дома,—возразил кто-то,—просто открывать не хочет. Вчера вечером её видели. Куда она могла деться? Ни она ни к кому не ходит, ни к ней никто, давно известно. Да и кто с ней будет дело иметь? Поздороваешься как с человеком, а она пройдёт мимо, как истукан, и даже не посмотрит в твою сторону. Собака, бедная, наверное, из последних сил до дома дотянула. Куда ей ещё деться? А здесь—пожалуйста: в полном смысле от ворот поворот, когда стала ненужной. Да разве имеют право такие люди животных держать?— продолжал всё тот же голос.

— Но что-то надо же делать,—чуть не плача, просили мы с Борькой взрослых.—Не бросать же здесь его одного в таком состоянии.

— Вот что, Боря,—сказал вдруг кто-то молодой, видимо из студентов,—бегите домой к твоему отцу и позовите его сюда, если он дома. Лучше, чем Валентин Валентинович, никто эту проблему решить не сможет. Он человек авторитетный.

Все отнеслись к этому с явным одобрением. Мы полетели с другом в общежитие и, застав Борькиного отца дома, стали наперебой рассказывать о том, что случилось с собакой, и о злой

тётке, которая не хочет её забрать. На что он сразу поправил нас, что нельзя плохо говорить о человеке, тем более не зная, какие у него могут быть проблемы.

Дядя Валя — порядочный, справедливый, добрый, скромный и честнейший человек. Был сиротой с малых лет, беспризорничал в военное время, голодал, замерзал и умирал. Несмотря на свои тяжёлые детство и юность, умудрился пронести и сохранить через все трудные годы лишений лучшие человеческие качества. Он стал главным инициатором по спасению погибающего животного. Первым делом он сходил к коменданту общежития и договорился о том, чтобы тот разрешил нам на время поселить нашего нового подопечного в подвал. Тот был понимающим человеком и, как все, уважал Борькиного отца. Он не стал возражать и дал ключи. Затем мы решили поднять собаку, чтобы унести к общежитию. Но после двух-трёх попыток отказались от этой затеи. К животному невозможно было прикоснуться. Любая попытка хоть чуть-чуть повернуть его тело, для того чтобы ухватиться за него и приподнять, причиняла ему дикую боль, и сердце замирало от его душераздирающего воя, а случайные прохожие останавливались и сочувственно качали головами. Вышли из положения таким образом. Принесли фанерный лист. С предельной осторожностью перекантовали животное на него и утащили волоком до общаги. В подвал тоже спустили прямо на листе. В этом нам помогали и студенты. И всё равно эти передвижения приносили собаке невыносимые страдания, да и нам тоже.

На всё ушло, наверное, около часа. Внешних повреждений у него мы не обнаружили. Скорее всего, были сломаны или сильно зашиблены тазовые кости. На улице ему оставаться было нельзя, да и негде. Стояли ещё крепкие морозы. Организм у животного был предельно ослаблен. Зато теперь собака была в тепле. С этого момента заботу о бедном животном мы полностью взяли на себя, что превратилось в целую эпопею, состоящую из нескончаемой череды как отрицательных, так и положительных эмоций и переживаний.

Первую неделю мы думали, что Жук вообще не выживет, так как он полностью отказался от пищи. И, казалось, всё более и более угасал. Несколько дней чашка с едой, которую мы постоянно обновляли, оставалась нетронутой, только воду пил. И первой несказанной радостью для нас было то, что однажды утром мы обнаружили, что посуда была не полной. После этого он стал понемногу принимать пищу. Но появилась другая проблема: он, видимо, никак не мог оправиться, наверное, были какие-то нарушения внутренних органов. Всё время скулил, испытывая большие мучения, и мы не могли найти себе места. Опять несколько дней переживаний. И когда, наконец, это случилось, мы с другом были в восторге. Помню, как один раз Борька взахлёб рассказывал мне, как Жук впервые лизнул его в лицо. Эта положительная эмоция, наверное, была первой ступенью к его излечению. Но обольщаться было ещё рано, так как мы не могли знать степени серьёзности его травмы. Он, в основном, по-прежнему оставался почти недвижим. Не помню, сколько это продолжалось — три, четыре, пять недель, но мы самоотверженно ухаживали и убирали за ним. Не считаясь со временем, старались побольше находиться рядом с собакой, когда вместе, а когда и по отдельности, чтобы поддержать эмоционально и чтобы он не чувствовал себя брошенным. Мы понимали, что это ему необходимо. И для нас тоже это была своеобразная школа. Мы учились быть милосердными. И, конечно же, неоценимую помощь и поддержку в этом оказал нам дядя Валентин. Конечно же, это он показал нам, как нужно ухаживать за больной собакой, и обеспечивал для этого всем необходимым питанием и медикаментами, которые мы тоже научились правильно и регулярно применять.

Я и сейчас храню в своей душе благодарность этому человеку. И прежде всего за то, что он своевременно и по достоинству оценил и на деле поддержал в наших сердцах проявление таких глубоких и бесценных человеческих качеств, как сострадание и сопереживание, тем более к брошенному, после того как стал ненужным, больному, беспомощному животному.

Через какое-то время собака стала потихоньку передвигаться — конечно же, сначала ползком. Мы понимали, что пёс радуется каждому нашему приходу. При очередном нашем посещении он хоть и лёжа, но помахивал хвостом и тихонько поскуливал. А вскоре стал делать попытки приподняться, что являлось в тот момент наивысшим проявлением его чувств. Это случалось тогда, когда появлялся кто-нибудь из нас. Но первое время мы сами старались не дать ему встать, придерживая его руками:

— Лежи-лежи, Жук, ещё успеешь, не торопись, пусть хорошенько заживёт.

И в тот момент, когда подавали ему чашку с едой или питьём, он исступлённо лизал нам руки. Обо всём этом я вспоминаю как о самом ярком и светлом периоде того времени. Для нас это стало своеобразным образом жизни. Мы несказанно радовались каждому моменту проявления хоть каких-то признаков его выздоровления. И уже не найдётся таких слов, чтобы выразить, каким счастьем был для нас тот день и момент, когда наш новый друг впервые действительно встал на ноги и попытался сделать несколько первых шагов после тяжёлой, изнурительной болезни. С этого момента всё переменилось. Я и Борька постоянно находились в эйфории радости, сознавая, что ведь

именно благодаря нашему усердию в лечении и уходе это доброе мохнатое существо обрело вторую жизнь.

Так незаметно пришла весна. Наступили тёплые дни, и лишь по утрам ещё присутствовали лёгкие заморозки. Воробьи с ума сходили на крышах, исходя тысячеголосым громким чириканьем. Яркое весеннее солнце, отражаясь миллионами искр от закристаллизовавшегося, ещё не полностью растаявшего снега, невозможно слепило глаза. По крутым неасфальтированным улицам нашего района, больше похожего на деревню, чем на город, неслись целые реки мутной талой воды, образовываясь по низинам, где-нибудь в огородах, в целые озёра, на которых мы, пацаны, умудрялись даже плавать на плотах, наскоро, как попало, сколоченных из сломанных заборов. С улицы в дом нас было не загнать. А вечером иногда получали на орехи за то, что зачастую приходили домой поздно, с мокрыми, выброженными в лужах ногами, после чего нередко начинали сопливеть. Так что родителей тоже можно было понять. Но, несмотря на всё это, мы никогда не забывали о своём питомце. И свободное время прежде всего уделяли ему. В один из таких дней впервые нам с Борькой по крутой подвальной лестнице всё же удалось наконец-то потихонечку, на поводке, ступенька за ступенькой, вывести нашего подопечного многострадальца на улицу. За все эти недели, безвыходно проведённые в подвале, он впервые увидел солнце. Понятно, каким событием было это и для него, и для нас. С этого момента наши выходы стали регулярными. Первое время они ограничивались дистанцией десять-пятнадцать метров, это и так было большим достижением, остальное время Жук лежал. В дальнем углу двора ему заранее сколотили будку. Но первые несколько дней ему ещё было не под силу залезть в неё и развернуться там. Дела быстро пошли на поправку. Через неделю Жук стал более или менее хорошо ходить, и даже раз, схватив зубами палку, сделал попытку поиграть с нами. Он переселился в будку, и все пацаны из нашего дома бегали его проведать, чтобы покормить и поиграть. А немного позднее по очереди мы стали делать пробежки вместе с Жуком, но всё равно держа на поводке, так как у нас постоянно присутствовал какой-то патологический страх перед машинами. Вскоре Жук стал любимцем всего двора. Не нашлось бы ни одного мальчишки или девчонки, которые бы хоть в какой-то степени не выказывали ему заботу. А для нас с другом Жук был вообще чем-то неотделимым. И ему с нами, конечно же, было хорошо.

В тот день мы, как обычно, выгуливали собаку, на этот раз вместе с Борькой, и для разнообразия ходили далеко за пределы двора по улицам. По возвращении домой мы неожиданно увидели стоящую к нам спиной злополучную соседку. Напротив неё находился дядя Валентин, они о чём-то разговаривали. Увидев нас, он дал рукой нам знак остановиться. Сердце ёкнуло от предчувствия какой-то неприятности. Затем, что-то сказав немке, он подошёл к нам.

— В общем, так, ребята,— глядя на нас испытующим взглядом, проговорил дядя Валя.— Соседка требует собаку назад, и Жука придётся вернуть хозяйке.

— Папка! Да какая она ему хозяйка, если умирать бросила, когда он под машину попал?! — громко всхлипнув, закричал Борька.

А та, словно изваяние, стояла в стороне с отсутствующим выражением, будто нас и не было вовсе.

— Вы у меня уже совсем большие парни, поэтому должны понимать,— продолжал дядя Валя.— Конечно же, ясно, что вам очень трудно расстаться с собакой, да и мне тоже. Но нужно смотреть вперёд. Сашины родители вот-вот получат квартиру в городе, а там и наша очередь не за горами. А в городскую квартиру собаку, выросшую на улице во дворе, да ещё и взрослую, не потащишь. Иначе это превратится в мучение как для неё, так и для нас. И здесь Жука тоже оставить нельзя. Конечно же, все жители общежития к нему хорошо относятся, да и привыкли уже, кормить будут. Но не забывайте, что это общежитие, здесь нет ничего постоянного. Люди то приезжают, то уезжают, у всех свои проблемы. А вас, столько в него вложивших, даже здесь ему никто не заменит. У собаки должен быть один постоянный хозяин. Там же, за забором, всё-таки его привычное место, где он прожил практически всю свою жизнь. Вы же не хотите, чтобы Жуку было плохо? Согласны с этим? Вы хорошие ребята, то, что вы сделали,— это большое и доброе дело. Жук всегда будет помнить о вас. Так оставайтесь же такими до конца.

Мы, конечно же, не могли не согласиться с человеком, которого безмерно уважали. Душа разрывалась на части. Мы с комком в горле гладили на прощанье собаку.

— Так что держитесь, парни,— продолжил дядя Валентин и осторожно взял из моих рук поводок, тоже, кстати, купленный на наши с Борькой накопленные деньги, сэкономленные на школьных завтраках. Он был нашим своеобразным подарком питомцу.

Жук при приближении к хозяйке не проявлял никаких признаков радости, но и воспринял это как должное, добродушно помахивая хвостом. Конечно же, он не мог понять, что в этот момент творилось в наших душах. Соседка приняла поводок из рук дяди Валентина как должное. И, даже не взглянув на собаку, не поблагодарив и не попрощавшись, повернулась и всё с тем же холодным и неприступным видом, с гордо поднятой головой поплыла восвояси.

Во всём её облике ощущалась безмерная самоуверенность и безграничное презрение к нам, да и, наверное, ко всем окружающим. Во дворе находились ещё люди из нашего дома, оказавшиеся невольными свидетелями этого неожиданного визита. Они, конечно же, тоже всё понимали и искренне жалели нас.

— Ишь ты, фифа, нарисовалась после того, как ребятишки собаку с таким трудом выходили. Где ты раньше была? — говорили они ей вслед.

Но она, наверное, уже не слышала или делала вид, что не слышит. Даже дядя Валя, провожая соседку взглядом, как-то растерянно и сокрушённо покачал головой. Жук на поводке бежал рядом с этой женщиной. Он чувствовал, что мы неотрывно смотрим на них. И, раскрыв пасть, свесив набок язык, с жалким и виноватым видом постоянно делал попытки оглянуться, забегая то слева, то справа от своей монументальной и неприступной, как скала, королевы. Во всём его облике чувствовались беспомощность и обречённость. Ведь всё же она была его хозяйка, несмотря на своё потребительское и безответственное отношение к нему. А он, благодаря инстинкту, привык всегда неукоснительно и безропотно подчиняться ей во всём. Что прежде всего и входило в его собачьи обязанности, привитые, наверное, ещё с самого раннего щенячьего возраста.

Глядя вслед удаляющимся, мы стояли и молча утирали горькие слёзы незаслуженной обиды и разочарования, глубоко, всем своим существом понимая несправедливость и бессердечность происходящего. Дядя Валентин находился между мной и Борькой, мягко придерживая руками нас за плечи, утешающе слегка пожимая их. Ведь он, конечно, понимал и сопереживал. От нас навсегда уводили нашего нового, преданного, доброго четвероногого друга. Это была в нашей, можно сказать, ещё только начинающейся жизни большая потеря и первая встреча с человеческой бессовестностью, жестокостью, несправедливостью и бездушием.

Тогда нам было ещё невдомёк, что в тот момент мы ещё только находились на пороге достаточно сложных и порой непредсказуемых жизненных поворотов. И что в дальнейшей бесконечной цепочке самых разных перипетий нас ожидает достаточно много как разочарований, так и больших и маленьких радостей. Что жизнь не так проста и безоблачна, как нам казалось тогда, в том далёком, ещё беспорочном детстве.

Прошло много лет, но именно с тех пор у меня появилась какая-то болезненная черта. Когда я вижу прекрасный дом с шикарными воротами и красивым, идеально ухоженным палисадником, меня это не столько радует, как многих других людей, сколько, скорее, настораживает. У меня преобладают иные ассоциации.

Собака на бобре

Собачка у Пашки была небольшенькая такая. Величиной не больше спаниельки, с такими же отвисшими, словно лопухи, ушами, как у сеттера или курцхаара, с закрученным, вроде как у лайки, хвостом, цвета кофе с молоком и с необычайно добрыми, печальными карими глазами. Мешанина, одним словом, «двортерьер», как в шутку называют. На ногах высоконькая, относительно своего размера, грациозная, телом прогонистая. По кустам как челнок шныряет. Инициативная, вездесущая. То белочку облает, то колонка́, а где глухаря поднимет, на дерево посадит. А иной раз даже косулю на малых кругах на хозяина нагонит. Хорошая была собака, универсальная, несмотря на свою внешнюю непородистость.

Мало шансов у дичи от неё спрятаться: ни в корнях закориться, ни в кустах схорониться Люська шансов не оставляет. Всё равно учует, везде найдёт и хозяину знать даст своим звонким, задорным лаем. Одним словом, очень активная и деятельная собака. Мало того что в охоте она очень преуспевала, так ещё и, кроме того, была необычайно ласкова, доброжелательна и преданна. А в деревне ещё и дом охраняла исправно. Хозяйка, жена Пашкина, очень любила Люську и, в свою очередь, баловала её по возможности. Ясно, что Пашка в ней души не чаял и ценил по достоинству.

Идут как-то раз они, Пашка и Люська, по тайге, как обычно. Хозяин сзади, а собачонка то впереди, то сбоку тайгу обрабатывает, работу исправно свою исполняет. Вдруг Пашкиному взору открылась большая прогалина среди леса. В конце прогалины — речушка. На берегу реки, у самой воды, метрах в двадцати, к ним спиной здоровенный бобёр сидит. Их не видит, туалет свой делает, прихорашивается, марафет наводит, ухаживает за собой, будто кошка, только лапы у него словно ручки человеческие. Собака словно опешила от растерянности, аж присела. Никак они не ожидали бобра в сей щекотливый момент застать, будучи им незамеченными. Тем более зверь этот чрезвычайно чуткий и осторожный. Не так-то просто к нему подойти. А тут — надо же! Настолько неожиданно, так близко, да ещё и в момент такого своеобразного интима, можно сказать.

Люська легла, вжалась в землю и с предельной осторожностью стала бесшумно подбираться к бобру. Тот настолько был увлечён своим занятием, что продолжал не замечать её. Пашка же сразу спрятался за ближайшим деревом на краю поляны и, затаив дыхание, с огромным интересом наблюдал за ними. Собака, приблизившись к зверю буквально на пару метров, сделав резкий прыжок, вцепилась зубами бобру в загривок. Ошарашенный водяной недотёпа вскочил и, увлекая за

собой повисшую на нём мёртвой хваткой собаку, бросился в речку. Разгорячённый Пашка, подлетев к берегу, стал напряжённо всматриваться в воду. Где собака?! Нет собаки! Ни Люськи, ни бобра! Одни круги по воде во все стороны расходятся. Это как же так получается — бобёр вместе с собакой занырнул?! Вот это да! Такого Пашке не только видеть, но и слышать не приходилось. Можно только представить, что чувствовала его питомица сейчас там, под водой. «Э-эх, не будет у меня больше Люськи, кормилицы моей,— горько сожалел необычайно расстроившийся горе-охотник.— Что я теперь жене скажу — что Люську бобёр прибрал?!» Охотник смотрел на реку. Справа от него, метрах в десяти, она была перегорожена бобровой плотиной. Значит, там, где он находился, было своеобразное маленькое водохранилище, образовавшееся из-за запруженной бобрами речки. Тайга была притоплена довольно большими заливчиками. Вдоль плотины вправо в лес заходил один из них, ближайший к Пашке. Собаки нигде не было. Тут же, рядом, прямо у берега, метра на полтора высотой возвышалась бобровая хатка. Пашка находился в недоумении: почему Люська не отпустила бобра, когда тот оказался в воде? Неужели она сразу захлебнулась и утонула? А быть может (пришла вдруг ему в голову неожиданная сумасшедшая фантазия), она не захлебнулась, приплыла на бобре в его подводное жилище, то есть в хатку? А, как известно, бобры хоть и водяные жители, но дышат всё равно тем же воздухом, что и мы. Просто им дано умение надолго задерживать дыхание для длительного нахождения под водой. И их подводная камера, где они живут, всё равно находится выше уреза воды, а там присутствует воздух. И вот, может быть, собака сейчас находится в кругу семьи злополучного бобра и не имеет никакой возможности выбраться оттуда. И в случае таком собачонка вряд ли чувствует себя в своей тарелке. Остаётся только уповать на степень гостеприимства водяных жителей. А Люська, в таком случае, далеко не самым деликатным образом вторглась в их жилище. И что же делать?

Прошло минут десять. Обескураженный бедный Пашка стоял в растерянности и думал. «Бред, чушь какая-то. А если кто в деревне спросит, куда собаку дел? Что я отвечу? Да никогда в жизни никто не поверит, что мою, можно сказать, знаменитую на весь район охотничью собаку какой-то бобёр под воду уволок».

Неожиданно Пашку, погружённого в свои печальные мысли, привёл в себя звук какого-то лёгкого покашливания. А затем у себя за спиной он отчётливо услышал чьё-то чихание. В недоумении оглянувшись, он увидел Люську. Она, мокрая насквозь, покачиваясь и дрожа всем телом, с жалким, виноватым видом смотрела на хозяина своими добрыми, печальными глазами, словно в оправдание произошедшему хотела сказать: «Ты уж извини меня, пожалуйста, так уж получилось». Время от времени она снова чихала и кашляла, совсем как человек: было понятно, что воды она нахлебалась изрядно. «Люська, где ты была?!» — воскликнул поражённый и до бесконечности обрадованный Пашка. Присев на корточки, он исступлённо гладил её, мокрую и дрожащую, приговаривая: «Да что б я делал без тебя? А жене бы как отчитался? Да ты что, хотела, чтобы кое-кто в деревне после такого заушничал да исподтишка ещё в меня пальцем тыкал: дескать, смотрите, вон тот непуть идёт, у которого бобёр собаку утопил? Да меня же засмеют напрочь!»

Скорее всего, бобёр затащил Люську в ближайший заливчик, и уже где-то там, вне видимости, она, в конце концов, отпустила его. А это было достаточно большое расстояние. Невероятно! Вот что значит настоящий охотничий азарт, необыкновенная вязкость и одержимость.

Горел костёр. Был уже поздний осенний вечер. Пашка сидел рядом на валежине, время от времени потягивая чай из старой прокопчённой жестяной кружки, и в задумчивости смотрел на обсохшую и накормленную любимицу, растянувшуюся здесь же, у костра, с умиротворённым, благодушным видом взирающую на пляшущие языки пламени. «Кто знает,— думал Пашка,— может, она вспоминает о том, что довелось ей прочувствовать там, под водой, в другом мире, где плавают рыбы, ползают улитки, растут водоросли и царствуют бобры». А для нас это теперь уже навсегда останется загадкой. Да и важно ли это, в конце концов? Зато Люська опять была с Пашкой. И вдруг ненароком, даже, может быть, очень к месту, вспомнилась ему одна из русских сказок, которую в детстве ему читал кто-то из родителей,— про лягушку-путешественницу.

Эдуард Учаров

Трёхколёсный бог

Святки

Очнись в студёный вечерок, пойми на деле,
что от звезды и до воды не две недели:
другая жизнь, другие сны, другие меры
от новых жителей Земли не нашей эры.

Заворожённо посмотри, как месяц в прятки
играет с мальчиком в окне, а он—в колядки…
И войско ряженых идёт, беря овраги,
и быть веселью на селе в потешной драке.

Проймись волшебным угольком, как ветром с Вятки,
и замаячит шиликун[1] тебе на Святки—
так живо сердцем отомрёшь, на это глядя,
что, добежав, охолонёшь в крещенской глади.

А поутру поймёшь ещё, поверив глазу,
что день берёт теперь своё—за всё и сразу.
Очнись, родной, и восхитись, ведь мир внезапен,
я б тоже это оценил, да что-то запил…

● ● ●

День отстукан гулким «ундервудом»,
но кусками вычеркнуты главки,
и лучом багровым—жив покуда—
внесены божественные правки.

Высохла чернильница заката,
томик звёзд упал на дно колодца—
утром с красной строчки миокарда
слово человечее забьётся.

Инородная вещь

Перейдя на запретный язык,
потрясая основы,
плавишь горлом немые азы
в клёкот странный и новый.

И когда инородную вещь
больше выплакать нечем—
голос твой вдруг становится вещ,
буквы разве что мельче.

Боярышник

Мой грустный друг, когда слышны слова,
Бредущие к сочувствию прохожих,
Таинственная ягода—зла вам
Не принесёт, а только лишь поможет.

Прислугой у аптечного замка
Вы так печально мелочью звените,
Что чёрствости теряется закал
И губы сами шепчут: «Извините…»

А Муза рядом чек пробьёт пока—
Наступит ясность бытия земного,
И с Божьей помощью её рука
Протянет кубок вдохновенья снова.

Тончайший лирик, в ком трепещет ток
Промозглых утр и мусорных прибоев,—
Вы в два глотка осушите всё то,
Что мне за жизнь отпущено судьбою.

Падает тишина…

Тиха и прозрачна осень,
И хрупок полёт листа,
Который стремится, оземь
Ударившись, вещим стать.

И так бесконечно немо
В желании долг вернуть
Килограммовое небо,
Упавшее мне на грудь…

● ● ●

За окном, до утра приуныв,
двор уляжется с нищим.
Замерцает фонарик луны:
что Ты, Господи, ищешь?

Летом полночь совсем не видна—
бродит полуживая,
осушая поэта до дна
и бутыль разбивая.

1. В славянской мифологии—хулиганистый мелкий дух, который появляется в сочельник и до Крещения бегает по улицам с горящими углями на сковородке.

На казанском базаре

Здесь, на базаре, в шум и гам,
Среди корзин,
Проходит батюшка к рядам
И муэдзин.

Здесь пахнет квасом и халвой —
Ядрёный дух!
Мясник с утра над головой
Гоняет мух.

Здесь в тюбетейку льют рубли,
Звучит баян.
Хозяин, старенький Али,
Немного пьян.

Здесь на бухарские ковры
И местный кроль
Придут рязанские во́ры
«Сыграть гастроль».

Здесь, разложивши короба,
Людскую течь
Сзывает бойкая апа,
Мешая речь.

И нищий ветеран труда,
Держась как принц,
Займёт полтинник навсегда
У продавщиц.

А за углом, проспав обед,
Колокола
Разбудят звоном минарет —
Споёт мулла.

Трёхколёсный бог

Навострив свои педали,
в раскуроченные дали
трёхколёсный катит бог.

От червя и человека,
от бессмысленного века
он ушёл, как колобок.

Полем, речкой, огородом
катит бог за поворотом
мне по встречной полосе.

Есть ещё секунда с лишним,
чтоб столкнуться со всевышним
и осесть на колесе…

Одуревшей головою
небо выбив лобовое,
тенью, ласточкой, звездой

мягко выпорхнет из тела
строчка горнего предела,
уплатив за проездной.

Октябрь

Оседлав пешеходную зебру и мчась на кусты,
заблудился в словах, что, как вечность, длинны и густы.
И горит в подреберье остывший до льдинки рубин
полноцветьем калины и сочностью зрелых рябин.

Придорожный октябрь — ты опять графоман и расист,
на берёзы мои чёрно-белые так голосист,
что срываются птицы, о лете не договорив,
в беспросветную бездну — лихой загрудинный обрыв.

Уходящему в день, отступившему к охре в пожар,
только руку кленовую мне остаётся пожать,
по аллее пройдясь от листа до другого листа
и дождя валерьянку считая по каплям до ста.

Проглотив истекающей сини микстуру на сон,
я отправлюсь домой, прихватив, как отважный Ясон,
весь словесный гербарий поэта — плута и вруна,
потому что тоска моя — в цвет золотого руна.

Факир

Пока по воде не ходил ты, ходи по гвоздям
и пламя стихов выдыхай из прокуренных лёгких —
а я тебе сердцем за тайные знанья воздам,
и пусть все слова оживают в руках твоих ловких.

Глотай бесконечную шпагу далёких путей,
нутро оцарапав тупым остриём горизонта,
толкующий сны, над подстрочником жизни потей —
нам слышен твой голос, в ночи раздающийся звонко.

Смешной заклинатель по свету расползшихся змей,
усталый адепт красоты, поэтический дервиш,
сомнения наши в нечестности мира развей,
пока на дуде нас ты музыкой вечности держишь.

Едва различима суфийская родственность каст,
и пассы твои над душою совсем невесомы,
но проблеском истин питается магия глаз —
мы живы, пока удивляться чему-то способны.

Бродя по закоулкам января…

Бродя по закоулкам января,
во двориках, прижавшихся к домам
ветвями лип с обмёрзшими стволами,
оглядываясь, вновь увижу я
румяный лик святого Рождества,
к заутрене зовущего церквями.

И брызнет жизнь на полушубок мой…
Малиновыми каплями луча
рассвет покажет место, где далёко
скользнуло небо на пустырь седой
и голубою тучей улеглось
до Воскресенья подремать немного…

Дмитрий Артис

Нефритовый стебель

* * *

И брат не заходит в мой дом,
стоит у крыльца.
Мерещится мне под окном
лицо мертвеца.

Прогнётся дощатый настил,
но выдержит дверь.
Никто бы к себе не впустил
такого теперь.

Он умер три ночи назад,
почил на кресте.
Иконы по дому висят
и смотрят со стен.

Закрыв занавеску плотней
и свечи задув,
смеюсь, отвлекая детей
от шума в саду.

* * *

Это жизни моей торжество:
с теплотой неземною
вынимать из кровати того,
кто считается мною,

ставить на ноги или держать
на весу, не роняя,
выдавая пустую кровать
за преддверие рая.

Вот и доброе утро, страна,
слишком доброе утро.
Я почти отошёл ото сна,
улыбнулся как будто

и, нащупав рукой пустоту
на соседней подушке,
потянулся, отмеря версту
от мысков до макушки.

По холодному полу—туда,
где находится ванна,
и сказал, что уйду навсегда,
и ушёл, как ни странно…

* * *

Тяжелее всего начинать. Досчитаешь до ста,
не решаясь наполнить пространство пустого листа.

Доброй ночи тебе! Мои боги уснули немного
на широкой груди своего ненадёжного бога—

так они называют меня. Я вздыхаю чуток,
и считаю до ста, и смотрю, как дурак, в потолок.

Баю-баю-баю, баю-баю-баю, баю-баю,
не смеюсь над собой, но слегка сам себя улыбаю.

Мои боги—я так называю три года подряд
золотого ребёнка и мать его—вроде бы спят.

Можно встать, и писать, и печататься в собственном блоге:
«Доброй ночи, Господь, и спасибо, что счастливы боги».

* * *

Я—пишу, ты—читаешь меня, между нами черта,
мы на разных полях, где одно именуется—автор,

а другое—читатель, читатель обязан читать
всё, что автор напишет, и это единственный фактор,

как бы определяющий нашу совместную жизнь,
бытие, отношения, веру друг в друга шлифуя.

За него, как за стебель нефритовый, крепко держись
и читай, даже если не нравится то, что пишу я.

По-другому никак, не бывает иных величин:
не читатель, но здание, коему автор—основа.

Каждый сам по себе невозможен по ряду причин,
центровая—отсутствие смысла в значениях слова.

То есть слово-то было и будет, как Божий миндаль,
предвкушение вечности, чаша святого Грааля,

но скажи мне: кому пригодится в хозяйстве педаль,
если к ней не прикручен сверкающий корпус рояля?

Я—пишу, ты—читаешь меня, и другим не чета
наша тонкая связь, у обоих—припухшие веки.

Буду больше писать, чтобы ты ещё больше читал,
а когда испишусь, то и ты—исчитайся навеки.

● ● ●

«Не убоится верности предавший»,—
ввернёшь и замолчишь на пару дней,
обдумываешь реплику: чем дальше
уходишь в речь, тем паузы длинней.

«Не убоится пастыря заблудший»,—
и тишина, хоть колоколом бей,
величественны поза, лик: чем глубже
суждения, тем выглядишь глупей.

«Не убоится вечности убивший»,—
молчание, по-гамлетовски тих,
взволнован, как ребёнок, но чем ближе
тебе слова, тем непонятней стих.

● ● ●

И, кажется, кроме сына,
уже никого не надо.
Несёмся на облаке синем
дорогой из детского сада.

Во веки веков не заманят
качели, песочницы, горки:
там гоблины скачут за нами,
тут злобно хихикают орки.

Но мы—подворотней уходим,
скользим по верхушкам деревьев,
отмерив себя непогоде
и руки друг другу доверив.

Песочница

Вспомнишь на даче осу,
Детский чернильный пенал,
Или чернику в лесу,
Что никогда не сбирал.
Осип Мандельштам

Не тень цветущего каштана—
побéги от скрещённых спичек.
Вот этот низенький куличик
пусть будет холмик Мандельштама.

Какая, в сущности, умора
произносить: никто не вечен.
Пиковой маковкой увенчан
свод жестяного мухомора.

Песок рассыпчатый, неловкий,
чуть намочить его из лейки.
На разноцветные скамейки
садятся божии коровки.

От песнопений карусели
до колокольного разлива.
И скорбь воистину красива,
чиста, как детское веселье.

● ● ●

1.

Только любовь, Марина, и никакого бренди,
молча войди, разденься, свет погаси в передней,

дверь посади на цепи, а полумрак—на царство.
Сердцу необходимо замкнутое пространство.

Здесь—ни стола, ни стула, сорванные обои
и на железной койке место для нас обоих.

Но это много больше, но это много шире
неба—в своём размахе,
солнца—в своей вершине.

2.

Ночь (или что-то вроде этого), спи, Марина,
страсть к перемене родин даже меня сморила.

Будто уселись в сани, катим от дома к дому:
то к одному пристанем, то прирастём к другому.

Стылое чувство долга не намотать на палец,
видимо, слишком долго жили, не высыпаясь.

Что же теперь согреет в этой ли, в той отчизне?
Спи, засыпай скорее, сон мудренее жизни.

● ● ●

Ничего не бывает вдоволь,
даже морю не хватит пены,
и когда отходили воды
у жены моей самой первой,

я держал на одной ручище
эту влагу любови дольней,
и, казалось, не будет чище
и не будет меня довольней.

Вот и проза
подводной жизни,
разлагающая на числа:
там дружили и там дружили,
тут лечился и тут лечился,

на волну набегали волны
и бросали детей на скалы—
не бывало то море вольным,
пока руки мои ласкало.

Только ночи царили в доме,
и волна поднималась выше,
округляя вовсю ладони
водопадами белой вишни,

и меняли друг друга жёны—
от предвечных
до первых встречных—
будто множили отражённых
в отражениях бесконечных.

Людмила Гайдукова

На поиск позднего наследства…

* * *

Что-то совсем перестали с тобой говорить о высоком.
Всё хи-хи, да ха-ха, да грёзы-морозы, да тополя-ля-ля.
Не сойти ли к реке, к уснувшей под снегом осоке?
Иль до старой сосны, утопая в сугробе, доковылять?

Не пойти ль подышать, заодно заскочить и на паперть?
Да, паперть пуста, и духовного, как подаянья, не просят.
В храм ли зайти помолиться, да вечерами он заперт.
Ветер дыханье домов в ледяные пустыни уносит.

Не завернуть ли за храм и с юродом-кустом покалякать?
Куда ж нам плыть?—как любимый поэт вопрошал.—Посоветуй хоть ты!
Но всеми ветвями куст задрожит, и примется жалобно плакать,
и, замерев, полон рот наберёт—то ли тайн, то ли слёз, то ль воды.

* * *

Всё в контексте ухода из этого страннноприимного света:
длилась осень, как будто прощалась с землёю навеки.
И погожесть слетала—осколками дивного бабьего лета—
в светлый день Покрова на прикрытые в благости веки.

Расточительность прошлую без сожаленья себе я прощаю.
Но отныне крупицы ловлю, точно мытарь и скаред,
драгоценных летучих мгновений. И духом нищаю…
За порогом октябрь, как блаженный, последнее дарит.

Моему ангелу

Когда настигнут утраты, вслед за которыми—
хранить тебя больше некому и—сама за себя в ответе,—
погляжу окрест на четыре земные стороны:
то ли парад, то ли казнь, то ль пожизненный светит?

Стану молить ушедших—из безмолвия: помогите!
У кого мне спросить и с кем держать семейный совет?
Куда ж мне лететь, бежать куда и куда мне плыти?
Только бы знать: он есть—неизречённый, обещанный свет.

Мой среброкрылый—соучастник—о свиданье радею,
о встрече с тобой—мой свидетель—лицом к лицу!
Ускользает от взгляда призрачный твой Imago Dei.
Я одна—ты видишь?—на этом пустынном плацу.

И за плечом почувствую ветерком паутинным
трепет хлопочущих, лёгких—как руки родимые—крыл.
Это ты, мой ангел-хранитель, мой спутник заспинный,
со всеми любящими не оставлял, защищал, хранил.

● ● ●

Ещё в твои глаза не нагляделась.
Колышется прозрачным тюлем высь.
Я загадала на тебя не зря, надеюсь.
Мой деточка июль, остановись!

Отрез на сарафан лежит три года,
а раскроить его и нынче недосуг.
Мне в нём пройтись до близкой непогоды
уж не успеть, улыбчивый мой друг.

О, сколько не успеть! Июлей сколько смолкло
таких, как ты. Но ты—не торопись!
Лететь тебе седьмым за братьями, ты только
не уходи, прошу, остановись!

В пятнадцатый твой день, на пике счастья,
замри со мной и вслушайся, вглядись:
ликует лето, спит пока ненастье.
На миг, июль, прошу, остановись!

● ● ●

Человек человеку—друг, товарищ и брат,
прощелыга, врун, казнокрад,
ученик, телепат, учитель,
психопат, молчальник, мучитель.
Человек человеку—советчик,
поручитель, даритель, ответчик,
обвинитель, свидетель, виновник,
супруг, сутенёр, полюбовник.
Человек человеку—раб,
кумир, конвоир, сатрап,
антрепренёр, кукловод, актёр,
тренер, лишний третий, бретёр,
коллега, должник, заёмщик,
ответственный квартиросъёмщик,
блаженный, святой, искуситель,
странник, отшельник, спаситель.
Мимо—в небытие прохожий,
имярек, на кого-то похожий.
Единственный, незаменяемый,
мучительно незабываемый…

● ● ●

Почто так поздно постучалась, Муза,
в мои незапертые двери?
Внезапному с тобой союзу
мне трудно верить.

Насмешница, и обо мне ты знаешь.
Косноязычие речей
визитом кратким не поправишь—
замшел ручей.

Избранников ты за руку и с детства
вела, да не спасала.
На поиск позднего наследства
спешу к вокзалу.

● ● ●

И будешь ты из тех старух,
что всех переживут,
теряя зренье, память, слух…
А. Ахматова, 1958 г.

Через полвека, через пятьдесят—
какое мизерное расстоянье—
глухой завесой сумерки висят
и даты в странном противостоянье.

Я прочитаю Ваши три строки.
Как неслучайно это совпаденье:
сегодня видела, как плыли старики
через туман и стылых дней теченье.

Дожить до немоты и глухоты—
ведь это, согласитесь, подвиг.
Перебирают чётки слабые персты,
и бусины скользят не по одной, но пó две.

Памяти Л. Смирновой

Мы ещё с тобой поговорим.
Обо всём с тобой договорим.
Посмеёмся, попоём, поплачем.
Ведь зачем-то выпала удача
встречи здесь—на этой стороне,
в этой дивной и неласковой стране.
Самый трудный перевал и переход
одолеть бы… А пока мы ледоход,
уносимый бурною рекою—
к ледовитому забвенью и покою,—
наблюдаем с разных берегов.
А на этом берегу пока мой кров—
мой последний, мной согретый дом.
Пункт конечный в странствии земном.
Штамп в командировочном листке
мне проставят, и отправят налегке
по следам весной ушедших льдин,
и зачтут «отъезд-приезд» за день один.

«В» и «Л»

Даты апрелей, октябрей, июлей…
И всё вокруг буковок «Вэ» да «эЛь»—
пути мои серпантином крутили.
Клото свивала судьбы канитель.

И, как ливнями полнится и ручьями
кипящий котёл Соломонова моря,—
наполнялась судьбина моя речами,
горчащим счастьем, солёным горем.

Память без слёз—как еда без хлеба.
Напоследок с прошлым не расплююсь.
Куда—не ведаю: в землю, на небо ль,—
не прощённою вами уйти боюсь.

Сергей Арутюнов

О глумлении

В последние дни (речь идёт о 2012 годе, прославленном сатанинскими плясками в храме Христа Спасителя — *А. С.*) у меня не осталось ни малейших сомнений в том, что культура «креативного класса» есть глумление и кощунство.

Предыстория

Это было ясно ещё при возникновении так называемого «постмодерна». Как восхитительно звучало это словечко в те приснопамятные времена, когда советская монументальная пропаганда окончательно засохла и превратилась в пародию на саму себя! К середине 1980-х годов от неё уцелела лишь оболочка, колеблемая ветром. Не убеждали больше ни культуристы в рабочих робах с развёрнутыми знамёнами мировой пролетарской правды, ни счастливые лица матерей, жён и боевых подруг этих отличников боевой и политической: в жизни мы совершенно иные лица — угрюмые, озабоченные пропитанием посреди вдруг разверзшегося перед целой страной тотального дефицита.

Тогда как раз ко двору, к самой поре анекдотов про генсеков, пришёлся тот самый постмодерн, принявший в СССР личину «соц-арта». Виртуозно обыгрываемые центоны изрядно веселили интеллигентную, и не только столичную, публику. Смеяться после десятилетий страха — хотелось. Молоды и отчаянны были N и NN, сделавшие себе на абсурдистском сталкивании цитат целое состояние, и не только духовное.

Поначалу постмодерн, салонный анфан террибль, вежливенький саркастический мальчик в филологических очках, подвергал сомнению могучие вековые догмы, но постепенно его фигурка изрядно разлезлась, оволосела, надулась бюджетным пивком и в конце концов превратилась в монстра, пробующего свергнуть с пьедестала обычные человеческие представления о Добре и Зле.

Когда произошло это кошмарное перерождение? И было ли оно вообще?

Сложно ответить однозначно и прямо, особенно «ан масс». Тут замешана и приверженность европейской моде на скандал, и досада на невнимание властей, но с последним вышла промашка: власти-то как раз одобряют, то молчаливо, то вполне весомо и материально, как в случае с присуждением премии за изображение непотребства на питерском мосту. Случаются акции и покрепче: наследственному художественному деятелю с редкой специальностью «галерист», знаменитому, пожалуй, лишь навешиванием воинских орденов на обезьяну, отдают в виде вотчины старинный русский город Пермь, жители которой регулярно выходят на улицы с требованием изгнать его с родной земли вместе со странноватыми творениями его банды.

Что это — урочный бунт обывателей против эстетически непонятного, чуждого? Или ответ на агрессию непонятного и чуждого против обывателей?

Генезис

Сегодня следует говорить не только о перерождении какого-нибудь постмодернизма в обычный сатанизм, мелкую бесовщину «передоновского толка», но прежде всего — о перерождении определённой части творческой интеллигенции.

Когда-то преданно пытавшаяся служить сталинскому режиму, гуманитарная интеллигенция испытала редчайшее разочарование в том, как относилась рабоче-крестьянская власть ко всякой попытке узурпировать социальную проблематику. Традиционно основная функция интеллигенции — вахта совестливости, доходящая до монополизации общественной совести, — стала не нужна и выродилась в род обслуги, чем нанесла интеллигенции травму, от которой она так и не оправилась… Внуки неудачливых служак возненавидели свой век, а правнуки, дотянувшие до следующего, предались богу осмеяния Мому (постмодерну, соц-арту) душой и телом. Вера в народ улетучилась и превратилась в синдром «брошенки». Не нужная бывшему гражданскому мужу-народу, интеллигенция заголосила и ударилась во все тяжкие, пробуя доказать, что «нужна». И пригодилась разве что самым заштатным западным филиалам.

Но на этом испытания её не кончились: социализм притворился мёртвым, формально испустив последний дух, а на деле всем кадровым составом подался в бизнес-бесовщину. Легко было осмеивать старого пса, потерявшего хватку, нюх и зубы. Рука на новых кормильцев «с пушками и перьями» наготове не поднималась: толстосумы в России

сделались неприкосновенными. Только в народе с его чуткой анекдотической традицией видели в нуворишах уморительных ничтожеств. Интеллигенция же принялась осмеивать — сам народ.

Свора подрабинеков, норовящая помочиться в Вечный огонь, распаляется к каждому Дню Победы видимой ими какой-то внебожественной религией. Им в голову не приходит, что люди в этот день если и молятся, то об упокоении душ своих близких, попавших в жернова «обстоятельств непреодолимой силы»… Нет, невдомёк. «Совки, державшие тирана» — вот кем являемся все мы в кривых зеркалах «элитарной культуры». Надобно осмеять. Тогда и ордена на обезьяну, тогда и памятник солдатам-освободителям — на раскраску: «не освободители, а поработители».

Сегодняшним властителям дум поразительно ловко удаётся взирать на национальный образ жизни словно бы из-за границы. По факту, во многом так и есть: живя месяцами за пределами Отчизны, невольно приучаешься, наверно, видеть события в родных пенатах из-за бугра (бурга?), глазами западных телекомпаний, не жалующих наше Отечество генетически, регулярно, со скуки или по другим, гораздо более серьёзным политическим соображениям, делающих из него пугало.

Но пугало ль мы?

Да.

Да, да, да и да.

Система, созданная за последние двадцать лет, ни человеколюбием, ни народолюбием не отличается. Безудержное обогащение одних неизбежно влечёт безудержное обнищание других, что бы там ни говаривал наш удивительной гибкости Госкомстат. Коррупция, наплевательство властей на беды «быдла», простых людей, которым нечем себя защитить, сделались и интеллигентской религией. Да и вывески давно сменились: интеллигентом быть смешно. Стало почётно быть интеллектуалом, которому за обеление Гитлера и его соратников уже и морды не набить: нетолерантно.

Однако странная вещь: требующие на каждом шагу толерантности поразительно нетолерантны по отношению даже к возможным (!) протестам в свой адрес.

«Быдло»

Что же такое то самое «быдло», которым, чуть что, клеймят поборников нормальности?

Это мы.

Это все обнищавшие с новыми временами, те, у которых не нашлось достаточного угара мочить «конкурентов» в девяностые и запускать лапы в государственную мошну в нулевые. Это те, кто постеснялся учреждать компании и фирмы по скупке-перекупке импортного барахла и перепродаже на Запад национального достояния. Те, кто не имеет пятиэтажных хором за городом и регулярной открытой визы за границу, двойного гражданства, личного стилиста и массажиста, адвоката и прочих милых прелестей госкапитализма, за которыми, как за забором, маячит видение «важной персоны». «У кого нет миллиарда — может идти в …!» © — вот лозунг новой «элиты».

Мы быдло потому, что не можем разделить обильно транслируемых сюда, в нас, вкусов меньшинства, нового паразитарного класса, ценности которого столь же эфемерны, сколь и чисто по-человечески омерзительны. Это нам не нужны ни их сборища в элитных клубах, ни их награды самим себе, ни их тёмные делишки по разделу нашего достояния, ни их постоянная толкотня в телеэкранах. Это мы неуспешны и ничего уже давно не хотим, кроме одного: если вы такие гламурные, продвинутые, оставьте нас в покое. Дайте нам жить так, как нам кажется понятным и нужным.

Но нет!

Быдло, быдло, проклятое быдло — звучит с плохо скрываемой ненавистью отовсюду. Круглые сутки злобой исходят комментаторы, публицисты, «колумнисты» и «приглашённые эксперты», пиарщики, копирайтеры, банковские клерки, дизайнеры из разряда великих и прочая, прочая, прочая. Кто они, заработавшие себе на ворох чужих паспортов, замки и иномарки?

Креативный класс.

Что же такое *креатив*? А вот что: конструирование из готовых элементов путём их перестановки и получение самых диких и нелепых сочетаний. Так просто? Да, так просто. Богоматери вместо младенца вручить замотанное в пелёнки бревно — проходит на ура. Чуть возмутятся — припечатываешь: пошли вон, быдло, не для вас писано (сказано, пропето, прыгнуто, нарисовано, слеплено и станцовано).

Это культура падших, отрёкшихся от добра в его мещанской ипостаси. Добро — уныло. Страшно осознать, но придётся: добро — уныло, иногда беспросветно. Добро — это вставать каждый день до рассвета, завтракать и идти на работу, работать, работать, работать, а вечером возвращаться домой и ложиться спать. Добро — это в поте лица зарабатывать детям на чёрствые горбушки, и лишь потому, что лёгкие деньги не приносят добра. Того ли самого? Нет, гораздо шире. Шальные деньги «креативного класса» заработаны при помощи диспропорционального надувания на рынке громадных пузырей, их реальная стоимость куда ниже денег, заработанных рабочим или крестьянином. Реально креативщики, перекладывающие картинки на личных айпадах, зарабатывают сущие копейки. И лишь гигантские финансовые вливания в их деятельность, якобы ведущую народы в светлое завтра, делают каждое их касание пальчиком экрана поистине «золотым». Как взвиваются они, когда слышат в свой адрес, что просто

обслуживают режим! До Болотной доходят. Но ничего в этой схеме не изменить.

Именно поэтому их культура, возникшая на руинах советской, является контркультурой, противопоставляющей себя даже не постсоветскому мещанству, а людям, продолжающим жить и работать. Это субкультура отравленных ядовитыми испарениями государственного капитализма профессионалов, которых забавляет любая настоящая человеческая боль, любое страдание, поскольку они пришли сюда не утешать, а усиливать страдание. Воевать, потому что их форварды назвали себя «Войной».

Несколько лет назад я спрашивал одного из этих людей: чего вы хотите, пропагандируя матерное стихосложение? Не моргнув и глазом, человек ответил: конца света.

Казалось бы, безобидные шуточки в виде запихивания во влагалище куриц, групповухи в музеях, рисования фаллоса на разводных мостах далеко не так безобидны, как кажется. Это знаки крушения основ, наступления эры мерзости. Но в мерзости невозможно быть свободным, живым.

Общество, обессиленное нравственной неразберихой, потерявшее нравственный стержень, охотно принимает в себя вирус мерзости и гибнет…

Война всех против всех

Кто же в глазах этих выскочек из творческого цеха—народ? Безмозглое большинство, которое, как выявила одна из последних «оранжевых» дискуссий, обязано (!) безоговорочно подчиняться меньшинству, если не хочет погибнуть в невежестве. То есть если меньшинство сказало, что выбирать Путина нельзя,—значит, нельзя. Сказали верить в Летающего Макаронного Монстра—верьте. Нет слов, Летающий Макаронный Монстр прелестен и сам по себе представляет сложный симулякр массовых представлений о структуре божественных эманаций, переживающих стадию трансформации от анимизма к анимализму, но… можно ли, даже осознавая, что прелести божественных нанобиотехнологий уже стучатся буквально в каждый подъезд, подчиняться—ничтожествам худшим?

Идеология ненависти и презрения к собственному народу вызревала в интеллигенции долгими десятилетиями. Сперва опаска, попытка свести старые счёты, затем разделение имущественное—и вот уже в чуть не положенной на полку рязановской комедии «Гараж» слова «Да, я из большинства!» отданы самому омерзительному персонажу в исполнении Невинного, будто бы одно это уже доказывает, что большинство не может быть правым.

Который год креативщики потешаются над православной Церковью—замашками коллективного, а порой и индивидуального, но всё равно крупного собственника со всеми вытекающими привычками к роскоши… Тяжёлая тема.

Что церковь сегодня? Инстинктивное и, наверно, последнее прибежище людей, которым не оставили никакой идеологии государственнического или какого-либо иного толка. Стоит ли тем, у кого припасены иные прибежища, издеваться над своими же согражданами, не впадающими ни в ересь, ни в сектантство? Оказывается, стоит.

Да, новые церкви массово строились на деньги «братков». Да, церковные награды вручаются кровопийцам-олигархам, потому что Церковь не делит людей на имущих и неимущих. Да, в храме Христа Спасителя устраиваются пафосные приёмы для великосветской черни, да, там порой пляшут и поют. Но…

Но к чему вспархивать на тамошний алтарь, сводя счёты с государством, а заодно со Святейшим и всей его паствой? Это ли не преступление—задирать ноги там, где молятся обо всём и всех на свете? Это ли не знак отсутствия культуры? Это ли не война, объявленная собственному народу?

Да, православных немного, не вся страна. Да, Церковь старается влиять на события порой не самым лучшим образом. Её претензии на роль пастыря не всегда оправданы, поскольку за годы отделения от государства она попросту отвыкла вести себя по-пастырски.

Но это не повод для вознесения «весёлых шахидок» на пьедестал. Это не повод объявлять их «святыми революционерками», поскольку суть их «акции»—глумление. Оскорбление. Разжигание.

Я никогда не понимал русской страсти к юродивым, якобы являющимся органической частью православия. Показ миру его гноя, может быть, и подвиг, но не в моём измерении. Для меня, в координатах пока преимущественно светских, глум на алтаре семантически ничем не отличается от «подвига» «художника» Кулика, лающего на прохожих в адамовой наготе. Такие «перфомэнсы», кажется мне, задумываются не в горячем пылу, а с холодным сердцем прирождённых барышников.

Мне, мучительно путающемуся посреди поистине чудовищного нравственного развала, настигшего мою Родину, понятно одно: православных задевать просто. Так же просто, как считать их быдлом. И любая «акция», направленная на унижение РПЦ, бьёт не по авторитету иерархов, а в первую очередь по душе простого прихожанина, которому до лампочки «актуальное» искусство и его тёмные цели. На обиженных воду возят? Возите. На страже «традиции» стоят такие же карнавальные, как панки, «православные хоругвеносцы», художники-концептуалисты, рисующие ещё не доведённому до белого каления непрестанными оскорблениями обществу самые крайние проявления консервативного сознания.

Визг, поднятый «креативным классом» вокруг ареста активисток, сигнализирует: власти обнаглели!

Наказана (как можно?) их «культура», за насквозь провокативное и полулегальное существование которой они ни копейки из собственного кармана платить не хотят. Они не желают видеть, что вокруг их несметных потребностей в развлечении возник целый бизнес разжигания любой розни — классовой, религиозной, национальной, выгодный не нашим конституционно избранным цезарям, но тем, кто в тридевяти землях отсюда жаждет нашей слабости, добивается её миллиардными инвестициями в наше растление, нашу неуверенность и нашу нелюбовь к себе самим.

Простить? Помилосердствовать?

Несомненно.

Но сделать для себя вывод: против глумления и оскорбления у общества, если оно хочет жить дальше, должен выработаться безусловный нравственный иммунитет.

Три абзаца о чаемом будущем

Хватит воплей, петиций, сборов подписей и массовых акций. Гражданское общество, в которое нас втягивают, клоака та ещё.

Для того, чтобы никто нас не разделял и не властвовал над нами, нам нужна тишина. Как в день перед выборами, когда запрещена агитация, только не на день, а на те годы, которые остались каждому из нас, — для осмысления своего пути и пути страны, в которой мы родились. В тишине можно думать и чувствовать. В тишине можно каяться и прощать самим — и глупость, и сознательную подлость.

Наши воды сегодня мутны и отравлены, но они очистятся, едва мы сами перестанем испражняться в них. Когда культура научится уважать саму себя, а искусство начнёт уважать людей.

Не раньше.

*Д*и*Н юмор*

Александр Поповский

Человеческий фактор

● ● ●

Пишу и надеюсь, что кто-то
Случайно возьмёт и прочтёт.
Работа, ещё раз работа,
А всё остальное — не в счёт.

Мне что понедельник, что вторник —
Не чувствую разницы. Я
По собственной воле затворник —
Худрук своего бытия.

Чуть-чуть и — ослепну в коморке,
Немного и — сдвину с ума.
Читаю от корки до корки
Своих сочинений тома.

Напуганный жизнью редактор
Стихи удалит, будто спам.
Опять человеческий фактор
Ударит меня по рукам.

● ● ●

Во всех отношениях нищий,
Я чудом держусь на плаву.
Не чувствую запаха пищи
Духовной — почти не живу.

Смотрю то и дело на крылья,
Но, видимо, только могу
Я локти кусать от бессилья
В каком-нибудь пятом углу.

Всем кажется, что я нарочно
Валяю при всех дурака,
Что должен и денно, и нощно
С улыбкой витать в облаках.

Пером выводить пируэты
И с жизнью прощаться легко.
А всё потому, что поэты
Слегка не от мира сего.

Сергей Брель

На жнеца и колос зреет

Поэтические коды Александра Орлова

Анализировать поэтический сборник—труд особенный. Потому что возможность мышления завершённой книгой в поэзии означает фактически и уровень ремесла, и постижение духа. Можно срифмовать один, и два, и пятьсот стишков, но выработать в себе чувство поэтического целого, то—локального, интимного, то—впечатляюще развёрнутого,—этап на пути творца. Поступок.

Стихи Александра Орлова я читаю, как некий инопланетянин. «Белоснежная пряжа»—уже определённый код, загадка. Хотя дальше всё вроде бы просто и тематически, и с точки зрения формы: строфики, размера, рифм.

Снег и дождь упадут на суглинок,
Их смешает бурлящий потоп.
У зимы и весны поединок,
А для нас—расставаний озноб…

Вот классический дискурс русской поэзии с её отсылками чувств к природе, с её страстными контрастами. Поединок между зимой и весной мы наблюдаем каждый год, даже в закутанных в бетон столицах, и от Афанасия Фета до Владимира Соколова осваивала их отечественная литература.

Но инопланетянин во мне ищет и находит в каждом стихотворении слово-тайну. Фелонь, Параклит, Дорогобуж, Сандомир, Семендер, Итиль. Много здесь «географии», причём, навскидку, «восточной». Ведь не случайно предыдущая книга Орлова говорила о кочевнике, хотя и московском. Однако стихотворение «Дорогобуж» тут же отсылает к смоленской земле, к западным рубежам России. Сандомир—вообще польский город. И вот западное начало уравновесило восточное, хазарский Итиль и аланский Семендер не окончательно увлекли дальше, в Сибирь, которая явно мыслится у Александра не вполне лишь географически.

А между этими горизонтами восстаёт белая свеча Спаса на Нерли. А рядом—традиционный, не требующий похода за словарём Муром с его былинно-богатырской и агиографической традициями. В той или иной мере экзотические (и то лишь для рафинированного мегаполисно-офисного сидельца) названия расставлены в каждом стихотворении, как маяки или как сторожевые башни, как форпосты особенного, ключевого смысла. Как пример—стихотворение «Волок на Ламе»:

Вновь набухшие почки
Прижимаются к раме,
В дождевой оболочке
Город Волок на Ламе.

В изумрудном зачатке
Зарожденье тепла,
В первомайском порядке
Солнца ждут купола.

На Соборную горку
Поднимусь налегке,
Луч упал на подборку
И залип на строке.

И покажется, некого
Поминать в эти дни,
У села Дубосеково
Как живые они.

В четырёх простых четверостишиях два таких стража стоят в авангарде и арьергарде. Сначала—старинный Волок на Ламе, скрывающий в себе современное «Волоколамск», в конце—памятный бой Великой Отечественной у разъезда Дубосеково, когда двадцать восемь героев-богатырей не фольклорной, но подлинной жертвой уберегли Москву от гитлеровцев. В начале воскрешается древнее имя, в финале воскрешены спасители Отечества: «…покажется, некого поминать в эти дни… как живые они». Волоком ли, чудом ли—жизнь собрала воедино всё главное, сговорилась с гением места и устроила праздник соединения предков и потомков. Прямо как мечтал Николай Фёдоров в «Философии общего дела». Только воскресителем стал не учёный, а поэт.

Впрочем, следует ли в каждом топонимическом следе книги Орлова искать подобные переклички и созвучия, каждый решит для себя самостоятельно.

Меня же больше всего взволновал вот такой лишённый явных семантических кодов этюд (на первый взгляд, показавшийся даже незавершённым):

Заплаканный август, унылый расстрига,
В осеннюю хмарь, озираясь, исчез.
И в синих глубинах пречистых небес
Кресты вышивают два яростных МиГа.

Подвластен полёту любой пируэт.
Рассмотрят с земли созерцатели зорко,
Как «штопор» и «колокол»,
«бочка» и «горка»
Оставили пышный извилистый след.

Из бронзовых туч показалась гримаса,
Пытаясь прервать соколиный вираж.
Сгорают секунды летящего часа,
И в солнечных нитях увяз фюзеляж.

Соревнование МиГов, кажется, вполне мирное. Военный и даже абстрактно-былинный мотив неощутим. Разве что вышивание креста звучит многозначно. Но вот появляется стена бронзовых туч—фантастическая, не сразу метафорически внятная. Почему материал тучи—именно бронза? Что здесь служит основанием для скрытого сравнения—цвет, тяжесть, причудливая искусственность иных облачных громад? Но главное в том, что громада—точнее, гримаса—разрывает реалистическую стройность текста и наносит нашему чувству реальности непоправимый урон.

Сгорают секунды летящего часа,
И в солнечных нитях увяз фюзеляж…

Строка обрастает чистой вязью метафоричности. Горят секунды, час летит, солнечные нити утапливают фюзеляж самолёта, оказавшегося едва ли не аллегорией поэзии, в рискованной смелости берущей новые высоты и вдруг обнаружившей наготу Икара, потерявшего крылья. Увязли мы, читатели, и увязли по-хорошему. Рассчитывая умилиться по ходу набору старинных имён и названий церковных праздников и отложить книгу в сторону, провалились с дерзкими МиГами в толщу сомнений и страхов.

«*Рассмотрят с земли созерцатели зорко…*» В сущности, созерцатели—все мы, читатели газет, глотатели информации, посетители цирка и пользователи Интернета. Пируэты делает художник, складывая свои Дорогобужи и Святовитов в короб мучительно рождающейся в сознании книги. А мы оцениваем, смакуем аллитерацию, журим не вполне склеившиеся рифмы. Мы словно остаёмся вне небесной бронзы, жара солнца, движения космоса (хаоса?), готового в одночасье испепелить, разрушить любое построение, любую красоту.

Но ведь жнец уже вышел на жатву свою, он внимательно изучает мир. Он находит верных и готов оставить неверных. Его мощь, его дыхание знакомы герою стихотворений Орлова, обходящему свои бастионы. И если МиГи взлетели, если заставили залюбоваться «штопором» и «горкой» хоть одного стоящего на земле зеваку, значит, художник ещё способен в бренном мире посоревноваться с балаганом низких развлечений, кабаком, игорным домом…

Мы готовы увязнуть вместе с ним, вернуться к началу книги, заново прочитать простое, шуточное:

Так кичливо, придирчиво, в оба
Смотрят два здоровенных сугроба.
Пролегла между ними стезя,
Мне пройти бы, да только нельзя.

Я для них обмороженный нищий,
Из них каждый в сто крат меня чище,
Каждый выше, сильней и моложе,
И молю я: «Спаси меня, Боже!»

Теперь понимаешь: весёленький сугроб—брат бронзовой тучи. Он—ловушка смысла, творческой свободы, ледяная тюрьма сознания. Обойти его невозможно, а надо растопить жаром обратившихся в лучи ладоней.

Я сугробы объял сгоряча,
Мои руки, два жгучих луча,
Превращали сугробы в комки,
В черноокую грязь у реки…

Магия? Чудачество? Скорее—мгновение истины, вновь открывшееся в поэтической игре. А ведь как изящно: растаявшие эвересты бездушия обращаются в черноокую кокетливую грязь (а вот и спрятанный ключ-топоним: Ока, форпост Московского княжества, стена между Русью и Ордой).

Банальный снег стал необыкновенной грязью—но не это ли случалось и на картинах русских живописцев девятнадцатого столетия, у которых сельская дорога после дождя сияет драгоценными россыпями?

Верные жнецы готовы к подобным победам. А на жнеца и колос зреет—слово подбирается к слову, текст к тексту. Раскрывшие смысл тексты—наша общая с автором жатва. Приступим к работе.

Олег Корниенко

Воздушный почтальон

Шаги за дверью

Ирине Токмаковой

Стёпка жил в небольшом посёлке и давно мечтал сходить в зоопарк или цирк.

Зоопарк был в другом городе. Там жил дядя Коля, ехать к которому на электричке часа три. Стёпку одного не отпускали — мог заблудиться в большом городе.

Всё решил телефонный разговор с дядей. Договорились, что здесь Стёпку посадят на электричку, а там дядя встретит его.

Но дяди на станции не оказалось. Стёпка подождал некоторое время, и когда большая стрелка на вокзальных часах перескочила на другую цифру, подошёл к полицейскому:

— Вы не знаете, где улица Совнаркома, дом восемь?

— Совнаркома? Это идёшь прямо и упираешься в кинотеатр. А первый дом слева — твой.

Стёпка шел по улице и рассматривал витрины магазинов. В одной из них он увидел чучела и клетки.

— «zooмагазин», — прочитал Стёпка и без колебания открыл дверь.

Чего здесь только не было! Прозрачная стена из аквариумов с разными рыбками, хомячки, декоративные кролики, много скрипучих попугайчиков, о которых давно мечтал Стёпка. Одним словом, всё что угодно, кроме слона. Слон ждал Стёпку в зоопарке, а потому Стёпка поспешил на выход.

Он быстро отыскал дом дяди и его шестую квартиру. На звонок никто не вышел. Стёпка позвонил ещё раз и ещё…

И вдруг Стёпке послышались шаги. За дверью дяди-Колиной квартиры кто-то ходил. Стёпка перестал дышать и прислушался: шаги то удалялись, то снова осторожно приближались.

Он нажал на кнопку звонка.

— Дядя Коля, откройте! Это я, Стёпка!

Нет, ему не почудилось, по коридору кто-то ходил: быстро-быстро, туда-сюда. Стёпка опять требовательно позвонил. Но никто не откликнулся и дверь не открыл.

Он сел на ступеньки, прижал к себе рюкзак и прислонился к стенке…

Его разбудил дядя Коля.

— Ты давно сидишь? Я уже все электрички встретил — нет тебя. Хотел уже звонить родителям — узнавать, в чём дело.

— У вас кто-то за дверью ходит, — сказал Стёпка.

— А это мы сейчас посмотрим, — улыбнулся дядя Коля, открывая дверь.

Навстречу им из кухни выбежала газета.

Когда дядя включил свет, газета развернулась на месте и покосолапила в тёмную комнату.

— Это ёжик. Постель на ночь готовит, — пояснил дядя.

— Ёжик? — удивился Стёпка.

— Ну да, ёжик. Недавно у подъезда в кустах подобрал. Лапку, видно, поранил. Подлечу его маленько, а потом в зоомагазин сдам на чучело. Какие ни есть, а деньги.

Ночью Стёпка несколько раз просыпался и слышал, как шуршит газетами ёжик.

Когда утром он проснулся, в комнате никого уже не было. На столе лежала записка: «Завтрак на плите. В зоопарк пойдём завтра». Рядом лежал ключ — скорее всего, от квартиры.

И тут он вспомнил про ёжика. Ёжика нигде не было. «Неужели уже отнёс?» — испугался Стёпка.

Он прошёл в другую комнату и заглянул под шкаф. Там шевелились обрывки старых газет. Это сонно дышал ёжик. Рядом стояло пустое блюдце.

Стёпка быстро выложил привезённые дяде гостинцы из рюкзака. Одно яблоко он оставил на обратную дорогу. Достал носовой платок и положил в него сонного ёжика.

«Мы с ёжиком паехали дамой. Стёпка», — написал он на обратной стороне записки.

Дорога к станции шла направо. Стёпка повернул налево, в городской парк.

Он прошёл в глубь парка, вырыл под кустиком ямку, выстелил её травой и осторожно положил в неё спящего ёжика.

В животе заурчало от голода. Он вспомнил про яблоко. Наливное, душистое, оно еле помещалось в Стёпкиной ладони.

— Я только немножко… — сам себе сказал Стёпка.

Он положил надкушенное яблоко рядом с ёжиком и зашагал в сторону железнодорожной станции.

Воздушный почтальон

Г. Цыплёнковой

Тимка с Федькой стояли и широко раскрытыми глазами смотрели, как Валерик надувает водородом шарик. Обыкновенный магазинный шарик через несколько минут должен был стать необыкновенным. То есть летающим.

— Прямо чудо какое-то,— всё больше удивлялся Тимка, глядя, как шарик, надетый на горлышко большой бутылки, всё увеличивался и увеличивался в размерах.

— И никакого здесь чуда нет,— заметил Валерик.— Чистая химия: смешиваем растворы медного купороса и поваренной соли и бросаем туда алюминиевую проволоку. В результате реакции выделяется водород.

— Какой соли?— переспросил Тимка.

Медный купорос он знал и раньше. Дедушка весной опрыскивал им деревья.

— Обыкновенной. Какую мы в пищу кладём.

— И что, он действительно полетит?— любопытство распирало Тимку.

— Водород легче воздуха. Значит, должен полететь,— ответил Валерик.

— Чего пристал к человеку?— толкнул Тимку Федька.— Тоже, что ли, шарики надувать собрался?

— А почему бы и нет?

Тимке не терпелось самому проверить, выделяется ли в результате реакции водород.

— Ты уже фосфор добыл один раз!— ухмыльнулся Федька.

Случай с добычей фосфора Тимка запомнил на всю жизнь. Федьке на день рождения подарили часы со светящимися от фосфора цифрами и стрелками. Все ребята завидовали Федьке. Толстушка Светка, у которой отец был ветеринарным врачом, сказала, что впервые фосфор получили, выпаривая мочу животных. Тимка решил это проверить. Он наполнил консервную банку своей мочой и поставил на керогаз. В итоге он так нахимичил, что все потом в дом через вторую веранду заходили, пока эту не проветрили.

А шарик действительно полетел. Задрав головы, ребята следили за ним до тех пор, пока тот не растворился на фоне серого весеннего неба.

Тимка без колебаний решил попробовать самому надуть шарик. А чем он хуже Валерика? Тем более что тот объяснил, что и как надо делать: сделать раствор и бросить проволоку. Что может быть проще! Да и Федька после этого, возможно, хвост подожмёт.

Первый компонент — соль — Тимка раздобыл быстро. Бутылку из-под шипучки и кусок алюминиевой проволоки он тоже нашёл без труда. А вот остался ли после деда медный купорос? Но и его он вскоре отыскал в отцовской мастерской. Слово «купорос» на пакете кем-то было исправлено на «ПОПАрос».

— Ты чего там химичишь?— поинтересовалась мать.— Избу смотри не сожги…

Когда раствор в бутылке забурлил, Тимка не без труда надел на горлышко зелёный шарик, оставшийся после октябрьских праздников. Тимка где-то переборщил, потому что раствор выплёскивало в шарик, мешая ему подняться. Он отлил раствор и опять надел шарик. Когда тот стал величиной с футбольный мяч, Тимка перевязал его и снял с бутылки. Шарик, словно намагниченный, рванул вверх и точно прилип к потолку. Тимка глядел и не мог налюбоваться на свою работу. Он всё ещё не мог поверить, что сделал это. Несколько раз Тимка подходил и трогал шарик за хвостик, но потолок шарику почему-то стал дороже Тимки. Но он не обиделся, а, скорее, жалел, что этого никто не видит.

Тимка долго не мог заснуть. Он смотрел на шарик, покачивающийся под потолком, представляя, как высоко он завтра поднимется и где-то опустится. Где-то? А если к шарику привязать записку с адресом, то Тимка обязательно узнает, где приземлился шарик! Он вскочил с постели, включил настольную лампу и написал записку. Дважды перечитал её, указал адрес и сложил вчетверо.

На другой день он рассказал про письмо Валерику и Федьке.

— Здорово!— сказал Валерик.

Решение отправить шарик с письмом одобрил и Федька.

Шарик, как застоявшийся конёк, плясал в руках у Тимки, рвался в небо.

— Можно, я запущу?— умоляюще посмотрел Федька.

— Пускай. Что мне, жалко?

Федька подержал шарик, потрогал записку и разжал пальцы. Шарик, поднимаясь, весело, точно рукой, махал ребятам бумажкой: пока, мол, ждите ответа!

Но письма всё не было и не было. Тимка даже запомнил время, когда приходит почтальон дядя Володя, и спешил его встречать. Но, кроме газет и пенсии бабушке, редко что было.

Прошло немало времени, прежде чем однажды дядя Володя принёс письмо. Письмо было из Павловки. Тимка быстро открыл конверт, развернул вырванный из школьной тетради листок. В письме говорилось, что шарик с запиской получили и ждут ребят в гости.

До Павловки было километра четыре, и ребята не стали надолго откладывать свой визит. И что такое четыре километра для их велосипедов?

Встретила их невысокая полноватая женщина в очках.

— Вы, наверное, к Саше?— спросила она и, не дожидаясь ответа, сказала:— А Саши нет дома, он в районной больнице.

И она рассказала, что случилось с сыном. Соседский мальчишка залез высоко на дерево, чтобы снять котёнка, а обратно слезть не смог. Сидел и плакал. Котёнок жалобно мяукал. Саша полез за ними. Когда до земли оставалось немного, мальчонка-то с котёнком спрыгнул, а под Сашей ветка обломилась, и он упал, ударившись головой о землю. Всё, казалось бы, обошлось, но Саша стал быстро терять зрение. Сейчас ему нужна срочная операция, нужны деньги.

— Вы ребята, извините Сашу, что долго не отвечал. Когда я увидела в огороде ваш шарик с запиской, Саша был уже в больнице. Я ему о вас обязательно расскажу.

Она замолчала.

Домой ребята ехали молча, потрясённые рассказом Сашиной мамы.

— Давайте надуем шарики и напишем письма с просьбой помочь Саше,— предложил Федька.

Всё-таки светлый человек Федька, и мысли к нему приходят всегда светлые.

И работа закипела. Тимка надувал шарики, Федька писал письма, а Валерик их привязывал. Когда всё было готово, они выпустили их в небо. Разноцветные воздушные почтальоны стайкой поднялись выше деревьев и дома, а потом разлетелись в разные стороны по своим пока ещё неизвестным адресам.

Декоративный Зяка

Дочери Анастасии

Зяка появился в квартире Емелиных не случайно. Его подарил Наде на день рождения Колька, двоечник.

— Вот. Это тебе,— краснея, пробормотал Колька и протянул Наде подарок.

Списывал Колька не часто, но его подарок Наде понравился.

В коробке из-под обуви, дрожа от страха, сидел рыжий, с пышными бакенбардами и коричневыми глазами, зайчонок и шевелил носом. Скорее всего, он так дышал.

— Это что ещё за чудо?— недовольно спросил папа.

— Папа, он такой пушистый,— Надя взяла зайчонка на руки и поцеловала в пушистую щёку.

— А если он цапнет?

— Не цапнет,— спокойно ответил Колька.— Он добрый.

Колька хотя и был двоечник, но животных любил. У него в квартире жили кот, щенок, две черепашки и большой говорящий попугай.

— Ну и чем вы его кормить собираетесь?— поинтересовался папа.

— Он всё кушает: хлебушек, травку. Насыпали геркулеса— тоже не отказался,— сказал Колька.

— Ну-ну,— папа осуждающе посмотрел на маму, но та и сама была не рада новому квартиранту.— С попугаем хлопот не оберёшься, а тут ещё и зайчонок.

— Это декоративный кролик,— поправил папу Колька.

Проблемы начались сразу же, как только за Колькой закрылась дверь: где будет спать Зяка (Наде послышалось, что именно так мама назвала кролика), из чего будет есть, и что делать, если заболеет?

Кролика на ночь посадили в картонную коробку из-под телевизора. Но он не хотел ещё спать. Скорее всего, привык к другому распорядку. Он встал на задние лапки и начал скрестись, пытаясь выбраться. И выбрался: прогрыз в коробке отверстие и, счастливый, оказался на свободе.

— Вот это да!— все от удивления вытаращили глаза.— И что с ним делать?

Зяку закрыли в ванной. И тише для всех, и надёжнее. Он немного побушевал в темноте, но вскоре затих.

На следующий день— свобода! Зяка осторожно продвигался, изучая квартиру. Лапки на линолеуме непривычно расползались. И это было смешно. Он действительно был потешен, и его хотелось трогать и трогать, но в руки он не давался и забирался туда, где достать его практически было невозможно: под кухонный стол, за диван в зале и особенно часто— под кровать в спальне.

Правда, отлёживался Зяка недолго. Когда все, успокоившись, принимались за свои дела, он выходил из укрытия и начинал бродить по квартире, обнюхивая углы, быстро подружился с котом и делал так же, как и кот: царапал диван и грыз обои.

Это начинало раздражать, Зяку прогоняли, но он настойчиво продолжал свою работу. Его прямо тянуло погрызть что-нибудь или порвать.

— Надо купить клетку,— предложила Надя.

— А сколько она стоит?— спросил папа.

— Рублей пятьсот,— предположила мама.

— Пятьсот?!— возмутился папа.— Нормально. Клетка пятьсот, и уже на пятьсот обоев съел. Куда хотите, туда его и девайте.

На семейном совете решили (Надя была против) подарить Зяку папиной знакомой библиотекарше. Библиотекарша мечтала когда-то о декоративном кролике. Папа позвонил ей и уже представлял, что после совета с мужем её ответ будет положительным. Но вечером она сообщила, что муж против: «У тебя есть кот— хватит с тебя и кота».

Отнести Зяку Кольке нельзя— обидится. Да и подарки не возвращают.

— В городском парке есть небольшой частный зоопарк. Может, там возьмут?— подсказала мама.

В воскресенье все вместе поехали в зоопарк, в котором никогда не были.

На улице, в изгороди, несмотря на солнечный день, стояла сонная лошадь, а в помещении им ударили в лицо духота и непривычный запах,

характерный для всех зоопарков. Здесь жили две худенькие лисицы, несколько кроликов, редкий для этих мест дикобраз, в коробке с опилками копошились хомячки, а в пустом аквариуме дремал тоже декоративный, но рябой кролик.

Симпатичная женщина в спецовке и рукавицах сказала, что денег на покупку кролика у них нет. Мама объяснила, что они хотят отдать Зяку просто так.

— Привозите, посадим вашего к тому рябому,— женщина показала на аквариум.— И если они уживутся…

— Мамочка, он же не рыба,— захныкала Надя.

— Ничего страшного, временно посидит и в аквариуме.

— А что я скажу Кольке?

— Ничего. С двоечниками стыдно тебе общаться,— рассердилась почему-то мама.

И Надя с мамой в выходные отвезли подарок в городской зоопарк.

— Посадили Зяку пока к рябому. Он сразу в угол забился,— рассказывала папе мама, когда они вернулись.

На следующий день, когда папа пришёл с работы, в квартире было тихо и как-то пусто. Никто не путался под ногами, не трепал нервы. Но папа ещё не один день по привычке вскакивал с места: ему казалось, что кто-то грызёт обои. Засыпал он с головной болью. Но болела и душа: как там Зяка? Они его кормили, купали, сушили после бани феном, расчёсывали пушистые бакенбарды и чёлочку между ушей, а там никто за ушком не почешет.

И однажды папа, не вытерпев, поехал в зоопарк.

Зяка сидел, забившись в угол какой-то клетки,— грязный, худой и всклокоченный. Рядом стояла миска с нетронутой едой.

— Воды даже не было,— рассказал, возвратившись, папа.— Ну и что будем делать?— он вопросительно посмотрел на маму и Надю.

После всего увиденного в городском парке папа был согласен на всё.

— Я уже заказала большую птичью клетку,— радостно сообщила мама.— Мы тоже были у Зяки и всё видели.

Папа обрадовался, что их решения совпали, потому что и сам соскучился по этому худющему комочку.

В понедельник у мамы был выходной. Она купила на рынке пластмассовую корзину для перевозки животных. В зоопарке их ждал Зяка.

«Петля Нестерова»

Лётчику-космонавту РФ Михаилу Корниенко

Валерик с детства мечтал стать космонавтом. Тимка тоже мечтал стать космонавтом, потому что стать космонавтом мечтал Валерик. Друзья регулярно делали зарядку и закалялись—готовились к своему полёту. А к нему надо быть всегда готовыми.

— В школу лучше ходить пешком, а не на троллейбусе ездить,— заметил как-то Валерик.— Это тоже тренировка.

— Ходи, кто тебе не даёт,— заметил Тимка.— У меня другая система.

Какая—Тимка не говорил, а вот Валерик по своей системе часто в школу опаздывал.

А однажды на уроке физкультуры у Валерика закружилась голова. Школьная медсестра дала ему понюхать нашатырного спирта и попросила Тимку проводить Валерика домой.

— С таким вестибулярным аппаратом в космос не пустят,— заметил папа Валерика.

— А что же делать?— спросил Тимка.

— Тренировать надо: рейнское колесо или лопинг—вращающиеся качели.

Ребята от незнакомых слов притихли.

— В детском парке есть аттракцион «Петля Нестерова». Это то, что вам надо!— подсказал папа.

— Так и называется—«петля»?—удивился Валерик.

— Так и называется: «Петля Нестерова», по фамилии лётчика Петра Николаевича Нестерова, который впервые выполнил в небе эту фигуру. Вы аттракцион видели—в мультфильме «Ну, погоди!».

— Ура!—обрадовались ребята.

В выходной день Валерик с Тимкой поехали в детский парк. По дороге Валерик представлял, как они сядут в кабину самолёта, пристегнутся ремнями и начнут накручивать круги один за другим.

Но возле аттракциона их ждала очередь. Небольшая, а всё-таки очередь.

Ребята забеспокоились: срывалась их первая тренировка на новом тренажёре. А тут ещё женщина-контролёр со своим вопросом:

— Ребята, а вам не рано на этом аттракционе кататься?

— Да вы что!—возмутился Тимка.— Мы уже год как ходим в школу юных космонавтов.

— Ну-ну,— покачала головой женщина-контролёр и покрепче пристегнула ребят.

— Готовы? Поехали!

Зажужжал винт на носу самолёта, и он, вместо того чтобы сорваться с места, сонной мухой пополз вперёд. Когда деревья парка ушли под крыло, Валерик понял, что это катастрофа. Висеть головой вниз на глазах у всех было не очень-то весело. Он мысленно толкал самолёт, а тот еле полз. Ещё немного, подумал Валерик, и ремни не выдержат.

— Ты как?—дрожащим голосом крикнул Валерик.

— Самочувствие отличное!—ответил Тимка, и от этого Валерику стало ещё страшнее.

Когда самолёт наконец выровнялся, Валерик понял, что на большее его не хватит. И хотел попросить женщину-контролёра остановить самолёт. Он только открыл рот, как самолёт опять

покарабкался вверх, и вскоре Валерик, точно мультяшный Волк, опять повис головой вниз. В ремни он не верил, а потому изо всех сил вцепился в сиденье. Валерику не хотелось так рано погибать. А как же космос? А слава? Если с самолётом что-нибудь случится, то памятник Валерику поставят, скорее всего, возле кассовой будки аттракциона. Или назовут её его именем.

И Валерик закричал:

— А-а-а… Тётенька, остановите!

Закричал, потому что было страшно. И потому что он увидел в толпе папу, который кого-то искал.

— Папа, останови самолёт!

Но самолёт Валерика не послушался и по инерции, жужжа винтом, опять пополз вверх. Папа метнулся к женщине-контролёру и принялся ей что-то объяснять. И вскоре винт на самолёте замер, он медленно опустился, и бледный Валерик вылез из кабины.

Домой они возвращались молча. Папа шёл впереди, то и дело оглядываясь на притихших друзей. Каждый из них думал о своём. Тимка представлял себя за штурвалом настоящего космолёта. А Валерик просто глядел себе под ноги, которые уверенно шагали по тротуару, и не мог понять: что случилось? Почему он кричал?

— Ничего, со всеми такое может случиться,— успокаивал нас папа.— Просто всегда надо реально оценивать свои возможности. Но вы — молодцы, если не побоялись повторить подвиг самого Нестерова!

Дома папа показал Валерику с Тимкой фото Петра Нестерова. Они долго разглядывали в энциклопедии стройного лётчика в фуражке и с кортиком на боку, а также приземистый «Ньюпор-4», на котором лётчик выполнил свою «мёртвую петлю».

— А если бы Пётр Николаевич жил сейчас, он стал бы космонавтом? — спросил Тимка.

— Я думаю, что стал бы,— ответил папа.

— А я тебе что говорил? — Тимка посмотрел на Валерика и рядом с фамилией «Нестеров» написал карандашом: «касманавт».

Автограф «космонавта»

…Если некоторые люди тратят целые годы, чтобы завоевать популярность или славу, то пятиклассник Фёдор Тарасов стал «звездой» школы за один урок. А причиной всему — обычная контрольная по математике. Нет, Федька любил математику. Просто математика не любила его. А значит, кто-то должен уступить. Уступить решил Федька. Точнее, слинять с контрольной.

— Если математичка спросит — придумай что-нибудь,— попросил он Антона — соседа по парте.— Скажи: тетрадь дома забыл, а лучше — заболел.

— Заболел так заболел,— согласился Антон.— А чем?

— Свинкой, например.

Привычные сорок пять минут тянулись непривычно долго. Федька прятался за кустами на другой стороне улицы и поглядывал то на часы, то на входную дверь школы, а потому и не заметил, как рядом остановился мужчина и спросил:

— Мальчик, это девятнадцатая школа?

— Да, девятнадцатая. А что?

— Ничего, спасибо…

И пошёл дальше. На пиджаке у него блеснула звезда Героя России!

Как только прозвенел звонок и на улицу высыпали школьники, Федька поспешил в класс. Но до класса он не дошёл: его внимание привлёк плакат на доске объявлений. Он сообщал, что завтра в актовом зале состоится встреча с выпускником школы — лётчиком-космонавтом России. Но больше всего потрясло фото космонавта. В нём Федька узнал мужчину, с которым только что разговаривал.

И он помчался в класс.

— Видел? — спросил он Антона, бросив сумку на парту.

— Что видел?

— К нам придёт космонавт.

— А я думал, ревизор. И что?

— А то, что я только что с ним общался!

— На орбите?

— В кустах.

— Ну ты даёшь! — хлопнул товарища по плечу Антон, и все вокруг заулыбались.— Он что, обещал тебя к себе в отряд космонавтов забрать?

— А что, всё может быть,— сказал Федька.— Так что спешите брать у меня автографы.

— Мне автограф! Мне! — заорали одноклассники и начали совать Федьке записные книжки, школьные дневники и просто чистые листочки.

Федька не сразу заметил, что уже начался новый урок и в класс вошла Клавдия Степановна — классный руководитель. Он пыхтел, раздавая автографы. Во время урока Клавстепановна то и дело поглядывала на Федьку. Наверное, обиделась, что он не дал ей автограф, решил Федька. Нашла из-за чего дуться. Не получилось на уроке — наверстаем после. Для своих — без проблем и очереди.

Но в учительской Клавстепановна отказалась от автографа юного космонавта и оставила в Федькином дневнике свой: «Уважаемые родители Тарасова Фёдора, жду вас завтра в школе в течение дня!»

Нет, что ни говори, а тернистый всё-таки путь в космос!

Александр Силаев

Критика нечистого разума

Часть 2. По центру

Родина в головах

Есть такие «вроде очевидности», которые… «Каждый человек должен любить свою родину». Однако это довольно грязное суждение—с точки зрения того, что можно считать выбором мыслить более или менее понятийно. Попробую пояснить.

Во-первых, «любовь» и «долг»—вообще никак не рифмуются. Нет такого долга—любить, долг может быть в том, чтобы переламывать себя об колено, а любовь, как и понимание,—случается и даётся, это не продукт волевого усилия. Люди могут быть должны поступать определённым образом, но, конечно, не определённым образом чувствовать. Интенция по сути свободна от долгов. Образец нравственного поведения—садист-педофил, более всего мечтающий изнасиловать и убить десятилетнего мальчика, но… почему-то этого не делающий. Он—герой кантовского императива, а вовсе не «влюблённый», «родительская любовь», «личная приязнь» и прочие добродетели, как бы сопутствующие как бы нашему естеству.

Во-вторых, никакой родины, разумеется, нет. Нет как натурального объекта (в том смысле, в котором нет, к примеру, общественных «классов»). Родина—объект политической рефлексии. Как решили, то и родина. Это конструкт, всегда конструкт. В мире вообще очень мало примордиального и очень много конструктов там, где оное видится.

«Что такое родина?»—спросить можно. Точнее, однако, спросить, что считается «родиной» в той или иной рефлексии, не забывая, что это не столь описание «действительного», сколько конструирование сферы должного—императив, программирующий поведение. То есть родина живёт только в голове, но то, как она живёт, определяет поведение в мире.

Но сначала лучше спросить: кто бенефициар того типа политической рефлексии, в котором есть понятие «родины», как оно понималось во времена модерна, то есть в девятнадцатом—двадцатом веках? Если «родина»—не более чем псевдоним некоей императивности, какого рода анонимы стоят как выгодополучатели? И почему бы им не назвать себя как они есть?

Давайте сравним фразы: «изменить Королю» и «изменить Советской Родине». Изменить Королю действительно можно. Это живой человек, с которым есть некие легитимированные отношения, есть, видимо, присяга. Изменить можно человеку, с которым у тебя отношения, некий договор, а как изменить конструкту?

Однако «изменой родине», очевидно, подрывается тип господства кого-то, не именующего себя лишний раз. А если бы именовали? В случае Советской Родины это были бы полевые командиры (Котовские, Будённые, Якиры и так далее), бюрократы сталинского призыва, их дети и внуки, совокупный вырожденный «дорогой Леонид Ильич», наконец—та номенклатура, что разобрала СССР в личный траст; короче, в общем и целом—хрены с горы. То есть говорить лично от себя им довольно странно. А вот «родина»—это да. «Умереть за Дерипаску» нелепо, равно как и «умирать за Никиту Хрущёва». Родина—это псевдоним вот этих вот.

Аналогично как-то везде. В обществе Модерна рулят бюрократия и олигархия, точнее—олигархия через бюрократию (будь то СССР, США или Французская республика). Говорить от себя этим людям неубедительно. Возникает вот эта безличность: абсолютный диктатор Сталин с его «есть такое мнение» (а не «у меня есть мнение»). Не надо от себя. Хуже поверят.

Нация—куда более честная штука. Тоже конструкт, но с меньшей долей неправды. У нации, как у ОАО, могут быть интересы. «Интересы акционеров»—понятно же, о чём речь? А вот «интересы фирмы», «дух фирмы»—это почти всегда передёргивание, или безумие, или, точнее, безумие одних и передёргивание других. «Корпоративный интерес» и «корпоративный дух»—это разводка. Есть собственник и менеджмент. Если собственник по праву и менеджмент сильный, там может возникать личная преданность, к которой и апеллируют. И говорят честно: интересы меня, интересы босса, сделать мне и тому подобное. Босса, если он крутой и великодушный, можно даже любить. А как можно «любить фирму»? Это извращение, фетишизм.

Если «наше общее дело» — пропаганда, то когда она? Это когда Самый Главный не может сказать о себе: «Я». Потому что не собственник, а, допустим, вор, не менеджер, а так себе, случайный назначенец. Тогда, конечно, — «дух корпорации», «нам надо», «общее дело».

«Родина» слишком часто — то же самое и в больших масштабах. Позиция аристократии честная: я лучше, я соль земли, я её оправдание, а твой шанс причаститься оправданию — служить и только служить. Менее достойное — более достойному.

А вот бюрократии, олигархии, «слугам народа» — нужна, конечно же, Родина. Но «слуг народа» нет. Есть хорошие и плохие хозяева. Плохие хозяева — это те, которые «слуги».

«Национализм» можно обернуть в пользу, и самый простой смысл тут — оглашается длинный-длинный список акционеров (все французы — акционеры Франции), и говорится, что вот его интерес. «Патриотизм» — это когда служение и жертвенность есть, а «список акционеров» не предъявлен. Кидалово.

Ничего, кроме договора

Известны, в общем-то, как формула долга, так и формула свободы.

«Поступай так, чтобы максима твоих поступков могла лечь в основу всеобщего законодательства». Кажется, так оно? «Свобода как творящая причина самого себя». Многие считают, что формулы не сочетаются.

Однако попробуем покрутить нравственную формулу. Формула, скорее, про то, чтобы не делать зла, чем про то, чтобы делать добро. К подвигам и любви человека нельзя обязать, так и он не вправе на них рассчитывать, выдвигая к миру ожидание как требование... Всё, на что человек вправе рассчитывать от мира, можно редуцировать к двум условиям — отсутствию агрессии и соблюдению договоров. На что ты вправе рассчитывать, то ты и должен. Конкретика уже произвольна. Различные соцпакеты, гарантии или их отсутствие — это уже как договорилось. Любые «гарантии» («пенсия от государства», «сыновний долг») можно свести к «соблюдению договоров». В этом обществе по умолчанию или, наоборот, чёрным по белому прописан такой вот Общественный договор, где есть такая-то социальная гарантия или такая-то традиционная ценность. Здесь и сейчас.

Заметим на полях, что чем меньше традиционных ценностей, тем больше нужно социальных гарантий. Как раз с пенсией это хорошо видно: если дети ничего не должны старикам, то им тогда должно государство и так далее.

Значит, отсутствие агрессии и договор. Что значит — агрессии? Давайте так её понимать, формально: неразрушение чужой сложности (частным случаем чего будет ненарушение прописанного в Уголовном кодексе). Можно, кстати, нарушение договора свести к агрессии: дал гарантию и не выполнил — это обман, а обман — агрессия самая настоящая, ложь ведь разрушает чужое.

Но большим формальным совершенством будет сведение отсутствия агрессии к договору. Напомним, что чем формальнее — тем оно лучше. Цивилизация держится на форме.

Почему так будет формальнее и как оно вообще будет? Касательно того, что есть «агрессия», могут быть ещё разночтения. Два человека подрались — агрессия? Казалось бы, да. Ну а если оба хотели немного подраться, если драться — их путь самореализации, и соперники были по сути партнёрами, как оно говорится, спарринг-партнёрами? А мат — агрессия? В одних контекстах переход на мат — несомненно, агрессия, в других — всё нормально, не обидно. Как правило, надо спрашивать: считает ли это нормой тот, кому это предложили? Подраться, поматериться, потрахаться под кустом? Если не возражает, то зла-то нет. То есть агрессия определяется конвенционально, и тут мы выбираемся именно что к договорённостям. По сути, форма любого преступления — сделать то, на что нет согласия у той стороны, с которой делается (если делается не с ней, то согласие не требуется — напомним для поборников морали, от которых, как известно, стонет нравственность).

Всё, что человек может сделать плохого, сводится к нарушению договорённостей, если понимать под ними договоры подразумеваемые, неписаные, имплицитные. Например, соблюдение правил вежливости, принятых в данное время в данном месте. Ненарушение того же УК.

Можно при желании всё неписаное сделать писаным, всё скрытое — очевидным. Чтобы человек явным для себя образом подписывался на соблюдение правил. С возможностью и не подписываться, конечно. Например, получение паспорта означало бы — и это акцентировалось! — что человек в этот день заключает договор с обществом, по которому принимает и обязуется блюсти текущие законы. Их приняли до него и за него, но он ставит подпись; если ему нужны другие законы — он может создать себе иное общество, из самого себя для начала состоящее. Не взять паспорт, кинуть его в лицо законникам. Да, конечно. Его право.

После этого он — в рамках текущего общества людей — обретает интересный юридический статус, ближе к статусу животного, нежели человека. Человек, не принявший паспорт, удаляется, положим, в лес. И живёт там. Его жизнь охраняется чем-то вроде занесённости в Красную книгу, убить его — несёт плохие следствия для убийцы, но существенно иные, чем убийство члена общества.

А если этот «сам-себе-общество» сам начнёт убивать, воровать или гадить? С ним расправятся, но по иному принципу, чем с преступником-человеком.

В строгом смысле, такой одиночка — не преступник вообще. Его действия не считаются преступными, он совершенно невинен, просто его надо скорее истребить (или как-то иначе обезвредить, именно убивать не надо, просто дешевле обычно убить), как надо истребить волка, таскающего овец. Если же овец таскает преступник — с ним несколько иная процедура, его тоже могут приговорить к смерти, — то это принципиально иное.

Нет никакого преступления, пока нет закона, и нет никакого закона, пока человек не подписался. Можно, повторю, не подписываться. Ни на Уголовный кодекс, ни на внутренний распорядок фирмы, ни на устав монастыря, ни на другой устав, вольному — воля. Подписка идёт как сделка. Человек, подписавшись на ограничение свобод, навешивает на себя пассивы, но взамен получает доступ к активам, чья ценность перевешивает. К примеру, если на закон подписаться, то закон начинает тебя охранять. Чем больше обязательств, тем больше прав. Ради них и заключаются договоры.

Теперь вернёмся к началу. В нашей картине все ограничения, лежащие на человеке как его долг, оказываются следствием его же решения. Но ведь это и есть свобода!

Известна такая, очень древняя, философическая проблема, в общем виде звучит так: а может ли всемогущий Бог нарушить закон, который сам создал как нерушимый? Любой ответ якобы указывает на отсутствие всемогущества. Если говорить строго — на несвободу того, кто свободен по определению.

Есть грамотный ответ на вопрос: теперь уже нет. Вот именно так звучащий. Бог свободен абсолютно, здесь нет предела. Просто люди склонны понятийно путать свободу и независимость. Независимость — это когда «делаю сейчас что хочу, без ограничений». А свобода — это когда «я причина самого себя». В чём разница? Если моё «хочу» ограничено моим же решением, бывшим ранее, с моей свободой всё в порядке.

…Так же, по образу и подобию, устроятся люди. А куда они денутся?

Базовый грех

Можно ли свести всё «плохое», что может натворить человек, к некоему единому знаменателю? К некоей именно праформе плохого и людям вредного?

Ведь, как известно ещё Канту, по содержанию-то, собственно, ничего плохого и нет. Поясню на примерах, чем грубее, тем лучше. Не обязательно «плохо» бить человека ногой в лицо, лгать, совокуплять тринадцатилетних девочек и мальчиков, воровать и так далее. Даже и убивать совершенно незнакомого и ничего дурного тебе не сделавшего человека.

Оправдание простое. А если он сам этого хотел? Ну, хотели два человека подраться, например, — так же бывает? А некоторым — это все знают, но всё равно скажу по секрету, — очень нравится война, да. Некогда пил в Подмосковье с ветераном двух чеченских кампаний, он говорил: да, был кайф, здесь всё скука, а там — это да, будет война — снова поеду. Я не уточнял, что приятнее — убивать или рисковать быть убитым, да и незачем, да и глупо такое уточнять, «война» — это комплекс того и другого, и некоторым нравится, да. И процент таких людей в двух достаточно многочисленных нациях найдётся вполне достаточный, чтобы устроить небольшую войну ко всеобщему удовольствию (просто надо, чтобы в зону военных действий не попали случайные люди, то большинство, которому война не интересна, воевать где-нибудь на необитаемом острове — и будет всем счастье).

Ну и так далее. Есть субкультуры, где принято обманывать, есть такие подростки, кому уже нужен секс, кому это для развития самое оно, таких немного, но где-то они есть и так далее. Так же и любое «добро», вроде бы вполне доброе по содержанию, вполне обратимо. Можно задолбать человека вусмерть своей «влюблённостью», «заботой» и прочим. «Кого вы ненавидите больше всего?» — спросили Славоя Жижека. «Людей, предлагающих мне помощь тогда, когда я в ней не нуждаюсь». Во как. Эпатировал, надо думать. Но всё-таки.

Таким образом, единственный принцип, отделяющий, определяющий, вычленяющий нам плохое, — навязчивость. Предложить человеку то, чего ему не надо. Навязчивость разной степени тяжести, уточню. Понятно, что навязать человеку букет роз не так страшно, как матерную беседу («оскорбление»), а беседу — не так страшно, как секс («изнасилование»), и тому подобное. Но розы — тоже нехорошо.

Но если, положим, два чумазика подписались, ко всеобщему удовлетворению, подраться насмерть за десять тысяч долларов, они всё равно дерутся почти насмерть каждый день и каждую ночь. А чего им? — всё хорошо. Несчастный влюблённый — куда более неприличное явление, да и любой иждивенец, коли его содержат не из любви и великодушия и не по социальному договору, а «ибо надо».

В Уголовном кодексе — масса странных якобы преступлений. Проституция, например. Продажа наркотиков. Даже (но тут надо дифференцированно) многое из того, что считается коррупцией. В СССР было ещё веселее — статьи за тунеядство, гомосексуализм («а за геморрой у вас статьи нету?»). Там нет пострадавших. Есть те, кто говорит от лица пострадавшего, от «общества», от «морали», но обычно это либо жулики на окладе, либо «честные люди», твердящие «самоочевидные вещи», то есть народ без рефлексии, чем и гордый.

Если мечтать о тысячелетнем царстве добра, как водится у русской и нерусской интеллигенции…

Мораль и законодательство — надо строить вокруг навязчивости как базового греха и его различных степеней тяжести. Это не «вседозволенность». Разрубить топором икону на площади — тоже навязчивость… Только это преступление не «против Бога», а против данных людей. Выбирайте, пожалуйста, выражения.

Мне скажут, что такой подход — либертарианство. Добавлю, что проводить оное в жизнь следовало бы с жесточайшей аккуратностью. О плюсах такого мира? Скажем, в такой парадигме улицы можно реально очистить от гопоты, а в привычно-христианской — в принципе невозможно. Религия милосердия просто не легитимирует тип формальной предъявы, на основании коей можно вести геноцид, избавляющий от новых поколений навязчивых.

Идеология: гардеробный принцип

С «политическими взглядами» — какая закавыка? Считается, что человек должен самоопределиться как бы за всех. Мол, общество спасётся социал-демократией. Или там национал-социализмом. Или шариатом. И я, мол, в это въехал. И вам сейчас расскажу. А кто-то въехал, что общество спасётся по-другому, и сейчас об этом тоже поспорит.

Между тем «политические убеждения» имеет смысл выбирать, как мы, к примеру, выбираем одежду. Мы же не решаем, какие костюмы лучше с точки зрения человечества. И принимаем решение исключительно за себя. «Мне идёт серое пальто», «человеку моего типа подходят джинсы» и тому подобное.

Но это совсем другая методология самоопределения, совсем-совсем. Кстати, исключающая почти все споры. «Мне идёт костюм от Армани» и «в данном случае уместнее ватник» — какая тут особо полемика? Разве что с точки зрения эстетики: «это, брат, не твоё». И прагматики: «в этом тебя не поймут». Но это лишь десять процентов сегодняшних споров.

А кто тогда «прав»? А все, кто выбрал, рефлектируя, свои основания и кому выбор помог по жизни. Его собственной, не чьей-то. Таким образом, коммунист, фашист, христианский демократ — все правы. Не прав лишь тот, кто плохо подумал и напялил не свой размер и фасон. Кому жмёт, кому тесно.

Касательно меня… Первый резон — определиться, так сказать, антропологически. «Что выгодно людям моего типа?» Плевать, тысячу раз плевать при том на общее благо. Есть вообще сильное подозрение, что пирог прирастает не политикой, а ценности материальные и духовные — растут учёными, инженерами, педагогами и тому подобное. Политика — это про то, как «пилим пирог». Пирог растёт, если я, к примеру, пишу осмысленный текст, и его прирост прямо равен его осмысленности, а за кого я — тут ничего не растёт, поэтому это моё дело.

К «общему благу». Подлостью и глупостью было бы рекомендовать человеку вживить себе идеологию-проигрыватель. На фоне того, что у соседа есть идеология-выигрыватель. Так вот, если один будет плясать про «общее благо», а второй про «интересы сословия», второй почти всегда победит. Чисто математическая модель дележей и выборов.

И если кто-то у нас за «общее благо» — то чего он? Как правило, одно из двух. Либо он таки лох («святая самопожертвованность»), либо он таки подлец. То есть он всё-таки за себя, своих и свою социальную группу, только он маскируется, передёргивая втёмную, а это нечестно.

Таким образом, «народник», к примеру, всегда одно из двух или их синтез. Либо лох, либо подлец, либо их некое смешение. У Достоевского эти люди так и описывались.

Это к вопросу «интеллигента, пекущегося о народном благе», «долге интеллигента перед народом» и прочего. Что он должен? Правильный ответ: ничего. Просто быть. Врачом, учителем, писателем, кем ещё? Сверх этого — ничего не должен. Ах да, при возможности — голосовать против народа и буржуазии в свою пользу. Почему не стоит обратный вопрос: что народ должен интеллигенции? Вообще-то так вернее. По звучанию. Что простое должно сложному, а не наоборот. Аристократ вот точно знает, что не должен. Точнее, должен — своему архетипу, а из людей должен только своим.

Но в чём фокус? Благодаря тому, что человек соответствует архетипу, всё общество получает смысл. Олигархия приходит, маркированная как «народные слуги». Там не говорится: «мы высшие». Они, в некоем роде, такие же (советская бюрократия, постсоветская буржуазия, в то же время и мировые ТНК, и «звёзды» эстрады). Они, в некоем роде, мало отличны от тёти Моти из второго подъезда. Они придуриваются, что «должны народу», в итоге же — народ отстёгивает им, как отстёгивал бы аристократии, но… вместо содержания высшего типа и оправдания через это, он содержит всякое барахло и через это более проклят, нежели оправдан. То есть это противопоставление не эгоистов и альтруистов, а эгоистов честных и нечестных, вторые хуже.

Возвращаясь к «интеллигенции». Если она «за народ»? Если это способ сделать карьеру через придурствование, то это безнравственно. Если это реально что-то высшее, делящее пирог против своего сословия, это… тоже, короче, нехорошо. Пусть им воздастся на том свете. А на этом не надо. Она же сами говорят: нам не надо. Вот и не надо. Или вы одной рукой отписываете, чтобы другой себе приписать?

Возвращаясь ко «мне». Ну кто я? Только не надо описывать через «страту», даже через «класс».

Одна и та же антропология даёт в разных обществах разную закономерную страту. За те же качества, что при одном порядке возводят в чины, при другом пинают ногами, это понятно. Класс—не более чем позиция касательно средств производств: выиграл пролетарий в лотерею, купил себе «актив»—будет буржуа... Давайте—описывать через неотъемлемое. Мужчина, базовый язык—русский, интеллектуал, молодёжью быть перестал или скоро перестану, все перестанут. Вряд ли я изменю пол, вряд ли выучу другой язык так же хорошо, как русский, «интеллектуал»—в отличие от размера зарплаты—базовый способ жизни, его тоже не отпишешь, разве что с ума сойти... Таким образом, политические интересы женщин, молодёжи, не русскоязычных, пролетариев, мещан и аристократов волнуют меня существенно меньше. Не в том смысле, что я им зла хочу. Просто: а хрен ли?

Кстати, очень печально двадцать первое столетие, его начало. Для: а) мужчин, б) русских, в) взрослых, г) интеллектуалов. (Про пункт «а» можно писать отдельно и долго, но, замечу, дело здесь в базовой смене мужской доминанты воли к истине на женскую доминанту воли к выживанию, то есть мальчики ведут себя всё больше как девочки, отчего им бывает счастье.)

Более сложный путь—самоопределиться через дискурс. «Что у нас думает по этому поводу политическая философия?». А что бы она ни думала, она, первым делом, не должна думать себе во вред. Она должна подумать так, чтобы через содержание утвердить и форму своей возможности, скажем так.

С точки зрения политической философии, сложно, к примеру, быть за «социализм». Ибо при социализме за занятия политической философией иногда сажают в тюрьму. Сложно быть компрадором, ибо мышление нужно в метрополии и не нужно в колонии. Сложно быть за рыночную экономику без пределов, ибо политическая философия—так себе товар. Более или менее можно быть за античный полис, из ближайшего—за классическое европейское государство, всё более уходящее в прошлое.

Правые и левые: тезисы

К вопросу о том, на каких шкалах помечается различие правых-левых.

1. Элитаризм или эгалитаризм. Правый озабочен тем, чтобы социальное неравенство было соотнесено с ценностями, левый стремится к его минимизации, зачастую ценой подрыва пропорции достоинств и рангов. Правый готов увеличить само неравенство, лишь бы социальные статусы «соответствовали антропологии».
2. Гомогенность или гетерогенность аксиологического поля. В правом социуме элиты и массы либо верят примерно в одно, либо массам велено исповедовать некий символ веры элит. В левом социуме ценности массы и элитариев принципиально различны, при этом ценности человека массы таковы, что подрывают его элитные потенции.
3. Суммарно-социологический или дифференцированно-антропологический подход к вопросу критериев общественного развития. Левый меряет кучами: ввп, демографический рост, выплавка чугуна, динамика биржевого индекса, рост энергопотребления, объём накопленной информации. Спор между левыми—какая куча более солидна: например, демографический рост или биржевой. Правый, скорее, смотрит на предельный человеческий тип, возможный в данном социуме, либо на процент особей в популяции, удовлетворяющих критерию X. «Тоска по гениям и героям», «спасение души», «вырождение», «возрождение», «стали ли люди лучше»—примерно такая лексика в описании.
4. Опора на сильных или на слабых. Правый, скорее, за мужчин против женщин, за взрослых против детей, за коренных против мигрантов, за образованных против неучей, за здоровых против больных. У левого наоборот. При этом легко представить, что слабых больше или они сильнее ситуативно.
5. Трансцендентное или имманентное. Правый склонен полагать, что за натуральным миром есть некая метафизика, левый в этом отношении нигилист, для него всё дано натурально, в телах. Можно добавить, что правый склонен видеть за предметами формы-эйдосы, а левый—субстанцию-материю.

Есть и ещё какие-то критерии, конечно. Названо то, что показалось главнее, принципиальнее. Любого деятеля, тем паче «властителя дум», можно пробить по вот этим критериям. Ну вот, например, Ницше. По критерию 2 не очень понятно, по критерию 5—левый, по остальным—правый. Счёт 3,5:1,5 в пользу правого дискурса. Гитлер явно левее его. Платон—правый со счётом 5:0 или в крайнем случае 4:1. Марксисты обычно левые со счётом 5:0. Вроде бы правые Кант и Гегель. Интересно в случае Наполеона или Чубайса, там, кажется, можно спорить.

Ну и так далее.

Гигиена в политической философии

Мысль, которую из комментов стоит дёрнуть отдельно. Наверное. Ибо важно. Здесь идёт апологетика правого и критика левого. Точнее, того, что автор нарёк правым и левым.

Но, как ни парадоксально, я не считаю, что левая идея так уж хуже, ниже, слабее правой. Если

сравнивать идеи как идеи именно. Не с позиции того, где я, а с позиции их потенциала. В конце концов, как писал классик, всё разумное действительно, а всё действительное разумно. Слабая идея не может торжествовать подряд триста лет, переделывая под себя мир. Что следует просто из идеи о том, что такое вообще идеи.

Возможно, стоило выбрать более нейтральные слова в описании как раз Идеи. Оставив более резкие для поклонников. Идея-то сильная. Но вот если человек носится, например, с предельным эгалитаризмом—это диагноз. Если на вопрос, чья жизнь ценнее при прочих равных—Эйнштейна или рабочего, человек спрашивает: «а каковы дополнительные условия?», «а хорош ли рабочий?», «а сколько лет Эйнштейну?» и прочее, то—диагноз. Не эгалитаризму, однако, а человеку.

Уместна такая метафора, очень грубая. Бренд дорогого товара не обязательно сам по себе дорогой бренд. Бренд массового товара может быть дороже. Сравнивать бренды—одно. Сравнивать предпочтительности актов покупок—другое. И то, что я писал в тему, было скорее про «покупки». То есть звучал не столько вопрос «что победит?» или «чем спасётся мир?», сколько «за кого лучше подписаться при прочих равных?». Вопрос исключительно индивидуального решения с позиций этических и эстетических. Ну вроде как вопрос, какой костюм мне купить. Максимально допустимая расширенная постановка вопроса: какой костюм вообще лучше? Но это отнюдь не решение вопроса, в какие костюмы должно быть одето человечество. Должна же быть какая-то соразмерность. Я же не человечество, чтобы принимать решения за него. Правда, тут есть нюанс: надев идейно-партийный костюм, я начинаю как бы изъявлять готовность встать за некое общее будущее, хотя бы и для всей ойкумены. Железной рукой, как говорится, повести к иллюзиям своих счастий… Это всяко, без этого никуда. Но я понимаю, что это второй такт, следующий лишь после покупки «костюма».

И это не опровержение состоятельности того «бренда», что считается противоположным (по общему сговору в единстве всех противоположностей). Пусть этим Абсолютный Дух занимается. Требует зачётки, ставит баллы. А мы, на определённом градусе онтологии, умываем руки по гигиеническим соображениям.

Вопросы литературы: методика понтомера

Достала такая вещь, как разговор о «настоящей литературе». Ну, то есть когда есть некий текст, и касательно него надо высказаться. При этом не «выразить личную эмоцию» (кого интересует твоя личная эмоция, если ты не самый дорогой автору человек?), а «вынести суждение». С претензией на некую экспертность и всеобщность. На тему «что такое хорошо и что такое плохо». Заценить текст по N-балльной шкале, так скажем.

Что делают идиоты законченные? Они вообще не понимают смысла жанра «суждение». Они думают, что «меня вставило»—это и есть оно. Или «не вставило», что случается в разы чаще.

Но это полные неадекваты; частичные—пытаются ещё обосновать какой-нибудь фразой. Очень факультативной, как правило. «Правдоподобно выписанная деталь», «блестящая шутка на пятой странице», «целых семь опечаток», «хиловато с энергичностью глаголов» и прочее. По сути, он всё равно живёт в мире, где «вставило» или не «вставило». Но у человека просыпается некое чувство приличия. Он не считает себя Господом, он отвергает мысль, что автор писал для него Единственного, что у автора ещё миллион потенциальных рецепций и на твою в этом миллионе ему плевать.

Они как бы подгоняют теорию, но это ещё не теория. Они всё равно хлюпают своей единичной рецепцией. Люди более-менее честные и разумные всегда имеют—как бы оно сказать, ась?—в импликации частного суждения фундаментальный теоретический дискурс. Может быть, самими собой удуманный. Может быть, где-то учитанный. В любом случае—присвоенный и рефлектированный. Но если этого нет, нет отсылки к нему, намёка на него—всё на уровне реплика дурака с галёрки, которому вдруг позволено открывать дурацкую пасть.

Что значит—фундаментальный теоретический? Ну, это где прописано, что такое литература, какие критерии, какие силы критериев и так далее. По сути, есть заранее чётко разграфлённое поле, куда разбираемая штуковина просто попадает мгновенно. Белый конь на клетке эф-четыре. Не же-четыре и не эф-пять. Это скучная и скорая процедура. Сразу видно—где белый конь. И как он туда попал. Единственное, что интересно,—обсуждать устройство доски, а любая дискуссия начинается с предъявления досок.

Ещё раз: нет досок—беседуют лохи. На уровне, кто прикольнее высморкается.

Но на самом деле—всё проще. Не надо досок. Точнее, доски должны быть про другое.

Нет такой потусторонней вещи, как «настоящая литература». В том смысле, что бывает потусторонний истинный мир, где всё по-другому, где последние становятся первыми, где страшный и правый суд и некое верховное, которое точно знает, кто прав и что почём.

Нет, всё уже здесь. В этом мире. «Правильно,—скажут идиоты самого грубого вида, ещё не описанные,—кто сколько экземпляров продал, того и есть». В принципе, они, идиоты, будут правы. С двумя существенными оговорками.

Первое: сила действия (на мир, да) прямо пропорциональна не токмо количеству читателей, но и качеству. Я не знаю, сколько домохозяек должно

уходить за одного политика, филолога, философа и так далее, но курс может быть и десять к одному, и сто к одному, и больше, наверное (во сколько раз Пушкин или Наполеон круче среднего парня, а? сколь их рецепция дороже?). Второе: заценить надо не реальный эффект, а потенциальный. Потому что реальный эффект—это писатель плюс издатель и его пиар, а сам по себе писатель—только потенциальный. До какой отметки можно раскрутить данного автора при среднем пиаре среднего издателя в средних условиях?

Таким образом, про что должны быть наши «доски»? Про вот этот самый Потенциал. «Думаю, что данного автора можно вывести на пятьдесят тысяч тиража, элитарность первой ступени». Или: «Полагаю, три тысячи читателей, степень элитарности три». Доска. Чисто доска с горизонталью (от тысячи до ста миллионов читателей) и вертикалью (от всякого быдла-повидла до сугубого «автор для авторов»). Значимость—перемножение.

Как-то вот так. Понятно, что все прикидки—на глазок. Но хотя бы все глазки́ смотрят в одном направлении. И нет вот этой мерзости «моего личного мнения», поганой (однозначно поганой с точки зрения Культуры) политэкономической Демократии. Точнее, мнение есть—в том, как и чего ты прикинул, и не более

Да, и ещё… Музыку, кино, даже и философию—всё оценивать как-то так же.

В чём и фишка.

История философии как жж

Пояснить, что имел в виду Мишель Фуко под трансдискурсивностью, можно на одном простом примере (на нём же видно, как строится философская беседа несколько тысяч лет). Представьте себе такой всемирно-исторический блог, первые посты в нём размещает Платон. Некоторые скажут, что Сократ, некоторые возразят, что досократики, но это уже детали. Дальше разные люди это дело комментят. Модератором всей этой штуки выступает время, забанить оно не может никого, но некоторые комменты—точнее сказать, большинство—со временем удаляются. Некоторые остаются, мы их помним. Под некоторыми начинаются обширные ветки. Те, под которыми идут ветки, выносятся в отдельные посты с тем же статусом, что начальные. Это и есть «великие философы» со своей трансдискурсивностью (привет Фуко). Оставившие такой коммент, под которым пошли тысячи комментов и ссылок—как коллег, так и графоманов. Кажется, Мамардашвили приводил цифру: ещё при жизни Канта в Германии вышло порядка двух тысяч книг, комментирующих его работы. «Ну а что вообще можно сделать с текстом? Читать или комментировать» (Давид Зильберман).

В какие позиции к этому жж может встать человек? Во-первых, оставить коммент, открывающий ветку. Во-вторых, просто оставить то, что не удалит модератор. В-третьих, просто пересказать фрагмент этого неумирающего жж, любой, на вкус. Если долгое время комментов не оставляют, ну что… тёмные века это называется. Сам блог никуда не исчезает, это люди нормальные исчезают.

Помимо этого, вокруг того жж можно плясать, указывать на него пальцем, вытирать пыль с мониторов, плевать в мониторы, спамить, троллить и флеймить. Чем и занимается вот уже две с половиной тысячи лет большинство к нему подходящих, включая академическую публику и случайных прохожих. Но это уже, строго говоря, не имеет к нему отношения.

Посыл богослова

Вспомнилось… Некогда прилюдно задал вопрос дьякону Андрею Кураеву, я не хотел «срезать», это плохо, мне было искренне интересно—как он ответит. Действительно интересно. Главный проповедник РПЦ, умница, интеллектуал Кураев—послал меня. Если считать, что это было такое мини-интервью, то оно сорвалось. Если полагать, что между нами состоялась полемика, я её выиграл. В подворотне пославший на х…—выигравшая сторона, в концептуальной дискуссии—проигравшая. Вынуди оппонента вместо ответа сказать что-то иное, и перед лицом города и мира—если город и мир ещё имеют лицо и чего-то соображают,—конечно, он проиграл.

Но давайте дословно. Это был примитивный, проще некуда, за версту наивный вопрос, но ответить на него, без самоаннигиляции, церковному дискурсу невозможно. Не только умнице и интеллектуалу Кураеву. Боюсь, любому представителю—любой авраамической религии. Не вообще ответить, конечно, а именно здесь и сейчас, в двадцать первом веке. «Если ребёнок спросит, попадут ли его неверующие, но очень-очень хорошие папа и мама в ад, то как вы ответите?» Зря, конечно, про «ребёнка». Надо ещё проще: «Попадёт ли человек, единственный грех коего в том, что он не православный христианин, в этот самый ваш ад?» Кураев не столь философ, сколь ритор, и ответил безупречно по пиару, что-то вроде: «Я бы поцеловал этого ребёнка. Видите ли, я не умею вести богословских дискуссий с детьми».—«Ну а мне бы как ответили?» Но Кураев не ответил уже никак, даже не поцеловал меня, про другое говорить начал, более светлое и приятное.

Если не по пиару, а по истине, то Кураев, конечно, «прогнал» гниль. Понятно же, в чём вопрос. Но ответ из позиции пиарщика и есть конец богословия. После богословских споров проигравшую сторону, как правило, сжигали, но сначала всё-таки объясняли, в чём именно дискурсивно заблуждается еретик.

А как, в самом деле, ответить? Нельзя сказать «я не знаю», это сразу говорит, что ты шарлатан— такого не знать. Можно ответить «да» или «нет». Если «да»… А ортодоксия, конечно, допускает только один корректный ответ, вот это самое «да». Хорошо говорить «да», когда всё общество—единоверцы, а иноверцы бродят где-то по периферии мира, их никто в глаза-то не видел, гадов, и можно предположить, что «мы правы, потому что мы и есть настоящее человечество». Можно поверить, что «настоящее человечество», конечно, пойдёт в рай, а ненастоящее обречено на вечные муки.

Но сколько православных в мире сейчас—три процента человечества? А если нормально воцерковлённых, то сколько—ноль целых три десятых процента? То есть все идут не в ногу, а вот эти ноль целых три десятых процента—в ногу? Э-э… «Спасение для ноля целых трёх десятых процента»— это всё равно что сказать: «Мы типовая, жёстко ограниченная, противопоставленная всему роду людскому секта». Так сказать, конечно, нельзя.

Оставить ответить «нет» с вариациями? «К Богу есть много путей», «Он, сообщая себя, выбирал выражения, учитывая место и время», «различия форм не отрицают общности содержания», вплоть до «ад и рай—это такие метафоры духовной жизни». Но это, простите, экуменизм. То есть слив символического капитала всех церквей в одну корпорацию. С выдачей неких паёв этой корпорации. Такую позицию ещё может занять католик, или универсалист-пантеист а-ля ведантист, или гностик, или мусульманин,—любой, кто имеет хоть какие-то шансы на контрольный пакет и сведение к себе как к общему знаменателю. Понятно, что православие не имеет никакого шанса—ни политического, ни логического—хотя бы на блокирующий пакет в этом всемирно-духовном ОАО. Экуменизм для него не экспансия, а каюк.

Какой ещё ответ, кроме «не знаю», «да» и «нет»? Вопрос ведь не открытый. То есть варианты реакции… либо «я профан», либо «я сектант, настаивающий на проклятии девяноста девяти процентов человечества», либо «я представитель факультативно-метафорического течения». Ну, или послать.

Часть 3. Между делом

Самоубийство как надо

Один мой добрый знакомый сказал такую фразу, если надо передать дословно: «Мистерия Голгофы, мистерия Голгофы… А чего? Взяли беднягу и приколотили». Вот именно эти слова—«беднягу» и «приколотили». Но если брать натуральные события, со стороны ведь так и виделось, в этом и скандальность, как писал Ницше, всемирно-исторического события «Бог на Кресте».

Бога, конечно же, нельзя убить—это раз. Бог не может и устроить подставу—два. Остаётся предположить, что это было самоубийство, и тогда всё нормально. Именно что нормально.

И Фридрих Ницше устроил себе то же самое. Недаром в конце подписывался: «Распятый». Сумасшедший философ—скандал того же рода, что и Бог на Кресте. Остаётся предположить, что это тоже такое самоубийство, а самое правильное самоубийство для философа—сбрендить, чокнуться, сойти с ума.

Кто-то писал о Ницще: «его больная христианская душа…» Он и сам писал в «Воле к власти»: только христианство могло выпестовать породу людей, столь помешанных на честности, к коим, надо думать, относился и сам. А касаемо самоубийств… Самоубийца Ницше был тут честнее. В отличие от христиан, он легитимировал практику, его Заратустра как бы похлопывает Христа по плечу (есть такой отрывок): мол, ты бы тоже им разрешил, проживи ты с моё.

Власть, играющая чёрными

Некогда на вопрос, что делать с плохими людьми, мне было отвечено: «Ничего»,—и пояснено: «Никаких дел с плохими людьми не надо иметь». Ну а если они захотят иметь с тобой дело, максимально быстро и с меньшими затратами вернуть нормальную конфигурацию—в которой у вас опять нет никаких дел. Вот как-то так. В идеале.

К чему вспомнилось? Мне представляется, самая крутая, самая настоящая и самая одухотворённая власть—никогда бы не преследовала людей, не гонялась за ними. Высшей мерой наказания у неё был бы… отказ иметь с тобой дело. И она никогда не начинала бы первой. То есть она могла бы легко убить человека, но непременно чтобы он сам приполз, что-то сделал, как-то явственно заслужил, она всегда играла бы чёрными, то есть первый ход предоставляя тебе и просто возвращая тебе последствия твоего же e2-e4 или там a2-a4, не более и не менее. Чем могущественнее была бы она—тем точнее передавала бы тебе твоё же, и всё. И ничего. Такое вселенское Зеркало, или, точнее сказать, центр регистрации и выдачи кармы. Совмещение доброжелательного, но неумолимого отношения к людям. Никакой отсебятины и лёгкая усталость во взгляде. Вот это был бы Режим с большой буквы «Р».

Безумие разума, хедж и венчур

Нет ничего более рискованного, чем «действовать по разумным соображениям». Допустим, у тебя пошаговый алгоритм, в его основании лежит десять гипотез, и срыв всего лишь одного шага— срывает всё. Уверен ли ты в десяти гипотезах? Помнишь десять своих гипотез, отброшенных позднее как чистый идиотизм? Помнишь, куда

вообще «разумные теории» заводили людей? Понимаешь, что «разумное основание»—можно приписать почти любому выбору (чем и занимаются софисты на службе сильных мира сего)? И это не риск? Риск. Куда больший, чем… Чем действия, продиктованные чем угодно ещё: инстинктом, традицией, инерцией, подражанием.

Однако это не доводы против «разума». Это, скорее, напоминание, что разумное действование суть венчур, а выше названное на фоне этого—хеджирование. А венчур—он и есть венчур. Вероятнее как накрыться медным тазом, так и уделать всех. Именно венчурные предприятия—двигают цивилизацию. Не буду развивать далее аналогию, её легко продолжить… Про типы цивилизаций (разум-венчур и традиция-хедж), про жизненные стратегии идеальных мужчин и женщин.

Текст, начавшийся сомнением, кончается апологией.

Подвиды ума

Умный—это умно действующий, эффективный, что вовсе не значит «мыслящий». Это к тому, что некоторые типы разумности мне скучны. Хотя я ни в коей мере не отрицаю изощрённой умности особого толка за администратором, спортсменом, серийным убийцей и много кем ещё. Мыслящий не может быть не умным, но умный вполне может быть не мыслящим.

Бес вариантов

Когда-то мне казалось, что «лучше сделать и раскаяться, чем не сделать и пожалеть». Теперь думаю, скорее, наоборот. Слишком много всего. Всё, в чём сомневаешься,—на фиг. Только то, что свободно воображаешь себе как твоё необходимое. Это кажется парадоксом, но совершенный мастер не выбирает именно потому, что свободен, и сразу видит лишь один вариант. А больное животное человек, если вдруг случайно задумается, допустит тысячи способов… Потому, кстати, и не задумается—с ума сойдёт от богатства выбора.

Пусть кобыла пашет

Известно, что преподавательская нагрузка Мишеля Фуко в его заведении составляла двадцать четыре часа… в год. И сводилась к чтению лекций раз в неделю первые три месяца года. Оговоримся, что заведение было особое, как и, наверное, контракт. Но вот у Ницше в его Базельском университете, надо думать, была вполне типовая профессура с типовыми условиями. Там нагрузка была шесть часов в неделю, и это, судя по его письмам, весьма его утомляло, не оставляя времени на собственно философию. «Вот ведь жировали»,—скажет наш современник, тот же кафедральный человек двадцать первого века, будучи и прав, и не прав.

Сколько времени в сутки работает поэт или учёный? Уточню: не эмпирический парень, а тот, кого мы умственно полагаем в качестве образца. Рискну предположить, что «рабочими» правомерно считать даже не восемнадцать, а все двадцать четыре часа в сутки. Просто это айсберг, где «писанина»—надводная часть; в момент именно «писанины», равно и «говорения», ничего особо уже не решается—выкладывается то, что и так уже есть. А вот чтобы оно было… Оно, конечно, таинство—откуда что берётся. Но как можно институционально его усилить?

Придать айсбергу правильный вид, а чем больше отношение подводной части к надводной, тем правильнее: шесть часов в неделю—да, пожалуй, это оптимум.

Просто есть занятия, где ценимо только количество, а есть—где значимо только качество. Есть работа, которую нельзя делать на оценку «три», «четыре», «пять с минусом». Её можно оценивать только в системе «зачёт—незачёт». И если «зачёт»—результат просто умножается на число часов. Такие люди, с точки зрения эффективности, должны работать максимально возможное время. И наоборот, то время, где его количество мало важно (например, одна хорошая книга важнее десяти плохих, одна великая—важнее десяти хороших), должно быть минимизировано.

Видимо, девятнадцатый век лучше понимал эту логику: рабочий трудился больше, профессор меньше. Кстати. Единственное основание, по которому профессору можно прописать восьмичасовой рабочий день, да хоть двенадцатичасовой,—его деятельность не оценивается дифференцированно. То есть тот же «зачёт—незачёт», как у продавца в магазине. Есть подозрение, что с «бюджетниками» так и случилось. То есть сначала им разрешили трудиться «на зачёт», а не «на оценку», а потом взяли и убили все привилегии. А зачем пролетарию—привилегии?

Хороший слоган—плохому месту

«Человек должен быть умным, злым и весёлым».

А страна? Кончается срок, отпущенный «энергетической сверхдержаве». Производить что-либо всерьёз отказались двадцать лет тому назад. Ещё немного, и сырьё из РФ станет нерентабельным даже раньше, чем оно кончится. Что же мы будем кушать, носить и втыкать в розетку? Точнее—чем таким мы будем торговать, что нам дадут за это покушать, поносить и повтыкать?

России останется торговать либо злостью, либо весёлостью, либо умом. Самое простое, к сожалению,—самое вероятное. Россия как мировой поставщик криминального: русские проститутки, русская наркота, русские наёмники. Самым оптимистичным было бы совмещение вариантов. Россия как поставщик проституток не отменится,

но параллельно с этим — Россия как поставщик рискованных технологий и неполиткорректных исследований. В области биологии, например.

Ну а чтобы «умное» совместить со «злым», куда же тут без «весёлости»? Излишне грустных быстрее других разберут на органы.

Гламурная баня

Одно из определений гламурного: все должны видеть, что ты по жизни не паришься. И это та редкая ценность, ради которой вообще допустимо париться, причём париться сколь угодно сильно.

Задачки на точность

Иногда философия представляется просто практикой говорения на языке какой-то запредельной, божественной точности. Например, читая переписку Давида Зильбермана с Олегом Генисаретским… Теми местами, которые хоть как-то понятны, — восхищение вот за это. Человек понимал, что говорил. Каждое слово. Там вообще нет слов, которые не прогнаны в рефлексии, такое ощущение — человек сам придумал весь язык. Как это редко.

Игра в слова: конкуренция и агрессия

Мир, о котором мечталось бы, — мир предельно жёсткой конкуренции при нулевой агрессии. Тут надо банально пояснять слова, поскольку всё дело в них. Конкуренция — как открытая поставленность на кон социальной стратификации, а агрессия — как утверждение себя в разрушении иного. Формула её: не мы много можем, а всем вокруг дали по кумполу, и они уже ничего не могут. А мы можем главное — всем по кумполу.

Возвращаясь к конкуренции: речь идёт, главным образом, о социальной честности. Люди социально неравны и от отрицания этого факта равнее не становятся, но механизмы неравенства в обществе, его признающем, и в обществе, не признающем, весьма различны. Чем сильнее неравенство отрицать, тем более странны могут быть его формы, и в первые лица выносит… хорошо ещё, если Аллу Пугачёву с вором Япончиком; в среднем элита СССР и пост-СССР, конечно, менее качественна, нежели эти двое. Так вот, конкуренция — это когда: а) неравенство признаётся, б) вертикальная мобильность высокая, в) правила мобильности предъявлены как есть. То есть когда официальные версии историй успеха примерно совпадают с реальными. Да, и ещё: объявленные игры идут по правилам, правила же, как правило, враждебны к игре на понижение, и родимое «всем по кумполу» — это офсайд, санкции и штрафной удар.

Конкуренция может быть жестока, проигравший зачастую получает ноль без палочки. Так получилось. Но нельзя сказать, что у него отобрали. Вообще, может быть очень много обиженных, но мне важнее не это, а чтобы не было обидчиков.

Соответственно, худшим типом общества для меня была бы — низкая конкурентность при высокой агрессивности. Вопрос, что у нас на дворе, многие сочтут риторическим, но я, так уж и быть, оставляю его открытым.

За бесправие детей и животных

Милосердие слишком часто оборачивается несправедливостью, чтобы это можно было толковать незначительным побочным эффектом. Некогда я считал, что диссертационный совет должен всегда голосовать «за» — в логике снисхождения: «жалко, что ли», «человек же работал». Тем более степень, к примеру, кандидата философских наук — столь малое, что не выдавать её просто как-то даже мелочно. Так вот, будучи ещё аспирантом, зашёл в диссертационный совет, а там защищается дура. Не то что слабая работа, слабых работ девяносто пять процентов, включая и мою, а именно что пустота — даже не текстуально, по жизни. За неё голоснули единогласно, и вот по осени новоявленный доцент приходит на нашу кафедру, и меня, аспиранта, ставят к ней ассистентом.

Беда в том, что дуракам тоже свойственна воля к власти. Не всем, слава Богу. Но они же не могут создавать, не обучены, не по силам. Амбициозность выражается в том, что топят округу; дура была недовольна мной и ещё пыталась травить единственного философа, что на кафедре той случился, — что ей оставалось? Потом она, к счастью, куда-то сплавилась.

Это я к чему? Если даже искреннее великодушие так легко оборачивается несправедливостью, что можно наворотить — под именем милосердия, гуманизма?

Когда, например, подобие «прав человека» распространяется на тех, кто и человеком-то не является. Животных, например. Мне «борьба за права животных» мерещится — античеловеческим делом. Поднимая статус животного, тем самым роняли статус человека — главное следствие всей политической зоофилии. Животные имеют лишь одно священное право, оно же обязанность — быть средством человека. Разумеется, о них надо заботиться, но не более, чем об иных средствах, мы же заботимся о своей квартире, одежде. Это и есть здоровая экология. Мы же не признаём «права дивана», не принимаем закон о «жестоком обращении с рубашками», мы же ещё не сходим с ума — таким образом?

Примерно так же с «правами детей». Из читанного недавно, не ручаюсь за точность: папа выпорол сына то ли десяти, то ли двенадцати лет, парнишка стуканул, и за «ремень» папе дали штраф около пяти тысяч рублей. Хорошо, не посадили.

«Детям» и «молодёжи» и так живётся лучше, слаще, интереснее — чем кому бы то ни было. Им не нужны «права». Права нужны только взрослым — как утешение в серой жизни и близкой смерти, во-первых, и как ресурс, чтобы что-то делать, во-вторых. Дети и молодёжь ведь толком ничего не делают, у них нет социально-экономических обязательств — зачем им социально-экономические права?

Я бы сказал, речь идёт о подлоге. Сложно сказать, что ненавидишь, к примеру, женщин в дорогих шубах — проще ненавидеть их шубы, ненависть к семье, к взрослым — обернуть борьбой за права детей, и так далее.

А защитники негров в первую очередь ненавидели белых, да? — спросят меня. Конечно. Если сами не были неграми, что часто, или святыми, что реже, то прежде всего ненавидели белого взрослого мужчину из миддл-класса, и вся любовь. Жан-Поль Сартр не оттого бегал с цитатником Мао, что любил цветной пролетариат. То же Мишель Фуко. Ну, или Александр Блок — что ему до гуннов? Оба ненавидели то, что считали ближайшей сволочью, именем чего угодно.

Менее талантливым людям лучше так себя не вести.

День Великой Матери

Возвращаясь к теме милосердия и справедливости. Понятно, любовь диалектически снимает закон. Ну а если — типа — не снимает? Если всего лишь отменяет, то как? Христос, как известно, прихватил в Царствие Божье душегубца с соседнего креста. Молвил пароль — простили. Вообще всё простили. Я, возможно, скажу очень кощунственную, очень безграмотную, очень такую поверхностную вещь, но… Но ведь это беспредел. То, что сделал Христос.

Если немного вдаться, то можно выделить архетип любви материнской и любви отцовской. Архетипическая Мать любит за то, что ты есть. Архетипический Отец любит тебя, если ты хороший. Плохого он тебя накажет. Из любви к хорошему.

Любовь Христа — любовь с очевидностью материнская. Как и в любой авраамической религии, хотя Бог там всё-таки именуется Небесным Отцом, а вовсе не Главной Мамой. Но по типу поведения это именно Великая Мама.

Наверное, в мире есть место обоим типам любви. Наверное, самое оптимальное — их баланс. Наверное. А сейчас — дисбаланс. Надо помнить, что обе любви чреваты, у обеих есть оборотная сторона. Нынешний мир — не то чтобы очень жестокий, были и более жестокие времена, но это — мир беспредельщиков.

Мир задыхается в объятиях материнской любви.

Хоть бы уж пришёл Папа…

Воспалённая простота

О достижении человеком некоего уровня сложности может говорить рубеж, после которого видишь свою задачу в том, чтобы изъясниться попроще, как можно проще. Желание выглядеть посложнее и поумнее кажется идиотизмом — как один из верных симптомов воспалённой простоты. Я, наверное, развивался очень медленно, у меня это случилось лет в двадцать семь — двадцать восемь. У многих людей этого не случается никогда. Из всех вариантов высказать мысль выбирается, ясен пень, наиболее заковыристый.

Предчувствие танатоса

Не ручаюсь за точность цитаты, но классики писали примерно так: «Инфрастуктуры конституирует бессознательное, а не идеология» (Делез, Гваттари). То есть не важно, что у тебя на языке и даже на уме, будущее отстроится, скорее всего, по твоему бессознательному желанию. Можешь сто раз заявить, что хочешь быть миллионером, но если на самом деле хочешь быть наркоманом, то будешь в первую очередь им. Это касаемо карьеры, траектории сексуальной жизни, круга друзей и прочего. Это касаемо и общества, фраза про него.

То есть не важно, что было на плакатах позднего СССР и даже о чём болтали на кухнях. Главное — про что была бессознательная хотелка. Она была про полные прилавки, сто сортов колбасы, дешёвую водку, дешёвую бытовую технику, съездить за рубеж и прочее наше счастье. Поэтому, когда взялись улучшать социализм, дрейфовать могли только в сторону главной хотелки. За ценой, как водится у советских людей, не постояли.

Не так важно, про что сейчас «национальное проектирование», «официальная идеология», «программа оппозиции» и прочее. Будет то, что в бессознательном.

Что там? Тоска по справедливости, честности, гарантиям — это есть. Но у многих, слишком многих — откровенно танатические желания. Может быть, я ошибаюсь. Я бы рад ошибаться. Наверное, мне кажется.

Мне кажется, слишком многие устали именно так, что им хочется поскорее сдохнуть. Вместе с остальными, желательно. Ну, или, выражаясь более мягко, не сильно хочется жить. «Да на хрен» как национальный консенсус.

В сути муть

Добрый и злой — не то же самое, что хороший и плохой. Успешный и неуспешный — не то же самое, что сильный и слабый. Умный и глупый — не то же самое, что знающий и незнающий. К сожалению, часто путают. Да что часто? В целом по населению, путают почти все и почти всегда.

Красные, белые, фиолетовые

Умное сообщество, сколь угодно ангажированное политически, могло бы взять первым тезисом: политическая ориентация человека ничего не говорит о его интеллектуальных, этических и эстетических качествах. Из аксиомы следует теорема: если некто упорно полагает, что такая зависимость всё же есть, это уже немного говорит о его качествах, конкретно—интеллектуальных. После такой декларации можно занимать сколь угодно радикальную политическую позицию или иметь её полное отсутствие—моя симпатия да пребудет с вами. Люди сначала делятся на плохих и хороших, потом на умных и глупых, в третью очередь—на образованных и необразованных, и в десятую—на красных, белых, зелёных и фиолетовых.

Отстойник «бюджетной сферы»

Принято считать, что бюджетники несправедливо обижены. «Наши врачи, учителя и учёные, получающие нищенские копейки», «социальный авангард, обречённый на прозябание», «подлое огораживание массовой интеллигенции» (последнюю фразу писал в газете я сам, давно писал). Но сам какое-то время обретался бюджетником, плавал—знаю, и имею, если кого волнуют такие тонкости, моральное право свидетельствовать против социальной группы в целом.

Что суть контракт? Это перечисление обязательного, некоего гарантированного минимума. План можно перевыполнить, но за перевыполнение обычно ничего не будет. Если заказано N квантов работы на M уровне мастерства, то, конечно, можно выполнить N+1 квантов на M+1 уровне, но оплачено будет по прежнему, уговоренному тарифу. В реальности договариваются об обоюдном минимуме. Можно хоть Набокова посадить в СМИ писать информашки и компиляшки, пусть он их пишет божественным языком и божественным языком вылизывает, получать он будет за оговоренный минимум—и не более девочки-мальчика, сдавшего то же число информашек-компиляшек.

А теперь—каков набор минимальных требований, предъявляемых, например, к российскому педагогу, будь то препод средней школы, будь то профессор вуза? Каков возможный минимальный уровень, в том числе интеллектуальный, в этой роли? Ответ: чрезвычайно низкий. Повторяю: плавали—знаем. Доктором гуманитарных наук (не знаю, как с точными и естественными, хотя и подозреваю) в РФ может обретаться человек, которого в частном офисе не возьмут париться даже «планктоном», криэйтором-копирайтером, младшим помощником старшего менеджера, за общую невменяемость. Хотя «планктоном» париться—ничего особо умного.

Но! В том же образовании встречаются очень умные, встречаются гениальные, в офисах такие не живут, да. По ним-то и судят о трагедии русского бюджетника, недооценённого, брошенного. А сколько их? Врачей, учителей, учёных—которые настоящие? Которые делом заняты?

«Бюджетная сфера» представляет сферу чудовищной эксплуатации совокупного умника совокупным идиотом. Ни в каком бизнесе такой эксплуатации нет. Именно что эксплуатации как бесчестного перераспределения доходов и статусов. Никакой «классовой солидарности». Главный враг бюджетника-умницы не Чубайс, а дурак на такой же ставке.

«Социальная функция сферы образования в России—сдерживание уровня взрослой безработицы» (Александр Попов). То есть школы нужны как наиболее оптимальная форма выплаты пособия работающим там взрослым, а с детьми там ничего не происходит. Схожие функции в РФ у типового вуза. Уточним, что если ничего не происходит—это тоже задача. Может ведь происходить и плохое. Отсутствие образовательного процесса—ещё не довод в пользу закрытия; так, закрытие школ и вузов в РФ вызовет рост преступности, наркомании, прочего нехорошего. Праздность—мать таланта для десяти процентов людей, мать пороков для девяноста процентов. Учреждения функционируют двойным отстойником: для сотрудников (пособие), для молодёжи (присмотр). Тогда пособие можно трактовать как зарплату за присмотр, что-то среднее между работой «вохры» и нянечки (по реальной функции). Зарплата соответствует функции, не являясь, таким образом, несправедливой.

Несправедливо другое. Что такую зарплату получает человек иной квалификации, профессии и задачи, как-то, допустим, педагог или учёный, затесавшийся в систему.

Чтоб ты сдох, при всём уважении

Способность выносить и вынести в себе большое уважение, равно и большую ненависть, ещё не говорит о человеке ничего особо хорошего, вообще ничего особого, а вот уважать то, что ненавидишь или хотя бы совсем не любишь,—это да. Это широта, высота и прочие параметры, в которых меряют «душу».

Леветь до полной правоты

Есть подозрение, что пространство политических идеологий имеет форму шара. Если долго плыть на запад, выплывешь на востоке. Я так долго и упорно левел (был левее СССР), что стал, наверное, очень правым (наверное, правее всего, что в двадцатом веке). Примерно такая траектория: патриот—либерал—коммунист—неоконсерватор—? Ничего редкого, многие троцкисты стали в США неоконами. Что забавно, у меня за десять лет получился вполне описанный круг. Каждую

позицию мог обосновать, доказать, был вполне себе теоретиком, веровал искренно. Круг замкнут. При этом никакого чувства «измены себе», всё как-то логично, одно из другого вытекающе (как-нибудь могу выложить всю эту логику).

Начнётся ли по новой?

«Умнить»—это как?

Можно мыслить, а можно умнить. То есть знать те знаковые конструкции, что некогда употребляли умные люди, и складывать их по поводу и без повода, пусть даже и грамотно. Но всё-таки умнить—это именно умнить, а не мыслить. Критерий отличия? Умнящий почему-то не думает о себе (и очень удивится, если о себе узнает), практика и теория у него—не способы перехода от одного к другому, как водится, а некие параллельные штуки, он хочет казаться умнее (как слабый хочет казаться сильнее, подлец—хорошеé, а сильному и доброму—наплевать), он умножает сущности без нужды. Можно, спору нет, и по поводу кучи говна развернуть мыследеятельность, вспомнить Щедровицкого-папу, прогнать феноменологическую редукцию, можно, всё можно—а зачем? Вот когда приходит «зачем», начинается совсем другое кино. В мире есть то, где уместна смд-методология, но давайте оставим в покое кучу говна!

Умнить—занятие бескорыстное и даже непроизвольное. Но есть ещё ситуации, когда стоит конкретная цель: поднять статус, поднять бабла, поднять понты—и хорошо бы выглядеть поумнее. Есть различие, если умнит ботаник и если умнит, допустим, политолог-технолог, какой-нибудь работник фэпа. Первому, в отличие от второго, важен процесс. Вряд ли это можно назвать любовью к истине (фило-софия), но любовью к слову (фило-логия)—отчего бы и нет? Впрочем, одно перетекает в другое. Сложно найти процесс уж вовсе бесцельный.

P. S. В своё время умнил достаточно, чтобы разбираться в вопросе.

Платоническая качалка

Бывает, дурак знает не меньше умного. Он не знает лишь одного: где именно кончается его знание. Абсолютный дурак не знает, что оно вообще имеет обыкновение кончаться. Философия, предстающая как «знание о незнании», в первом приближении—вот про это. «Сто один способ не быть дураком».

Концепты, которые она изготавливает, можно рассматривать как призмы, сквозь которые смотрят на мир,—тогда это будет всё-таки тип знания (но если знание науки—это, скорее, карта местности, то знание философии—это, скорее, оптический прибор). А можно рассматривать концепты как тренажёры, на которых накачивается… ну вот эта самая мышца, полная атрофия которой и есть банальная бытовая глупость (как и в случае с атлетом, заметим, гипертрофия перекачанного мышления—практически бесполезна в быту, по жизни). И совершенно всё равно, на чём качаться. На Мерабе, на гп, на Марксе или вообще на Гаутаме по кличке Будда. Ну, всё равно что спорить, что эффективней—штанга, гиря, гантель. Правильный ответ: кому что. Можно от пола отжиматься. «Чего делал?»—«Да вот, качался Спинозой».

Правда, есть разница. Атлеты, если им приспичит померяться, могут померяться на руках или ещё как. Философам пока что сложнее.

Смотаться к началу начал

Подумал, кто именно для меня свои. Как и для всех—с кем можно поговорить. А с кем можно поговорить? Это тип людей, подсаженных своего рода на рекурсивную функцию: чтобы они ни делали, они на энном шаге возвращаются к основаниям, медитируют там, что-то подкручивают, подвинчивают, и дальше… Кстати, простейшее отличие «интеллигенции» от «мещан»: последним эта процедура чужда в высшей степени. «Думать» для них означает некую аналитику над комбинаторикой вариантов, но никакой проблематизации оснований. Они просто веруют, полагая, что работа выполнена за них и до них, даже, честно говоря, и не предполагая там какую-либо работу. «Это и так все знают». Конечно, знают. Пропуская в жизни самое интересное.

Очень банальное

Сильный предпочтёт скорее недохамить, чем перехамить, именно потому, что «всегда успеет». Постоянная озабоченность «не выглядеть лохом» свойственна, надо думать, в первую очередь лоху. Аналогично и умному—лучше недоумнить, чем переумнить. Аналогично человек действительно добрый менее всего озабочен производить впечатление нравственного, порядочного и так далее. «Мы, приличные люди»,—фраза ещё ничего не говорит о приличности, но уже выдаёт озлобленность.

«Опроверг все шесть доказательств Бога и придумал своё, седьмое»

У Крылова было определение варваров. Это люди и общества паразитарного типа. Пользуются плодами, но презирают основания, среды и деятельность, ведущие к плодам. То есть мобила, джип, компьютер—всё круто, но сами их авторы—лишние, нам такие не нужны. Мы, реальные пацаны из Центральной Африки, так себе всё возьмём. Иными словами, варвар не воспроизводит уклад. У Астеррота где-то рядом определение киберпанка. Общество, где водопровод ещё есть, но вот его починить—проблема, а создать лучше, чем было,—уже нельзя.

К чему я? Возможно очень простое и немного странное доказательство бытия Божьего из

онтологической вежливости. Даже для самого-самого законченного атеиста. Просто чтобы не быть варваром. Всё главное, на чём держится эта цивилизация, создано не атеистами. Декарт вот даже говорил, что атеист не может заниматься математикой. Мол, не хватит любви к истине.

Это ведь не так, что сначала было мышление, а потом оно чего-то удумало. Сначала было то, что его конституировало, та же религия. В ответ уместна даже не благодарность, а… просто понимание, что так оно и было. Нечто уже есть, и с этим нельзя не считаться. В Древней Индии, например, более чем считались. «В индийской философии Веды занимают место не Библии, а скорее Бога Библии» (Давид Зильберман). С чистого листа и абсолютного сомнения а-ля Декарт начать невозможно просто в силу того, что те средства, которыми ты начнёшь, уже вытянут собой кое-что, а именно—условия своего порождения, неотделимые от себя и одновременные с собой. Их не спишешь, как непрофильные активы. Это как условия выдачи лицензии: куда их спишешь?

Возвращаясь к «Богу» как конституирующей идее, её, наверное, возможно пытаться снять, растворив в пантеизме (Спиноза), но пантеизм—это не атеизм. Именно снять, а не опровергнуть, отменить, игнорировать, случайно не заметить. Иначе—то самое «варварство». «Мы возьмём ваши автоматы, но выкинем на хрен вашу физику». Но ведь и относительно физики было нечто, выступающее к ней в той же порождающей позиции, что она сама—к автоматам. Ни один философ, писал Хайдеггер, не думал всерьёз о дизельном двигателе, но если бы не было философии, не было бы и двигателей, то есть кто-то или что-то изобрели саму фигуру изобретателя, его типа рефлексии—изобрели, как сам он изобрёл двигатель. А кто-то или что-то изобрели ещё и того, кто изобрёл изобретателя.

Христианство, если уж ему суждено закончиться, кончится не атеизмом, а неогнозисом, или неоязычеством. Само по себе «вольномыслие» не более средства, расчищающего дорогу тому, что более или менее рефлексирует основания.

Из того, что «Бог есть», вовсе не следует, например, православие. И христианство. И вообще авраамическая традиция. У нас же по умолчанию вопрос: «Ты верующий?»—считают синонимом теста на православность, как минимум на христианство.

Но адвайта-веданта—это тоже вариация «верую».

Политкорректные молодые люди

Года полтора назад администрация края любезно устроила мне встречу с Алексеем Чадаевым (член Общественный палаты, автор книги за Путина и прочее). Я употребил слово «гопники», Чадаев отвлёкся от пельменей: «С тех пор, как я стал читать Маркса и полевел, я перестал употреблять это слово. Я называю их некарьерными конформистами». О как! И далее, с переводом специально для меня: «Ещё среди «Наших» встречаются карьерные конформисты, вы их, подозреваю, назвали бы мажорами». Так и представляешь рассказ: сидят на лавке три некарьерных конформиста и так далее.

Ботанический сад России

Понятно, что обзывалки могут стерпеться-слюбиться, даже лечь в самоидентификацию (вплоть до того, что читал одного гея, который пишет: «у нас, у пидаров»). Но обзывалки сначала всё-таки обзывалки. Конкретно, есть такая обзывалка—«ботаник». Конечно, многие уже говорят: «мы, ботаники», «я, как матёрый ботаник» и так далее. Но отзыв о человеке: «Да он ботаник какой-то»,—скорее, негативный отзыв. А «эй, ботан!»—уже оскорбление.

Какое можно выдать определение с учётом именно негативности? Умные люди? Полноте, какое же это оскорбление? Начитанные, образованные? С неких пор это перестало быть популярным комплиментом, но ругательством ещё не стало. Что же всё-таки имеется в виду—не очень хорошего?

Я бы сказал, это характеристика человека, где на входе много больше, нежели на выходе. Это знает, это читал, это видел—а делать-то чего делает? Некая атрофия того, что отвечает за действие, на фоне гипертрофии того, что отвечает за восприятие. Но если человек что-то делает—пишет бестселлер, изобретает пулемёт, основывает религию, неважно что, главное—с последствиями,—его обзывают как-то иначе.

Ботаник поневоле—как человек, вынужденный идентифицировать сам себя через восприятие вместо деятельности. Потому что его деятельность—так себе, противно и мелко, а восприятием-разумением ещё горд. Тружусь дворником, в свободное время читаю Мандельштама—понятно, что дороже.

Но тогда Россия—это просто массовое производство ботаников уже много лет, примерно двести. Образование здесь лучше, чем жизнь. Как бы образование ни падало в кризис, за жизнью всё равно не угонится. Всё равно филолог пойдёт в пиарщики, юноша-историк—в конторщики, девушка-экономист—в продавщицы. А куда ещё? В утешение—лишь свободное время. Самоопределение—через культурный ценз… Раз уж с делом хана.

(Именно так я бы проводил различие интеллектуала с интеллигентом. Понятно, что существует сто вариантов определений. Я о своём. Интеллигент как интеллектуал не при деле, и Россия тут—цветущий ботанический сад.)

Да и современная цивилизация—по тому же принципу. Средний класс при желании может

получить образование на уровне чуть хуже элитарного образования девятнадцатого века, образование недоаристократа. А социальная функция, на которую его подсадят, будет немногим человечнее, чем у робота.

Но я отвлекаюсь…

Новая стыдливость

Был свидетелем интересного морализма. Человек, доказывая, что он не ханжа, что ему чужда гордыня, начал громко говорить: «Я и на порносайты хожу, я и кошелёк могу у вас украсть, в крайнем случае». Люди почувствовали себя истинно пристыжёнными. «Я тоже хожу на порносайты!»—«И я хожу!»—«И я!»—«И украсть не проблема!» Я сам ляпнул что-то такое. Люди спешили именно что оправдаться. Все вроде бы оправдались, к вящей славе морального консенсуса.

«Мыслю, следовательно, ненавижу»

Когда случается возможность мышления? Когда у человека разрыв практики: по-старому нельзя, по-новому непонятно. Теория возникает как переход между практиками. Но ведь кризис, а речь о нём,—это ещё и больно. Тезис: в более благоприятной ситуации мыслить было бы просто незачем. Всё и так чипи-пики. Гармоничному созданию, будь то животное или ангел, мыслить незачем, мышление только в дырке бытия—у людей (по Сартру, человек вроде дырки от бублика бытия, делающей бублик бубликом,—бытие небытия, перманентный кризис, и человек ровно настолько человек, насколько там кризис). Таким образом, условия возможности мышления сопряжены с условием некоего страдания и с некоей злобой (предположу, что когда живому существу больно, оно склонно озлобляться). Отсюда как бы некая априорность гностической аксиологии: жизнь—дерьмо, планета—концлагерь, души мотают срок и так далее. Отсюда дуалистичность: тюрьма и зэк не могут быть единой субстанции.

Само по себе мышление, скорее, приятно (можно ли означить эту приятность как своего рода физиологическую?), но вот чтобы дойти до жизни такой… По всякому, конечно, можно дойти. У счастливых людей случается от избытка досуга и хорошего воспитания. Но часто, слишком часто—вот эта критичность, чреватая гностичностью. Речь об одновременности, сопряжённости: по содержанию мышление начинается как вопрос, а по жизни—как протест (хотя бы против мира, где час назад этого мышления не было, сам его факт—уже локальная революция).

Феноменологически это настроение можно, застав у себя, вычленить и убрать под замок как грязную психологию. Но стоит ли? Может быть, само его наличие—некий знак? Про то, как здесь обстоит?

Определение №1001

Добрые люди образом поделились. Если психика—это ключик, который всё поворачивает, то мышление—ключ ключа. Ключ, поворачивающий психику. Не обязательно, конечно, ключом. Можно ломом, отмычкой. Но лучше ключом.

Восстание рабов в натуре

Агрессия—это либо восстание раба, либо такая профессия, но профессия и роль—уже не агрессия. «Эй, Ванька, смерд вонючий, поди сюда»,—из уст легитимного господина это же не агрессия, а честное означивание данного порядка вещей. Солдат и милиционер тоже не агрессивны, они на работе. Бандит, чего-то крышующий, тоже, строго говоря, не агрессор. Именно крышующий, то есть взявший на себя функции неформальной «силовки». В некоем роде, он реализует запрос.

Отбирание мобильников и шапок на улице—это уже, скорее, восстание рабов. Господину нет нужды удваиваться в превосходстве. Мастеру—нет нужды. Рабы. Может быть, и доминантные особи, и ядрёные альфа-самцы (хотя сомневаюсь)—но социально это реактивное действия. Это кажется, что начинают первыми, отбирая кошелёк у позднего прохожего, хамя в интернет-форуме, играя на понижение в разговоре. Нет, они реактивны, первый же ход—за владельцем пухлого кошелька, за автором текста, за выигрывающим по правилам. Восстание на чужой успех, с которым ничего не можешь поделать иначе, роспись в творческой импотенции (как максимум—неспособность к труду). Мир движет воля к власти, но всё же. Если можешь себя утвердить, не ломая чужое, так и выберешь—не ломать (напомним, что полицейские, политики, критики—не агрессивны, это их профессия). Хотя бы потому, что не ломать выгоднее. Доминирование, как правило, не ломает.

Хамство почти всегда—последняя сила бессилия. И весьма рискованная затея. Раз забрал кошелёк с тысячью рублями, два забрал, три забрал. На четвёртый посадили на три года. В активе—три тысячи рублей и три мелких победы, в пассиве—три года тюрьмы. Эффективно? Даже менее эффективно, чем у ограбленного. Раз нахамил в ЖЖ. Два нахамил. Забанили—и пошёл ты, именно ты, хотя посылал ты чаще.

Большая часть восстаний кончается неудачей. Нет, можно запустить игру на понижение как систему: например, дать каждому ученику равные права с преподавателем. Можно. Так делают. Всё равно. Место, где слишком часто выигрывали на понижение, просто перестанет существовать, и мир более или менее вернётся к порядку.

«Как сделать игру на понижение невыгодной?»—был такой вопрос. Какой ответ? Если бы игра на

понижение была стратегически выгоднее, нас бы с вами уже убили.

Жертвоприношение дискурсмейкеров

...Касательно гуманитарных мыслителей вообще. Касательно той части ЖЖ, где гуманитарные мыслители. Попытка некой оценки и иерархии.

Я вижу три ранга: дискурсолог, дискурсиарх, дискурсмейкер. Наверное, можно и по-русски, но будет хуже. Давайте уж так. Тем более тут важнее схема, нежели игра в слова.

Дискурсолог: может бодяжить дискурс перед более-менее смышлёными профанами, которым интересен вопрос, что-то знает, что-то думал, на уровне «могу выступить перед студентами». Так, чтобы со студентами что-то произошло.

Дискурсиарх: может выступить перед первичным экспертным сообществом, то есть вот этими самыми дискурсологами, так, чтобы с ними тоже что-то было. Этакий парень в кубе. Например, есть такая тема: «Мировой финансовый кризис». Я бы взялся рассказать про то студентам или школьникам, но не взялся бы—экспертному сообществу.

Наконец, дискурсмейкер, по аналогии с жалким на его фоне ньюсмейкером. Это «творец и держатель дискурса». Начавший разговор о чём-то новом. Так, у Фуко было слово—«трансдискурсивность». Человек пришёл и чего-то наговорил, и теперь все должны с этим считаться, чтобы не выглядеть идиотами. Например, в случае Маркса или Фрейда. Можно их не любить. Но человек, взявшийся говорить, что не так у того же Фрейда, будет всё равно в его поле, он продолжит его разговор, воспроизводя и самого Фрейда. В полемике с Фрейдом случился фрейдомарксизм.

Кто есть российские дискурсмейкеры в вопросе, положим, политический рефлексии—здесь и сейчас? Из более-менее известных? Чтобы было понятнее, назову две фамилии. Дмитрий Галковский, после «Бесконечного тупика»—как творец и носитель белого дискурса; Сергей Кургинян—как творец и носитель красного. Прыгай, бегай—от них не денешься. Их можно не любить. Но... для левого человека обязательная программа—Кургинян, для правого—Галковский, для образованного—оба.

Интересно, что скачок от дискурсолога к дискурсиарху, как любого «лога» к патриарху любой «логии»,—чистый переход количества в качество; по сути, это разница между поверхностным и глубинным образованием. А вот скачок от дискурсиарха в дискурсмейкеры—это интересная штука.

Он связан с некоторой жертвой, а именно—отказом очень умного человека от части своего разума именем своей воли. Это сознательное или бессознательное сужение диапазона интеллектуального спектра, отказ от тонкой балансировки сомнений, отказ от части перманентной рекурсивной работы в области своих оснований, иными словами, как это обычно называется,—«занятие чёткой позиции». Но ценой чего чёткость? Благодаря жертвоприношению—стиранию полутонов, вопрошаний, зон отрефлексированного незнания и смыслов, что полагались и возникали на этом.

Для дискурсмейкеров, полагаю, эта манера едва ли не обязательна. Если они будут—«с одной стороны», «с другой стороны», «а ещё вот так»—будет менее притягательно, но чтобы вербовать и соблазнять, хотя бы самого себя,—нужна притягательность. Разум, чтобы явить себя конкретно-чарующим, должен явить себя менее корректно-всеобщим. Благодаря этому—позиционирование и эстетичность. Дискурсмейкер должен стоять с краю, а не быть везде и во всём, а если края пока нет, его приходится выдумать.

Можно пожалеть, к примеру, что Галковский считает шарлатаном Мамардашвили (писатель, поднявши лом на философа, проигрывает в один ход), но можно и понять, в чём тут его не-об-ходимость. Почему неглупый человек не мог обойти и вляпался в глупость? А почему сам Мамардашвили—схожим образом обошёлся с Гегелем, а? Чем ему Гегель плох? А вот тем же.

Таким образом, дискурсмейкер отличен от дискурсиарха главным образом не объёмом знаний, опыта, силой мышления (как дискурсиарх от дискурсолога) и даже не самой новизной мысли, а отвязностью новизны. Как Ницше, Маркс, Фрейд и прочие классики, как основатели религий.

Кстати, и любой человек, если он желает выглядеть лучше и как-то ещё умён, может отломить кусок разумности и бросить её на алтарь цельности-интересности. Если бросить всё, получится фанатизм. Но мы же не говорим—всё. Надо лишь кусочек. Для красоты.

Фишка методологии

Насколько различаются такие штуки, как «знать про X» и «знать, как рассказать про X»? Как часто они путаются у людей? Какая отсюда путаница в дальнейшем?

Например: я знаю, что могу написать «статью про экономический кризис»—лучше, чем про него пишут в среднем. Но я вовсе не уверен, что обладаю знанием про сам кризис. То есть я гарантирую, что моя статья не будет содержать явных глупостей, будет содержать ряд разумных и даже сравнительно оригинальных мыслей и будет неплохая в среднем по отрасли (но это не я такой умный, это такой упадок отрасли, журналистики и, мать его, экспертного сообщества). Но это именно знание того, как пишется недурацкая статья про кризис, подход сугубо профессиональный, но... профессией здесь будет именно журналистика, а не экономика. Это не знание кризиса. В беседе

с настоящим экспертом, коих мало,—быстро выяснится. Пожалуй, моё подлинное знание здесь сведётся к вопросу о моём незнании, и правильное описание его границ и образует собственно знание, не самое бесполезное.

Точно так же, к примеру, знание математики отличается от знания того, как сдать экзамен по математике. А как так? Тянущий билет, пишущий статью—имеет массу возможностей явить себя со стороны именно знания, не незнания, и знанием, как использовать возможности.

Бывает и обратная ситуация. Знать предмет, но не знать те способы, каким явить это знание. По жизни—куда как чаще. Попробуйте расспросить хорошего писателя, как он пишет. Девяносто процентов на то, что он вообще ничего не знает, тайна это у него, для него. Будет нести фигню, банальную и нелепую. «Вот идиот»,—подумается. А он не идиот. Он, может быть, даже гений.

Гуманитарные котята

Мне средний гуманитарий сравнительно со средним же технарём предстаёт существом недоразвитым, незавершённым, детёнышем, но… более сильного, что ли, вида. Котёнок уссурийского тигра рядом со вполне состоявшимся взрослым волком. Чёрт его знает, кто сильнее. Потенциально—всегда котёнок. А реально—зависит от его возраста. Маленького, очень маленького. Гуманитарные науки, если бы они были развиты, затмили бы технические, естественные. По влиянию на жизнь за окном. Но развиты они, сравнительно с ними, на десять процентов, если не на один. Я даже не уверен, могут ли они развиться как должно, то есть не помереть во младенчестве, вырасти сопоставимо. Психология, социология и так далее. Более или менее развитой кажется только философия в Древней Индии.

Похвала одной глупости

Любая привычка может быть истолкована как «дурная», ибо лишает человека «свободы». Но представим, что все привычки исчезли. Вместе с ними, чтобы уж полное освобождение до конца,—все графики и долги.

И что же? Так человечек знал, чем будет заниматься в понедельник в четырнадцать ноль-ноль и в субботу в семнадцать ноль-ноль. А так знать перестал. У него тысяча вариантов. Он даже не успеет подумать и удивиться. Он захлебнётся. Сразу, бесповоротно.

Аналогично наша «влюблённость». Конечно, это «глупое» чувство, это сужение мира, прежде всего, кто-то из писателей говорил, кажется Дюма-отец, это то, благодаря чему нам нравится одна женщина, а не тысяча. Если человек допускает влюблённость до права голоса в оценке, возникает глупость и безнравственность, да. Любой, кто меняет оценку человека в зависимости лишь от отношения к нему, всегда немного идиотичен; у нас же принято: «очароваться», «разочароваться», «её глаза как бирюза», «он оказался негодяем» и прочий бред. Кто-то из психиатров говорил, что влюблённость схожа с невротическим состоянием, может быть. Здоровы секс и брак по расчёту.

Но! Чтобы действовать в мире, человек должен как-то определиться. Сузиться. Идти по улице и хотеть всех симпатичных прохожих—может выйти—в своём пределе—практикой истощающей и безумной, для обычного человека, пожалуй, что и губительной. Потому сначала—«сексуальная ориентация». Потом—вкусы: в пользу «маленьких брюнеток», «больших блондинов», «студенток первого курса» и так далее. Наконец—финальный коллапс: «Мой Единственный Человечек» (или как там сие называется).

Никакой объективной реальности за данным «Единственным Человечком», разумеется, не стоит. Всё—игры твоего нечистого разума. Всё совершается на стороне субъекта, а не объекта, не его «качества», а твоя «история»—инсталлирует и кристаллизует «чувство». Это всё понятно.

Продуктивная иллюзия, делающая возможной хоть какую-то жизнь. Сама её возможность инсталлируется культурой. Как большинство иллюзий такого сорта, она полезна. Как большинство иллюзий такого сорта, рано или поздно умрёт. Срок её жизни зависит не от психики, а от конфигурации социальных полей. Как, например, и семья, её формы—обусловлены не сексуальностью, но социальностью. Типом общественного воспроизводства, поставкой рабочей силы, чего уж там.

Формула: несвобода определяет, благодаря чему в очерченной зоне внятности возможна хоть какая-то свобода.

Люди делятся на…

Примерно так:

1. нарушающие правила;
2. играющие по правилам;
3. выигрывающие по правилам;
4. поддерживающие правила;
5. сочиняющие правила.

Миром, по большому счёту, правят лишь Сочиняющие. Хотя кажется, что Поддерживающие; некоторым кажется, что Выигрывающие. И ещё одно. Каждый реально общается лишь со своими соседями по линейке. Так, Сочиняющий—обращается лишь к Поддерживающим. Ему нечего сказать Играющему, даже Выигрывающему. И наоборот. Пока человек не вышел в позицию суверена своей жизни (лишь из таких рекрутируются Держатели), ему бесполезно читать ряд книг. Будет видеть в них фигу.

Серийные убийцы гипотез

Конрад Лоренц писал, что хорошо бы перед завтраком расставаться с какой-нибудь своей любимой гипотезой, это полезно для здоровья и аппетита. Матёрый был человечище, всем бы так. Вместо курсовых требовать похорон какой-нибудь гипотезы, доктором наук считать того, кто убил, расчленил и закопал добрую сотню гипотез. Именно своих, родных, это обязательно. Вместо диссертаций требовать протоколы с места убийств. Собственно, и считая за диссертацию — описания похождений. С оговоренным числом трупов. «Этому палец в рот не клади — придумал себе тысячу смыслов и все их кокнул».

У матросов нет вопросов

Иммануил Кант, как известно, удумал ровно четыре антиномии чистого разума:

1. Свободна или несвободна воля?
2. Конечен или бесконечен мир?
3. Есть или нет безусловное существо (Бог)?
4. Есть или нет простая неделимая субстанция?

По Канту, всё это в пределах чистого разума не решается.

А как бы решили эти вопросы, если бы зачем-то надо было решить, современные идиоты? Политкорректные? Поставили бы на голосование, надо думать. Так вот, просто любопытно: как бы голоснули, а?

Вопросы сии не ставятся на голосование не оттого, что некорректно, а лишь оттого, что неактуально. То, что считается актуальным, так и решается. Так, вопрос о биологическом равенстве рас решается именно тем, что люди голосуют за те партии, для которых это догмат, а партии, у которых нет такого догмата, запрещены. Можно сказать, что это, мол, ситуация постмодерна. Но так было всегда. По философическому вопросу, собственно, важнее, кто выиграл, нежели кто прав по уму; сам тип ума — следствие выигрыша. Столь разные Гегель, Ницше и Маркс легко бы могли «кирнуть» на троих — за согласие в этом пункте. Ничего нового, да.

Практики просветляющего пинка

Педагогика, чтоб реально работала, должна бы сводиться к простой штуке. И там, где она работает, к ней и сводится. Имею в виду — педагогику как некую технологию. Вот есть специалист в предметной области X. И есть специалист в области X, который, типа, ещё и педагог, то есть имеет дополнительную квалификацию к своим предметным знаниям. Этот второй парень должен быть эффективнее первого в преподавании. Но чем? Ведь и первый может выложить предметное содержание.

Как известно, знание не переносимо трансляцией из головы А в голову Б. Иначе бы все уже ходили просветлённые выше крыши. Нет, есть ещё условия понимания. Сознание Б должно открыться навстречу А. Чтобы узнать ответы, надо задать вопрос. Чтобы задать вопрос, надо узнать, что ничего не знаешь, во-первых, и узнать, что это тебе хреново, во-вторых. Собственно, главный приём педагогики — это искусство божественного пинка, вышибающего из человека дурацкую веру в себя и дающего веру в того, кто тебе расскажет. Дать человеку почувствовать себя дураком, а того, кто тебя опустил, — почувствовать при том другом. «Сектанты», вообще священники — как правило, это дело умеют. Так сказать, педагоги от Бога.

А кто так не умеет — всего лишь знает предмет. Если у человека есть интерес, он его удовлетворит. Нет интереса — на нет, как известно, и суда нет. Гуляй, Вася.

Я не педагог. В этом вот смысле. Как и большинство тех, кто работает в школах, вузах. В лучшем случае эти люди просто знают предмет, близко не владея техникой Просветляющего Пинка. Не зная, что ею можно владеть.

Забавно, видел и наоборот: люди, зацикленные на педагогике как методологии, с презрением к предметности. То есть они считали, образно говоря, что не обязательно уметь стрелять из лука, чтобы научить стрелять из лука. Достаточно хорошенько подумать за педагогику, точки роста, зоны прорыва и так далее. Такие могут научить, но чему-то своему, сакральному. Например, говорить о педагогике.

Дискурсом и топором

За каждым серьёзным гуманитарным дискурсом должны везти палача, хорошую добрую плаху и роту деревянных солдатиков. Иначе никак. Не потянет дискурс. «А шёл бы ты, дискурс...» — скажет ему тот, который не дискурс.

В 2007 году был на летней школе, «Школе практической философии», так оно называлось. Я тогда уехал, а школа осталась. За пару дней до конца детдомовцы из соседних домиков, к школе отношения не имеющих, проявили-таки отношение. Нагадили ночью в большой лекционной беседке. Я не очень помню, чего там было дальше, но детдомовцы не пострадали никак. Э-э... когда миром рулили действительно более или менее практичные философии, пацанят наказали хотя бы символически. По пальцу бы хоть отрубили, что ли, из уважения.

«А как же христианство?» — спросят. А что? Христиане прекрасно умеют убивать, занялись этим сразу же, получив такую возможность. Политически религию сделали Великие Инквизиторы, а старца Зосиму возили с собой в обозе, выпуская после зачисток. ОМОН — Зосима — снова ОМОН — снова Зосима. Ядрёная смесь. Менее ядрёная (только ОМОН или только Зосима) туземцев не брала.

Умник может реализоваться лишь в институционально сложной среде, а такая среда косвенно обеспечивается насилием. Власть препода в аудитории, например. Если в обществе не будет человека, имеющего право применить к студентам физическое насилие, или у препода не будет права апеллировать к такому человеку, всё закончится довольно быстро и довольно плачевно. Примеры «гармоничных отношений» бесполезно приводить в опровержение. Девяносто девять процентов прохожих на улице не нуждаются в вязальных услугах полиции. Прессовать надо один процент, ну, может, десять процентов, но это действительно надо.

Платон искал себе просвещённого тирана, Аристотель нашёл македонскую «крышу», Конфуций — чиновник, Лао Цзы — мастер единоборств и сам себе полиция, и так далее. Вот у Сократа — да. «Крыши» не было. Чем кончилось, помним.

Плохой пример детям

Известно заклинание «жить ради детей», «потому что семью кормить», с дальнейшим логическим обращением внешнего отмаза во внутреннюю предъяву: «только ради тебя», «жизнь тебе посвятил». Бывает, что это формула мужества, всё бывает, но слишком часто — бывает наоборот. Совсем наоборот. Превращение своей жизни в средство, обнуление своих смыслов («говном жил, говном и помирать буду»), перекладывание ответственности.

«Чего ты в жизни-то делал?» — «Э-э». Не говорить же на Страшном суде, что грёб на галерах двенадцать часов в сутки, стонал, пыхтел и терпел, или, того пуще, обирал пыхтящих на галерах. «Э-э». Тут-то ребёночек и сгодится. Показать его, ясно, алиби — вот оно, вот ради него, «надо было в люди вывести». Ну так придёт время — ему тоже спросится: э-э? И он повторит трюк, явит своего: вот, надо было… И это такое откладывание Жизни на бесконечность. Глупо как-то. Некрасиво. И главное — зря всё. Ибо вечное повторение тут мать не обучения, но общего охренения.

Это не к тому, что «детей не надо». Кому-то и не надо, наверное, в целом — надо. Не надо превращать себя в средство и тягловую скотину, а новую жизнь — в средство и талон индульгенции. Помимо прочего, это ещё и невыгодно. Ну, банально. Это сигнал детям: не уважать. Ах, ты «живёшь только ради меня»? Ну давай, моя скотинка, давай молока и зрелищ. Более ранний мир, семейности коего мы завидуем, — прекрасно всё понимал: дети существуют для родителей, только так, не иначе. Вести себя иначе означает подавать плохой пример детям.

Операционная палата онтологии

О том, что есть некий орган, мы узнаём, если это болит. «Душа» — не исключение. «Душа болит» — это о чём? Это когда хреново, и это «хреново» никак и нигде не локализуется. Ни в конкретном месте тела, ни даже в конкретном событии. Тогда, конечно, болит «душа» как «указатель не на предметность, но на отсутствие возможности предметного указания».

Душа болит, помещённая в этот мир, и тут возникает несколько вариантов. Можно ампутировать то, что болит. Можно анестезировать, но это в некоем роде означает… ампутацию мира. Метафизика. Уместнее, правда, говорить о растворении и переворачивании мира. Если к литру водки добавить литр воды и бахнуть стакан, крепость выпитого будет двадцать градусов. Так, если к действительности добавить метафизику и бахнуть сию горючую смесь, крепость мирового зла заметно понизится. Можно его растворить — весьма. Но не будет ли это выплёскиванием, вместе с градусами, самого мира?

Можно ампутировать непосредственно болящее. У гностиков это называлось «гилики», сорт людей. Чтобы не мучиться в свинарнике, выгоднее всего быть свиньёй. Не иметь тех настроек и надстроек, которыми можно словить болючую волну. Как-то: хороший вкус, чувство собственного достоинства, прочее рисковое.

Эпохи можно судить по тому, как решают вот это, чего именно режется.

То, что я почитал бы за «философию», описывало бы третий путь, а может, четвёртый, пятый. При том, что философией исторически почиталось и первое, и второе.

Методологи против литераторов

Производить мышление и производить мысли — занятия похожие, но всё-таки разные. Сравните, к примеру, Гегеля и Ницше. В первом случае сила мышления явно доминирует над остротой мысли, во втором — наоборот. К первому типу чувствую зависть и его реальное превосходство, но «косить» почему-то хочется под второй.

«Миллион алых роз» и «подачка»

Один человек может сделать другому подарок. Оказать услугу. Вложиться. Впрячься. Оказать благодеяние.

Размер благодеяния зависит от двух вещей: мощи благодетеля и его отношения к объекту филантропии. Ну, банально. Олигарх дарит случайной девушке шубу с лёгкостью прохожего, кидающего в кружку нищего пятьдесят копеек. Она ему, по большому счёту, по фигу, но жалко ли — пятьдесят копеек? Средний человек копит на тот же самый подарок, допустим, год. С тем же итогом-подарком. От перестановки множителей произведение не меняется. Или всё-таки меняется?

Возьмём какой-нибудь более абстрактный пример. Далась нам эта шуба. Давайте так: «оказать поддержку». Поддержка условной силы в сто

единиц может быть следствием различных раскладов. Либо это пятьдесят баллов мощи, умноженных на два балла участия, либо это два балла мощи, умноженных на пятьдесят баллов участия. В первом случае это называется «с барского плеча», во втором — «самопожертвование». Что ценнее? Скажем так: что будет сильнее оценено? «На́ тебе, у меня такого навалом», — или: «С себя снял, последнее отдаю». Конкретно, чисто конкретно — кого предпочтут? Ну, как правило? Добрые чувства подают голос: «Второго, конечно, второго, ведь он действительно любит», но… ответ неверный. Оглянитесь вокруг. Выберут первого.

В первом случае мы имеем великодушие как избыток себя, во втором — жертвенность как недостаток себя. «Не могу без тебя жить», — в чём это признание? Прежде всего — в том, что тебя почти что и нет. Если тебя нет без кого-то, тебя нет самого по себе. А зачем кому-либо — тот, кого нет?

Художник из давней песни советской певицы Пугачёвой про «миллион алых роз»… или напомнить сюжет? Там художник продаёт свои картины, имущество, дом и покупает миллион алых роз, у него теперь ничего нет, а у дамы есть миллион алых роз. Так вот, этот художник прежде всего — я не люблю грубые выражения, но мне сейчас нужно грубое выражение, — так вот, он в первую очередь м…, а во вторую очередь — остальное, как-то: влюблённый, благородный, талантливый и так далее. Самое сильное чувство, которое он вызовет, — разве что испуг. Мало ли? Укусит ещё.

Это не про то, что не надо помогать людям. Надо. Берущий слабее дающего. Просто не следует жертвовать. Это плохо. Жертвует тот, кем уже пожертвовали самим («долг перед родиной» и тому подобное). Сильный проявляет великодушие.

Поддерживая беседу

Философия как учение о части нашего мира, которой вообще-то нет, но учение о которой делает возможным самое важное из того, что есть. Иными словами, нечто, реальное лишь в разговоре — пока этот разговор идёт. Как и религия. Кончится разговор — и всё. Кирдык. Только не разговору и не тому, о чём он шёл (всё равно же этого нет!), а уж, скорее, всему остальному.

Требующие любви

Требовать любви, считать, что люди должны тебя любить, — путь в ад. Многим так холодно, что они готовы греться и в пекле. Жалко не их, но тех, кого могут захватить по пути.

Тест на гнилость

У правильных людей сила противодействия прямо пропорциональна силе действия на них, у гнилых — наоборот. Простой тест: если к человеку отнестись хуже — это его улучшит или наоборот? Увы и ах, слишком многих сограждан это улучшит.

А у правильных всё правильно. На квант зла по отношению к ним они ответят примерно таким же квантом. Это их справедливость. А то, что они могут долго повышать ставку (от вежливой полемики до драки насмерть), причём аккуратно, — это их сила. Соответственно воздаётся за добро.

У гнилых гнило с пропорцией. Ты ему одну единицу зла, а он тебе десять. Ты ему десять, а он на колени встал и смотрит преданными глазами. Ты ему одну единицу добра, а он лыбится — слабину почуял. Ты ему добавки, а он тебе — говна мешок.

Хорошие люди практически не управляемы посредством кнута, плохие — посредством пряника.

Любая же унифицированная модель, любой «социализм» в отдельно взятой конторе — будет значить, что всем недодали.

Даже на примере учебных групп: умница нуждается в свободе, лохи и быдло — в дисциплине. Нос погладишь — получишь хвостом по морде. Накрутишь хвост — отвалится нос. Очевидный выход в дифференциации, но в обществе нашего типа таковая считается злом.

Сто цветов и одна колючка

Есть миллион способов того, как быть хорошим, и миллиард — как быть дефектным. Один из миллиарда — точно знать единственный способ, каковым люди бывают хорошими. Вспомнилось речение одной девушки: «Настоящие мужчины так себя не ведут», — и далее. Ага. Настоящие — бывают настоящими миллионом способов. Так, Брет Истон Эллис — настоящий. Хотя он педераст, героиновый наркоман, сидящий вдобавок ещё на «коксе» и так далее, если верить его же книгам. И что? Это не ода бисексуальности или опиатным наркотикам, просто замечание на полях, что бывает и так. Это же касается «настоящих женщин», «русских интеллигентов», «реальных пацанов» и кого угодно ещё. Миллион способов, миллион. А если вы знаете тот единственный, на соответствие которому готовы протестировать весь белый свет, то это, выражаясь языком Ницще, пассивный нигилизм и ресентимент, добавляя языком Делеза — «фашизм» и «паранойя», добавляя попроще — чухня и подростковые комплексы. Реальные предъявы могут быть только к формальной, но вовсе не содержательной стороне поведения. И попытка докопаться к содержанию поверх формы — вполне себе формальный признак избранного человеком несовершенства.

Репрессия по уму

С логической точки зрения, любой борец с авторитарным режимом должен быть репрессирован. Просто из уважения к его же позиции. Он же говорит две вещи: а) режим реально авторитарный, б) я с ним реально боюсь. Где самое место

такому человеку, по логике? В тюрьме, ссылке, эмиграции, в глухой опале. Авторитаризм же, мать его! То есть, сказав фразу, человек должен готовиться. А его дальнейшие злоключения, если они последуют, глубоко закономерны (независимо от того, что человек может быть прав, ему можно сочувствовать и тому подобное).

Но—что мы видим? Человек говорит: «Я борец с авторитарным режимом»,—и у него всё в шоколаде. Это всегда либо минус борцу, либо плюс режиму, в любом случае—расклад не в пользу борца. Одно из двух, только одно из двух: либо режим не авторитарный, либо борец липовый.

Какой из двух вариантов—про РФ? Полагаю, скорее второй. Режим мягко-авторитарный. «Признал, да? Тебя тоже надо репрессировать, да?» Нет. Я же не борюсь и не говорю об этом. Пока, во всяком случае.

Повторяю: это не то, что борцы не правы, что я им зла хочу и тому подобное. Совсем нет. Это про другое.

Гуманитарии без понтов

Гуманитарные науки не станут подлинной силой, пока там не сменится парадигма, согласно коей оценивается, в частности, профессионализм. А значит, и содержание профессии. Что тестирует современная диссертация? Это тест на знание, самое главное там, и это закономерно,—список используемой литературы. Это тормозящая парадигма. Я не очень-то представляю как, но тестировать надо деятельность.

На свете нет ничего практичней хорошей теории, все хорошие теории это подтверждают. А у нас? Социологом считается тот, кто может рассказать учебник социологии, психолог рассказывает учебник психологии, философ—учебник философии и тому подобное.

«Советы психолога». Что обычно бывает в такой рубрике СМИ? Представили? Какая-то общеобразная ерунда, любой человек с общим гуманитарным образованием справится как минимум не хуже, как максимум—лучше.

«Мнение наших политологов». Представили, чего там за мнение? Любой человек с нормальным гуманитарным образованием, любым образованием—отыграет такого политолога, как говорят в ролёвке. Возможно даже, отыграет и получше.

Психолог лишь тот, кто врач, то есть может банально снять у человека невроз, психоз. Все остальные, видимо, шарлатаны. Социолог лишь тот, кто мог бы предстать в ипостаси консалтера, продать свой разговор об обществе. Не обязательно, конечно, психологу врачевать, а социологу консалтерить—можно и семинары вести. Но семинары вести должен тот, кто может вот это.

Вопрос: а кем тогда должен предстать философ? Как минимум, полагаю я, литератором. То есть таким писателем в духе высокой фантастики а-ля Борхес, человеком, который может продать письменный текст на тему философии (не обязательно «продать» подразумевает какие-то деньги, имеется в виду—накалякать некий текст, который прочтут). Как вариант—священником. То есть опять-таки продавцом, но некоего самого главного. Если правильно понимаю, брахманы держали социум тем, что монопольно торговали смыслом жизни. Очень ликвидная, очень дорогая штука. Если умеючи.

Просто наши не умеют.

Одерживая поражение

Сколько поражений приходится одерживать, лишь бы не потерпеть победу! Кто-нибудь да поймёт, о чём я… А если и не поймут—всё равно ж красивая фраза.

Выверт и увёрт

Поймал себя на том, что собирался написать—добрый пост, но обидный конкретному знакомому человеку (при том, что сей человек вряд ли его ещё прочитает, ну, может, и прочитает—с вероятием пятьдесят процентов). Короче, не написал.

Это не благородство.

Это самая натуральная трусость.

Лишь немного искупаемая тем фактом, что я в ней признаюсь. Ибо признание в трусости может быть чем угодно, но уж не самой трусостью, да.

Низко о высоком

— И что тебе именно неинтересно?

— Ну, если предположить, что люди делятся на «шизофреников» и «параноиков», то мне явно интереснее первый тип мышления и жизни, хотя сам могу относиться и ко второму.

— А в чём разница?

— Первые живут так, чтобы мыслить, у них мышление—сродни физиологическому отправлению. А вторые откуда-то знают правильную идею и гонят под неё жизнь. «Настоящая любовь», «настоящая правда» и тому подобное. Но это же скучно. Поэт должен писать стихи, а мыслитель думать, ну, как люди, к примеру, мочатся,—и вот это и есть настоящее. А «любовь», «искренность», «справедливость»—засуньте себе обратно…

Пятьдесят грамм онтологии

Вот Митя Ольшанский годами пишет, что в «язычниках» его пугает природность. Пугает и меня. Как в анекдоте. «Настоящий хомяк должен сделать в жизни три вещи: пожрать, поспать и сдохнуть». Язычество же не викинг рогатый, и не маг чудодейный, и не Дионис, а… вот эта воспроизводимость круговорота природности. День прошёл—хорошо. Преклонение перед простыми штуками—общиной, укладом, пищей, деторождением. Настоящий хомяк, после того как поест-поспит и перед тем как сдохнет,—должен ещё оставить потомство.

Чтобы было кому сдыхать далее. Жизнь, полностью разлитая своим смыслом в натуральное, ничего трансцендентного и даже с намёком на него. Чистый обывательский мир, куда не вписываются, к примеру, наркотики и самоубийство, но также — мышление, творчество, различие, одиночество, подвиг. Скука мне, всего прежде — смертная скука.

Но не менее пугают меня и «христиане». Презрением к реальности, что ли. Скажем так: я не верю, что последние станут первыми. Более того: не считаю, что такой кувырок был бы благом. Наименее христианская из всех веток — протестантизм — представляется в сём вопросе и менее страшной. Если тезисно, то лох по жизни проклят настолько, что по смерти ему будет ещё хуже.

Таким образом, претит мир натуральный.

Претит и его отрицание в любой почти метафизике.

Что же тогда — символ веры?

Особо не толкуя, взял бы пока что фразу, приписываемую Гегелю: «Человеческое существование есть смерть, проживающая человеческую жизнь».

Раздражения не вызывает — что?

То, что представляется оправданным на уровне некоей гигиены некоего духа. Вопрос: какого? Трудно ведь согласиться, что человечьи радости могут быть редуцированы к хомячьим с небольшими вариациями, а это есть базовое убеждение обывателей. Равно трудно принять, что за лохами Царствие Божье, а есть базовое убеждение метафизиков, яро собирающих сокровища сугубо на небе.

Устроила бы попытка некоей онтологии без метафизики (как-то: Ницше и его ученики в двадцатом веке, от правого Хайдеггера до левого Делеза). Или даже феноменологии — без онтологии, как-то, положим, буддизм. Странное, конечно, соседство. Ну ладно. Всё пока что — поля и черновики.

Надеюсь, мне будет дадено ещё пересмотреть вот эти… интуиции, назовём их так (даже не воззрения пока что). Не знаю — кем дадено. «Дадено» же потому, что думается, скорее, посредством нас, а вовсе не «я подумал». Иначе бы я всё уже на свете подумал усилием воли. Как дурак какой.

Нижние и верхние нигилисты

Более всего раздражают люди, которые ни во что не верят, потому что они дураки. Причём злобные дураки. Для злобного дурака нет авторитетов вообще. Более же всего восхищают те, которые ни во что не верят, потому что они не дураки. Люди, за плечами которых годы некоего послушания, школы, и им уж не надо верить хоть кому-либо, кроме себя. Да и себе — не обязательно.

Орден Ивана-отступника первой степени

Долг лучшего ученика — отречься от учителя. Ибо любой учитель должен хотеть вырастить лучшее, чем он сам. Или хотя бы схожее, но другое, то есть равного собеседника. Если он хочет лишь свою же ухудшенную копию — это не учитель, а бизнесмен, политик, сектант и кто угодно ещё. Когда же лучший ученик совершится как надо, со стороны это будет предательством. Да и не только со стороны.

«Простое человеческое счастье», мать его

Как уже писано, один из самых опасных человеческих типов — люди, уверенные, что их должны любить. Где-то рядом бродят люди, уверенные в своём «праве на счастье». Ну, вроде как в праве на труд, прописанном в советской Конституции. «Счастья, счастья, счастья», — горланят их сердца и умы, ясные глаза и честные задницы. По две порции в одни руки, с четырнадцати ноль-ноль. И чтоб никто не ушёл обиженным, ага, сейчас. Лучше бы они, право слово, хотели хлеба и зрелищ. Это не так ранит.

Именно из таких фанатиков счастья рекрутируются — истерички, беспредельщики, наркоманы, самоубийцы, невротики и психотики всех мастей.

Счастье — это то, чего всегда недодали, это же понятно. А если недодали, то… щас копытом по рогам, щас. Если чужие рога временно недоступны, то хотя бы по собственным.

К чему тогда — лечь желанием? Буддисты вот желают избавления от желаний — и менее несчастны, чем алкающие своего счастья. Вообще, как писал старик Шопенгауэр, несчастье позитивно, счастье негативно, то есть, по логике сего мира, стремиться надо именно к избавлению от несчастья, и будем вам. Старик Ницше не согласился бы со стариком Шопенгауэром, сказал бы про власть. Старик Кант послал бы обоих и сказал бы про долг. Сказали бы разное, но любой способ, заметим, лучше с точки зрения обретения пресловутого «счастья», нежели хотеть его самого.

Долги и хотелки

У многих странные представления о «силе воли». Стиснуть зубы и терпеть. Всю жизнь — со сжатыми зубами. То есть выбор между «долгом» и «хотелкой» в пользу «долга», и так каждый час, всю жизнь. Но слишком часто твой «священный долг» — всего лишь хотелка кого-то иного. Может быть — хотелка ближних, может быть — давно умерших людей и народов, может быть — всего лишь стечение обстоятельств. Так, может быть, на фиг, а? Набраться наконец окаянной воли, чтобы позволить себе, помимо всего прочего, слабоволие?

Чёрные дырки прогресса

Техника может усиливать ум и глупость, совесть и подлость, бытие и его отсутствие (точнее сказать, технологии размещения всякой разной техники в социальном поле). Железо играет по разные

стороны добра и зла: есть техника человечности и техника чёрных дыр. Решение тут обычно: нужна «цензура». Социогуманитарная цензура любой прикладности, идущей в тираж. Та же «информационная эра», мягко выражаясь, неоднозначна. Избыток информации губит смысл даже успешнее, чем её недостаток… Хотя бы претензией на его функции. В пределе тут — общество информированной глупости. Дурак информированный не страшнее ли дурака обычного? Примерно как пьяный с техникой опаснее пьяного безоружного?

Поэтическое настроение

Писать не напрягаясь — как минимум. Писать так, как будто запечатываешь письмо, то есть как будто всё уже сказано. И ты запечатываешь конверт, понимая, сколько в него не войдёт. Представительствовать за некое облако рассеянных смыслов. Наконец — нарисовать так, как облако проплывало в памятный день. Отпуская само его лететь дальше, ловя с каждым квантом письма своё отставание.

Бежать, чтобы понять

Как можно что-то понять вообще? Главное — иметь необходимость возможности. Ради этого — начать что-то делать. Многие вещи нельзя понять, занимая особые точки социального поля. Бежать надо. И даже не важно куда. Важно — откуда. Многое лучше понимаешь даже из ниоткуда, чем откуда попало. Надо делать что-то такое, что, помимо прочего результата, вырабатывало бы твоё непонимание… Как можно понять? Если ещё не понял своего непонимания?

Продолжая пинать постмодерн

«Почему бы нам не залаять?» Самое естественное продолжение развенчанного к концу двадцатого века — назовём это, до кучи, онто-тео-телео-фаллоцентризмом… Изощрённый философский аппарат победивших постмодернистских аналитик двадцатого века — бессилен к факту того, что наследующие Землю будут, мягко говоря, не философы.

Ну, например, Владимир Сорокин — великий русский писатель. Но в чём беда? В том, что подобные тексты — неминуемая точка любой культуры (тут не важно, что Сорокин как человек может быть умнее Толстого, Солженицына и так далее,— более существенно, что своей работой он сознательно или бессознательно замыкает линию настолько, что территории не хватает уже ему самому). Подобная литература — теоретически безупречно снимающая культ «классики» как факультативной конвенции — наследуема только попсой. Сама попса не является, кстати, злом, как не являются злом котлета или древесина. Но, в свою очередь, попса наследуема не попсой до бесконечности, а ублюдком с дубьём. Как итог того, что что-то перестало воспроизводиться. На Страшном суде, возможно, будут «шить» именно это обвинение: «открыли городские ворота хаму».

Спасение читателей

Вот долдонят: «кризис литературы», «помогите писателям»… Чисто стилистически не очень приятно было бы очутиться в богадельне, и чисто логически — литературу спасёт отнюдь не копеечка, поданная литератору. В другом же проблема. Не надо спасать писателей! Спасите читателей, и с писателями всё наладится. Большинство людей не имеет социальных условий для хорошего чтения: вот, собственно, и «кризис литературы», по крайней мере, в части запроса.

Маркетинг, брендинг, прочее полезное

Мир задыхается оттого, что слишком много вещей и поверхностей. Умножающий потребность в вещах и поверхностях служит чёрную мессу, обучая самого человека на вещь и поверхность.

Животное, задуманное о смерти

Всё-таки человек — осмысленное животное: знающее смерть, живущее относительно её знака… Без него — не жизнь: слишком дурацкое подобие даже для опытных дураков. Приходится изобретать в голове какие-то фигуры, сопрягающие знаемую конечность и мыслимую бесконечность. Так что если не верование в бесконечность, то хотя бы тоска по ней. Хорошо это или нет, человек не возможен здоровой бестией, для которой такой смысл излишен, а возможен лишь более или менее плохим человеком.

Демаркационная фраза

«Вы считаете, что прежде всего глупо писать непристойности, а я считаю, что прежде всего непристойно писать глупости, и здесь нам с вами не договориться, это — две разных манеры жизни».

Время — не деньги

Вот говорят: время — деньги, время — деньги… Мол, времени так придаётся ценность. Всё наоборот. Время так обесценивается. Оно важнее, как необратимая ценность сравнительно с обратимой. Продажа и покупка человеческого времени — в этом всегда есть что-то от аферы. Кто предполагаемая жертва? Попытка надуть трансцендентное, скажем так, конвертировать в имманентное вообще всё. Но его нельзя надуть. Жертва здесь — сами сдельщики и подельники.

Продолжение следует

стр. 87 **Алейников Владимир Дмитриевич**
Москва/Коктебель, 1946 г. р.

Родился в Перми, детство провёл в городе Кривой Рог на Украине. Поэт, писатель, переводчик, художник. Учился на отделении истории и теории искусства истфака МГУ. Основатель и лидер легендарного содружества СМОГ. С 1965 года публиковался на Западе. Более четверти века тексты широко распространялись в самиздате. В восьмидесятых был известен как переводчик поэзии народов СССР. Автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний о былой эпохе и своих современниках. Лауреат премии Андрея Белого. Член ПЕН-клуба. С 1991 года живёт в Москве и Коктебеле.

стр. 156 **Артис Дмитрий**
Санкт-Петербург, 1973 г. р.

Родился в городе Королёве Московской области. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького и Российскую академию театрального искусства. Печатался в периодических изданиях «Другие берега», «Современная поэзия», «Российский колокол», «Литературная газета», «Дети Ра», «Зинзивер» и др. Книги стихотворений: «Мандариновый сад» (2006), «Ко всему прочему» (2010), «Закрытая книга» (2013).

стр. 160 **Арутюнов Сергей Сергеевич**
Москва, 1972 г.р.

Родился в Красноярске, в 1999 году окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Поэт, прозаик, публицист, педагог. Руководитель творческого семинара в МЛИ им. А. М. Горького. Публиковался во многих литературных изданиях. Автор восьми изданных книг.

стр. 21 **Беликов Юрий Александрович**
Пермь, 1958 г. р.

Родился в городе Чусовом Пермской области. Поэт, эссеист, публицист. Автор трёх поэтических книг: «Пульс птицы», «Прости, Леонардо!» и «Не такой». Обладатель Гран-при и звания «Махатма российских поэтов» (всесоюзный фестиваль поэтических искусств «Цветущий посох», Алтай, 1989), лауреат международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие» (2006) и всероссийской литературной премии имени Павла Бажова (2008). Основатель трёх поэтических групп — «Времири» (конец 1970-х), «Полит-бюро» (конец 1980-х) и «Монарх» (конец 1990-х). Лидер движения «дикороссов». Работал собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». Стихи публиковались в журналах «Юность», «Знамя», «День и ночь», «Арион», «Дети Ра», «Флорида» (США), «Зарубежные записки» (Германия), «Киевская Русь» (Украина»), «Иерусалимский журнал» (Израиль). Награждён Орденом Велимира «Крест поэта». В настоящее время — собкор «Литературной газеты».

стр. 21 **Богомолов Виталий Анатольевич**
Пермь, 1948 г. р.

Прозаик, публицист. Окончил филологический факультет Пермского государственного университета. Публиковался в альманахах «Литературное Прикамье», «Третья Пермь», в журналах «Российская провинция», «Наш современник», «Литературная Пермь», в газетах «Очарованный странник», «Литературная Россия» и др. Автор нескольких книг, многочисленных рассказов, стихотворных сборников. Лауреат Всероссийского литературного конкурса имени Василия Шукшина (1998), областной премии в сфере культуры и искусства (1999). Победитель конкурса рассказов на духовную тематику (Клин, 1998), конкурса рассказов военной тематики (2000), объявленного «Литературной Россией» в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне. Член Союза писателей России.

стр. 164 **Брель Сергей Валентинович**
Москва, 1970 г. р.

Родился в Москве. Окончил Московское педагогическое училище №1 имени К. Д. Ушинского, затем Московский открытый педагогический университет им. М. А. Шолохова по специальности «учитель русского языка и литературы». Кандидат филологических наук. В 2009 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров в Москве (мастерская Л. Голубкиной и О. Дормана, специальность — «драматургия игрового и неигрового кино»). Автор двух поэтических сборников: «Мир» и «Свой век». В 2007 году с С. Арутюновым и М. Лаврентьевым основал литературную группу «Дети Ампира», выступления которой проходили в Москве. Член Союза писателей XXI века. Преподаёт русский язык, литературу, мировую художественную культуру, ведёт открытый семинар для школьников и студентов «Современная драматургия и основы сценарного мастерства».

стр. 51 **Валеев Марат Хасанович**
Красноярск, 1951 г. р.

Родился в городе Краснотурьинске Свердловской области. Рос и учился в селе Пятерыжск на Иртыше, в целинном Казахстане, куда попал вместе

с родителями ещё в дошкольном возрасте. Окончил школу, после работал бетонщиком на заводе ЖБИ, призвался в СА. Служил в стройбате в 1969–1971 годах, строил военные объекты в Пермской, Костромской, Саратовской областях. Вернулся в Казахстан, работал сварщиком в тракторной бригаде. В профессиональной журналистике с 1972 года. Работал в газетах Павлодарской области «Ленинское знамя» (Железинка), «Вперёд» (Экибастуз), «Звезда Прииртышья» (Павлодар). Окончил факультет журналистики КазГУ (Алма-Ата). В 1989 году приглашён в газету «Советская Эвенкия» на севере Красноярского края. Сейчас — редактор этой газеты, но под другим названием: «Эвенкийская жизнь». Без отрыва от основной работы, а порой и прямо на ней написал и опубликовал несколько сотен иронических, юмористических рассказов и миниатюр, фельетонов. Член Союза российских писателей, автор нескольких сборников.

стр. 158

Гайдукова Людмила Сергеевна

Зеленогорск, 1953 г. р.

Родилась в Улан-Удэ. Окончила Дальневосточный государственный университет по специальности «астрономо-геодезия». Работает директором муниципального учреждения «Центр учёта городских земель». Стихи публиковались в периодической печати, в поэтических сборниках «Поэтессы Енисея», «Поэзия на Енисее» и др. Поёт, аккомпанирует на гитаре.

стр. 78

Дьячков Александр Андреевич

Екатеринбург, 1982 г. р.

Родился в городе Усть-Каменогорске (Казахстан). В 1995 году семья переехала на Урал, в Екатеринбург. Окончил Екатеринбургский государственный театральный институт по специальности «актёр театра драмы и кино». Выпускник Литинститута им. А. М. Горького. Участник литературной группы «Разговор». Стихи публиковались в журналах «Арион», «Нева», «День и ночь», «Сибирские огни», «Фома», в «Литературной газете». Некоторые произведения переведены на вьетнамский и болгарский языки. Автор нескольких поэтических сборников.

стр. 114

Каминский Семён

Чикаго, США, 1954 г. р.

Родился в Днепропетровске. Прозаик, член Международной ассоциации писателей и публицистов, Международной федерации русских писателей и Объединения русских литераторов Америки. Образование высшее техническое и среднее музыкальное. Работал преподавателем, руководителем юношеского фольклорного ансамбля, менеджером рок-группы, директором подросткового клуба и рекламного агентства, режиссёром и продюсером телевизионных программ, редактором. Публиковался в России, Украине, США, Канаде, Израиле, Германии, Финляндии, Дании, Латвии, в том числе в журналах «Дети Ра», «День и ночь», «Сибирские огни», «Северная Аврора», «LiteraruS», «Зинзивер», «Ковчег», «Сура», «Время и место», «Побережье» и многих других. Лауреат премий журналов «Дети Ра» (2011) и «Северная Аврора» (2012). Автор книг: «Орлёнок на американском газоне» (рассказы и очерки; Чикаго, «Insignificant Books», 2009), «На троих» (сборник рассказов; в соавторстве с В. Хохлевым, А. Рабодзеенко; Чикаго, «Insignificant Books», 2010), «Папина любовь» (Таганрог, «Нюанс», 2012), «30 минут до центра Чикаго» (рассказы; М., «Вест-Консалтинг», 2012).

стр. 131

Карапетьян Рустам Анатольевич

Красноярск, 1972 г. р.

Родился в Красноярске. Учился в Красноярском государственном университете на математическом и психолого-педагогическом факультетах. Несколько лет посещал литературный семинар А. Лазарчука. Публиковался в журналах «День и ночь», «Новый Енисейский литератор», «Контр@-банда», «Литературный MIX», «Огни Кузбасса», «Мурзилка», «Читайка», «Сибирёнок», а также в различных антологиях и сборниках. Лауреат премии им. В. П. Астафьева в номинации «Поэзия» (2007). Финалист Илья-Премии (2008). Победитель конкурса «Король поэтов: реванш» (2008, Красноярск). Лауреат премии «Золотое перо Руси» (2010). Руководитель красноярского литературного объединения «Диалог». Автор книги стихов «Четыре стороны небес». Член Союза русскоязычных писателей Армении и диаспоры. Член красноярского представительства Союза российских писателей.

стр. 166

Корниенко Олег Иванович

Сызрань, 1954 г. р.

Родился в селе Котовское на Киевщине. Окончил 1-е Харьковское военное авиационно-техническое Краснознамённое училище и Курганское высшее военно-политическое авиационное училище. Более 27 лет отдал Сызранскому высшему военному авиационному училищу лётчиков, воевал в Республике Афганистан. Награждён восемью медалями, в том числе «За боевые заслуги». Печатался в центральных изданиях: «Аврора», «Детская Роман-газета», «Истоки», «Наш современник», «Московский вестник», «Российский писатель», «Советский воин», «Смена», «Будь здоров!», «Луч» (Ижевск), «Русское эхо» (Самара), «Мономах» (Ульяновск), «Истоки», «Новый Енисейский литератор», «Енисейка», в коллективных сборниках издательств Украины, Москвы, Самары. Член Союза писателей России. Председатель Сызранской городской организации «Содружество детских писателей». Лауреат литературных премий «Город» (1999) и «Признание» (2006). Дипломант

IV Международного конкурса детских и юношеских произведений им. А. Н. Толстого (2012). Автор книг для детей «Шаги за дверью» (Самара) и «Воздушный почтальон» (Москва).

стр. 84

Красиков Михаил Михайлович

Харьков, Украина, 1959 г. р.

Поэт, этнограф, фольклорист, литературовед, культуролог, культуртрегер. Родился в Харькове. Окончил филологический факультет Харьковского университета в 1982 году. Кандидат филологических наук. Доцент кафедры этики, эстетики и истории культуры Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Директор Этнографического музея НТУ «ХПИ» «Слобожанські скарби» им. Г. Хоткевича. Автор четырёх книг стихов, составитель нескольких десятков книг, в том числе «Антологии современной русской поэзии Украины» (1998). Почётный член Всеукраинского союза краеведов. Член Ассоциации искусствоведов (Россия) (2011). Член Международного фонда памяти Б. Чичибабина (2005).

стр. 121

Кузнецова Зинаида Никифоровна

Зеленогорск

Родилась в Воронежской области, в большой крестьянской семье. В Красноярск-45 (ныне Зеленогорск) приехала в 1966 году. Работала электромонтёром связи на Красноярской ГРЭС-2, в течение 37 лет была секретарём высших руководителей города. Литературным творчеством занимается с 25 лет. Автор нескольких поэтических сборников. Многочисленные публикации в газетах, в журналах «День и ночь», «Енисей», «Светлица», «Совершенно открыто», «Молодая гвардия», «Новый Енисейский литератор», в коллективных сборниках. Руководитель литературного объединения «Родники» Зеленогорска, составитель и редактор коллективных и авторских сборников городских поэтов. Член Союза российских писателей, член правления Красноярской писательской организации.

стр. 65

Курчина Светлана

Подмосковье, 1970 г. р.

Родилась в Подмосковье. Окончила географический факультет Московского педагогического университета им. Крупской и Высшие литературные курсы Литературного института им. А. М. Горького. Печаталась в журналах «Простор», «Алтай», «Урал».

стр. 38

Лейфер Александр Эрахмиэлович

Омск, 1943 г. р.

Родился в Омске. Писатель, публицист, председатель Омского отделения Союза российских писателей, заслуженный работник культуры РФ. Окончил Казанский государственный университет (отделение журналистики историко-филологического факультета). Печатается с 1962 года. Работал в СМИ Омска. Автор целого ряда книг о жизни и творчестве выдающихся исторических и культурных деятелей, судьбы которых связаны с городом Омском; исследователь творчества Ф. М. Достоевского. Член редколлегий журнала «День и ночь» (Красноярск) и альманаха «Голоса Сибири» (Кемерово), редактор альманаха «Складчина». Член ПЕН-клуба.

стр. 108

Ломтев Александр Алексеевич

Саров, 1956 г. р.

Родился в селе Пузо (ныне Суворово) Нижегородской области. После окончания школы работал инструктором служебного собаководства, киномехаником, мастером по сложной бытовой технике, электромонтёром. Окончил Арзамасский педагогический институт (факультет русского языка и литературы). Основал несколько газет: «Саров», «Саровская пустынь», «Знай наших». Являясь их учредителем и главным редактором, как журналист, специализирующийся на «горячих точках», побывал в Чечне, Приднестровье, Абхазии, Косове, Боснийской Сербии, Южной Осетии; во время кризиса был у стен Белого дома, позже освещал происшествие в «Норд-Осте». Публиковался во многих федеральных СМИ России, в том числе в литературных журналах «Роман-журнал XXI век», «Сибирские огни», «Север», «Южная звезда», «Дальний Восток» и др. Автор книг «Путешествие с ангелом», «Ундервуд». Повесть «Ичкериада» стала победителем конкурса «Имперская культура» Союза писателей России. Лауреат нескольких журналистских и литературных премий. Председатель общероссийской медийной организации «Клуб главных редакторов региональных СМИ России». Член правления Нижегородского отделения Союза писателей России.

стр. 136

Мартынов Евгений Александрович

Зеленогорск, 1930 г. р.

Родился в деревне Сиб. Саргатка Омской области. Окончил Омское речное училище, машиностроительный институт. Работал в литейных цехах заводов Омска, Новосибирска и Бердска мастером и начальником цеха, преподавателем электромеханического техникума в Бердске и Зеленогорске, директором спортсооружений, слесарем, воспитателем Школы космонавтики, преподавателем и мастером производственного обучения по изготовлению художественных изделий из керамики УПК. Автор нескольких поэтических сборников, среди которых: «Про Зеленогорск», «Чем солнце не гончарный круг?», «Такое детство», «Вечность», «В поисках веры», «Походы были», «Огниво», «Саяны будят», «Взвесь на ладонях» и др. Автор романов «Промысел Божий» и «Таинство и тайна». Публикации в коллективных сборниках

и журналах «Сибирские огни», «День и ночь», «Совершенно открыто», альманахе «Тритон». Член Союза российских писателей.

стр. 101
Миллер Константин
Германия

Родился в Комсомольске-на-Амуре. Окончил исторический факультет Новосибирского педуниверситета. Несколько лет работал в археологических экспедициях, преподавал историю в разных учебных заведениях города Новосибирска. Автор нескольких пьес, опубликованных на сайте «Проза.ру», в журнале «День и ночь».

стр. 5, 37, 64, 199
Минин Евгений Аронович
Иерусалим, Израиль, 1949 г. р.

Окончил Витебский станкоинструментальный техникум. Служил в войсках ПВО. После службы в армии окончил Ленинградский политехнический институт и четыре курса Витебского педагогического института. Работал мастером, начальником цеха на Витебском заводе часовых деталей, преподавателем в средней школе. Автор семи книг стихов и пародий и одной книги прозы. Стихи, пародии и проза печатаются в израильских, американских, европейских, российских журналах и газетах. Главный редактор журнала «Литературный Иерусалим», ответственный секретарь журнала «Иерусалимский журнал», член редколлегии альманаха «День поэзии» (Россия), издатель и редактор множества поэтических сборников. Автор текстов песен для восьми музыкальных альбомов, выпущенных российскими студиями грамзаписи. Председатель Иерусалимского отделения СП Израиля, член Союзов писателей Израиля и Москвы.

стр. 14
Павлов Олег Николаевич
Еманжелинск, 1953 г. р.

Родился в селе Кыйлуд Нылгинского района Удмуртии. Стихи печатал в журналах «Южный Урал», «Уральская новь», «Уральский следопыт», «Урал», «Врата Сибири», «Наш современник», в коллективных сборниках. В 2002 году выпустил авторский сборник «Апокрифы», в 2006 году — «Изборник». Редактировал литературные альманахи «Новый ковчег», «Южный Урал». Руководит Челябинским областным литературным клубом «Светунец» и литературным театром «Лукоморье», в репертуаре которого есть и его пьесы-сказки. По образованию — режиссёр, работал художником, актёром, культпросветработником, педагогом, редактором.

стр. 163
Поповский Александр
Первомайский Челябинской обл.

Родился в посёлке Астрахановка Актюбинской области (Республика Казахстан). Первое стихотворение опубликовано в журнале «Костёр» и в болгарской газете «Септемврийче». Печатался в «Литературной газете» и в «Антологии современной уральской поэзии 2004–2011», в журналах «Сибирские огни» (Новосибирск), «День и ночь» (Красноярск), «Южная звезда» (Ставрополь), «Простор» (Алма-Ата), «Урал» (Екатеринбург), «Кольцо „А“» (Москва), «Великороссъ» (Москва), «Бельские просторы» (Уфа), «Транзит-Урал» (Челябинск), в коллективных сборниках. Автор трёх поэтических книг. Участник двух Всероссийских совещаний молодых писателей. Лауреат премии Российского творческого союза работников культуры в номинации «Поэзия». Член Союза писателей России.

стр. 6
Пырх Виталий Петрович
Красноярск, 1944 г. р.

Родился в городе Запорожье. Окончил Запорожский металлургический техникум. После его окончания работал отжигальщиком термических печей на заводе «Запорожсталь». Служил в Советской армии. С отличием окончил факультет журналистики Уральского государственного университета. Работал корреспондентом, заведующим отделом промышленности и собственным корреспондентом республиканских и центральных газет. С 1987 года живёт в Красноярске, где работал корреспондентом газеты «Трибуна». Автор более двух тысяч газетных публикаций различных жанров, двух десятков статей в толстых журналах, а также нескольких книг публицистики, изданных в Москве и Сыктывкаре, шестнадцати поэтических сборников и трёх книг документальной прозы.

стр. 80
Скобло Валерий Самуилович
Санкт-Петербург, 1947 г. р.

Окончил математико-механический факультет Ленинградского университета в 1970 году. С 1970 по 2007 год работал инженером, научным сотрудником в ЦНИИ «Электроприбор». Многочисленные публикации в области прикладной математики, радиофизики, оптики. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Стихи, проза, публицистика печатались в российских и зарубежных изданиях: «День поэзии», «Молодой Ленинград», «Нева», «Аврора», «Невский альбом», «Петербургский час пик», «Невское время», «Арион», «Литературная газета», «Независимая русская газета», «Колокол» (Англия), «Горизонт», «Новое русское слово», «Слово\Word» (США), «Иерусалимский журнал» (Израиль), «Крещатик» (ФРГ) и др.; в неподцензурных изданиях (1982–1983): антологии «Острова», журнале «Молчание»; стихи для детей — в журнале «Чиж и Ёж» (СПб).

стр. 43
Свищёв Михаил Георгиевич
Москва, 1969 г. р.

Поэт, журналист. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Главный редактор

издательского дома «ПЛАС». Лауреат студенческой версии Международной Волошинской премии (2010) и Международного конкурса имени Н. С. Гумилёва (2011). Публикации в журналах «Наш современник», «Литературная учёба», «Дети Ра», «Сибирские огни», альманахах «Волшебная гора», «Алконостъ» и др. В 2009 году вышла первая книга стихов — «Последний экземпляр». Член Союза писателей России, Союза журналистов России.

стр. 171 **Силаев Александр Юрьевич**
Красноярск, 1978 г. р.

Прозаик, журналист, публицист. Получил экономическое образование, окончил аспирантуру по направлению «Социальная философия». Преподавал философию в Сибирском государственном технологическом университете. Работал обозревателем газеты «Вечерний Красноярск». Лауреат премий Фонда Прохорова в области культурной журналистики. Лауреат литературных премий им. Астафьева (2000) и «Дебют» (2003). Член Союза российских писателей, Русского Пен-центра. Автор повестей и рассказов «Недомут», «Признания врага народа», «Армия Гутэнтака» и др., издававшихся в Красноярске, Москве.

стр. 17 **Слюсарева Наталия Сидоровна**
Москва, 1947 г. р.

Родилась в Китае. Окончила факультет журналистики МГУ. Работала в редакциях различных журналов. Переводчица с итальянского (устный). При советской власти не публиковалась. Автор трёх изданных книг прозы, а также нескольких неизданных книг прозы и пьес.

стр. 82 **Ставер Сергей Петрович**
Назарово, 1949 г. р.

Родился на станции Крутояр Красноярского края. По профессии — художник-оформитель. Автор девяти поэтических сборников, участник Всероссийских литературных чтений имени В. П. Астафьева. Публиковался в литературных журналах «Енисей», «День и ночь», «Сибирские огни», «Сибирские Афины», альманахах «День российской поэзии», «Новый Енисейский литератор». Руководитель народного коллектива назаровских литераторов «Эхо Арги», член Союза российских писателей.

стр. 44 **Уваров Юрий Васильевич**
Переделкино, 1944 г. р.

Родился под бомбёжкой в станице Николаевская Ростовской области. По образованию — художник. Жил и работал в Горьком. Прошёл вдоль Волги пешком от истока до Каспия. Несколько лет прожил в лесах Заволжья. Прошёл весь Северный морской путь на всех существовавших тогда атомоходах. Жил в Вологде. Шесть раз представлял литературу Горьковской области на всесоюзных и международных фестивалях поэзии. Трижды лауреат премии имени Бориса Корнилова. В советские времена активно печатался в центральных литературных газетах и журналах. Два года проработал в Дагестане спецкором «Литературной России». Во всех концах Союза оставил свои работы как художник (скульптура, росписи, мозаики). Окончил в 1983 году ВЛК, занимался в семинаре Александра Межирова. Автор сценария дипломной работы Александра Сокурова «Лето Марии Войновой», четырёх собственных поэтических сборников и 35-ти переводных книг. Был литературным секретарём у Ольги Берггольц. Член Союза писателей, Международного союза художников, действительный член Международной академии творчества. Последняя публикация — в 1991 году в «Новом мире».

стр. 154 **Учаров Эдуард Раимович**
Казань, 1978 г. р.

Родился в Тольятти. Окончил Академию труда и социальных отношений (юридический факультет). Публиковался в газете «Самоцвет» (Челябинск), в журналах «Оборона России» (Москва), «Идель», «Чаян» (Казань), «Дружба народов» (Москва), в коллективных поэтических сборниках «Пульс», «Пульс-3» (Москва). Член редколлегии журнала «Казанский альманах». Стихи переведены на сербский язык. Удостоен грамоты в литературно-поэтическом конкурсе «Малая родина», дипломов в рамках проекта конкурса «Политическая поэзия современности» и литературного конкурса «Дебют года». Автор книги стихов «Подворотня» (Краснодар, 2011).

стр. 3 **Черкесов Валерий Николаевич**
Белгород, 1947 г. р.

Родился в городе Благовещенске Амурской области. Работал корреспондентом в местных газетах. В 1982 году переехал в Белгород, где также работает в газетах. Специальный корреспондент «Литературной газеты»; руководитель центра развития детского литературного творчества «Родная лира» при библиотеке А. Лиханова; выпускает детскую газету «Большая переменка». Поэтические сборники: «Вечные родники» (1977), «Небо и поле» (1982), «Заповедь» (1989), «Люблю» (1993), «Летописец» (1995), «Непохожие стихи» (1999), «Камни заговорили» (2000), «У светлой реки» (2007) и другие. Член Союза журналистов России.

стр. 138 **Шлёнский Александр Васильевич**
Красноярск, 1955 г. р.

Родился на Урале. После окончания школы проходил службу в Западной Украине и Забайкалье. Учился в музыкальном училище по классу гитары. Сменил много профессий. Работал на речном флоте мотористом на Волге, Вятке, Каме, затем, после окончания школы комсостава, ходил по

сибирским рекам штурманом. Занимался изготовлением музыкальных инструментов. Фанатичный таёжник, охотился в сердце Саян и провёл там значительную часть своей жизни. Публиковался в журналах «День и ночь», «Сибирские огни».

стр. 113 Шубин Александр Николаевич
Челябинск, 1952 г. р.

Родился в Озёрске Челябинской области. Учился в техникуме, затем—в Челябинском политехническом, Уральском политехническом институтах (общая специальность—«автоматика, телемеханика»). Работал на градообразующем предприятии ПО «Маяк», в девяностые—директором фирмы по организации концертной деятельности, директором филиала Уральского страхового общества, энергетиком, инженером. Изданы две книги стихов. Член Союза российских писателей.

стр. 27 Щербаков Александр Илларионович
Красноярск, 1939 г. р.

Родился в Красноярском крае, в селе Таскино, в старообрядческой крестьянской семье. Образование—история и филология, экономика и журналистика. Работал учителем, корреспондентом краевых и центральных изданий, возглавлял Красноярское отделение Союза писателей России. Автор двух десятков книг стихотворений, прозы, публицистики, повести «Свет всю ночь», сборников рассказов «Деревянный всадник», «Лазоревая бабка», «Змеи оживают ночью», поэтических книг «Трубачи весны», «Глубинка», «Горлица», «Жалейка», «Дар любви». Печатался в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», «Уральский следопыт», «Сибирские огни», «Огонёк» и др. Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Академик Петровской академии наук и искусств.

стр. 85 Юхименко Анатолий
Канев, Украина, 1960 г. р.

По образованию биолог. Большую часть сознательной жизни ухаживал за озимой пшеницей. Кандидат сельскохозяйственных наук. Публикации на литературных порталах «Стихи.ру», «Мегалит», в журнале «День и ночь».

ДиН пародия

Евгений Минин

Невыгодное дело

За все в ответе

Я ощущаю—страшную!—
ответственность за Гомера…
Марина Саввиных

Я в тревоге,
теперь отвечаю за Сафо и Эзопа!
Их обидеть не дам,
если критики вздумают сдуру.
Еврипид, Гесиод и Гомер—
что Америка нам и Европа,
Я готова за них
на Голгофу и на амбразуру.
Как живых вижу их—
тех поэтов,
и гордых,
и смелых,
Нет прекраснее строк
и не будет чудесней на свете!
Я в ответе
за весь древнегреческий дом престарелых!
Жаль, не знаю:
а кто за стихи мои будет в ответе?!

Раздевальное

Земную жизнь пройдя до половины,
Я осенью, как прежде, без пальто.
Анна Павловская

Стихи писать—невыгодное дело,
Не зря меня предупреждала мать.
И муза, как мужик, меня раздела,
Она умеет женщин раздевать.
Я не скажу—какая в этом фишка,
Но в холода заметила уже,
Что к осени осталась без пальтишка,
Зимою точно буду неглиже…

От главного редактора

Всех забудут! В суете повинен,
Век поэтов не щадит. Однако
За мои стихи в ответе—Минин!
Вот пускай и трудится, бедняга!

Марина Саввиных

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Марина Саввиных

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

по прозе

Эдуард Русаков

Александр Астраханцев

по поэзии

Иван Клиновой

Сергей Кузнечихин

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК

Олег Наумов

КОРРЕКТОР

Андрей Леонтьев

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Николай Алешков
Набережные Челны

Юрий Беликов
Пермь

Светлана Василенко
Москва

Валентин Курбатов
Псков

Андрей Лазарчук
Санкт-Петербург

Александр Лейфер
Омск

Дмитрий Мурзин
Кемерово

Миясат Муслимова
Махачкала

Александр Петрушкин
Кыштым

Евгений Попов
Москва

Лев Роднов
Ижевск

Анна Сафонова
Южно-Сахалинск

Евгений Степанов
Москва

Михаил Стрельцов
Красноярск

Михаил Тарковский
Бахта

Вероника Шелленберг
Омск

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

А. М. Клешко

Заместитель председателя
Законодательного собрания
Красноярского края

Е. Г. Паздникова

Министр культуры Красноярского края

Т. Л. Савельева

Директор Государственной
универсальной научной
библиотеки Красноярского края

Г. О. Янушкевич

Руководитель Агентства печати
и массовых коммуникаций
Красноярского края.

Издание осуществляется при поддержке Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Журнал издаётся с 1993 г. В его создании принимал участие В. П. Астафьев. Первым главным редактором с 1993 по 2007 гг. был Р. Х. Солнцев. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77–42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

В оформлении обложки использован фрагмент коллажа Алексея Ремизова.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

ИЗДАТЕЛЬ

ООО «День и ночь».

ИНН 2463042749

Расчётный счёт 40702810800060000186
в Новосибирском филиале
ОАО «Банк Москвы» в г. Новосибирске

БИК 045004762

Корреспондентский счёт
30101810900000000762

Рукописи принимаются по электронной почте: dayandnight@bk.ru или по адресу: 660028, Красноярск, а/я 11937, редакция журнала «День и ночь».

Адрес редакции:
ул. Ладо Кецховели, д. 75а, офис «День и ночь»

Телефон редакции: (391) 2 43 06 38

Наш сайт: www.krasdin.ru

Подписано к печати: 05.02.2014

Тираж: 1200 экз.

Отпечатано ИП Азарова Н. Н.
в типографии «Литера-принт»,
г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 6, офис 0-10
эл. почта: 2007rex@mail.ru, т. 2941577

Константин Коровин

Бастилия

1928 ▲

Юрий Анненков

Латинский квартал

1925 ►

Юрий Анненков | Розовый дом | 1928

На первой странице обложки:

Коллаж *Алексея Ремизова* (фрагмент)
Париж | начало 30-х гг.